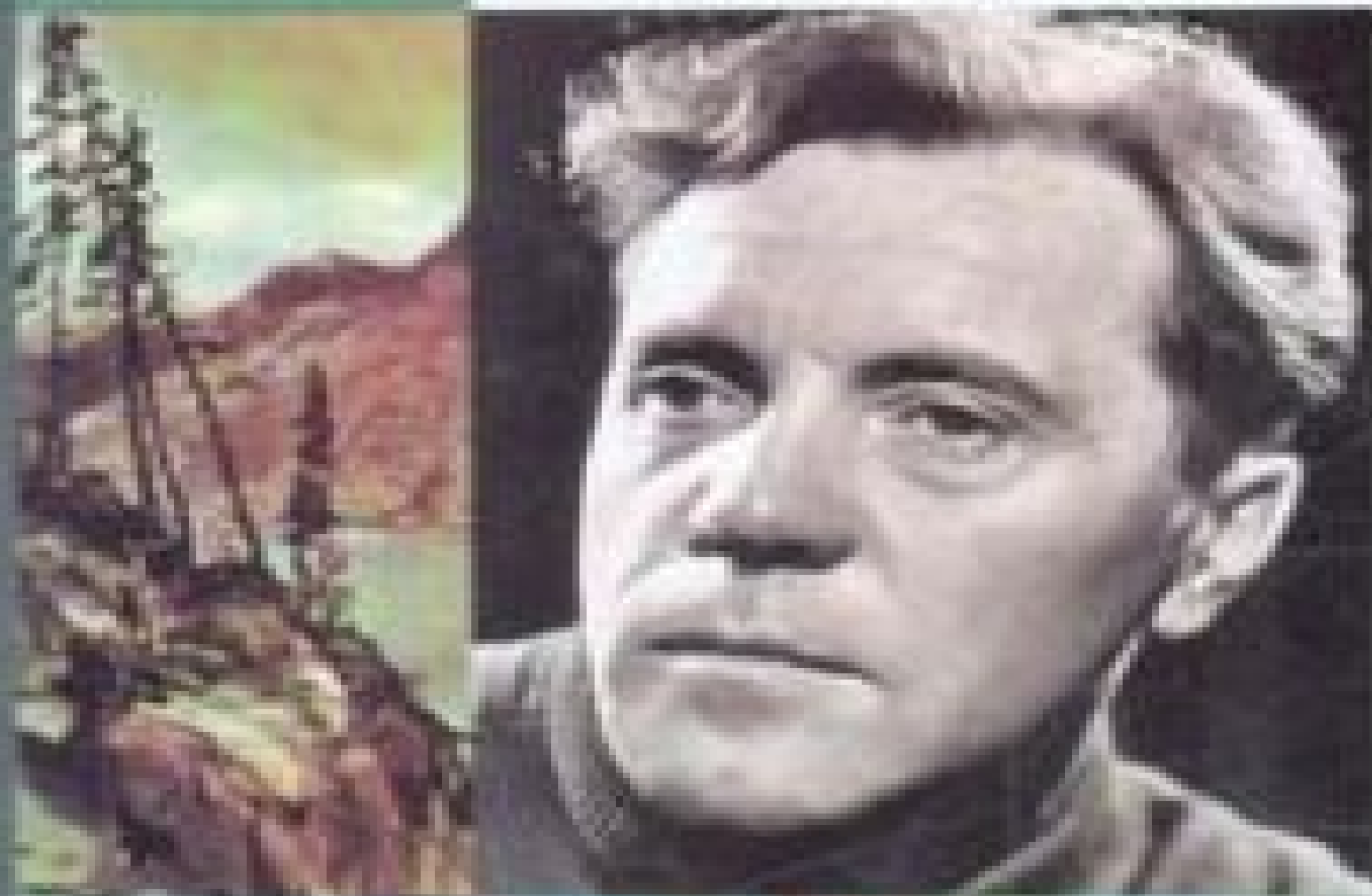


ВИКТОР АСТАФЬЕВ



Юридический
Ростовский



ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Кажется, нет такой стороны жизни и творчества Виктора Астафьева, которую еще не исследовали литературоведы и журналисты. Широкое и пристальное внимание к писателю привлекают прежде всего художественное своеобразие и социальная острота его произведений. Однако, несмотря на видимое обилие материалов, отсутствие «белых пятен» в биографии литератора, широкий круг почитателей его таланта часто не имеет цельного представления о его жизни, взглядах, художественных принципах. Хотя сам автор, известный журналист Ю. Ростовцев, считает, что его книга — всего лишь штрихи к портрету, страницы творческой судьбы писателя, ему удалось представленные в ней материалы связать в единое целое и проследить основные вехи биографии и творчества Астафьева.

- [Ростовцев Юрий. Виктор Астафьев](#)
 - [ОТ РЕДАКЦИИ](#)
 - [Глава первая НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ](#)
 - [Глава вторая ОВСЯНКА — ИГАРКА: ШКОЛА ЖИЗНИ](#)
 - [Глава третья СОЛДАТСКАЯ ПАМЯТЬ](#)
 - [Глава четвертая ЧУСОВОЙ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ](#)
 - [Глава пятая ГРАЖДАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК](#)
 - [Глава шестая ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР](#)
 - [Глава седьмая МОСКВА. НА ВЫСШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ КУРСАХ](#)
 - [Глава восьмая ОТЗВУКИ «БОЛЬШОГО ВАЛЬСА»](#)
 - [Глава девятая ЗАМЫСЕЛ, ВОЗНИКШИЙ НА РАЗЪЕЗДЕ](#)
 - [Глава десятая ЦАРЬ-РЫБА](#)

- [Глава одиннадцатая В СИНИХ СУМЕРКАХ](#)
- [Глава двенадцатая ВОЛОГДА. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ](#)
- [Глава тринадцатая НЕДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ](#)
- [Глава четырнадцатая ПОДВОДЯ ИТОГИ](#)
- [Глава пятнадцатая МАРИЯ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. П. АСТАФЬЕВА\[121\]](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)

- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)

- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)

- [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
 - [118](#)
 - [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
-

Ростовцев Юрий. Виктор Астафьев

*Марии — простой и великой женщине
посвящается*

ОТ РЕДАКЦИИ

Кажется, нет такой стороны жизни и творчества Виктора Астафьева, которую еще не переворошили литературоведы и журналисты. Широкое и пристальное внимание к писателю привлекают не только художественное своеобразие и социальная острота его произведений. Он не прячется за ширмой художественности, за которой бывает трудно рассмотреть грань между реальностью и вымыслом. А органическое единство человеческой и творческой сущности писателя, свойственное далеко не всем его собратьям по перу, порождает к нему особое доверие. Для размышлений и поиска огромную пищу дают исследователям рассказы и повести, имеющие автобиографический характер, богатое эпистолярное наследие.

Однако, несмотря на кажущееся обилие материалов, отсутствие «белых пятен» в биографии Астафьева, широкий круг почитателей его таланта, за исключением, конечно, профессиональных литераторов, часто не имеет цельного представления о его судьбе, взглядах, художественных принципах. Не так-то просто объединить их под одной обложкой. Поначалу такой задачи не ставилось и перед этой книгой. Более того, представляя рукопись в издательство, автор подчеркивал, что это лишь страницы биографии, штрихи к портрету, эпизоды творческой судьбы писателя. Тем не менее разрозненные, казалось бы, материалы ему удалось связать в единое целое, показать основные вехи биографии и творчества Астафьева в их логической и хронологической последовательности.

Представляя эту книгу читателям, мы полагаем, что характер включенных в нее воспоминаний, бесед и писем правдиво и довольно полно воссоздает образ писателя, дает возможность составить необходимое представление о его творчестве. Но ценность книги — не только в оригинальном характере публикуемых в ней документов, которые были предоставлены автору Астафьевым и его друзьями, выявлены в архивах и музейных фондах и затрагивают, наряду с узловыми, малоизвестные эпизоды его биографии. Важно и другое — личное восприятие автором затронутых проблем, на чем, безусловно, сказалось его живое общение с Виктором Петровичем и супругой писателя Марией Семеновной на протяжении четверти века. При этом он не навязывает своих точек зрения, ничего не додумывает за своего героя и почитателей его творчества, лишь поясняет, там, где это необходимо, суть отдельных произведений, не углубляясь в их критический разбор, что является привилегией литературоведов. Впрочем, иногда, что, на наш взгляд, вполне обоснованно, он обращается за поддержкой к маститым литературным критикам, таким как Анатолий Ланщиков, Лев Аннинский, Валентин Курбатов.

Отдельные страницы биографии Астафьева, вызывавшие еще при жизни писателя жаркие дискуссии и сохранившие до наших дней свою полемичность, оказались за рамками книги. Многое опущено сознательно: есть споры, которые рассудит только время. Это в первую очередь касается идейных пристрастий Виктора Петровича, претерпевших заметные изменения со второй половины 1980-х годов. Различные политические силы, как известно, превратили его взгляды в объект политических спекуляций, и, что, пожалуй, еще хуже, разбились на разные лагеря ценители его таланта. И все же его творчество больше связывает людей, нежели

разделяет. Прекрасно это понимает другой выдающийся русский писатель — Валентин Распутин, который также какое-то время находился в разладе с Виктором Астафьевым. «Я не был у Виктора Петровича все 90-е годы и не попрощался с ним, — говорил он на встрече с красноярскими читателями в 2004 году. — Это произошло в силу разных причин, о которых, может быть, и не стоит говорить. А сейчас я почувствовал просто потребность, невозможность дальше жить с этим, не побывав на могиле. Собрался и поехал. И почувствовал облегчение. Такое же облегчение бывает после исповеди и причастия, когда все тяжелое, горькое уходит и чувствуешь себя легко-легко...

Могучий он был человек — и духа могучего, и таланта!»

И еще одна цитата будет к месту: «Если вы хотите увидеть Астафьева в самой сокровенной его сущности, откройте его книги и углубитесь в них. Там он весь, без щитов и забрал, полный трепета, любви и сострадания ко всему живому, полный дум и забот о вашем сегодняшнем и завтрашнем бытии».

Этим напутствием одного из самых близких друзей Астафьева — известного писателя Евгения Носова мы и закончим наше небольшое предисловие.

Глава первая НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ



В. Астафьев

Деревенька эта — одна из множества подобных, что разбросаны еще по берегам рек и озер, у лесных опушек и близ дорог нашей необъятной России. И в то

же время Овсянка — место особенное. Вроде Верколы Федора Абрамова и Тимониhi Василия Белова, прославленных и увековеченных большими русскими писателями. Каждая из деревень имеет вполне конкретную судьбу и реальных жителей, но еще — и некий мир, уклад свойства обобщенного, традиционного, который не всегда улавливается в бытовании какой-то отдельной семьи.

Эти собирательные черты Виктор Петрович Астафьев воплотил в своем повествовании «Последний поклон». На страницах этой щемящей душу доброй и одновременно трагичной книги автором запечатлены, как бы при вполне определенных обстоятельствах, собирательные образы великой, могучей и все еще остающейся крестьянской по сути Родины.

Овсянке, расположенной на берегу могучего Енисея, повезло больше своих деревенских сестер. Благодаря таланту Виктора Астафьева она стала известна всему миру. В орбиту большой литературы оказались вовлеченными многие люди, порой даже никак с Астафьевым не связанные, с ним лично не знакомые. Трудно пересчитать, сколько они, вслед за писателем, посвятили этому красноярскому селу своих статей, радиопередач, телевизионных фильмов и репортажей. Таким образом, они не только вдохнули в этот уголок сибирской земли свою любовь, чувства, мироощущения, но и возвеличили его, сделали легендарным.

Можно даже утверждать, что Овсянка тянется за словом Астафьева, хочет ему соответствовать. Что-то здесь неуловимо следует тому, что подметил писатель, стало добрым продолжением его надежд и упований.

Шутка ли! Овсянская деревенская библиотека — лучшая в России. А несколько лет назад, к 80-летию со дня рождения В. П. Астафьева, здесь открылся великолепный музей народного быта.

Музейная экспозиция воссоздала зримые образы того деревенского уклада, которому посвятил Виктор Астафьев свое проникновенное и узористое слово. Замечу, что черты сельской жизни, отображенные прозаиком, воссозданы во всей своей широте, свойственной русскому характеру, а житейский опыт автора помножен на чистый, необыкновенной глубины талант.

Сами впечатления, которые составили основу творчества Астафьева, — не только из родной Овсянки. Они нажиты и в Игарке, куда летом 1935 года был вывезен одиннадцатилетний Витя, и в многочисленных скитаниях его по тайге с более старшими и умудренными жизнью охотниками-промысловиками. Тяжелыми отметинами обернулись война, последовавшие за ней трудные годы выживания на Урале, в небольшом городке Чусовом и в крохотной деревеньке Быковка, где он не только рыбачил, но, главное, много и плодотворно писал. Столь же добычливым в творческом плане оказалось десятилетие, прожитое на Вологодчине и прежде всего в Сибле, деревне на берегу реки.

Возвращение на родину, в воспетую им Овсянку, завершило круг исканий. Астафьев как-то обмолвился, что, дескать, не потерял бы он в отрочестве связь с малой родиной, не тосковал бы о ней — не написал бы свои пронзительные страницы о деревенском детстве.

Нынешняя Овсянка, оставаясь обычной деревней в окрестностях Красноярска, стала притягательным духовным центром для многих думающих и читающих людей. В музей и деревенский дом писателя, тоже ставший частью музея, приезжают старые и молодые, чтобы приобщиться к сибирским традициям, пережить очищение памятью о предках. Амбар, сеялка, соха, завалинка... Все то, что образует незатейливый деревенский быт, который кто-то еще помнит, а

большинство знает лишь по рассказам собственных бабушек и дедушек. Присутствие своего, родного, вызванное в душе словом Астафьева, особенно остро переживаешь, когда постигаешь строгую простоту незамысловатого быта самого писателя, красоту и покой его маленькой усадьбы и воистину убеждаешься в том, что сами-то мы живем-поживаем уж никак не хуже прославленного писателя. Да и в годы его жизни не только заезжие люди, но очень многие земляки были намного состоятельнее и имели хозяйство более слаженное.

Здесь ощущаешь присутствие и небесного, и земного, того, что заставляет задуматься, вызывает размышления и о простом, и о великом. Астафьевский мир открыт для любого читателя, и нужно лишь иметь в душе доброе стремление войти в это знаковое пространство, которое образует великое и живое наследие русского народа.

Известная ныне всей России Овсянка была когда-то обычным сибирским поселением, возникшим во второй половине XVII века на берегу реки Енисей. Расположилось оно в 20 километрах вверх по течению от Красноярского острога, основанного в 1628 году.

По распоряжению воеводы Андрея Дубенского атаман Михаил Кольцов от реки Качи привел к устью реки Маны на стругах отряд казаков для заготовки в этих местах леса, нужного «для острожного ставленья», и установил у Майского быка для «бережения» караул. Такие сведения приводит местный журналист и краевед Владимир Виговский в своем очерке «Свет Овсянки».

Это было последнее к югу Красноярского уезда русское поселение пашенных крестьян на правом, более безопасном берегу Енисея, при котором находился небольшой остров, призванный охранять население в случае набега кочевников, отрядов киргизских князцов,

из-за реки Маны и защищать, наряду с другими селениями, Красноярск с флангов. Потому, наверное, и ближайшая речка называется Караульной.

«С уверенностью можно утверждать, что Овсянка появилась не позже 1671 года. В тот год была проведена первая подворная перепись жителей Красноярского уезда. Запись переписной книги гласит, что „лета 7180 году сентября в 30 день по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича“ в деревне Овсянка числилось шесть дворов, да еще один двор на Усть-Мане. Это первое упоминание деревни Овсянка Красноярского уезда в дошедших до нас документах, поэтому именно 30 сентября 1671 года является пока официальной датой возникновения ее как населенного пункта». Так уже в наши дни архивные изыскания краеведа-любителя существенно дополнил профессиональный историк, ныне директор Дивногорского городского музея Игорь Федоров.

Все дальнейшие сведения об историческом прошлом села Овсянка и его окрестностей буду приводить по работам этих двух авторов, ссылаясь лишь на имена исследователей.

Итак, в 70-е годы XVII века в поселении на реке Овсянке (так называлась поначалу Фокина речка) насчитывалось семь служилых людей, а в 1702-м — пятнадцать, в том числе «один новокрещен из ясачных». Вооружены они были мушкетами.

В обязанность этих государевых людей входил сбор ясака (дань в знак подданства) с местного ясачного населения (там, где основан был Красноярский острог, обосновались аринцы, по реке Мане селились камасинцы). Кроме того, они транспортировали грузы, обороняли уезд от «немирных» соседей, в более поздние времена — конвоировали ссыльных.

В «Переписных книгах Красноярского уезда» того времени, в списке «Конная сотня» значатся: «Ивашко Фокин, сын Малово живет в д. Овсянке, а у него сын Онтонко Юл.». В «Пеших служилых людях» читаем: «Федька Юрьев, сын Софии, живет в д. Овсянке, а у него детей Ивашко 17 л., не в службе, да Ивашко ж 10 л.»; в «черкасах» (видимо, казаки из запорожцев): «Тимошка Ларионов сын Тюменец, живет в д. Овсянке, а у него 2 пасынка Спирка 10 л., Тишка 7 л.».

Включены в списки овсянских служилых людей и «Алешка Фокин, сын Малово», «Федька Яковлев, сын Коркунов», «Лучка Савин, сын Кривогорцицы» и «Якунько Федоров, сын Софьин, у отца своего».

Запашка Овсянки в то время составляла более 36 десятин. Сеяли рожь-ярицу, овес, пшеницу, ячмень. Принадлежащие ей покосы тянулись в степи по реке Мане и ее притоку Сарату.

Работая в архивах, В. Виговский установил, что по соседству с Овсянкой вверх по Енисею на реке Слизнавой стоял хутор атаманского сына Ивана Злобина. Довольно крупное хозяйство включало избу на подклете, амбар, баню и, повыше реки Слизнавой, мельницу, два коня, кобылу, четыре коровы, две телки, две свиньи. Рабочую силу составляли новокрещенные холопы — «Калмык Андрюшка и девки 10, 15 лет».

Проводивший свое исследование в 1977 году краевед и не предполагал, как для нас важно это место. Позднее Игорь Федоров уточнил: «Впоследствии хутор вместе с мельницей Злобиными был заброшен. И лишь спустя двести лет в устье р. Слизнавой чудаковатым пришлым мужиком Павлом, прозванным овсянцами Мазовым, вновь была построена мельница. Мельник этот — Павел Мазов, а по паспорту Павел Яковлевич Астафьев — был родным дедом будущего русского писателя Виктора Петровича Астафьева».

Сам писатель о своих предках подробно рассказал в автобиографии, которую написал в конце 2000 года. Текст очень хлесткий, даже жесткий. Перепечатав его, всегдашняя первая читательница Астафьева, его жена Мария Семеновна, была удивлена и даже раздосадована.

— Витенька, зачем ты написал все это?

— Пусть знают, — последовал резкий и короткий ответ.

В автобиографии писал он, в частности, следующее:

«...Мой прадед Яков Максимович Астафьев (Мазов) пришел в Сибирь из Каргопольского уезда Архангельской губернии со слепой бабушкой поводырем. Происходил он из старообрядческой семьи, не пил горькую, не курил, молился наособицу, был от рождения башковит и в преклонном возрасте тучен телом.

Еще будучи подростком, похоронив или с кем-то оставив бабушку (говаривали, что он с нею еще и в Овсянку переселился, но точных данных на этот счет нету, а очевидцы давно все померли), так вот, будучи еще подростком, прадед мой подался в верховские енисейские села, где нанимался работником на водяные мельницы. Там он освоил мельничное дело и заработал денег, которые зашил в драную меховую шапку и бросал ее где попало, чтобы капитал не украли и капиталиста не ограбили. Об этом со смехом рассказывал мой дедушка Павел Яковлевич Астафьев, единственный сын Мазовых Анны и Якова.

На капиталы, нажитые трудом праведным, Яков Максимович построил мельницу на речке Бадалык за городом Красноярском. Город бурно строился и развивался, леса вокруг него вырубались на строительство и выжигались под пашню. Речка Бадалык измельчилась, летами начала пересыхать. Мельничных мощностей хватало смолоть мешок зерна, а потом

ждать накопления воды в пруду. В конце концов Яков Максимович бросил мельницу на Бадалыке и пошел искать новое место. Побывал он в селах Торгашино, Есаулово и еще где-то, везде на речках стояли мельницы и работали с полной нагрузкой. Прадед пошел в село Базаиху, а там, на речке Базаихе, стоит уже две мельницы, и одна из них на механическом ходу.

Были у прадеда в Базаихе родственники или знакомые, и они подсказали ему, что за перевалом бурно развивается село Овсянка, а мельницы в нем вроде и нету. Яков Максимович построил на краю села Овсянка маленькую избушку, и, то ли оттого, что маленькая избушка была в пазах мазана глиной, иль потому, что примазался к селу, его здесь называли Мазовым, а все его потомство, и меня в том числе, звали Мазовскими. Я не только поносил в детстве прозвище Витька Мазовский, но и пережил избушку прадеда. Еще в 1980 году, когда я переехал из Вологды на родину, избушка подлаженная, с фундаментом и верандочкою, и все еще мазанная по пазам, стояла на месте, но затем ее продали хозяева, наездом бывавшие в ней, и на месте ее сейчас стоит кирпичный особняк в два этажа, пустующий и летом, и зимою. Кто-то вложил в это сооружение ворованные деньги и затаился.

Прадед же, Яков Максимович, переселившись в Овсянку, начал осваивать речку Большую Слизневку, которая в то время называлась Селезневкой. Был прадед могуч и трудолюбив, он на себе таскал бревна из лесу, а в прежние времена лес произрастал прямо от овсянской околицы и до обеих речек, Малой и Большой Слизневки. Помню я, что Большая Слизневка была по обоим берегам заросшая красивым сосняком. Несколько сосен с обрубленными сучьями, напоминающими нищенку... еще стоят по огородам нынешнего поселка, где лес-промхозовских рабочих и сплавщиков, с их устарелыми хибарами, окружили и под гору спустили со

всех сторон напирющие, нахрапистые дачники, и где еще сохранился бугорок от насыпи, а в правом берегу часть сруба мельничной плотины».

Любопытные сведения о жизни и обычаях овсянцев обнаружены И. Федоровым в документах русских и иностранных путешественников. В путевых дневниках Мессершмидта овсянские жители характеризуются как искусные мастера. Весной 1723 года, готовясь продолжить спуск вниз по Енисею, заезжий гость обратился к красноярскому воеводе Дмитрию Козьмичу Шетневу с просьбой о постройке карбаса — специальной большой устойчивой лодки с каютой. Воевода поручил заказ именно овсянцам. Причем лодка оказалась так ловко сделанной, что воевода оставил ее для своих нужд, отдав Мессершмидту взамен три своих старых суденышка.

Приверженность овсянских крестьян к охотничьему промыслу подчеркнул немецкий исследователь профессор Петр Симон Даллас. Будучи в Овсянке в октябре 1771 года, он сообщает о том, что овсянцы имеют «прилежание и промысел звериною ловлею, рыбою и другими пропитание доставляющими ремеслами» и навыки эти переходят от «праотца к потомкам».

Излюбленными местами охоты были горы, лежащие вверх по реке Мана, где добывались соболи, рыси, росوماхи и медведи. В конце осени — начале зимы овсянцы силками ловили кабаргу, из шкур которых приготавливали замшу. Рассказывая о рыбной ловле, путешественник отмечает, что «водится в реке Мане также великое множество рыбы, а особливо различных родов форелов» — особенно любимая овсянцами рыба, «которую именуют леноком». Основное все же занятие здесь, указывает рассказчик, — хлебопашество и скотоводство, «к чему они (местные жители. — Ю. Р.) на

реке Мане удобные места и особые также скотские дворы имеют».

В XIX веке население Овсянки сильно выросло. По десятой ревизии 1858 года в ней насчитывался 71 двор, проживало 337 душ мужского пола и 192 души женского пола. Исследователь Игорь Федоров считает, что эта диспропорция свидетельствует о постоянном притоке «пришлых», ищущих себе применения мужчин. Как свидетельство приводим рассказ об Овсянке председателя казенной палаты Енисейской губернии статского советника И. С. Пестова. В «Записках об Енисейской губернии» (1833) он отмечает, что из всех деревень Красноярского округа заслуживает внимания именно Овсянка: «...Деревня сия заселена зажиточными крестьянами, как редкий пример размножения человеческого рода в обширных сибирских странах...»

О широте души, хлебосольстве овсянцев писал в своих «Воспоминаниях» красноярский художник Дмитрий Иннокентьевич Каратанов: «Было, должно быть, часов восемь вечера, когда сквозь перезвон колокольников из Овсянки, все более приближаясь, стал доноситься собачий лай. А вот возок отклонился назад. Это начался подъем на деревенский ввоз. Тут нас встретило лаем несколько передовых псов... Путаясь между ног лошадей, они подпрыгивали, пронзительно взвизгивали, беспрерывно лаяли и успокаиваться начали лишь тогда, когда мы остановились у ворот... По случаю ли праздника, именин или чего другого, но в просторной комнате, в которую мы вошли, вокруг стола с расставленною на нем разнообразной снедью сидело около десятка гостей, крестьян... Мне, когда я вошел в комнату, прежде всего бросились в глаза стоявшие на столе деревянные ярко расписанные цветами жбаны, содержимое коих, как оказалось потом, состояло из браги... Светло, тепло, разговоры. Появились пельмени. А через короткое время красный жбан с брагой

появился и на нашем столе. Пили и похваливали. Налили мне. Я выпил. Сильно. Вкусно... Была эта брага густая, как сливки, с медовым запахом и притом крепкая. После выпитого у меня сначала щекоюще засвербило в носу, потом зашумело в голове, и перед осовевшими глазами, тронувшись со своих мест, медленно вокруг меня поплыли и столы, и жбаны, и люди».

Начало XX века характеризуется неуклонным улучшением благосостояния овсянцев, о чем свидетельствует историк Федоров. Осваиваются новые пахотные земли и покосы. «В марте 1916 года в Овсянке закончилось строительство церкви, и она стала именоваться не деревней, а селом. Первым священником овсянской церкви Енисейским епископом Никоном был назначен иеромонах Знаменского Скита Палладий. Здание церкви впоследствии было приспособлено под пекарню, а в 40-е годы, после войны, и вовсе разобрано». В 1916 году начала работу и церковно-приходская школа «при одном учащем и 32 учащихся», к тому же она имела свое собственное помещение.

События революционных лет круто изменили жизнь и этого далекого сибирского села. Прежде всего, произошло резкое размежевание на тех, кто с радостью принял новую власть, и тех, кто пытался ее не замечать.

К числу таких семей, надо полагать, относились Мазовы, Потылицыны, Астафьевы...

Как пишет В. П. Астафьев, дед его, Павел Яковлевич, с детства человек бедовый, в детстве же потерявший глаз (левый), от пыльного, дисциплины требующего мельничного труда увильнул, обучился играть на гармошке, плясать босиком (это считалось особым шиком в Овсянке), рано начал жениться и творить детей, и то ли роковым он был человеком, то ли диким

темпераментом обладал и загонял жен до гробовой доски, но только одна за другой его жены мерли, и дело дошло до того, что ни в одном овсянском доме ни одну девку в роковой дом не отдавали...

Когда умерла третья жена Павла Яковлевича и остался полный дом детей с обширным хозяйством, тогда дед, по версии Виктора Петровича, решил женить старшего сына Петра на Лидии Ильиничне Потылицыной (будущей матери Астафьева). «Так вот в содомном, часто пьяном доме моего деда появилась работница из большой, трудовой и крепкой семьи. И хотя домила она работу день и ночь, справиться с таким разгильдяйским домом и хозяйством одна была не в силах...»

Видя это, дед, приодевшись, подался в поисках жены в верховья Енисея, на его притоки. «На волшебной красивой реке Сисим, в одноименном селе, ныне не существующем — затоплено, — высватал он сироту, вошедшую в лета и уже немалые, Марию Егоровну Осипову... Она была очень красива, бела лицом, нраву несколько скрытного и невероятная чистюля. Ох, сколько горя и мук она приняла за свою жизнь в семейке Астафьевых и за семейку Астафьевых.

Мария Егоровна обихаживала дом, стряпала, варила, стирала, мама моя, почти ровесница свекрови, ломила во дворе, папа мой и дед Павел, свалив дом и хозяйство на двух молодых женщин, гуляли и плясали, хвастались ружьями, собаками и конями. Яков Максимович с мельницы почти не вылезал, видеть он не мог, как живут и правят жизнь в доме его сын и внук».

Еще до появления на свет сына Виктора у Петра Павловича и Лидии Ильиничны поочередно родились две девочки. Но они «не выдержали бурной жизни в мазовском доме и умерли маленькими, и я по сию пору не знаю, скорбеть ли по ним иль радоваться, что Бог их прибрал во младенческом возрасте, однако я всю жизнь

ощущал и ощущаю тоску по сестре и на всех женщин, которых любил и люблю, смотрю глазами брата. И они каким-то образом всегда это чувствовали, старались заменить мне сестер, и, видимо, не напрасно первой любовью наградил меня Господь к сестре милосердия, в госпитале». Так пишет В. П. Астафьев в автобиографии.

1 мая 1924 года пришло время появиться на свет нашему герою. А в доме «гульба, дым коромыслом». Лидия Ильинична ушла рожать в баню. Это была одна из первых «белых» бань в деревне, подчеркивает Виктор Петрович. Но читаем дальше его семейную исповедь:

«Утром мама пришла в дом с узелком и показала деду его первого внука. Восторг, рев, звон бокалов, „аблокаты“ вызвали меня крестить и дали мне модное городское имя. Я был первым на всю деревню Виктором. Федек, Петек, Сережек, особенно Колек и Иванов допона, а Виктор один. Вероятно, роды были тяжелые, попробуй легко родить такого типа, как я. Через несколько дней мама вышла из горницы больная, бледная и, естественно, спросила: окрестили ль парнишку и, если окрестили, кто крестные, где они и как их звать.

Дед замельтешил, стушевался — имен крестных он не помнил, и тогда мама заплакала и сказала, ну ладно, с ней, как с собачонкой, обращаются, а с парнишкой-то зачем так? Маму дед уважал и всю жизнь вспоминал с почтением и виновностью перед нею. Он пошел в церковь и как-то уломал попа окрестить меня снова под тем же многозвучным, модно-городским именем... Вторыми крестными у меня были сестра мамы Апраксинья Ильинична и юный брат отца Василий Павлович».

Кстати, у деда и у «бабушки из Сисима» вскоре тоже родился сынок, его нарекли Николаем.

По рассказам Виктора Петровича, родители его жили плохо, слишком разные у них были темпераменты и жизненные установки. Петр Павлович все никак не мог остепениться — он оставался разгульным гармонистом и плясуном, пил да чудил, и при этом беспочвенно ревновал жену, скандалил. Лидия была твердого и решительного характера. Согласно деревенской молве, однажды она своего непутевого и скандального супруга, видимо, пьяненького, потащила даже топить в Енисее — так он ее «доставал», как теперь говорится.

Кстати, бабушка Екатерина Петровна тоже на дух не переносила гулевого зятя. «Несколько раз мама уходила из дома Мазовых, но, имея доброе сердце, начинала жалеть мазовских ребятишек, необихоженную скотину, тосковала по дому свекра, да и папу, видать, любила на горе свое и беду, вот и возвращалась батрачить в надсадном хозяйстве Мазовых».

В конце 1927 года из крестьян Овсянки была организована сельскохозяйственная артель «Путь к социализму». А в 1931 году на ее основе образовался колхоз имени красного партизанского командира Щетинкина.

В. Виговский еще застал некоторых старожилов села и сохранил их свидетельства о том времени. Разумеется, надо учитывать, что текст очерка печатался в дивногорской городской газете «Огни Енисея», которая подчинялась райкому партии и, конечно, имела цензора.

Один из старожилов деревни Василий Иванович Демченко рассказал о том, как его семья попала в Сибирь: «В Овсянке-то мы как оказались — сослали отца в Сибирь в 1894 году. За что? Угнал у помещика экипаж, запряженный тройкой лошадей, и продал его...

По рассказам матери, я родился в дороге к месту поселения отца.

Жили беднее бедного. Нужду ломать помогали Мана и Енисей, тайга, богатые в те времена рыбой (таймень, ленок, хариус), зверем, дичью. Добывали маралов, белковали. Приходилось мне работать и на монахов в Знаменском скиту: хлеб убирал, сено косил. Копеек по 50-60 в день платили. А в Первую мировую войну призвали в царскую армию. Служил в 197-м лесном пехотном полку. Был ранен. Пришлось и газовую атаку испытать на себе. Помню, прошли через белый, стелющийся над землей туман, и защитные маски и пуговицы сразу почернели...

В 1931-м в селе стали организовывать колхоз...»

Как это происходило, поведал еще один старожил, Темарьян Галимович Галимандинов: «...И раскулачивали, и угрозы не раз слышали ущемленных, и злобные взгляды сельские активисты ловили на себе... Правда, сейчас кое-кто разглагольствует, что вроде бы зря богатеев прижимали, само, дескать, все бы образовалось. А я-то знаю: ерунда все эти рассуждения. В то время я работал в кустарной артели по обжигу извести, она находилась как раз против села, на той стороне Енисея. Состоял кандидатом в члены ВКП(б).

Неподалеку от нас, в Боровой, решили создать коммуну. Обобщили скот, сдвинули крестьянские плечи. Но что-то не получалось... Горстка коммунаров перебралась со скотом в Овсянку с целью влиться в создаваемый здесь колхоз... Назвали его овсянцы именем Петра Ефимовича Щетинкина — геройского партизанского командира, воевавшего с колчаковцами в уездах Енисейской губернии.

Председателем правления стал середняк Александр Вычужанин».

Ветеран колхозного движения назвал тех, с кем он начинал. Это батрак Дмитрий Болтухин, бедняк Михаил Бобров, Марина Юшкова, сапожник Алексей Селиванов со своей женой Татьяной, Лукерья Рытель, Иван

Ярославцев и Константин Шахматов. Всего их было 25 семей.

Что имел колхоз на первых порах? Две-три барабанные молотилки с конными приводами, плуги и деревянные бороны. Затем прибавилось несколько жаток, изъятых у кулаков и «лишенцев», около пятидесяти лошадей и столько же коров.

Сразу взялись за расширение пашни — раскорчевку земли начали. К объединенным единоличным десятинам прибавились целинные колхозные гектары.

А вот, что вспоминала Анастасия Григорьевна Шахматова: «Началась в сибирских селах сплошная коллективизация. От ограничения кулака переходили к ликвидации его как класса. Вот тут-то и обнажились противоречия, столкнулись лоб в лоб бедняк и батрак, с одной стороны, и зажиточный мужик — с другой. Раскулачили и выслали из Овсянки братьев Ивана и Александра (Егоровичей) Фокиных, Семена Шахматова».

Первые колхозники овсянской сельхозартели Михаил Петрович Бобров, Александр Егорович Васильев, Валентина Иннокентьевна Ярославцева вспоминают, как подгоняемый енисейской волной, словно осколок старой жизни, уплывал угрюмый большой плот к Красноярску с раскулаченными...

В коллективизации активное участие принимали Галимандинов, Марина Юшкова, Александр Болтухин, Селиваниха и Пакиха (так звали на селе активисток Татьяну Селиванову и Лукерью Рытель).

Иван Левинский, Николай Артамонов и некоторые другие как «твердозаданцы» (до крестьян доводилось твердое задание по сдаче государству хлеба, а они его не выполнили) были выдворены за пределы села с лишением свободы на два года и политических прав, с конфискацией движимого и недвижимого имущества. У Левинского, к примеру, отобрали дом крестовый, жатку, лошадей.

Интересно, что по истечении срока наказания (и даже досрочно) кое-кто из выживших «лишенцев» возвращался в родное село, многие из них становились ударниками пятилеток, верными защитниками завоеваний Республики Советов.

Николай Артамонов героически погиб в боях с немецкими оккупантами.

Иван Левинский, работая в сплавконторе, и в 69 лет показывал пример стахановского труда.

«Евдокия Егоровна Левинская (ей уже 91 год), — пишет Виговский, — бережно вынесла мне красную коробочку и извлекла из нее семейную реликвию — орден мужа с вычеканенным на нем из золота профилем Ильича — и сказала:

— За старательную работу Ивана через год освободили. Уговаривал уехать куда-нибудь (обида была у него), я не согласилась.

Старая женщина примолкла, а затем, оттянув платок от уха, чтобы лучше меня слышать, спросила, указав подрагивающей ладонью в окно:

— Видите дом-пятистенок, стена в стену с моей избой?

— Да.

— Тот самый, наш... Так вот всю жизнь и хожу мимо. Первые годы с щемящим сердцем глядела на его окна, а потом отпускать стало...»

Любопытно, что в числе самых значимых, уважаемых семей называет корреспондент и Потылицыных, но, увы, ни с кем из астафьевской родни он не разговаривал. Кстати, и самого Виктора Петровича как писателя упоминает лишь вскользь.

Но вот сам Астафьев совсем иначе вспоминает то далекое и жестокое время:

«...На село наше и на безалаберное семейство Мазовых надвинулись эпохальные события и перемены, началось раскулачивание и коллективизация. Везде и

всюду по Руси великой мельник был первым кандидатом в кулаки, и Яков Максимович Мазов не избежал этой участи. Ему перевалило за сто, на мельнице он давно не работал, сдавал ее в аренду сельской общине, и в любом, разум не потерявшем государстве трясти его, кулачить и затем из дома гнать было бы предосудительно, но у нас все моральные устои, уважение к старости, понятия чести и совести как-то сразу и охотно были похерены. Оказались мы, русский народ, исторически к этому подготовлены...

Темная, неграмотная страна продрала спросонья очи, круто взялась за преобразования, поднялась на борьбу не только за свое счастье, но и всего мирового пролетариата. Дед Мазов, дни и ночи игравший с бабкой Анной в карты и люто ее ревновавший, раньше-то некогда было, на мельнице обретался круглые сутки, время на причуды не оставалось, вот он и наверстывал упущенное, изводил тоже столетнюю жену свою... Когда Мазовых всем табором и его с женой вытряхнули из дому, не сразу догадался, что произошло».

На первых порах прадеду и прабабушке разрешили жить в собственной бане. Но вскоре гайки стали закручивать еще сильнее. Всю семью столетнего мельника присудили к высылке. По оценке В. П. Астафьева, разорение коснулось каждого второго двора и даже более. Из двухсот пятидесяти семей в Овсянке уцелело лишь восемьдесят пять. И сами дома «лишенцев» были сведены с земли, растасканы на дрова, сожжены для потехи. А имущество раскулаченных «уплавлено» в Красноярск.

Удивительное дело: самой астафьевской семьи на первых порах раскулачивание не коснулось. Формально они уже жили своим домом. «Семья наша обратилась в зимовье, где мама до высылки спасала ребятишек и стариков мазовских. Затем бдительная власть, пуще огня боящаяся своего народа, пересадила глав

раскулаченных семейств в тюрьму. И Вася, мой крестный, вслед за отцом был посажен в тюрьму, как только ему исполнилось шестнадцать лет. Бабушка из Сисима со всей оравой попала на пересылку...»

Я опускаю здесь страшные детали и подробности. Читатель их может отыскать сам в автобиографии В. П. Астафьева.

«И вот избавление от нечаянного концлагеря — везут на север, строить новый порт Игарку. Во главе мазовской оравы, где нет ни одного трудоспособного человека, и таких семей здесь большинство, Марья Егоровна. Расположились удобно, в трюме, и ехали ладно до Енисейска и Подтесово. Там на пароход ввалилась орда пролетариев под названием „ирбованные“ и подняла хай — как так, вражеский элемент расположен с комфортом, а сознательные советские трудящиеся погибают на палубе.

Вытряхнули Марью Егоровну... из трюма вместе с помешавшимся стариком и ребятишками. Попали они табором за пароходную трубу. Пароход отапливали дровами, и, хотя на трубе была решетка, мелкие уголья вылетали наружу, падали на половики, одеялья, одежонку... Бабушка обирала пальцами уголья, и, когда пароход пристал к берегу возле Черной реки на карантин, брюшки ее пальцев были сожжены до костей...

Скажу только, что Мария Егоровна полной мерой извела муки за чужую семью, за верность и преданность семье, из которой в Игарке смог работать только один член семьи — Иван Павлович, четырнадцати лет от роду. Был он человеком неунывающим, башковитым, скоро выучился на рубщика и стал зарабатывать деньги, кормить семью. Погиб он в Отечественную войну под Сталинградом и похоронен в братской могиле в деревне Селиваново, в семнадцати верстах от Сталинграда.

Осенью, уже в начале октября, с шугой вместе прибыли из тюрьмы Павел Яковлевич и Василий Павлович. Марья Егоровна перевела дух, но рановато.

Зима, лютая, заполярная, убавила семейство...

А в это время в деревне преобразования и борьба за счастье человека набирали мощь и силу. По пустым избам гулял ветер, по селу ходили и гуляли местные коммунисты: Ганька Болтухин, Шимка Вершков, хитро к ним прильнувший Федор Фокин, он же Федоран, наша невестка, жена дяди Дмитрия, Татьяна, женщина здоровая, четверых уже детей нарожавшая, но никакого внимания ни на них, ни на мужа, ни на дом... Вся она была охвачена революционным энтузиазмом, одной из первых вступила в партию и, поскольку была маленько грамотная, занимала какую-то должностишку в комбеде, активно боролась с кулачеством.

Лиза, одна из сестер моего отца, красивая и работающая деваха, гулявшая с хорошим парнем Федором Сидоровым, пристроилась к сидоровской семье, сами папа и мама моя жили случайными заработками. Но вот наступили совсем тяжкие времена, пашни и огороды запущены, колхоз имени Щетинкина, наспех сколоченный, на ладан дышит, в деревне нечего жрать — мельница-то деда Мазова умолкнула, замерзла. Нашли, призвали моего папу мельничать, пообещав зачислить его и маму мою в колхоз, чему мама была безмерно рада, но потрудиться ей на счастливой коллективной сельхознive не довелось.

Папа мой, восстановив мельницу, снова загулял, закуролесил, не понимая текущего момента, и однажды сотворил аварию, но мельница-то не его уже и не дедова — это уже социалистическая собственность, и папу посадили в тюрьму... Мама нанималась на поденные работы, пилила дрова на продажу, собирала ягоды на продажу и плавил их в город, где собирала посылку заключенному мужу.

В 1931 году семью нашу постигла еще одна, всю нашу жизнь потрясшая трагедия: плывя с передачей в Красноярск, мама моя, Лидия Ильинична, утонула прямо напротив деревни. Вскоре отца осудили на пять лет как врага народа и послали на строительство Беломоро-Балтийского канала имени товарища Сталина».

В эту трагическую пору маленький Витя оставался под надзором своей бабушки по материнской линии. Именно этот отрезок времени и стал отправной точкой для тех рассказов о детстве, которые мы знаем теперь под названием «Последний поклон».

«Бабушкин дом» — теперь музей. Но многие из здравствующих ныне еще застали то время, когда у дома с красной фанерной звездой (таких домов в Овсянке с полсотни, в них живут семьи погибших фронтовиков) по улице Щетинкина можно было встретить старую женщину с ведром воды, она возвращалась от деревенской колонки. Ефросинья Ильинична Фокина, тетя Апроня из «Последнего поклона». Это родная тетка Астафьева. «Мальчик в белой рубахе» — неведомо как погибший в 1933 году ее сын Петенька, ему и четырех лет тогда не было...

Звякнуло железное кольцо ворот. Виктор Петрович привел меня сюда, в этот дом, когда я гостил у него в 1982 году. Здесь жил он в детстве с бабушкой (по материнской линии) Катериной Петровной после того, как Лидия Ильинична утонула в Енисее.

А через год я уже оказался с Виктором Петровичем и Марией Семеновной на поминках по Апроне. Остались от той встречи несколько снимков печальной деревенской тризны.

Так сложилось, что я побывал в Овсянке за несколько лет до 1980 года, когда Виктор Петрович возвратился в родную деревню.

В 1968 году я приехал в эти места, чтобы своими глазами посмотреть на строительство Красноярской ГЭС. Но то, что тогда сумел я увидеть, вполне укладывалось в бравурный репортаж районной газеты.

До строительства ГЭС самым крупным промышленным предприятием старого поселка Скит, переименованного в 1957 году в Дивногорск, была артель «Лесозаготовитель». Позднее в черту города вошло и село Овсянка.

Огромная стройка резко изменила жизнь родного села В. П. Астафьева.

«3 ноября 1967 года в 7 часов 40 минут утра первый агрегат Красноярской ГЭС дал промышленный ток. 4 ноября в 23 часа 30 минут введен в действие второй гидроагрегат. Так началась трудовая биография станции.

Строительство Красноярской ГЭС было подготовлено и обеспечено всем ходом развития социалистического общества, умами и делами людей нашей страны, их стремлением жить и строить.

История вершится на глазах.

Люди наполняют время новым содержанием, меняются вместе со временем и даже, когда уходят из него навсегда, — остаются в нем, продолжая своими делами нынешнюю нашу жизнь...» — так писал тогда я в своем репортаже.

Далее в статье шло перечисление выдающихся рабочих (на самом деле выдающихся!), знатоков своего дела. Это бетонщик Яков Лесников, экскаваторщик Александр Маршалов, бригадиры Александр Лардыгин, Федор Вологдин, Федор Горбанев, Василий Сахатырь и Иван Палатин («Он из труда сделал поэму!» — пожалуй, справедливо говорили тогда о заслуженном строителе РСФСР Иване Ивановиче Палатине журналисты), ветераны-гидростроители Сергей Леонидович Малиновский и Евгений Ефимович Лискун. С этими

людьми шли и идут рядом дивногорцы. Имена всех не перечислить. Эти люди рядом с нами, ходят по нашим улицам. По своим улицам.

«Когда приходишь в очередной раз на Красноярскую ГЭС, проходишь по машинному залу, спускаешься к турбинам, разговариваешь с эксплуатационниками, пытаешься как-то определить словами все то, чем живет сейчас станция, — невольно теряешься: нет слов! Удивляешься: неужели это мы, люди, обыкновенные земные люди, смогли сотворить такое?! Уму непостижимо!

Всего одиннадцать человек дежурной вахты сейчас обслуживают все работающее оборудование станции, которая ежедневно выдает от 50 до 110 миллионов киловатт электроэнергии. Уместно вспомнить и то, что энергетический потенциал царской России в 1913 году был лишь немногим больше, чем мощность только двух агрегатов Красноярской гидроэлектростанции.

...Красноярская ГЭС — символ времени. И в самом деле можно говорить, что Красноярскую ГЭС строила вся страна. Когда в марте 1963 года на перекрытие Енисея приезжал Константин Симонов, он написал стихи в Дивногорске»:

Какой же памятник народу
Поднять над этою рекой,
Где он смирил такую воду
Своею собственной рукой?
Нет, пусть не монумент картинный,
Пусть века новые черты
Глядят на мир самой плотиной
Со стометровой высоты!

Виктор Астафьев побывал в родной деревне на десять лет раньше до описанных выше событий, когда

здесь только начиналась великая стройка коммунизма. Почему об этом важно вспомнить?

А потому, что именно из той поездки по командировке журнала «Смена» он вывез творческое негодование, которое обратилось в яркое, самобытное и лирическое слово о его деревенском детстве.

Вот он честно пытается осознать происходящее вокруг, силится справиться с редакционным заданием, описать происходящее в родных ему местах...

«Будучи в командировке, я, уже привыкший к неудержимой болтовне, демагогии и краснобайству, был все же поражен тем, какой размах это приобрело на просторах родной Сибири — оно и сейчас здесь соответствует просторам — такое же широкое, вольное и безответственное. Но тогда я еще не был таким усталым от нашей дорогой действительности, все воспринимал обостренно, взаболь...

Я жил в родной деревне, смотрел на своих односельчан, занятых земельным и рабочим повседневным делом, и думал: „Ну, хорошо. Все герои, и все героическими делами обуяны, а кто же тогда их-то, моих родных гробовозов (такое неблагозвучное прозвище у моего родного села Овсянка), отразит и расскажет о их вечной жизни и о труде, которым земля и все на земле держится?“ А тут еще и строители „масла в огонь подлили“, явились в Сибирь с ружьями, фотоаппаратами, купленными на „подъемные“ деньги. Значит, как они сойдут с поезда, ступят на дикую сибирскую землю, сразу же завалят медведя и сфотографируются, поставив победительно ногу на поверженного зверя. Квартировали молодые строители в палаточных городках, по окрестным селениям, и все избы моей родной деревни тоже были забиты новопоселенцами.

Не обнаружив бородатых мужиков, обутых в чуни, в звериные шкуры, в медвежьи шубы, жрущих сырое мясо

и живую рыбу (хотя есть любители и того, и другого на Севере, да и в Москве они есть), шумные строители сразу утратили к сибирякам интерес, игнорировали их как в жизни, так и в своих художественных творениях. Более того, не приложив труда заглянуть поглубже в душу сибиряка, по внешней грубой его оболочке составили мнение о нем и враждебное к нему отношение выявили. Впрочем, часто оно бывало обоюдным, и не облагородилась от наплыва строителей сибирская сторона, наоборот, погрубела еще больше, осатанилась, хотя внешне вроде бы „обстроилась“, выглядит куда как культурней, чем в „старое время“.

Словом, думал я думал, и вышло, что мне надо рассказывать о своих земляках, в первую голову о своих односельчанах, о бабушке и дедушке и прочей родне, стараясь не особо-то унижать и не до небес возвышать их словом. Они были интересны мне и любимы мной такими, какие есть на самом деле, и жизнь их обыкновенная была привлекательней всех выдуманных, из папье-маше слепленных, бутафорской краской выкрашенных героев, у которых всегда грудь вперед и „передовая мысль“ наготове.

Вот и начал я помаленьку да полегоньку писать рассказы о своем детстве, о селе родном и его обитателях, о дедушке и бабушке, ни с какой стороны не годных в литературные герои той поры. Первоначально цикл рассказов и назывался „Страницы детства“. И чудесный эпиграф Кайсына Кулиева со сладкой грустью предварял его: „Мир детства, с ним навечно расставанье, назад ни тропок нету, ни следа, тот мир далек, и лишь воспоминанья все чаще возвращают нас туда“.

Рассказы писались легко, быстро, радуя сердце... „Конь с розовой гривой“ и „Монах в новых штанах“... В 1968 году в Перми вышла книга под названием „Последний поклон“. Я долго искал это название, а оно

уже было в книге — так называлась одна из глав. И однажды мой товарищ ткнул пальцем в это название.

Книгу ту оформлял покойный уже пермский художник Алексей Мотовилов. Больше года он работал, на каких-то цинковых пластинках гравюры резал, когда книгу печатали, художник ночевал в типографии, чтоб все было напечатано как надо. И все Пермское издательство старалось, и книга получилась как надо, в суперобложке, с цветным шрифтом.

Я это к тому, что везде, хоть на стройке, хоть в издательстве, нужны в работе самоотверженность и любовь, увы, куда-то во многих местах и на предприятиях наших подевавшиеся...

Книга „Последний поклон“ была замечена в столице, благосклонно встречена критикой. Пошла хвалебная почта, которую я, конечно же, читал с большим удовольствием и млея еще ненадорванным, горячим сердцем.

Но жизнь шла вперед, и я вместе с нею куда-то двигался, съездил, и не раз, в Сибирь, на родину, побывал на Енисее, на Оби. Урал, к той поре почти наголову разбитый, досконально изучил, из газеты и с радио ушел — шибко они растревожили и поранили мою совесть. Не вдруг, не сразу, но понял я, что чего-то в „Поклоне“ не договорил, „перекосил“ книгу в сторону благодушия, и получилась она несколько умильной, хотя я к этому сознательно и не стремился, а все же жизнь пообтесал, острые углы пообпиливал, чтоб дорогие читатели... за них штанами не цеплялись и коленки не ушибли. А ведь жизнь-то тридцатых годов не из одних веселых детских игрушек и затейливых игр состояла, в том числе и моя жизнь, и жизнь близких мне людей.

Продолжались раздумья, воспоминанья, продолжалась во мне книга.

Уже живя в Вологде, я написал новые главы „Последнего поклона“ и однажды издал книгу в Москве, состоящую из двух частей. Встретивший меня как-то мудрый горец и славный поэт Кайсын Кулиев спросил: „Что же эпиграф-то снял?“ — И сам себе ответил, грустно покачивая головой: „Понимаю. Книга переросла воспоминания детства“.

Нет, книга ушла из детства дальше, в жизнь, и двигалась вместе с нею, с жизнью. В 1980 году я переехал жить на родину и уже через год-другой почувствовал, что моя заветная книга снова „зашевелилась“ во мне, — я заметил в ней неточности, неизбежные оттого, что писалась она вдали от „натуры“, ощутил пропуски в книге и какие-то упущения памяти, а главное — позывы „рожать“.

И снова, с радостью, с тем удовольствием, какого мне не доставляла работа ни над одной моей книгой, принялся я за „Поклон“. Конечно же, не так уж легко и притко писалось, как в литературной „верхоглядной“ молодости, однако одолел я и третью часть книги... Я думал написать одну большую, заключительную главу, но жизнь подбрасывала и подбрасывала материалу, как хворосту в костер. Я в одну главу не уложился, написал две: „Забубенную головушку“ и „Вечерние раздумья“...»

И все же, как совместить боль переживания писателя и то новое, что все равно приходит в нашу жизнь, разрушая привычный уклад?

Благодаря стройке Овсянка встряхнулась, получила возможность развиваться. До начала строительства в населенных пунктах сельсовета проживало около 2,5 тысячи человек. А через десять лет население почти удвоилось, в поселке появились школа-десятилетка (в ней тогда обучалось 470 школьников, с которыми работали 30 учителей), детский комбинат, детсад.

Представитель местной власти в 1977 году с упоением рассказывал мне о перспективах, которые он видит в будущем. Упомянул среди прочего, что в институте «Красноярскгражданпроект» разрабатывается генеральный план развития поселка и других окрестных населенных пунктов.

— Какой же станет Овсянка через пять — десять лет? Расскажите, пожалуйста, и, если можно, реально пофантазируйте, — прошу я Ирека Хусаиновича Тукаева, председателя Овсянского поссовета.

В кабинете уютная тишина. Уют придают ему стоящий в углу позади рабочего стола остролистый комнатный клен с оранжевыми колокольчиками, нежно цветущий на окне, за которым мягко падает искрящийся снег, кактус...

— Прежде всего планируется строительство современного Дома быта. С пошивочным ателье, мастерскими рембыттехники и сапожной, — говорит он. — Расширятся площадь и сквер в административном центре поселка и выйдут к Енисею. Оденется в бетон и дорожное полотно нижней застройки. Пока здесь бетонных покрытий немного — всего полкилометра.

Виктор Астафьев совсем не против хороших дорог, но он примерно в ту же пору, когда давал мне интервью председатель поселкового совета, совсем другое хотел рассказать о своей Овсянке читателю, и особенно молодому:

«Дом мой стоит на горе Гремячей. Гора по имени речки названа, что начинается в горах и течет по этому хребту. Это высокая гора, внизу Енисей. За Енисеем знаменитый сибирский заповедник Столбы. Вот какое красивое у нас место. Выше по Енисею, километров пятнадцать, моя родная деревня. Она называется Овсянка. Там я родился, там рос, там осиротел очень рано и потом воспитывался у бабушки Екатерины Петровны.

Детство — это лучшая пора жизни человека, а наше деревенское детство было очень богато впечатлениями. И радостями, и играми, очень мы много играли во всякие игры, с утра до вечера играли. И с ранней весны, когда появлялись проталины, мы уже что-то добывали себе на пропитание.

Начинали мы обычно выкапывать луковки саранок — это дикая лесная лилия, у нее в земле есть луковка, очень маслянистая, ну и мы, истощенные за зиму дети, выкапывали луковки деревянной лопаткой и ели. Витаминчик. Вслед за саранками появлялся уже дикий лук, потом появлялась черемша. Черемша своим видом похожа на ландыш, только она побольше, а цветок поменьше. Вкус черемши — вроде бы одновременно лук, чеснок и еще что-то; в ней очень большое содержание всяких витаминов, и во время войны черемша спасала сибиряков от цинги. Едим мы черемшу с хлебом, с солью, прекрасная еда.

Очень много у нас цветов в Сибири. Цветы яркие. Например, купава под Москвой желтая растет. А у нас она уже оранжевого цвета и называется поэтому жарок, огонек, уголек. Сами названия уже такие, что даже хочется сразу стихи сочинять.

Кроме того, есть у нас ветреницы лесные, ветреница весенняя, есть венерин башмачок, она же орхидея, есть кукушкины слезки, в общем, очень много цветов, необозримое поле. Вот у меня сейчас в деревне моей родной есть изба, где я летом живу и работаю. И у меня весь огород засажен дикими цветами. Почти нет садовых, все принесено из леса. И из леса же принесены деревца, и они уже растут...

Деревня Овсянка стоит среди скал, на выносе. Напротив деревни Караульный бык — очень красивая скала. А неподалеку, вверху, одна из прекраснейших в мире рек — это Мана-река. Выше нашей деревни сейчас стоит гидростанция Красноярская.

Леса у нас кругом: сосняки, лиственница, осина, береза. У нас такие светлые боры, и всегда лес растет избранно, как насаженный. Вот если сосняк, то сосняк, рядом осинник, это такая избирательная борьба леса, выросшего в горных условиях. На горах лесу очень трудно расти...

У нас в деревне очень хорошее лесничество, а сейчас в деревне работает еще и детское лесничество. Там ребята учатся в школе и попутно обучаются лесному делу, прямо в лесу. И так хорошо у ребят шли дела, что для них решили построить специально двухэтажную школу лесничих, и строительство ее уже закончено. В этой школе ребята будут учиться с шести лет. Все предметы будут у них там; но уклон особый — знание леса. Они и сейчас много делают. Помечают лес, ведут учет леса. Лес ведь нуждается тоже в учете: который можно срубить, который нельзя, который заболел, и потому его надо выпилить, чтобы другие деревья не болели. Лес — это живой организм, в нем находятся и вредители, он страдает от лесных пожаров и от подземных вод, от осыпей, от оползней. Очень тяжелой жизнью живет лес. И если он нам кажется действительно красивым, то знайте: он тоже употребил много сил, чтобы выжить, существовать. Есть удивительное растение, которое первым поселяется на пожарищах, вырубках, на голых местах. Это Иван-чай. По-научному — кипрей.

Так вот этот Иван-чай интересен тем, что температура в его зарослях, по сравнению с окружающей средой, на полтора градуса выше, он сохраняет специально в своих зарослях тепло. И тепло это не простое, а парное, там, в его зарослях, утренняя роса согревается и становится паром, и от этого пара лучше всходят семена деревьев.

Иван-чай готовит почву для будущих растений, чтобы себя погубить, собою пожертвовать.

А сколько таких секретов у природы, у леса?!
Множество!

И ребята, которые будут учиться в школе лесничих,
все это узнают...»

Астафьев адресует свое описание родного края
детям, поэтому и встает перед глазами картина
безмятежная и радостная. Но это — лишь внешний
покров, под которым скрывается, как мы уже знаем,
куда более сложная гамма чувств писателя.

Глава вторая ОВСЯНКА — ИГАРКА: ШКОЛА ЖИЗНИ

После трагической гибели матери Виктора, Лидии Ильиничны, ее родители — Екатерина Петровна и Илья Евграфович Потылицыны окружили мальчика заботой, старались, чтобы он не чувствовал себя сиротой. Однако мы помним по рассказу «Конь с розовой гривой», что по простоте душевной забыть ребенку о сиротстве не давали окружающие. Тот же дядя Левонтий, ближайший сосед и отец деревенских приятелей мальчика, постоянно устраивающий в своем доме «пир горой», любил посочувствовать горемыке. Бабушка не очень поощряла общение с шумливыми соседями, но если мальчику удавалось ушмыгнуть к ним, его сразу окружали «редкостным вниманием».

«— Выдь отсюда! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы всешки при родителях! — И, жалостно глянув на меня, взреывал: — Мать-то ты хоть помнишь ли? — Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая: — Бадोगи с ней по один год кололи-и-и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь... ночь-полночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит...

Тетка Васеня, ребяташки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня...

Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: „Что такое жисть?!“ После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда... Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу».

Конечно, для рассказа «Конь с розовой гривой» эта сценка — всего лишь эпизод. Основной смысл повествования заключается не в этой деревенской бывальщине, а в конфликте бабушки Екатерины Петровны с внуком Витей, конфликте нравственном, воспитательном.

Бабушка попросила внука набрать земляники, которую она намеревалась отвезти в город и продать, а на вырученные деньги посулила Вите вкусный фигурный пряник. Вместе с ребятами он отправился в лес. Он еще не успел набрать туесок, когда его друзьям надоело собирать ягоды, и они предложили пойти на речку, побрызгаться. Витя противился, но соседский Санька начал его подначивать:

«— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:

— Зато мне бабушка пряник конем купит!..

— Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем? — сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду...

— Слабо! — сказал он.

— Мне слабо! — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо?! — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли...»

Напустив на себя отчаянность, Витя махнул на все рукой — теперь уже все равно — и помчался вместе с левонтьевскими к речке. Наступил вечер, пора было возвращаться домой. Санька подговорил товарища натолкать в туесок травы, а сверху положить ягод. Так мальчик и поступил, «получилось земляники даже с копной...».

Бабушка встретила внука с ласковым причитанием: «Восподь тебе пособил, воспо-дь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу». Она унесла туесок в подвал, еще раз похвалила Витю. У мальчика мелькнуло в голове: а что, если все же открыться бабушке? Но решимости признаться в обмане ему не хватило.

Утром бабушка отправилась в город, а мальчик остался дома и не знал, как ему поступить. Убежать ли к дедушке на заимку, что километрах в пяти от села, в устье реки Маны, или еще что-то придумать?

Он отправляется с ребятами на рыбалку.

«День был ясный, летний... Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким

кружевцем, и, если долго смотреть на него, — кружевце истоньшалось и рвалось.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет да еще дедушка — и все, бабушка только кричит, еще нет-нет да поддаст — у нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду...

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шесты, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.

Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки.

— Ты куда?! Стой! Стой, говорю! — кричала бабушка.

Я мчался во весь дух.

— Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!..»

Мальчик долго слонялся по деревне, не решаясь возвратиться под родной кров. Домой отвела его тетя Феня. Пришли, когда в избе уже не было света.

«Тетя Феня оттеснила меня в сени, втокнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке. Я зарылся в половик, притих, слушая. Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем — не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, наткнутой во все щели и под потолком. Травы эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке...

На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь.

Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках... Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне казалось, что, если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит... Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное.

Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умиловать Господа.

Лишь на шестые сутки бабушку, распутившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосья на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались клочьями на бурьяне, на жердях и на заплатах.

Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили на цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там, в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей, жгучей боли.

Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплестать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах.

Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя: „Нет, не дозваться мне Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река. Близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает...“

А мама и была близко. Ее затащило под сплавную бону против избы Вассы Вахрамеевны, она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились: мама в воде, бабушка на берегу, мучились страшной мукой неизвестно за чьи тяжкие грехи...

Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подрос, что в маленькую долбленную лодку набилось восемь человек отчаянных овсянских баб и один мужик на корме — наш Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой — земляникой, и, когда лодка

опрокинулась, по воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали: „Кровь! Кровь! Разбило о бону кого-то...“

Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой струйкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой о бону была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде, да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного?

Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшего мне в глаза...

Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинута дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота!

На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:

— ...Культурная дамочка, в шляпке. „Я эти вот ягодки все куплю“. Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.

— Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничат! Чё потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел крепко-накрепко сомкнуть глаза.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!..

В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: „А мой-то! Малой-то!“ И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!..

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: „Ничего, дескать, терпи и не робей!“ — да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом, и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.

— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чего голодной-то лежишь? Попроси прошшенья... Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

— Я больше... Я больше... Я больше... — и ничего не мог дальше сказать.

— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка... Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты, Господи! Да чтобы я еще хоть раз сплutowал! Да я...

Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу...

Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась:

— Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не

попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна.

И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую „кривую дорожку“ оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим человеком потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету...

Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив сигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек...

Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, чё смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь баушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой».

Мы так подробно остановились на одном из лучших, ставшем уже классическим, рассказе из повести «Последний поклон», чтобы еще раз прочувствовал читатель всю своеобразную красочность и сочность астафьевского слова, непременно для многих его произведений иронию, стороннюю усмешку, ненавязчивую назидательность.

Писать для детей Виктор Астафьев начал давно, с первых лет своего вхождения в литературу. Но лишь в 1957 году он приступает к циклу рассказов о детской поре от первого лица. «И все-таки цикл этих, автобиографических в своей основе, рассказов, — пишет литературовед А. Ланщиков, — нельзя назвать автобиографией самого писателя, хотя он и предстает в них как бы центральной действующей фигурой. Главными героями этих рассказов являются разные люди, через которых маленький человек открывает и постигает огромный и сложный мир человеческих отношений, где потом ему и предстоит жить.

Вот перед нами кочующий из рассказа в рассказ дядя Левонтий, человек, умеющий заработать трудовую деньгу и умеющий тут же ее с шумом прогулять, а назавтра вновь наброситься на работу...»

Астафьевская память сохранила многие подробности внешне непутевой жизни дяди Левонтия, но в то же время прочным слоем осели в душе писателя воспоминания о неподдельной доброте этого человека, о его сострадании всякому обездоленному. И, конечно, не случайно здесь поставлен вечный «дяделевонтьевский» вопрос: «Что такое жисть?!» Вопрос этот философский вроде бы и не вяжется с деревенским гулякой Левонтием. И не этот ли вопрос мучил всю жизнь самого Виктора Астафьева — писателя, всегда погруженного в поиски смысла человеческого бытия...

В рассказе «Конь с розовой гривой», да и в других рассказах из деревенского детства, Виктором Астафьевым неназойливо преподносится читателю «урок естественной педагогики», который, по справедливому замечанию Ланщикова, стоит многих назиданий и постулатов умозрительной педагогики. Здесь, в родной семье, бабушка наказала внука... добротой.

Еще одна грань душевной мудрости русского человека... Екатерина Петровна знала, что обращается она к чуткому детскому сердцу, способному понять не буквальное значение слов и поступков, а их нравственный смысл. И потом, на протяжении многих лет, этот урок будет отзываться в памяти писателя:

«Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло... А я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой».

В рассказе «Монах в новых штанах» речь идет о том, как ребенок мечтал о новых штанах, которые бабушка обещала ему сшить из купленной материи, или, как тогда говорили, мануфактуры. Однако надежды героя долго не сбывались — бабушка серьезно заболела. Но только ей полегчало, как она принялась за работу. «Кроила штаны бабушка целый день, а шить их принялась назавтра. Надо ли говорить о том, как я плохо спал ночь. Поднялся до свету, и бабушка, кряхтя и ругаясь, тоже поднялась...»

Наконец, штаны были изготовлены, и разряженный герой отправляется к деду на заимку. «Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду».

Но радость героя оказалась скоротечной. Из-за Саньки, который, как мы помним, чуть раньше подбил Витю съесть землянику и положить в лукошко траву,

штаны оказались перемазаны болотной грязью, испорчены. И дело тут, конечно, не в штанах, не в приобретенной вещи, а в участливости и доброте тех, кто скрашивал сиротское детство героя. Для мальчишки, живущего без родителей, большее значение имел сам факт проявляемой о нем заботы, нежели результаты этой заботы. Ему важно было утвердиться в своей полноценности, нужности окружающим. Это хорошо понимали не только дед и бабушка, но и многие другие люди с развитым чувством сострадания и справедливости. А о самих штанах герой подумает: «И шут с ними, со штанами, и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю». Отметим для себя: не «купят еще», а — «заработаю».

Любые вещи, окружающие нас, бездушны сами по себе, но могут оказаться важными, даже бесценными в процессе духовной жизни людей, если в этой жизни найден высокий смысл. Астафьевскому герою запомнились не все пряники, съеденные им в детстве, и не все сношенные им штаны. Ему навсегда врезались в память эпизоды особого духовного контакта, которые в каких-то конкретных случаях могли обрести форму «вещных» отношений, но только форму. Поэтому: «И шут с ними, со штанами...» Поэтому автор и не может забыть бабушкиного пряника — дивного коня с розовой гривой.

Эта идея получает свое развитие в рассказе «Фотография, на которой меня нет». Приехал в село фотограф, чтобы сфотографировать учеников школы первой ступени. Это — огромное событие в жизни села. И так хотелось нашим героям попасть на самое видное место снимка.

«Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет... Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир

прилежанием и поведением, так что рассчитывать попасть в середину снимка было трудно. Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы — люди пропащие... Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о каменя головки санок, коленки посносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу».

Но вот горе-то какое: ночью после таких «подвигов» наш герой серьезно заболел и фотографироваться пойти не смог.

«Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения...

Утром бабушка унесла меня в баню — сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня».

Навестить больного Витю прибежал сосед Санька. И увидев дружка в таком положении, он в знак солидарности с ним мужественно отказывается от предстоящего фотографирования в школе:

«— Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины

проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся!.. Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, а может, и на ахтомобиле заснимемся! Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку».

И эти слова произносит тот самый Санька, который, казалось, столько лиха приносит Витьке с бабушкой...

Но главные герои рассказа «Фотография, на которой меня нет» — не они. Это — двое молодых учителей школы, супруги Евгений Николаевич и Евгения Николаевна, которые, собственно, и пригласили в село фотографа. Учителя, может быть, сами того не ведая, постоянно преподают сельчанам, и детям, и взрослым, главные жизненные уроки — уроки доброты.

...В школу Витя не ходил больше недели. Бабушка лечила и баловала его, давала варенья, брусники, настряпала отварных сушек, которые тот очень любил. Целыми днями сидел внук на лавке, глядел на улицу, куда ходу пока не было. Бабушкины и соседские окна он изучил досконально, но дальше дома тетки Авдотьи ведь ничего не увидишь.

«Какая тоска!..

Но во дворе залился Шарик.

Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. На пороге стоял учитель. Он прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: — На еду уж здоров, вот на работу хил покуда.

Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня.

Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами... А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.

— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть — портфель остался там.

И вот она, фотография — на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская...

В гуще ребят, в самой середине — учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал...

— Ничего, ничего! — успокоил меня учитель. — Фотограф, может быть, еще приедет.

— А я что ему толкую? Я то же и толкую...»

Учителя... Они были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить.

А в какой школе пришлось им начинать работу! В деревенском доме с угарными печами, где парт не

было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал им аккуратно заточенный красный карандаш, и те, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины.

В деревне к семье учителей уважение было всеобщее. Их чтили за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных. К тому же, они были готовы каждому оказать посильную помощь в составлении какой-нибудь бумаги или просто выслушать односельчанина.

Учитель, например, даже имел серьезный разговор с Левонтием. Мы помним, что Санькин отец, когда пьяный, всю посуду перебьет, жене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий вроде бы исправился и каждому встречному и поперечному радостно толковал:

— Ну чисто рукой дурь снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной полюдски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Учителя продолжали утверждать в Овсянке идеалы знания, добра, взаимовыручки и после того, как прокатилась по селу сокрушительная и безжалостная волна раскулачивания. Как-то Евгений Николаевич отправился налегке в город, а возвратился на трех подводах. Много всякого нужного добра он привез для своей школы и своих односельчан.

«В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на

палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было — один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник.

Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату...

Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь».

Когда читаешь повесть «Последний поклон» и перед глазами встает далекое малолетство героя книги, невольно начинаешь все пережитое и увиденное им сравнивать, сопоставлять со своим детством. Именно эта особенность вызывает огромный читательский интерес к циклу рассказов Астафьева. Нравственно-философская основа этюдов о деревенском детстве такова, что мы вправе, как считает А. Ланщиков, говорить о типичности не только героя этой книги, но и тех жизненных обстоятельств, которые нашли в ней свое отражение. О том свидетельствуют и многочисленные читательские письма.

«Вы хотели рассказать о своей бабушке, о своих родных и близких, а рассказали о всех нас, детях и взрослых того времени», — писал автору «Последнего поклона» один из читателей.

Интересно и другое читательское признание: «Хотя моя родина далеко от Вашей и, казалось, мало чем похожа на Вашу (Украина, около Житомира, село

Денеши), но, читая Вашу книгу, я видела свои Денеши, своих родных и своих земляков, так похожих на Ваших...»

Обращаясь к воспоминанию далекой поры детства, Астафьев стремится восстановить обстоятельства того времени, когда проходило первичное становление характеров его сверстников. Нравственный и гражданский фундамент закладывается именно в детстве, и тут вовсе не второстепенное значение имеет, кто, как и о чем говорит, кто при сем присутствует. Создается та духовная атмосфера, погружение в которую рождает надежду на усвоение молодыми опыта, выстраданного старшим поколением.

Оправдывается ли эта надежда?

Жизнь, конечно, намного сложнее умозрительных построений и далека от идеалов, которые из этих построений вытекают. Действительность такова, что все воспоминания читателей о своем детстве, о своих бабушках и дедушках чаще всего расшевеливают в их душах лишь щемящую, сладостную боль. Но — не более того. К огромному сожалению, и это касается не только творчества Астафьева, воспитательная роль литературного произведения, сила примера во многом остаются декларативными, условными, в лучшем случае — точечными.

Вспоминается житейский случай, о котором мне поведал прозаик Сергей Воронин. Он написал небольшой рассказ о матери и отнес его в редакцию молодежной газеты «Смена». Так случилось, что сотрудник сразу взялся пробежать его глазами...

Прочитав текст, журналист вскочил, накинул на плечи куртку и, буркнув автору: «Погоди», скрылся из комнаты. Отсутствовал он минут сорок. Возвратившись в кабинет, пояснил:

— Сейчас забежал к редактору, договорился, что в следующий номер поставим твой рассказ...

— А куртку-то зачем ты надевал? — поинтересовался Воронин.

— А это... значит... я сначала сбегал на почту, отправил своей матери денежный перевод...

Умудренный жизнью писатель так подытожил этот знаковый эпизод своей писательской карьеры:

— Пожалуй, вот этот импульсивный рывок, возникшее чувство стыда у прожженного журналюги перед своей матерью, лучшая награда и за тот рассказ, и за весь наш тяжкий литературный труд.

Да, прочитанный текст пробудил душу, заставил вспомнить собственную забытую мать, но надолго ли этот заряд останется в душе человека?

...Книга рассказов «Последний поклон» прежде всего адресована старшему поколению, успевшему накопить горечь разочарований, постигшему за многие годы бесценность житейской мудрости своих матерей и отцов, дедушек и бабушек, с великой грустью перебирающему в памяти ничем еще не замутненные мечты озорного и неповторимого детства, особенно богатого впечатлениями, если оно проходило в небольшом городке или сельской местности.

«Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой, податливой воде, выбредали из него медленно и бесшумно. Вот он уже по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов плеснулось что-то яркое и празднично заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежниках, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку: „Тить-тить-ти-тирри-и...”

— Что это, баба? — спросил я шепотом.

— Это Зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает».

Рассказы «Зорькина песня», «Запах сена», «Капалуха», возвращающие нас в невозвратный мир детства, можно цитировать до бесконечности...

В сентябре 1932 года Витя Астафьев пошел в первый класс овсянской школы. В упоминавшемся рассказе «Фотография, на которой меня нет» ребята запечатлены возле дома, ставшего для них школой. Для маленького Виктора это был хорошо знакомый дом. Он его помнил с раннего детства — это дом его деда по отцовской линии. Писатель Астафьев рассказ начинает так:

«Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу, *помещавшуюся в бывшем кулацком доме* (курсив мой. — Ю. Р.), взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы».

Именно вот с этим выделенным нами уточнением, что школа помещалась в бывшем кулацком доме, Астафьев публиковал рассказ на протяжении десятков лет. Этими словами он не просто сам себе причинял боль. Надо думать, это была «затесь» внутреннего порядка; он надеялся дожить до того времени, когда сможет дописать рассказ, дополнить его описанием дома семьи Мазовых, который стал сельской школой.

В окончательной редакции рассказа (1996) Виктор Петрович вставил подробное описание дома, в который

его, новорожденного, внесла его мама. Как помним, рожала Лидия своего сына в баньке.

«Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было — не помню. Помню лишь отголоски той жизни: дым, шум, многолюдье и руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к коврику прибитое. Оно внушало почтительный страх...

Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилась ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами — полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору.

Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой, неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в „своем углу“. Она все зимовье прибрала, перемыла, бессчетно белила и подбеливала печку. Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька-навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.

Когда выселили из дома деда Павла с семьей — не знаю, но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов — помню я, помнят все старые люди.

Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были, родственники дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страшась угроз и наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бань, стоек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними „незаметно“ и всех остальных разобрали по домам.

Днем „бывшие“ обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных пополах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой рямнине. Спали вповалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение.

Прошел месяц, другой. Пришла глухая зима, „ликвидаторы“, радуясь классовой победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья или временки, срубленные для летней кухни.

Картошка, овощ, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разная... Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся...

К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда

протапливал печи в домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок.

Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение...»

Астафьев вспоминает, как в его родном доме разобрали перегородки и сделали большой общий класс. После школы было в нем правление колхоза. «Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец, пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят.

Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплывили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили.

Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.

...Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: „Овсянская нач. школа 1-й ступени“. На фоне деревенского дома с

белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит...»

...Так вот вспоминал Виктор Астафьев дом своих дедов по отцовской линии и трагические события в родной деревне в годы раскулачивания. Такими остались в его памяти сверстники, большинству из которых не суждено было пережить военное лихолетье.

Осенью 1934 года в Овсянку вернулся Петр Павлович, отец Вити. Ходил он по селу аки герой. Еще бы! Теперь за его спиной были трудовые подвиги, которые совершал он на одной из главных строек социализма — Беломорско-Балтийском канале. Свидетельством тому стала пара броских значков ударника пятилетки на лацкане пиджака. И получалось, что возвратился он не из мест заключения, а из дальнего, действительно геройского похода. Ну, просто партизан Щетинкин!

Надо полагать, что в местах не столь отдаленных он, по природе талантливый и восприимчивый человек, легко ухватил многое из того, что помогало в трудную минуту отбрезаться от того же милиционера или же заморочить доверчивому человеку голову, взять неискушенного деревенского жителя, как говорится, на арапа. Умел он употребить в своем общении с земляками модные словечки, которыми пестрели виденные им плакаты о текущем моменте, внутреннем и международном положении. К тому же оставался он столь же резв и весел, как и в былые годы, по-прежнему любил шикануть и пыль в глаза пустить, но теперь уже как представитель трудового пролетариата.

В общем, прибыл он домой не как бывший зэк, а как прославленный строитель светлого будущего и... завидный жених. В деревне Бирюса он быстренько сосватал себе молодую и красивую девушку из большой

семьи Черкасовых. Таисии Ивановне, его избраннице, в ту пору исполнилось всего 20 лет.

Умение Петра Павловича приподнести себя произвело впечатление на бабушку и дедушку Вити, сказалось на их отношении к зятю. Екатерина Петровна и Илья Евграфович Потылицыны отпускают своего внука жить с вновь обретенным папой, хотя сердце у них и исстрадалось при принятии такого решения. Но как можно устоять перед напором такого блестящего, вернувшегося буквально с того света зятя! С таким деловым отцом мальчишка никак и ни при каких обстоятельствах не пропадет.

Петр Павлович устроился в сплавную контору и вместе с семьей переехал на лесоучасток Сосновка, в верховья реки Маны. Мальчика забрал с собой — в помощники. Семья пережила здесь жуткую зиму. Вите пришлось прервать учебу, поскольку нигде поблизости школы не было. Единственной для него радостью стало чтение единственной книги, которую он нашел в одном из закутков конторы. У книжки не было ни обложки, ни начальных страниц, но она сослужила ему добрую службу, помогла пережить трудные дни и часы. Десятки раз перечитывал ее Витя. То были «Приключения Робинзона Крузо» Даниеля Дефо. Эту повесть и ее автора Виктор Петрович не раз вспоминал в течение всей жизни, когда заходила речь о роли книги в его судьбе.

Как-то и у меня с Виктором Петровичем зашел разговор о чтении, и я поинтересовался, может ли он вспомнить и назвать первые свои прочитанные книги.

— Самые первые — это «Кавказский пленник», «Дед Архип и Ленька», прочитанные нам, первоклассникам, на уроках учителем Евгением Николаевичем. Читал он нам и еще многое другое, но память сохранила впечатление только об этих двух произведениях. Большое влияние на меня оказали не только сами

книги, но и их создатели — писатели, мне они как-то сразу стали интересны.

А вот первой самостоятельно прочитанной мною книгой стал «Робинзон Крузо». Случилось это как бы нечаянно. Когда я закончил первый класс, отец женился. Он увез мачеху и меня в далекий таежный поселок. Школы там не было. Вскоре отец заболел, вообще не до меня стало. Чтобы как-то меня занять, отыскивали несколько книг. Но детская оказалась только одна — «Робинзон Крузо». Да и та — весьма затрепанная, без начала и конца. Всю зиму читал ее по складам. Но именно она стала первой моей настоящей книгой, которую сам прочел.

До сих пор мне кажется, что нынешний «Робинзон Крузо» не похож на того, что достался мне в детстве. Та книга гораздо интересней, страшней. Помню до сих пор тот ужас, который охватил меня в эпизоде, где описано появление на острове людоедов. Удивительное творение человеческого духа! Конечно, чтобы не ослабло первоначальное впечатление, не стоило мне позже перечитывать историю Робинзона.

Как-то, ближе к весне, получил от кого-то из мужиков, появлявшихся в поселке, в подарок «Рыжика» Свицкого и «Школу» Гайдара...

Там, в Сосновке, у молодой семьи Астафьевых, Петра и Таисии, родился их общий первенец Николай. Средств для нормальной жизни им катастрофически не хватало, и Петр Павлович решив, что клин клином вышибают, предпринял еще один рискованный шаг. В надежде на большие заработки он вербует в Заполярье. Все семейство отправляется вниз по Енисею, в Игарку...

История порта Игарка, расположенного на краю земли в зоне вечной мерзлоты, неподалеку от Северного Ледовитого океана, к тому времени еще только начиналась. Начало это странным образом

оказалось связанным с пароходом «Тобол». Однажды пароход вел вверх по Енисею караван лодок, груженных рыбой. К югу от устья Курейки Енисей на протяжении многих километров течет практически ровно с юга на север, и накладывающийся на течение северный ветер временами поднимает особенно высокую и коварную волну. Для каравана баркасов возникла опасность быть потопленным.

Капитан П. Ф. Очеретько в попытке найти спасительный выход попытался укрыться за ближайшим мысом. Зайдя за мыс, что напротив игарского зимовья, капитан увидел широкую протоку со спокойной водой. Прежде енисейские речники не заходили сюда, не было в том надобности.

«Тобол» был гидрографическим судном, обычно промеряющим судовой ход и переставляющим бакены и створы. После промера глубин (десятиметровый лот практически нигде не коснулся дна), замера скоростей течения, исследования ветроволнового режима в Игарской протоке капитан убедился, что открытое им место весьма удачное, надежно защищено от шквалистого ветра. По возвращении в порт приписки им было дано предложение в Енисейское речное пароходство о строительстве морского порта в открытом им районе.

Место и в самом деле оказалось идеальным для сооружения большого порта, переваливающего лесные грузы с Ангары и Нижней Тунгуски на суда морского типа, которые по Енисею легко могли подняться до удобного причала. Вскоре, в 1927 году, на правом берегу Енисея начались предварительные работы — здесь строили первые дома, склады и пристань. Старое игарское зимовье, стоявшее на противоположном, левом берегу Енисея, оказалось заброшенным. Кстати, само происхождение названия порта идет от имени

Егорка. Так звали рыбака Егора Ширяева, чье имя местные жители переименовали на свой лад.

Порт Игарка начал стремительно развиваться в 1929 году. На его строительство отправляли десятки тысяч спецпереселенцев. Их руками были построены рыбопромышленный комбинат и судоремонтная верфь, лесоперевалочный комбинат, в составе которого работали четыре деревообрабатывающих цеха. Ехали сюда и вербованные в надежде заработать хорошие деньги, а возможно — и обосноваться на новом месте.

1931 год — рождение города Игарка. Он расположился на берегах Игарской протоки Енисея, в 163 километрах к северу от Северного полярного круга, примерно в 1800 километрах от Красноярска.

Поначалу морские суда загружались в Игарской протоке с плотов, а после ввода в строй лесоперевалочного комбината — с его береговых складов. Дома здесь строились в основном деревянные, но в то же время на высоком холме возвели грандиозный каменный Дом культуры. В 1937 году в городе открылся Государственный Заполярный театр имени В. Н. Пашенной — знаменитой актрисы театра и кино.

Здесь также своя история. Летом 1936 года в Игарке выступали столичные артисты, в основном из Большого и Малого театров. Творческий коллектив возглавляла как раз Вера Николаевна. 25 июля на площади перед зданием горсовета вся Игарка собралась на заключительный концерт известных мастеров сцены. В тот день решением местных властей одна из главных улиц города стала именоваться улицей Большого театра, а потом и городскому театру, в создание которого Пашенная вложила немало сил, было присвоено имя народной артистки СССР.

По-настоящему всколыхнуло Игарку принятое в 1949 году высшим руководством страны решение

соорудить здесь торговый порт и военную базу для обслуживания Севморпути — Мурманск и Архангельск находились слишком близко к западной границе страны и в случае возможной агрессии могли быть парализованы противником. Грандиозные масштабы приобрело сооружение полярной магистрали Салехард — Игарка, известной как «Мертвая дорога». Ее возведением занимались управления № 501 и 503 Главного управления лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР.

В Игарке размещалось управление стройки № 503, работавшей на восточной половине магистрали — от Енисея до реки Пур. Размещение инженерного и управленческого штата дало толчок к росту города. Для прибывавших заключенных соорудили три лагеря (их остатки и сейчас можно увидеть недалеко от Игарки). Впоследствии управление строительством перевели в Ермаково, где железная дорога должна была пересекать Енисей.

К весне 1953 года строителям удалось уложить рельсы от Игарки до берега Енисея напротив Ермаково, а также от Ермаково до Янова Стана. Но после смерти И. В. Сталина громадное строительство, на котором работы были завершены на две трети, сначала законсервировали, а потом и вовсе свернули. С этого момента начался медленный упадок города.

В конце 1970-х годов была построена железная дорога от Ачинска на север, практически до Енисейска. Там возникли новый порт и город Лесосибирск. Перевалка лесных грузов постепенно смещалась туда.

В 1970—1980-е годы в Игарке на лесоперевалочном комбинате перерабатывали и отгружали экспортного пиломатериала до одного миллиона кубометров в год. Продукцию комбината каждую навигацию вывозили десятки морских судов. Лесоматериал доставлялся сплавом по Енисею.

В 1990-е годы экономика Игарки рухнула. Лесоперевалочный комбинат был закрыт, а порт стал влачить жалкое существование — в последние годы в Игарку заходило всего по несколько морских судов в год. Жителей старой части города, застроенной деревянными домами необычной архитектуры («сталинское барокко» в дереве), постепенно выселили в новый микрорайон, а сами дома постепенно разобрали на дрова. Сейчас здесь проживает менее семи тысяч человек.

В 130 километрах на северо-запад от Игарки находится активно разрабатываемое Ванкорское нефтегазовое месторождение. В августе 2009 года месторождение дало промышленную нефть. В 80 километрах на северо-восток от Игарки расположена Усть-Хантайская гидроэлектростанция, а в 90 километрах на юго-восток — Курейская ГЭС.

Но вернемся к началу 1930-х годов...

Сюда, где в ссылке хватили лиха старшие Астафьевы, навстречу «новым возможностям», которые сулило большое дело — строительстве морского порта в Игарке — и устремился Петр Павлович. С собой он потащил и семью — Таисию с новорожденным Николаем и Виктора.

«Первый раз в северную сторону я плыл на пароходе „Ян Рудзутак“... В годы великих строек на этом же судне, как свидетельствуют бывшие многочисленные советские невольники, и в частности старейший наш писатель Олег Волков, — „человеческий материал“, в том числе и политзаключенных, возили уже насыпью в железных трюмах, пропахших соленой рыбой, и, случалось, трусливый конвой до самой далекой Дудинки, расположенной на высоком и воистину „диком берегу“, не выпускал подконвойных на воздух... В ту пору „Ян Рудзутак“ отапливался дровами, и был он

весьма прожорлив: сутки шел, полторы забивался дровами, так что времени полюбоваться природой и ознакомиться с жизнью северной стороны было вдосталь. Увы, тогда, в середине тридцатых годов, северные приенисейские земли выглядели более обжито и возбужденно, нежели нынче...» — так писал в одном из своих позднейших очерков Виктор Астафьев о своем первом хождении в Игарку.

Вспоминая ту пору жизни, Виктор Петрович бывал резок, с горечью говорил о страшной жизни, на которую обрек семью его легкомысленный отец. К тому же отношения с новой семьей у него никак не складывались. Мачеха должного внимания ему не уделяла, отца он тоже мало интересовал. С родней более старшей — осевшими в этих местах дедом, бабушкой из Сисима и дядьями, которые в ту пору были чуть старше самого Виктора, он тоже не нашел контакта. Впрочем, спец-переселенцы были людьми с ограниченными правами, возможно, они и не могли, если бы даже захотели, хоть как-то поучаствовать в судьбе мальчика.

Виктор Петрович оставил описание двухэтажного барака, предназначенного для спецпереселенцев, в котором ютилась и их семья. «У входа в наше перенаселенное жилище всегда лежали две маты, сплетенные из березняка, два голяка, два крепких скребка. Сортир, конечно, общественный по двенадцати очков в ряд для каждого пола. Были очереди. Тихо и мирно стояли, переговаривались. Сам сортир всегда был помыт, никакой вони; коридоры на этажах выскоблены. За порядком следили, хотели остаться людьми...»

О той поре своей жизни Астафьев рассказывал чаще с болью и горечью, особенно когда речь шла о его собственной судьбе, отношениях с родней. Он вошел в

тот подростковый возраст, когда всё воспринималось особенно остро и напряженно. По сути дела, брошенной семьей мальчик фактически оказался на улице, долго беспризорничал, потом попал в детдом.

И вот этот свой детский дом он вспоминал с большой теплотой. Именно в нем он встретил людей, которые довольно сильно повлияли на его отношение к жизни, к самому себе, своему будущему. В беседах со мной Виктор Петрович нередко заводил о них разговор:

«Главное богатство моей жизни — люди, и на учителей мне повезло. Встречались люди огромной культуры. Например, Игнатий Рождественский, о котором я тебе не раз упоминал.

Другой наставник — бывший белогвардеец, штабс-капитан Соколов. В колчаковском войске сопровождал золотой эшелон. А в советское время служил кладовщиком, воспитателем. Позже стал руководить детдомом, умер директором школы на острове Полярный, это недалеко от Игарки».

Интерес ученика к своим учителям был взаимным. Рождественский и Соколов смогли рассмотреть в деревенском впечатлительном мальчишке ту искорку, которую дано увидеть не всем окружающим, которая рано или поздно пробуждает в человеке качества неординарного свойства. И, будучи педагогами от Бога, они старались сделать так, чтобы не дать ей со временем угаснуть.

С Игнатием Дмитриевичем Рождественским Астафьев продолжал знакомство на протяжении всей жизни, не только рассказывал, но и много писал о нем:

«В тридцатых годах в далекой заполярной игарской школе появился высокий чернявый парень в очках с выпуклыми стеклами и с первых же уроков усмирил буйный класс 5-й „Б“, в который и заходить-то некоторые учителя не решались. Это был новый учитель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич

Рождественский. Почти слепой, грубовато-прямолинейный, он не занимался нашим перевоспитанием, не говорил, что шуметь на уроках, давать друг другу оплеухи, вертеться, теребить за косы девочек — нехорошо.

Он начал нам рассказывать о русском языке, о его красоте, богатстве и величии. Нам и прежде рассказывали обо всем этом, но так тягуче и скучно, по методике и по правилам, от-куда-то сверху спущенным, что в наши удалые головы ничего не проникало и сердца не трогало.

А этот учитель говорил, все больше распаляясь, читал стихи, приводил пословицы и поговорки, да одну другой складнее, и, дойдя до слова „яр“, усидеть на месте не мог, метался по классу, горячо жестикулировал, то совал кулаками, как боксер, то молитвенно прижимал руку к сердцу, умиряя его и себя, и выходило, что слово „яр“ есть самоглавнейшее и красивейшее слово на свете и в русском языке, ведь и название городов — Ярославль, Красноярск — не могло обойтись без „яра“, и берег обрывистый зовется яр, да и само солнце в древности звалось ярило, яровое поле — ржаное поле, яровица, ярица, которую весной сеют; ярый, яростный человек — вспыльчивый, смелый, несдержанный, а ярка, с которой шерсть стригут?..

Словом, доконал нас учитель, довел до такого сознания, что поняли мы: без слова „яр“ не то что ни дыхнуть, ни охнуть, но и вообще дальше жить невозможно...

Не выговорившись, не отбушевав, наш новый учитель не раз потом возвращался к слову ЯР, и думаю я, что в не одну мою вертоголовую башку навечно вошло это слово, но и другие ученики запомнили его навсегда, как и самого учителя, и его уроки, проходившие на вдохновенной, тоже яростной волне.

Учиться нам стало интересно, и вконец разболтавшиеся, кровь из учителей почти до капли выпившие второгодники и третьегодники... подтянулись и принялись учиться подходяще и по другим предметам.

Я сидел в пятом классе третий год по причине арифметики, поскольку уже год или больше сочинял стишки, четыре строчки из моих творений уже были упомянуты в газетном обзоре творчества школьников, считал, что поэту эта надсадная математика совсем ненадобна, что поэт волен, как птица, и всегда должен быть в полете, а в полете и вовсе скучные науки, как та же математика, химия или физика с геометрией — лишний груз...

Зато уж по русскому и по литературе я из кожи лез, чтобы только быть замеченным, а однажды и отмеченным был нашим любимым учителем, которого мы не без оснований называли малохольным, вкладывая в это слово чувство нежности, на каковую, оказалось, мы были еще способны.

„Очарование словом“ — не сразу, не вдруг определил я чувство, овладевшее нами, учениками школы, где большая часть из нас были из семей ссыльных, привезенных сюда умирать, ан не все вымерли, половина из них строила социализм, пилила и за границу отправляла отменную древесину, добывала валюту в разворованную российскую казну, а нарожавшиеся вопреки всем принимавшимся мерам живучие крестьянские дети наперебой учились грамоте и родному языку...»

Как-то в разговоре с Виктором Петровичем я решил все же более четко уяснить для себя педагогические секреты Игнатия Рождественского и попросил его поподробнее рассказать, в чем же все-таки заключались главные воспитательные приемы учителя.

Он помолчал, словно подбирал в уме самые точные слова, чтобы я смог его понять...

— В требовательности и человеческом внимании. Внешне он бывал даже груб. Но, во-первых, время было таким. Во-вторых, и мы тоже были не смолянками. Но суть в другом: та грубость не касалась его существа. Просто в такой форме подачи он старался докричаться до нас, как бы разбудить к сомыслию.

Помню, для знакомства Игнатий Дмитриевич заставил нас по очереди вслух читать «Дубровского». Почти все бубнили невнятно, спотыкались. По ходу чтения почти для каждого ученика приговор безапелляционный звучал. «Болван! Дубина! Кто тебе отличные оценки ставил? Тебе во втором классе учиться!..» И так каждому, каждому. А в итоге говорит: «Только один парень из вас читает ничего, прилично...»

А парень этот — я! Первый раз меня кто-то похвалил! Дальше уж я на его уроках — из кожи лез. Впрочем, и другие ребята тоже. Я же на уроках у него стал завзятым чтецом.

Между тем к тому времени, как мы встретились, я сидел третий год в пятом классе. Из-за арифметики и других точных наук. Зато история, литература, русский язык, география у меня шли прилично. Но естественные предметы не давались — даже посредственных оценок по ним не имел. Он как-то сказал мне: «Вроде у тебя есть некоторые данные, способности... Вон уже и ловеласничаешь, совсем скоро взрослым станешь. Подумай и задумайся над своим будущим. Ведь если тебя недоучкой из детдома шуганут, чего делать-то будешь, как выкрутишься?..»

Я его услышал и вроде как испугался за себя. Он это увидел и оценил.

По его поручительству меня из пятого в шестой класс пересадили. Стал налегать, стараться. Учителя это заметили и, видя мое желание «выпутаться»,

начали помогать, тянуть. Ну и вытянули и в геометрии, и в физике меня на «трояки». Шестой класс я закончил.

Вот и получается, что по-настоящему я учился только в первом и шестом классе. И там, и там, как полагается, по году. И там, и там — встретил заинтересованность во мне учителя. В остальных классах сиживал по два года, потому и освоил за десять лет всего лишь шесть классов.

— Но секрет-то, секрет Рождественского в чем?

— Повторяю тебе, он был придирчивым, легко взрывался до ругани, но воспринимал нас людьми себе равными. Мы все это понимали и ценили. Он ругался от равнодушия, он как бы был в нас, в судьбах наших заинтересован.

Ну, как бабушка — ругается, она ведь не со зла. И наказывает даже, но из чувства справедливости, желая внуку ума-разума... Он стал тоже родным нам человеком. И Соколов также к нам был настроен.

Конечно, имели значение и обстоятельства севера. Длинная зима, податься некуда; город, заваленный снегом. Жили от парохода до парохода, то есть от июня одного года до июня другого. Самолеты летали только почтовые, связи с Большой землей нет.

А специфика северных школ в тридцатые — крепкие учителя из числа ссыльных или скрывающихся, недобитых интеллигентов. Выживали вместе. Ребятишки и взрослые в школе весь день, увлечены каким-нибудь творчеством. Шутка ли, даже фотодело желающие осваивали. За свои рассказы и «исключительные артистические способности» я был призван в драмкружок. Впервые тогда я переступил порог Дворца пионеров. Правда, учитель слово с меня взял, что на учебе мои театральные увлечения не отразятся.

Впервые рояль увидел там, во Дворце пионеров. Меня потрясла сама его внешняя фактура. Я погладил

его. А когда на нем заиграли, чуть не умер от разрыва сердца. Как много густого, сочного звука!

— Вы и на сцену выходили?..

— Да ты мне не веришь, что ли?!.. Все это правда, все было на самом деле! В «Недоросле» я играл Скотинина. Для чистоты образа мне подушку привязывали на пузо. Играл с успехом! Потом приятели до конца учебы звали меня «Скотиной», а я, довольный, на театральное свое имя откликался.

Потом вдруг к театру охладел, захотел учиться на балалайке. Две пьески разучил — опять погас. Перекинулся на гармошку: две плясовые освоил и забросил. Так вот меня пошатывало. Но, правда, чтению никогда не изменял.

— То есть вы фонвизинский текст разучивали наизусть и его произносили со сцены?

— Ну, все это, естественно, по-мальчишески. Текст знал, но не буквально. Я привирал, присочинял ребятам на потеху, им особенно веселыми казались мои импровизации.

Жалко, что реплик своих, сочиненных под Фонвизина, не помню, сейчас бы тебе воспроизвел.

— Выходит, у вас были актерские данные?

— Скажу тебе, не хвалясь, ребята неистовствовали. Впрочем, нам-то лишь бы баловать, не учиться. Да и радости не так много было в той жизни.

Находились в весьма суровых условиях. Улицы завалены снегом, деваться некуда. Это принуждало к активности, к поиску занятий, развлечений внутри своего школьного, интернатовского коллектива.

Однажды затеяли рукописный журнал. Кто сшивает и клеит, кто сочинять может — пишет, редактирует. С рисунками журнал делали. Вступили в переписку с самим Роменом Ролланом, с Горьким... В том журнальчике и состоялась моя первая публикация.

— А как это происходило?

— Игнатий Дмитриевич предложил нам сочинение о коротких летних деньках. Я рассказал на уроке, как в лесу бродил. «Годится?» — спрашиваю. «Стоит попробовать», — согласился учитель. Да, заблудился я тогда капитально. Но папа мой с мачехой даже в сельсовет не заявили о пропаже сына. Четверо с половиной суток таскался я по полярной тайге. Тяжело пришлось. Если кто прочитает сейчас об этом в «Васюткином озере» или в «Царь-рыбе», то подумает: автор все выдумывает. Отнюдь!

То, что мне писатель поведал, он более обстоятельно описал в своем очерке «Подводя итоги». В тот день, когда писалось сочинение, Игнатий Дмитриевич сам был в творческом воодушевлении. Дав ученикам задание, он тоже уселся за свой стол и уткнулся в рукопись. Некоторое время ребята с любопытством наблюдали, как он мгновенно углубился в свою работу. Что-то поправлял и вписывал, а то вдруг черкал и даже вскакивал и ритмично вышагивал по комнате.

— Сочиняет! Тоже сочиняет, — прошелестело по классу. И ребята, воодушевленные столь поразительным наглядным примером, рьяно бросились догонять своего учителя.

Витя решил описать случай, который с ним произошел летом, когда он заблудился в заполярной тайге между станками Карасино и Полоем.

«Весной (1992 года) я пролетал на вертолете над теми местами, где блуждал, — писал Астафьев в 1996 году, — и убедился, что мои прежние утверждения, будто я вел себя в тайге умело и стойко, потому и спасся, — самонадеянны и ничего не стоят. В этой тайге самому спастись, да еще будучи мальчишкой, — невозможно, только Господь Бог может тут спасти, что он, Милосердный, не раз и делал в моей жизни.

Как бы там ни было, я поблуждал по страшному Заполярью и уцелел, и свое сочинение так бесхитростно, прямолинейно и назвал: „Жив“.

Никогда я еще не старался, не работал с такой любовью, как в тот раз.

И вот снова урок литературы. Игнатий Дмитриевич раздает тетради с сочинениями, кого бранит, кого похваливает. Тетрадей на столе все меньше, меньше, вот голубеет и последняя, — „Моя!“ — екнуло и замерло сердце в моей, уже много страдавшей груди. Учитель бережно взял тетрадь, развернул ее и начал читать мое сочинение вслух. Затем поднял сочинителя с места, долго, подслеповато всматривался в него и сказал: „Молодец!“»

Надо ли говорить о том, что эта похвала дала новые силы подростку.

— Та рукопись едва ли сохранилась? — поинтересовался я у Виктора Петровича.

— Куда там! Даже ни одного оригинала журнала не сберегли, все сгорело. Жаль! Ведь и оригиналы писем в школу знаменитых литераторов также погибли. Уже теперь, на встречах с воспитанниками довоенной Игарки и учителями, говорю: «Что ж вы так-то с письмами самого Горького?!» — «Вот не уберегли». В голове не укладывается, нет! Зато в случившемся пожаре спасали бумажные портреты Ленина... Сдались они кому?.. Не было понимания, да и сейчас тоже.

Зато в результате творческих усилий школьников и их учителей в Москве в 1938 году вышла настоящая книга. Называлась она просто «Мы из Игарки». Удивительно, что одного из авторов этой книжки звали Васей Астафьевым, но он был лишь однофамильцем Виктора.

Журналистка Оксана Булгакова нашла архив той давней книги — рукописные материалы, которые легли в ее основу, а также разыскала участников альманаха,

бывших школьников Игарки. Встречаясь уже в зрелые годы, они практически все добрым словом вспоминали Игнатия Рождественского:

«Да, худ был, и слабоват, и в очках с толстыми стеклами, а на охоту с нами ходил, по кочкам болотным ползал. Он у меня классным руководителем был, а Миша у него в кружке литературном занимался. Он на охоту нас водил не для того, чтобы стрелять, а чтобы научить видеть красоту. „Мы с собой-то, кроме ружей, фотоаппараты брали“, — говорит один. Другой тут же старается дополнить портрет:

— А как Пушкина, Лермонтова читал! Не то, что стихи, — прозу до сих пор помню наизусть. Завораживал нас. Не хочешь, а полюбишь литературу. Он ведь и сам стихи писал: о нас, об Игарке, о Заполярье. Вот и писатель Виктор Астафьев у него учился — в одном классе с моим братишкой Виталием Калачинским. Это он о Рождественском отличные слова потом написал: „Не всякому дано учиться у такого преподавателя, не всякому дано иметь такого старшего друга... Ведь очень легко и просто сказать детям, будто Буревестник Горького — это революционер, а пингвин — буржуй. Гораздо труднее разбудить в сердцах ребятишек любовь к этому Буревестнику, дать крылья и мечту к полету, бесстрашие к бурям“».

Дотошная журналистка добралась и до Виктора Петровича, встречалась с ним в начале 1980-х годов в Овсянке. Натолкнуло ее на мысль встретиться с писателем письмо из Барнаула, полученное от «девочки из книжки» Жени Хлебниковой, которая сама «ничего выдающегося в жизни не сделала, но всю жизнь (44 года!) честно и добросовестно трудилась». — «Читайте „Кражу“ Виктора Астафьева, — посоветовала она О. Булгаковой, — вы увидите наш класс и нас в те годы».

К встрече с журналисткой писатель приготовил старый альбом, большинство снимков которого пожелтели от времени. В нем — родня прозаика, а также те люди, с которыми ему привелось встречаться в юности.

«На пожелтелых снимках, — пишет О. Булгакова, — нет ни Ильки из „Перевала“, ни Толи Мазова из „Кражи“, ни Вити Потылицына из „Последнего поклона“, а есть другой мальчишка, многим, правда, смахивающий на них, — ученик 5 класса „Б“ игарской школы № 12, что над Медвежьим Логом, Витя Астафьев.

Вот сорвавшись со своей, „последней парты возле печки-голландки“, сбежав от закадычного друга Мишки Шломова, втиснулся он с книжкой в руках в самую середину литкружковцев, поблизости от учительницы: пай-мальчик, тихоня, да и только. Мгновение остановилось, а хитрован-мальчишка понесся дальше наводить страх на мальцов и бесшабашно озорничать.

Нина Владимировна Якутович, учительница с этой фотографии, прислала писателю свой альбом, со страниц которого глянули на него дети в бедных, застиранных одеждах. Он стал узнавать забытые лица друзей отрочества, деревянное, убогое по сегодняшней мерке, барачное житье, в котором они обитали... И все это вместе взятое тем не менее породило в нем добрый отклик о трудной юности, что протекала на краю земли в Игарке, где ребятишки неводили рыбу, добывали куропаток, копали грядки в тундре, помогали взрослым на лесобирже и в порту..»

— Почему-то среди критиков принято, — рассказывал гостю Астафьев, — жалеть меня в связи с выпавшим-де мне на долю трудным детством. Меня всегда это раздражает. Более того, — и я об этом уже писал — если бы дано мне было повторить жизнь сначала, я выбрал бы ту же самую, насыщенную событиями, радостями, победами и поражениями. Они

помогают обостренной видеть мир и глубоко чувствовать доброту. Лишь одно хотел бы я изменить: попросил бы судьбу оставить со мной маму.

Помолчав, он продолжает:

— Беспризори́чество. Сиротство. Детдом-интернат. Все это пережито в Игарке. Но ведь были и книги, и песни, и походы на лыжах, и детское веселье, первые просветленные слезы.

Игарка далась мне тяжело, но и дала немало... Там я впервые услышал, например, радио, патефон, духовой оркестр, пианино, прокатился на велосипеде. Впервые увидел полярное сияние, оленей, нарты, испытал себя на собачьей упряжке. А на районной олимпиаде меня однажды премировали настоящими финскими лыжами.

Наконец, именно в Игарке я написал свой первый рассказ «Жив», который учитель литературы И. Д. Рождественский поместил в школьный рукописный журнал. А в газете «Большевик Заполярья» даже опубликовали мое четверостишие...

— А почему вас нет в книжке «Мы из Игарки»? — поинтересовалась собеседница.

— Наверное, в авторы отбирали положительных и дисциплинированных. К тому же я в ту пору ногу сломал...

Итак, в середине 1930-х годов школьников Игарки увлекло сочинительство, а учителя умело подпитывали этот интерес. Буквально каждый класс имел свой рукописный журнал.

Кстати, от Астафьева мне доводилось слышать, что, несмотря на все бытовые тяготы Игарки, свой самый счастливый день он пережил именно там. Вот и журналистка О. Булгакова пишет, со слов Виктора Петровича, буквально то же самое.

Что же это за день такой?

В повести «Кража» есть эпизод, в котором продрогший, голодный мальчишка на случайно

попавший к нему рубль покупает билет и попадает в кино на «Большой вальс». Музыка Штрауса, высокое искусство растопили душу и вытаяли светлые слезы добра. На экране разыгрывалась чужая, нарядная, восхитительная, даже в снах не пережитая жизнь, такая далекая от детдомовской, а в зале сидел забытый, не нужный никому мальчик и навзрыд плакал от света, добра, горя и счастья.

Спустя десятилетия в лирической миниатюре «Счастье» из цикла «Затеей» снова всплывает эпизод с «Большим вальсом», дополненный сюжетами о значимом месте фильма в судьбе автора и рассказом о Милице Корьюс, талантливой русской девушке, ставшей звездой Голливуда.

Возможно, что именно под впечатлением своих воспоминаний, бесед с О. Булгаковой о своем детстве Астафьев не только перечитал старую книжку «Мы из Игарки», но и подготовил в 1987 году небольшую статью в качестве предисловия к ней. В частности, он писал:

«Трудно строился город на вечной мерзлоте, трудно складывались судьбы людей, трудно давался каждый шаг, каждое строение, каждый кубометр экспортной древесины. В первые годы косила людей цинга, морозы доводили первопоселенцев до отчаяния, и много их легло в неглубокие холодные могилы Заполярья. Но дом за домом, улица за улицей, ощупью, с оглядкой на прошлые ошибки, накапливая опыт строительства и совместного житья разноязыких народов, зачастую приплывавших сюда не по своей воле и охоте, возводился новый заполярный город — один из первых в стране.

С самого очень трудного начала строительства царил в городе дух какой-то, ныне уже и не всеми понимаемой бодрости, коллективизма, взаимовыручки. Первопоселенцы рассказывали, что сначала складывали

печи из кирпича, выжигаемого на кирпичном заводе в Медвежьем Логу. Над печью делали козырек из горбыля, чтоб не мочило стряпух, потом к столбикам прибавляли тесины с одной стороны, подумав, прибавляли и с другой, третьей, четвертой, еще подумав, засыпали меж стен опилки, прорезали окно одно, другое, — и вот оно, жилье, пусть и временное, уже готово. Главное было сложить печку. Работники кирпичного завода работали круглыми сутками и семьями здесь, на кирпичном заводе и жили; ребяташки, а их в крестьянских спецпереселенческих семьях было, как луковиц в связке, очень любили спать в сушильных жарких цехах, возле горячо пыхающего кирпича.

В праздники недавние крестьяне, отделавшись от испуга и неразберихи, немножко обжившись на далеком, болотистом берегу, охотно справляли и старые, и новые праздники; под козырьками, в сараюхах, насыпных строениях с односкатной крышей, звучали гармошки, песни, гулялись свадьбы, справлялись поминки, складывались новые семьи и новые человеческие отношения.

Непростые, надо заметить, отношения, как в социальном, так и во всех других смыслах. Была комендатура, были комендатурские работники, возникли столовые, магазины, управления, которые назывались „комендатурскими“. Даже после того, как сама комендатура исчезала и заведения общепита получили порядковые городские номера, народ продолжал их именовать первоначальными и поныне кой-кому коробящими чуткое, „нежное“ ухо названиями.

В этом городе труд был воистину всему голова! Он объединял, он спасал, он помогал сплочению и дружбе. К счастью, „отцам“ молодого города не пришло в голову разделять детей с помощью спецшкол и каких-либо других сверхмудрых учебных и административных заведений и организационных мероприятий. Жили,

учились и работали все вместе. Теснота города, длинная-предлинная зима, общность интересов объединяли людей.

Рабочих рук... в период навигации не хватало, на помощь приходили все: домохозяйки, старики, дети работали на бирже, на причалах, на заводах, и многие подростки к шестнадцати годам уже имели погрузочную или лесопильную специальность. Заработки по тем временам... были хорошие, и хотя взыскивались со спецпереселенцев всевозможные, порой совсем уж хитроумные налоги, народ, пусть и тесно живущий, обзаводился имуществом, одеждой, предметами культуры и быта, во всех почти... бараках звучало радио, патефоны, появились велосипеды, швейные машинки. К концу тридцатых годов были выведены здешние сорта картофеля и овощей, увеличился завоз продуктов, почти полностью была изжита цинга.

В эту же пору в Игарке появился драмтеатр, возглавляемый „аргонавтом искусства“ Верой Николаевной Пашенной, и хотя население города долгое время не превышало десяти тысяч, в театре никогда не было свободных мест; впрочем, и кинотеатры ломались от зрителей. Здесь жило какое-то жадное, непоборимое стремление к общению, содружеству, творчеству.

Игарские ребята — это особая статья... Много их потом пало на войне, иные уже покинули земные пределы, исчерпав сроки жизни. Но те старики, что еще живы, чаще всего вспоминают, как, придя на лесозавод, часами простаивали у пилорам, не ощущая мороза, не отрываясь, смотрели, как механические пилы, струя опилки вниз, где их сгребали в специальные ящики и на конях свозили на свалку, кроили бревна на доски. Рабочие, накатывая баграми бревна на блестящие ролики, отбрасывая горбыль и обрезь — „макаронник и

торец“, трудились молча, споро. Никогда они не прогоняли ребятишек, замороженно слушающих звон пил и аханье тяжелых механизмов, хотя кругом висели упреждения типа „Посторонним вход воспрещен“, „Не стой возле пилорамы“, — потому как не было в Игарке „посторонних“, все были свои в „доску“, и мужики только для порядку прикрикнут, бывало: „Орлы! Не курите тут!“ или нос у какого-нибудь „орла“ утрут рукавицей, расхохочутся и работают дальше. Иногда и по двенадцать часов, потому как зимой из-за совсем непереносимых морозов случалось немало „активированных“ дней, а план — он не ждет, и экспортная продукция к приходу морских кораблей, в ту пору чаще всего иностранных, должна быть приготовлена.

И работа на заводах, и жизнь, и учеба, и всякого рода общественная деятельность зимней порой шли в Игарке под крышами, в тепле. Но игры, ребячьи забавы, потасовки, езда на собаках, катанье на лыжах и санках, охота на песца и куропаток, сооружение снежных катакомб, сражения после просмотра фильмов — все это совершалось на улицах, на Губенской протоке, возле бараков и на небольшом, деревянными щитами огороженном стадионе. Ребята росли задиристые, крепкие и норовистые. И большие были выдумщики в забавах, играх и всякого рода развлечениях.

Много в Игарке работало самодеятельных кружков. Ребята что-то пилили, строгаили, клеили, вырезали, сооружали, и не только во дворце пионеров или в школах, но и дома, по избам и баракам.

И еще в Игарке очень много и жадно читали. И хотя был всесоюзный клич по сбору книг для Игарки, их все равно не хватало. Тогда возникли во многих школах литературные кружки, ребят охватил творческий зуд, повсюду стали издаваться рукописные журналы, для которых сами ребята придумывали названия, сами

писали в них стихи, заметки, рассказы и очерки. Кто не умел сочинять, тот картинки рисовал, а которые школьники ни писать, ни рисовать не могли, те сшивали, клеили, брошюровали школьные издания.

Такая вот тяга к коллективному творческому труду и послужила толчком для создания книги „Мы из Игарки“...

Намерения юных игарчан написать книгу о себе и о своем заполярном городе поддержали письмами Максим Горький, Ромен Роллан...

Но „что имеем — не храним, потерявши — плачем“, — гласит старая русская пословица. Оригиналы писем М. Горького в Игарку сгорели в одном из многочисленных пожаров — постоянном бедствии деревянного города. Не нашлось в крае... людей, кто бы позаботился о сохранении этих бесценных реликвий, также и литературного музея с безвозвратно погибшими рукописными журналами, рисунками, изделиями и предметами школьного быта тех лет вместе со школой № 12...

Не стало в городе драмтеатра, он переехал в Норильск, на пути потеряв имя Веры Пашенной... Лениво посещаются и кинотеатры, Дворец культуры лесопильщиков, поугасла творческая жизнь в городе и в школах, тяжелый вред нанесен окружающей природе, столь здесь ранимой.

Но по-прежнему Игарка остается в крае, да наверное и в стране, одним из самых читающих городов.

Шел я по улице Таймырской и почти уткнулся в утонувший в сугробах домик, к крыльцу которого протоптаны глубокие тропинки. Что-то знакомое мне в нем почудилось. Оказалось — это старая библиотека. Детская. Ныне — филиал детской городской библиотеки. Зашел в помещение. Сухое печное тепло в библиотеке, деревянные стены побелены известкой.

Тишина. От окон, заваленных снегом, сочится полусумрак. Так и тянет, как в детстве, сесть за стол, прочесть страницу-другую и задремать в этом книжном уютном царстве.

Книги в библиотеке сплошь изношенные. Хорошо это. Читают игарские дети...»

Размышляя о судьбе своего другого главного наставника в детстве — Василия Ивановича Соколова, писатель всегда поражался его цельному характеру, выдержке и умению встать над обидой, думая о главном. А с его-то биографией вести себя уверенно, твердо, независимо было непросто. Уроженец Петербурга, выпускник Александровского лицея, он естественным образом оказался в годы Гражданской войны на стороне белых. Как уже говорилось, служил под командованием Колчака, сопровождал состав с золотым запасом Российской империи...

Удивительно, что ему удалось уцелеть. Будучи человеком умным, он понял, что его дальнейшее существование на белом свете будет во многом зависеть от места обитания. Так он оказал в Игарке. Здесь Соколов сразу же показал себя толковым и знающим человеком, оказался на виду. У местного начальства не так было много под рукой грамотных людей, и его из кладовщиков перевели в воспитатели детского дома, а чуть позже назначили им заведовать.

По оценке Виктора Петровича, этот человек был первым, из встреченных им на жизненном пути, по-настоящему образованным и культурным. К тому же был он смелым, решительным, умевшим держать слово и отстаивать его.

«Соколов рассказывал, — вспоминал Астафьев, — как учился в лицее, служил офицером, между прочим, у Колчака; о своей ссылке на север. Он сумел подняться

над своею личной бедой, переступить обиду. Василий Иванович навсегда остался для меня примером».

Размышления Астафьева об этом человеке воплотились в образе Репнина из повести «Кража».

Заведующий детским домом Валериан Иванович Репнин был когда-то офицером русской армии, а поэтому новая власть не обошла его вниманием. Заключение, лишение гражданских прав, ссылка...

В силу довольно случайных жизненных обстоятельств он стал педагогом, хотя никакого педагогического образования не имел. Работать ему отчаянно трудно. Но Валериан Иванович настойчиво и самоотверженно ищет пути к сердцам подопечных. Когда человеческие качества Репнина в полной мере раскрываются перед ними, он одерживает педагогические победы, когда же он является перед своими учениками «педагогом», то терпит поражение как человек.

В первом случае Репнин реализует свое человеческое предназначение, во втором — исполняет должностные полномочия. Но, конечно, главное для педагога — при всех обстоятельствах оставаться человеком. И Валериан Иванович Репнин — в такой интерпретации должности педагога — вполне ей соответствует.

В повести Астафьева «Кража» есть и другой значительный, не менее масштабный персонаж, чем этот учитель поневоле. Это предгорисполкома Ступинский, фактический хозяин города. Практически за все происходящее в детдоме, за деятельность бывшего белого офицера — спрос с него. Хотя образ Ступинского окрашен в суровые цвета времени, он предстает перед читателем как прагматичный и умный человек. Он понимает, что его возможности, в том числе и в кадровых вопросах, ограничены. Поэтому он бережно относится к способным и талантливым людям,

хотя при этом зорко отслеживает все происходящее вокруг.

Повесть «Кража» — одно из первых крупных произведений Астафьева, опубликована в 1959 году, когда писательское мастерство автором еще не было освоено в полной мере. Тем не менее он смело и реалистично показывает сотрудничество этих двух непохожих людей, воспроизводит реальный дух времени. Каждому из двух своих героев писатель отдает должное, а их соотнесенность, взаимодействие преподносит как единственно разумный и продуктивный путь для общества. Именно для этого он усиливает образ Ступинского, можно сказать, несколько поэтизирует его. Даже горожане из числа высланных признают, что хозяина им Бог послал разумного, он понимает, что без людей он дырка от калача, и потому «не оскорбит, не выгонит: в ночь-полночь приди, выслушает тебя как человека и по-человечески отзовется... По-человечески — это очень и очень умели ценить жители города Краесветска».

Астафьев пытается оградить «меченого» Репнина от мелких, бездарных и агрессивных представителей гороно Голиковой и Хлобыст. Другой вопрос, насколько хватит сил этому предисполкома, и не найдут ли в самом скором времени на него компромат активные интриганки. Понятно и то, что как бы ни прикрывал Репнина Ступинский, в атмосфере 1930-х годов долго этот союз удержаться не мог.

И не случайно, возвращаясь из повести в действительность, невольно вспоминаешь из рассказов Виктора Петровича, что Соколову, послужившему прообразом Репнина, предстоял по жизни дальнейший путь на север, в еще большую глубинку. Его перевели на остров Полярный, где он и прожил до конца своих дней.

Как считал Астафьев, И. Д. Рождественский и В. И. Соколов, все время напиравшие на него насчет «природных способностей», довершили дело его школьного образования. Виктор закончил шестой класс, но далее уже учиться ему не довелось, ибо детдомовский возраст кончился — 1 мая 1941 года ему исполнилось 17 лет. «Я должен был начинать самостоятельную жизнь, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей судьбе».

Вскоре он поступил на кирпичный завод коновозчиком, подвозил с лесозавода отходы к топкам. Главной его целью стало — заработать денег на пароходный билет, выехать на магистраль и попробовать там поступить в какое-либо училище.

В конце концов так оно и случилось. Он устроился в Красноярскую железнодорожную школу ФЗО № 1, которая была создана на станции Енисей.

Глава третья СОЛДАТСКАЯ ПАМЯТЬ

Как-то в одной из наших бесед Астафьев заметил:

«Все же считаю, что судьба была ко мне щедра. И дядя Ваня, и дядя Вася убиты на войне, я вот — остался жив...

Хотя попал на войну сопляком, — не научился даже пить... Первый раз крепко загулял уже в Польше, перед третьим ранением. А ведь курил с тринадцати!

И во всех передрягах меня, пожалуй, вела и спасала книга. Я везде находил себе по вкусу книги, читал в самых неподходящих, даже немыслимых ситуациях и условиях.

Может быть, то, что сейчас наши ребята перекормлены книгами, и вредит им. Книга теряется среди многих вещей нашего времени, и таким образом, книга теряет свою исключительность. Я, например, каждую берег, свою ли, чужую... Если бы у меня тогда была какая-то своя любимая книга (о множестве и не говорю), я обязательно обращался с ней очень аккуратно, берег бы ее, обернул бы тщательно и везде таскал за собой».

Война и книга! Пожалуй, выросшее за последние двадцать лет поколение этого уже не поймет. Не потому, что оно «перекормлено книгами» (эта беседа с Астафьевым состоялась у меня еще в 1980-е годы, когда книгу еще боготворили), а потому, что в большинстве своем оно не способно оценить могучее воздействие книги на человека, поскольку читает мало или вообще не берет книгу в руки...

Когда началась Великая Отечественная война, Виктор находился в станке Курейка, работал там писмоводителем, конюхом, водовозом при сельсовете.

В августе он отплывает из Игарки в Красноярск и в сентябре поступает учиться в Красноярскую железнодорожную школу ФЗО № 1, которая спешно была создана на станции Енисей. «Начали заниматься в декабре, в мае следующего года — закончили», — вспоминает Астафьев. Он был отобран в группу составителей поездов пригородной станции Базаиха. Работа оказалась очень тяжелая и опасная. Как-то он за смену так простыл, что чуть не помер...

Более года для Виктора и его сверстников война была далеко, но жили одними тревогами, одними заботами и надеждами со своим народом, испытывали общую боль, порожденную первыми неудачами на фронте. В повести «Где-то гремит война» (1966) отображены судьбы рано повзрослевших ребят. Образ героя повести чем-то сродни Толе Мазову из «Кражи». И роднит их не столько схожесть судеб, сколько схожесть их внутреннего мира.

Страницы повести знакомят нас с жизнью юных сибиряков, которые после ФЗО выполняют очень важную, ответственную работу на железной дороге. Здесь возникают свои трудности и конфликты, но выше них — гражданское чувство ребят, встревоженных вестями с фронта. Им уже трудно объяснить самим себе целесообразность своего пребывания в тылу, когда враг у стен Москвы и Ленинграда, настойчиво рвется к Волге.

«Что делается вокруг? Зима. Голодуха. Драки на базарах. Вtisнутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть, ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И, как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы...»

Эвакуированные в Сибирь из европейской части России — в основном женщины, дети и старики, им трудно войти в новые условия жизни. Хотя они спаслись от бомбежек, им голодно и они буквально рыщут по полям, выискивая мерзлую картошку. Из нее они готовят так называемые «драники», чтобы подкормить своих детей, ослабленных стариков. Все они напряженно ждут вестей с фронта и морально поддерживают себя мыслями о подвигах таких же как и они людей. Вот и Ленинград воюет, а там, в блокаде, стократ тяжелее. Идет война, жестокая и кровопролитная, однако у героя повести есть все основания сказать: «Беда не разъединяла людей, а сближала их».

Война — везде. «Всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, но там, где-то далеко-далеко. А она вон как — везде и всюду, по всей земле моей ходуном ходит, всех к борьбе за жизнь требует и ко всякому своим обликом поворачивается».

Жестокость времени не притупляет доброты и отзывчивости. Перед самым Новым годом герой повести получает письмо от своей тетки, в котором та слезно молит его приехать. Парень знает, что без причины она не стала бы тревожить его. А причина в такое время только одна — беда.

Так случилось, что тетка Августа пала духом, племянник — последняя надежда. И он приходит, он возвращает ее к жизни: «... Я шел в ночь, в стужу, в метель, чтобы облегчить горе Августы. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего ему не дают, никаких лекарств, никакого снадобья.

Они просто приходят, разговаривают и уходят».

Молодой герой не одинок, потому что другие люди нуждаются в нем. Понимание этого делает его и

сильнее, и отзывчивее на чужое горе. Ему все труднее оставаться сторонним наблюдателем происходящего вокруг. И закономерно, что юноша преодолевает главный рубеж своего взросления — он больше не может находиться в тылу, когда другие с оружием в руках защищают родную землю. Как и полагается настоящему мужчине, он должен быть вместе с ними.

Повесть «Где-то гремит война» дает возможность понять и почувствовать те настроения, которыми жил сам Астафьев и его поколение.

...Одна «похоронка» — и сколько горя, слез, рыданий, непоправимых поворотов в судьбах многих людей. Герои Астафьева видят, как воспринимается в тылу гибель каждого солдата. Поэтому они и там, на фронте, сталкиваясь с чьей-либо смертью, видят за ней горе детей, женщин, стариков. В такие минуты память невольно воскрешает эти, пожалуй, самые тягостные эпизоды их тыловой жизни. Для молодых людей астафьевского поколения характерно то, что им пришлось пережить два потрясения: одно — войной в тылу, другое — войной на войне.

Виктор Астафьев, как и его герой, тоже не мог себя оправдывать тем, что он нужен в тылу — он идет на фронт добровольцем. Это — типичное поведение для молодого человека тех лет. Немногим старше Виктора по возрасту его дядья, Иван и Василий, — также на фронте. Оба они не вернутся с полей сражений.

Примерно в это же время, может быть, чуть позже, в небольшом уральском городке молоденькая девчонка медленно шла к своему дому, обдумывая, что она скажет матери и отцу. Мария Корякина — будущая жена Виктора Астафьева — к тому времени уже проводила старших братьев на фронт (двое из троих погибли). Мария уже не может больше находиться в тылу — она только что агитировала своих подруг идти в

армию медсестрами. После этого уже никак нельзя остаться в стороне.

А случилось все так. Заместитель начальника госпиталя по политчасти собрал медсестер и предложил им добровольно отправиться на фронт, подавать соответствующие заявления. Мария была секретарем комсомольской организации, поэтому после беседы он попросил ее остаться. Замполит говорил о катастрофической нехватке бойцов, медперсонала и дал Марии поручение провести подобные беседы с другими медсестрами. Они должны быть доверительными, но в то же время и с нажимом — время не терпит.

— Конечно, лучший довод в таком деле, — замполит испытующе посмотрел на Марию, — личный пример...

Мария это и сама понимала. Она тут же написала короткое заявление, а к концу дня собрала тех, кто был на дежурстве из младшего медперсонала, в канцелярии. Предупредила, что надолго не задержит, нужно обсудить одно важное дело, ей порученное. В нескольких словах коснулась положения на фронтах, а затем взяла свое заявление и зачитала вслух.

— Вот, девочки, какое дело. Не только говорю о ситуации в стране, но и сердцем ее воспринимаю. Другого выхода не вижу, кроме как самой идти на фронт. Кто готов последовать моему примеру, помочь родине в трудный час, подавайте начальству такие же заявления...

Несколько девушек поддержали ее и решили идти на фронт. А буквально через три дня в госпиталь прислали призывные повестки; одна из них была адресована Марии Корякиной. Это была ранняя весна 1943 года. Вскоре после Маши ушла в армию и ее сестра Калерия...

Мария оказалась на переформировании в окрестностях Москвы. Их часть то соединяли еще с кем-

то, то разъединяли... Она побывала в Калинине, Вышнем Волочке, Бологом, Коростене... Когда удавалось, отправляла домой хотя бы коротенькие весточки о себе, об армейских порядках, строевой подготовке.

...Спустя много лет после войны Мария получила письмо-приглашение из чусовской библиотеки, куда она в юности ходила за книгами, на посвященный ей вечер. Во время войны она тоже не порывала с ней связь — прислала как-то библиотекарю письмо с просьбой организовать в ее воинской части библиотеку-передвижку. Объяснила, что дело это нужное: поможет и политбеседы проводить, и почитать бойцам будет что. Книги приходили, их читали, а потом возвращали назад, в Чусовой, ожидали новые посылки.

А на встречу сотрудники библиотеки пригласили Марию после того, как, готовя книжную выставку к очередной годовщине победы, обратили внимание на ее письмо с фронта, опубликованное в годы войны в городской газете. Оно было адресовано матери. Поскольку семью Корякиных в Чусовом хорошо знали, то однажды, встретив на улице Пелагею Андреевну, мать Маши, сотрудник газеты «Чусовской рабочий» заинтересовался, что ее дети пишут с фронта. Она тогда и показала только что полученную от Марии весточку. Ее опубликовали — вместе с заметкой о родителях Марии, тружениках тыла. Правда, письмо пополнилось в газете описаниями фронтовых опасностей, подстерегающих девушку. Не забыл добавить в него корреспондент и патристического пафоса.

Мария Семеновна ознакомилась с этой публикацией только на встрече с читателями, и ей было весьма неловко за присочиненные корреспондентом подробности ее армейской биографии.

Как она сама вспоминала, самые большие неудобства на фронте создавал ей ее рост — 1 метр 52 сантиметра, ибо подобрать обмундирование по размеру было не так-то просто. Пришлось и шинель для нее специально заказывать, и сапоги 32-го размера шить.

События фронтовой жизни она сама описала в своих повестях, а также в светлой книге воспоминаний «Знаки жизни», не раз рассказывала и мне об этом.

До осени 1942 года, пока не начала формироваться добровольческая бригада, Виктор работал составителем поездов. «Нас было трое распределено, — вспоминал Астафьев. — Двое как-то сразу угадали в эту бригаду, меня подзадержали, я ушел позже. Только в конце октября 1942 года попал в 21-й пехотный полк под Бердском, возле Новосибирска. 70 человек перевели в 22-й автополк, что стоял в военном городке Новосибирска».

На фронте Астафьев поначалу был назначен шофером «газушки», служил в 92-й артбригаде, которая стояла на переформировании. Весной 1943 года их полк в составе 92-й гаубичной бригады, переброшенной с Дальнего Востока, начал двигаться в сторону фронта. Шоферская баранка Виктору не по душе, и он проходит подготовку на артрразведчика, потом получает еще одну специальность — связист взвода управления. В этой своей солдатской должности он пробудет до третьего тяжелого ранения.

Как связист он участвует в боях на Брянском, Воронежском, Степном фронтах, воюет в составе 3-го дивизиона 92-й Проскуряковской гаубичной артбригады 17-й Киевско-Житомирской орденов Ленина, Суворова, Красного Знамени арт-дивизии прорыва, входившей в состав 7-го арткарпуса — основной ударной силы 1-го Украинского фронта. Карпус был резервом Главного командования.

В сентябре — октябре 1943 года Астафьев участвует в форсировании Днепра, воюет южнее Киева на Букринском плацдарме, где получает ранение. 25 ноября того же года награждается первой своей боевой наградой — медалью «За отвагу».

Зимой 1944 года он участвует в Корсунь-Шевченковской операции, затем — в весеннем наступлении под Каменец-Подольском, удостоивается ордена Красной Звезды.

«Первый прорыв, — пишет Астафьев, — наш корпус делал на Брянском фронте, во фланг Курско-Белгородской дуги. И когда „началось!“, когда закачалась земля под ногами, не стало видно неба и заволокло противоположный берег Оки дымом, я, совершенно потеряв „рассуждение“, подумал: „Вот бы мою бабушку сюда!..“ Зачем бабушку? К чему ее сюда? — этого я и по сию пору объяснить не сумею. Очень уж бабушка моя любила меня вышутить, попугать, разыграть, так вот и мне, видать, тоже „попугать“ ее захотелось».

Он с горькой усмешкой вспоминает о том, что поначалу солдатикам нравилось, что они находятся в резерве. Они просто еще «не дотюхивали», что вот этим-то резервом дыры и затыкают. Это они в полной мере ощутили, когда их срочно перебросили под Архтырку, поставив задачу занять оборону и задержать фашистскую танковую атаку до подхода основных сил. Бригада с честью выполнила свой долг и задержала танки противника, выдержав пять часов немыслимо страшного боя. Из 48 орудий осталось полтора, одно — без колеса. Противник потерял около двух десятков боевых единиц — машин, танков и множество пехоты... «Небо было в черном дыму от горящих машин, хлеба, подсолнуха, просяных и кукурузных полей, зрело желтевших до боя (стоял август), сделались испепеленными, вокруг лежала дымящаяся земля,

усеянная трупами. Вечером на каком-то полустанке из нашего третьего дивизиона собралось около сотни человек, полуобезумевших, оглохших, изорванных, обожженных, с треснувшими губами, со слезящимися от гари и пыли глазами. Мы обнимались, как братья, побывавшие не в небесном, а в настоящем, земном аду, и плакали. Потом попадали кто где и спали так, что нас не могли добудиться, чтобы покормить».

Напряжение на фронте порой достигало такого накала, что он 1 мая 1944 года даже не вспомнил о том, что ему исполнилось 20 лет. «И знаете, отчего я забыл-то? Что этому предшествовало? Военное наступление. Тяжелейшее, сумбурное, хаотические бои и стычки с окруженным в районе Каменец-Подольска, Чорткова и Скалы противником... Об этих боях даже в таком, тщательно отредактированном издании, как „История Второй мировой войны“, сказано, что она, операция по ликвидации окруженной группировки немцев в районе Чорткова, была не совсем хорошо подготовлена, что „командованием 1-го Украинского фронта не были своевременно вскрыты изменения направления отхода 1-й танковой армии противника“, вследствие чего оно, командование фронта, „не приняло соответствующих мер по усилению войск на направлениях готовящихся врагом ударов...“».

Не трудно представить, что на самом-то деле творилось в тех местах, где шли бои, охарактеризованные в официальном издании как «не совсем удачные» или «не очень хорошо подготовленные».

Окопная правда, которую на основе своего личного опыта постигали на передовой Василь Быков, Виктор Астафьев, Вячеслав Кондратьев, Иван Акулов, Константин Воробьев, потребовала многих лет осмысления, прежде чем воплотиться в военные повести и рассказы. Астафьев был одним из тех, кто

пытался преодолеть стереотипы, внедренные в сознание читателя авторов скороспелых произведений.

Кстати, само понятие «окопная правда» не сразу утвердилось в нынешнем понимании, был в нем когда-то и презрительный оттенок. Лучше об этом говорит сам Астафьев:

«О войне? А что я о ней знаю? Все и ничего. Я был рядовым бойцом на войне и наша, солдатская правда, была названа одним очень бойким писателем „окопной“; высказывания наши — „кочкой зрения“. Теперь слова „окопная правда“ воспринимаются только в единственном, высоком их смысле, автор же презрительных изречений, сражавшийся на фронте в качестве корреспондента армейской газеты, и потом, после войны, не переставал „сражаться“ — писал ежегодно по злободневному роману, борясь за ему лишь ведомую „правду“, бросал гневные слова с трибун, обличал недозревшую нашу литературу, много употреблял все слов чистых и святых, все чего-то гневался, дергался, орал. Но время — судья беспристрастный и беспощадный. Двадцать лет минуло со дня кончины неутомимого „борца“, а он уже как в воду канул, голоса его „патриотических“ речей не слышно, как и топорно писанных „патриотических“ книг не видно — забыты.

„Всю правду знает только народ“, — сказал другой военный журналист, честно выполнявший свой долг на фронте и в литературе, Константин Симонов, никогда, кстати, и нигде не настаивавший на том, что главной ударной силой на фронте были военные журналисты, и мне, в личной беседе незадолго до смерти, говоривший даже о „перекосе“, случившемся в нашей военной литературе из-за того, что большинство книг о войне написано бывшими журналистами».

В «войне Астафьева» большое место занимают бытовые подробности и особенности жизни на фронте. Многие десятилетия он вынашивал замысел, в котором прежде всего намеревался представить страшную повседневность войны. Голод, холод, неустроенность, отсутствие элементарных человеческих удобств...

«Лишь в длительной обороне лета 1944 года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали приносить газеты, один раз показали кино. Мы очень зачитывались главами из „Теркина“ и, чтобы всем досталось, наклеивали газетные вырезки на картонки и передавали их из взвода во взвод.

Когда я — единственный раз — беседовал с Твардовским и сказал ему об этих картонках, он... спросил, не сохранилась ли у меня хоть одна картонка. И когда я развел руками — сам-де едва сохранился... он даже погрустнел и я вместе с ним, что нет у меня... никакой окопной реликвии.

Конечно же, фронт, да и передовая не совсем оторваны от мира, идет сообщение людей туда-сюда: раненые — с передовой, пополнение — на передовую; хоть и худо, но работали рации, тянулись к фронту и по фронту провода; хоть и реденько, добивались до передовой письма...»

Ну а потом, после этой фронтовой передышки, было предпринято очередное рискованное наступление с сомнительными результатами. «...Я помню и никогда не забуду эту дату — 17 сентября 1944 года, меня тяжело ранило в предгорьях Карпат, и выводил меня, раненого, из полуокружения мой фронтовой друг Вячеслав Шадрин... Из моих фронтовых друзей Слава был самым титулованным — он прошел путь от сцепщика вагонов до заместителя директора Карагандинского металлургического комбината...»

Кстати, в период, когда Астафьев был «окопной землеройкой», он и приобрел себе настоящих друзей, с

которыми поддерживал отношения всю жизнь. Иван Николаевич Гергель, которого он лично вытащил с поля боя, первым, еще в 1946 году, разыскал своего спасителя. А потом нашлись и другие выжившие солдатики. Виктор Петрович с удивлением пишет, что из их взвода управления уцелело аж пятеро!

Почти три десятилетия, с начала 1960-х годов, ветераны — однополчане Астафьева регулярно встречались, чаще — в Ленинграде, где в Артиллерийском музее хранятся боевые знамена воинского формирования, или на Украине, которую освобождали и где потеряли многих боевых товарищей.

В поиске фронтовых друзей сыграла свою роль писательская профессия Виктора Петровича.

«...Слава Богу, — пишет Астафьев, — литература не только надсаживает и терзает. Изредка она и помогает писателю.

Пришло письмо из Караганды. Что-то знакомое забрезжило в почерке, тревожной радостью сжало сердце: так и есть! Письмо от Славки! От Вячеслава Федоровича Шадринова. Попалась ему на глаза рецензия на мою книгу в журнале „Москва“, и он сразу порешил, что это я и есть: уж больно горазд был в молодые солдатские годы приврать, письма заочницам сочинял, книжки в солдатском мешке таскал...

Но как же угодил мой друг в Караганду? Он родом вроде бы из Рыбинска или Калинина?

В письме изложен послевоенный путь, и какой!.. Вернулся с фронта Вячеслав — ни профессии, ни образования, ни кола ни двора. Начал работать и учиться. Вкалывал, как и я когда-то, составителем поездов, кончил техникум, затем железнодорожный институт, был дежурным по станции, маневровым диспетчером, начальником станции, избирался секретарем парткома, а после нескольких созывов был секретарем райкома в Караганде. Ныне он заместитель

директора Нижне-Тагильского металлургического комбината по транспорту. На каком-то совещании друг столкнулся нос к носу с бойцом своего отделения Равилем Абдрашитовым — на Карагандинском комбинате инженером работает.

Был как-то Равиль в командировке в Череповце и ко мне в Вологду заглянул — и вот уже четверо нас из одного взвода нашлось!

У Вани Гергеля в Орске я-то уже побывал, и он ко мне в гости наезжал.

Наконец-то и Вячеслава вдвоем с Ваней встречаем в Ленинградском аэропорту — в этом городе в Артиллерийском музее хранится часть реликвий и знамен нашей 17-й артиллерийской дивизии, жили в Ленинграде комбриг наш, Алексей Кондратьевич Дидык, командир дивизиона Евгений Васильевич Бахтин, несколько командиров батарей и всякого другого народу, чином поменьше, потому и выбрали местом встречи ветеранов нашей дивизии Ленинград.

А самолет все не летит, все не летит! Отлучился я по делам, Ваня у выхода дежурить остался. Возвращаюсь, смотрю: плачут и обнимаются Ваня и Слава. Я узнал давнего друга сразу, хотя он, конечно, сильно изменился. Он меня тоже узнал...

И пошло: „Помнишь?“, „Помнишь?“, „Помнишь?“...»

Мне посчастливилось найти архивный альбом командира 3-го дивизиона, в годы войны — совсем еще юного лейтенанта Е. В. Бахтина, в котором представлены замечательные свидетельства боевого братства. Многие из них прямо касаются нашего героя, его взаимоотношений с товарищами по оружию.

Одна из записок, хранящаяся в архиве, написана в те дни, когда ветераны посетили освобожденный ими Киев. Ветеран дивизии А. Семененков рассказывает о том, что одна из самых дорогих сердцу воина наград — присвоение его части, соединению имени города,

который он освобождал. И законна поэтому гордость ветеранов бывшей 17-й артиллерийской дивизии — в историю Великой Отечественной войны она вошла как Киевско-Житомирская ордена Ленина Краснознаменная и ордена Суворова дивизия прорыва. А ее бригадам и полкам были присвоены наименования городов, в битвах за которые они прославились.

Ветераны собрались на свой слет накануне 25-летия героической битвы на Днепре и освобождения Киева. Среди них — первый и бессменный командир дивизии, Герой Советского Союза, генерал артиллерии в отставке С. С. Волкенштейн, бывший командир тяжелой гаубичной бригады, генерал артиллерии в запасе А. Дидык, бывший политработник, ныне мастер ОТК Г. Головин, бывший наводчик, ныне учитель Т. Рузнев, писатель, а в дни войны — рядовой связист В. Астафьев, кандидат сельскохозяйственных наук И. Шеремет, прошедший путь от солдата до майора... Полны волнующих встреч дни нашего слета. Внизу — подписи, от имени всех ветеранов дивизии, прошедшей в освободительных боях всю Украину с востока на запад...

В архиве Е. В. Бахтина представлено несколько ранних книг Виктора Астафьева. Все — с автографами автора, датированными 1968 годом. Читаем:

«Музею 17-й дивизии от одного из бойцов этой дивизии — от автора-однопольчанина...»

«Семейству Бахтиных от бывшего солдата и сибиряка — самую дорогую книгу о самом дорогом — Родине!..»

«Бахтину Евгению Васильевичу, его милой супруге, встрече с которыми я безмерно рад, хотя встревожена воспоминаниями и болью моя память».

«...Командиру дивизиона от бывшего его бойца, в память о тяжелых днях войны, где были не только бои и походы, но и потери дорогих нам русских людей.

Да будет их память свята для нас, оставшихся в живых!...»

Письмо В. Астафьева супругам Бахтиным:

«Дорогие Евгений Васильевич и Елена Михайловна.

Приветствую Вас и благодарю за праздничное поздравление. Я же не смог его послать Вам по той причине, что меня не было дома. Целый месяц жил в Подмосковье, работал над переизданием книги повестей, которая должна будет выйти в будущем году в издательстве „Советская Россия“. Книга большая, повести в нее включенные, часть из них, написаны давно и пришлось их основательно почистить и подраить, как орудия перед стрельбой.

Эта изнурительная работа спутала все мои планы. Из-за нее отпала поездка в Ленинград, а сейчас на месяц уезжает жена из дома, полечиться. И я буду сидеть дома, работать и домовничать.

Когда теперь попаду я в Питер — одному Богу известно.

Обращение к ветеранам дивизии я получил, готов служить верой и правдой родному воинству, но сам пока никаких заходов на воспоминания не делал, ибо работаю над новой повестью, да и текущих писательских дел много. Надеюсь, что другие ветераны окажутся активней, да и вспомнить им доведется более интересное что-нибудь, хотя сам я прицеливаюсь написать о том, как вы с комбатами сдавали гаубицы после расформирования бригады. Это запало в память после Вашего рассказа.

Слава Шадриков, оказывается, был в Киеве уже второго числа, но у него случился тяжелый приступ в тот же вечер и он едва живой выбрался из Киева.

Посылаю Вам свою новую и лучшую книгу. Желаю Вам и Вашим парням доброго здоровья и всех благ земных.

Передаю привет Алексею Кондратьевичу с супругой и Ивану Вересиянову (последняя фамилия написана неразборчиво, может быть, следует читать Верещагину. — Ю. Р.) с супругой.

Еще раз всего Вам наилучшего.

С приветом — мои домочадцы и я —

В. Астафьев.

28 ноября 1968 г.».

Надпись на подаренном деревянном панно:

«Евгению Васильевичу Бахтину — однополчанину, собрату по боевым дням и фронтовым окопам, командиру родного 3-го дивизиона, в день его 50-летия от бывшего солдата взвода управления.

В. Астафьев, г. Вологда, 1970 год».

В альбом Е. В. Бахтина аккуратно вклеена газетная публикация Виктора Астафьева. Это — «Последний осколок», включенный позднее автором в цикл «Затеей». Пожалуй, ничто так не воссоздает переживания солдата Астафьева, его впечатления от войны, как этот небольшой рассказ, в искренности которого невозможно усомниться.

Невольно вспоминается одна наша давнишняя беседа с Виктором Петровичем. Был он тогда заметно взволнован, горячился:

«Порой говорю с ветеранами, и кажется, что они на другой войне были, чем я. Хочется рассказать о быте войны — как жили, как пахли окопы. Почему нас не снабжают, а бьют. Куда и как мы сами палили. Первый убитый. Свой. И первый убитый тобой. Надо написать обо всем том чудовищном, что я видел...

— Что?! — после паузы восклицает почти в ярости на мой немой вопрос Астафьев. — Может, раскатанных немецкими танками наших солдат забыть?! Не нравится такая правда войны?!

Обо всем этом должны были написать те, кто сидел в окопах... Дать буквальные ответы на главные вопросы: что я видел и знаю о войне? То, что я там пережил.

Вот я сам именно такой книгой мучаюсь.

То, что я лично видел, знаю о войне — обязан написать!»

«Помню отчетливо: кухня артдивизиона, вкопанная в косогор, а я, согнувшись в три погибели, под ней лежу и плачу. Повар заглядывает под кухню и хохочет. Друг мой, Слава Шадрин, с досадой и сочувствием спрашивает: „Ну, чего ты орешь-то? Чего? Все уж!..“

Это значит — опасность миновала и паниковать не надо. А я все равно плачу. Ведь и солдат уже опытный, битый, медали на груди, но слезы бегут, бегут.

Гимнастерка на мне разделена в распашонку, булавкой на груди схвачена. Перебитая рука толсто примотана к двум ольховым палкам и за шею подвешена. Бинты промокли, гимнастерка, штаны, нижняя рубаша и даже сапоги в кровище. Утирая слезы, я и лицо в крови увозил.

Друг машину попутную ждет, чтоб отправить меня в санроту и досадует: „Да не трись ты рукой-то, не трись!..“

Больно. Конечно, больно. Иголкой ткнут — и то больно, а тут рубануло так, что и кисть руки назад передом обернулась. Однако реву-то я не только от боли, но и от непонятной обиды, растерянности и усталости — недовоевал вот, а так хотелось до этого самого „логова“ добраться, от ребят отрываюсь — от семьи, сказать. Как быть без них и жить? Не знаю, не ведаю, разучился жить один. Инвалидом, наверное, стану. Кому же охота быть инвалидом? Со Славкой расставаться жалко. И вообще все как-то не так, несправедливо, неладно...

Повар кашу горячую в котелке сует. „Пошел ты со своей кашей!“ — взревел я...»

Но это — когда все уже самое страшное позади. Однако в память на всю жизнь врезались детали боя — одного эпизода из той войны, какая она есть на самом деле:

«...Сзади горели нефтеносные промыслы в районе польского города Кросно. Наши части углубились в горы по направлению к Словакии. Немцы пускать нас вперед, естественно, не хотели. Шли упорные бои. Было сухо, душно и очень напряженно. Войска, втянувшиеся в расщелину гор, находились в полуокружении.

В тот день мы окапывались на склоне горы, обочь которой бежал ручеек, а на оподоле рассыпались дома деревушки. Нас все время обстреливали. Я был связистом, копал тяжело, и я это дело не любил, но все же копал, помня заповедь: чем глубже в землю, тем дольше жизнь. Вот и рубил я кайлом каменистый склон, подчищал лопаткой щель, на бруствере которой стояли два телефона.

Ударил разрыв, я спрятался в щель, подождал, пока осколки пролетели надо мной, и, вставши, потянулся к трубке телефона, чтобы проверить связь. И в это время зафурчал рябчиком надо мной осколок на излете да как саданет под правую лопатку, ну ровно молотком. Боль оглушительная, тупая, такой при ранении не бывает. При ранении сквозняком вроде бы прошьет все тело, в голове зазвенит, и сразу горячо и тошновато сделается — потекла кровушка.

В тот раз лишь просекло гимнастерку, оцарапало кожу, под лопаткой картофелиной набух синяк. Копать не могу, руку едва поднимаю, а тут еще жрать не несут, и печет, печет солнце, что тебе в июле!

За полдень все же приволокли термос размазни-горошницы с белыми нитками тушенки, которая, по замыслу повара, супом должна была зваться. Только мы

есть расположились — бомбежка! Какой-то приبلудный солдат, вовсе не из нашего подразделения, бултых в яму, которую копали наши бойцы под блиндаж и где устроились поесть, да сапожищем-то прямо в термос!

Солдата прокляли, высадили пинкарем из ямы, облизали ложки — и давай дальше землю копать.

Контратака! Час от часу не легче! Сигнали пехоту с высоты. В окопы, нами вырытые, народу всякого набилось, шарят всюду, того и гляди чего-нибудь сопрут, а главное — такое скопище непременно бомбить и обстреливать станут. Солдаты в деревне картошек нарыли, огонь норовят возле ручья развести.

Опять контратака! Стрельба поднялась, крики. Наши орудия лупят почти на пределе, своими же осколками может посечь.

Отбили и эту контратаку. Я по телефону орал, аж охрип. Славка — ему до всего дело — вместе с пехотой отгонял противника, в поту весь, грязный явился, я ему попить из фляги дал. „Всех, — спрашиваю, — фрицев сокрушил?“ — „Фрицев? Кабы фрицев! Власовцы, заразы, атаковали! Один раненый зажался в овражке: ‘Не стреляйте, я советский...’“ — „Ну, и?..“ — „Чего, ну? Понятно? Я б его сам, подлюгу!..“

Хорохорюсь, хотя представить в общем-то не могу: как это „я б сам“? — ведь русский же, советский, наш бывший... И атакует, сволота! Да еще как атакует! Осатанело. Народу сколько за один день перебило!

Смута на душе. Жрать хочется, спина болит, плечо и рука онемели. А тут снова здорово: „фокке-вульфы“ прилетели, по две бомбы фуганули и давай из пулеметов нас поливать. Но уж и нашим тоже надоело — палят из всех ячеек и щелей кто во что горазд. Неподалеку, слышу, даже из пистолета кто-то щелкает. И я со зла карабин свой сгреб, хотя и знал, что „фокке-вульф“ из такого оружия сбить — все равно что пытаться в озере Байкал одну-единственную, будь она

там, кильку выудить. Палю с левого плеча, в раж вошел. Глядь: „фокке-вульфы“ ходу дают. Мне блазнится, что это я их отпугнул. „А-а-а, стервы! А-а-а, коршунье! Получили! Я-а вот вам!..“

В это время как шандарахнуло! Ложе карабина в щепки, телефон вдребезги, и сам я — не то на том свете, не то на этом лежу, дым нюхаю. Земля на меня сыплется, заживо засыпает. Страшно сделалось. Как выскочил из полуразвороченной щели и к ребятам рванул — не помню.

„Свалился, — рассказывает уже в Ленинграде Слава, — все в тот же недокопанный блиндаж. Глядим: рука навыверт, кровина хлещет ручьями. Пробуем перевязать — бьешься, кричишь: ‘Самолет! Где самолет! Я же его!..’“ А того не соображаю, что другие самолеты прилетели, может, и снаряд ударил, — немцы начали артподготовку перед последней в тот день атакой.

Мы со Славой бежали под гору, к деревне. Голова кружилась. Я пить просил. Друг пить не давал — опытный он уже был, десантную школу кончил. Его за Днепр на плацдарм с десантом выбрасывали, да неудачно. Весь тогда почти десант погиб. Слава в наше расположение ночью выполз с другом одним со странным и запоминающимся именем — Январист.

С перепугу наш часовой чуть было их не уложил. „Мне, — говорит Слава, оставшись в нашей артиллерийской части, — после того десанта ничего уже не страшно, теперь меня не ранят и не убьют“.

Так оно и вышло!

А меня вот ранило, дурака! И зачем мне этот самолет сдался? Зачем я только рыло свое грязное из ячейки высовывал?!

Какие-то две девушки военные третью девушку, раненую, волокли. У нее, у бедной, голова моталась, ноги подгибались. Пить просила.

„Вот она, вода-то!“ — показал Слава на ручеек. Девки пищат: „Как же пить такую воду!“ Ручей и правда точно с бойни течет, бурый от крови и мути. „Зажмурьтесь!“ — гаркнул Славка и потартал меня дальше.

Со всех сторон в деревню раненые текли, поодиночке и группами. Смотрим, минометчики из нашей дивизии, человек восемь. Среди них лейтенант, повис на забинтованных солдатах, зубами от боли скоргочет.

„Привет!“ — „Привет!“ — „Отвоевались?“ — „Отвоевались! Так-перетак в Гитлера, в Геббельса, в маму ихнюю и в деток, если они у них есть!..“

Завыло, запело вдали густо, пронзительно. Остановились, замерли все, и вдруг посыпались кто куда. Накрыло нас минометным налетом. Слава успел столкнуть меня в придорожную щель, сам сверху на меня обрушился. Я упал на раненую руку, потемнело в глазах.

Сколько времени прошло — не знаю. Помню как во сне: сумрачно, дымно, пыль оседает, и на развороченном булыжнике дороги, вперемишку с серым лоскутьем — землей и корнями — серые скомканные трупы минометчиков. Меж ними побитые девчонки валяются. Одна кричала истошно, предсмертно, до самого неба. Лейтенант, сделавшийся вдруг коротеньким, упираясь лбом в землю, молча приподнимал себя и нашаривал что-то руками, искал чего-то.

Лежа под кухней, в относительной уже безопасности, я догадался, отчего лейтенант был коротенький — обе ноги ему оторвало, а искал он скорее всего пилотку. Вот и ревел я обо всем вместе виденном и от жути ревел...

...Совсем недавно, ночью, зачесалась рука, та самая. Даже не зачесалась, а заныла, зазудела. Начал я со сна

царапать ее. Слышу под пальцами твердо. Из дальних времен, из глубины тела, обкатанный кровью, вылезал осколок с привычной уже болью. Совсем маленький, сделавшийся кругленьким, как картечина, он натянул кожу и остановился. Но раз чешется, значит, скоро выйдет.

Думаю, это уже последний. Дай Бог, чтоб последний осколок ушел из меня, из всех нас, бывших воинов, и никогда, ни в чьем теле больше не бывал».

После тяжелого ранения под польским городком Дукла Астафьев почти восемь месяцев пролежал в госпиталях. Пройдя курс лечения, он оказался не годен к строевой службе, был комиссован во вспомогательную часть и победу встретил в городе Ровно. «Более в строй я не годился и начал мыкаться по нестроевым частям, которые то мне не подходили, то я им не мог пригодиться, пока не угодил на почтово-сортировочный пункт 1-го Украинского фронта, располагавшийся неподалеку от станции Жмеринка, в местечке Станиславчик. Здесь я повстречал военнослужащую Корякину Марию Семеновну, сразу же после демобилизации женился на ней и поехал на ее родину, в город Чусовой Пермской (в ту пору Молотовской) области».

...Часть, где проходила службу Мария, находилась на Прикарпатском фронте. Однажды ее и еще нескольких девушек отправили в маленький польский городок в качестве помощников руководителя оперативной группы при отделении военной цензуры. Они должны были обрабатывать скопившиеся мешки с почтой — фронтовыми письмами. Помощникам надлежало не только читать письма, но и «пикировать», то есть выбирать наугад пачку из проверенных уже писем и еще раз тщательно прочитывать.

«В помещении, — вспоминала Мария Семеновна, — где стояли длинные столы и за ними сидел и шуршал письмами наш брат — военные девчата, ехавшие воевать, а не выискивать в солдатских и в письмах из тыла какие-то тайные сведения, — возле двери был прибит умывальник с соленой водой, и мы, иногда в очередь, почувствовав зуд на ладонях, меж пальцев, жестоко царапая ногтями, мыли руки круто соленой водой. Иногда это помогало, иногда нет, и тогда приходилось обращаться в медчасть...»

Когда Мария и ее сослуживцы вернулись в Станиславчик, оказалось, что на местной «сортировке» многих девушек, работавших на разборке почты, заменили солдаты, комиссованные после госпиталей. Однажды утром к ним в отделение привез мешки с письмами веселый солдатик, которого она прежде не знала. На груди его хорошо смотрелись медаль «За отвагу», орден Красной Звезды и гвардейский значок с отбитой в нижнем углу эмалью. Боевой солдатик — сразу видно! Поздоровавшись, широко и белозубо рассмеялся, отчего веснушки по лицу разбежались: «Теперь я ваш покорный слуга, не в полном, конечно, смысле, просто буду почту увозить-привозить...»

Его с радостью встречали на сортировке, может, немножко больше, чем других, хвалили, когда привозил девушкам «личные» письма.

Однажды Мария с подругой возвращалась с работы по узкому переулку, в котором было по колено грязи. Шли медленно, держась руками за плетни. Наконец, добрались до хаты, в которой Мария жила с хозяйкой Федотовной. Остановились, чтобы еще немного поболтать. И тут-то она вспомнила, что сегодня днем из Чусового пришла очередная посылка с книгами, и предложила спутнице зайти прямо сейчас, выбрать для себя что-нибудь почитать. В это время кто-то, насвистывая, прошлепал мимо них по грязному

переулку. Услышав девичий разговор, человек приостановился и поинтересовался, о каких книгах идет разговор.

Присмотревшись, Мария узнала веселого солдата. Она рассказала о посылке и предложила как-нибудь зайти, посмотреть ее книжные сокровища. Через день он пришел в гости, а потом заходил уже часто. Виделись они, конечно, и по служебным делам, но книги как-то облегчили общение, помогли пройти первый этап знакомства. И даже более того — сдружили их.

Однажды, когда гуляли по городку, они набрели на мостик, остановились посередке, и Виктор вдруг запел. Мария была поражена его голосом, той проникновенностью, с которой он исполнил романс.

Это было давно, лет пятнадцать назад,
Вез я девушку трактом почтовым,
Бледнолица была, словно тополь, стройна
И покрыта платочком шелковым!..
Кони мчали нас вдаль, кони мчали нас в путь,
Словно мчала нечистая сила.
Попросила она, чтоб я песню ей спел.
Я запел, и она подхватила...

Эта открытость, доверчивость еще более их сблизила. После тогда вечера они уже не только гуляли, ходили на танцы, но и подолгу сидели на лавочке под окном хаты, где жила Мария, и чувствовали, что не могут наговориться.

У других девчат тоже, конечно, были друзья из нестроевой части, так что их пара не была единственной. Часть девчат, да и солдатиков, демобилизовали. Немецкий фашизм был разбит, но война еще не закончилась, некоторые части

перебрасывали на Дальний Восток, где начались боевые действия против Японии.

Накануне своего дня рождения, 21 августа 1945 года, Мария передала Виктору через его сослуживца приглашение к себе на вечеринку, которую она устраивала по этому поводу. На конверте было написано крупными буквами: «Виктору Астафьеву», а внутри находился листок бумаги со стихами и припиской:

«Витя!

Каждая минута, каждое мгновение,
Все, что есть и будет в жизни и судьбе,
Пламенного сердца каждое биенье —
Все это тебе!..

Витя, пожалуйста, приди ко мне на день рождения 22 августа 1945 года, к 7 часам вечера. Очень буду ждать.

Маша».

Виктор не пришел в назначенное время, и потому она волновалась. Села с краю стола, ближе к дверям, и выбегала на каждый стук, на каждый скрип калитки, не забывая при этом угощать гостей-сослуживцев, среди которых был кое-кто из начальства.

Наконец, Витя пожаловал. Был он в настроении озорном и задиристом. Сразу выказал неудовольствие тем, что так много пришло народу, да и то одни офицеры. Разговор перескакивал с пятого на десятое, Виктор пару раз пытался привлечь внимание к своим шуткам-прибауткам. Но компания к его появлению уже была сильно разгорячена, никто никого слушать не хотел.

Виктор стал выговаривать Марии, мол, зачем она зазвала его сюда, таких гуляк он в гробу видал!

Пришлось ей его успокаивать:

— Потерпи маленько, они дошли до кондиции, вот-вот уйдут. Жалко, что не подумала и не догадалась двух-трех ваших ребят позвать, тебе для компании. Прошу не петушиться, ведь я тебя люблю...

— Купить хочешь? Так я и поверил! — Виктор демонстративно встал из-за стола и направился к двери.

Мария выскочила вслед за дорогим гостем, поймала за гимнастерку у калитки.

— Останься! Подожди! Прошу тебя! — Одной рукой она взяла его под руку, припала к плечу. — Мне тоже неприятно слушать пьяные речи. Посиди вот за углом, на нашей лавочке, подожди!

От отчаяния она его поцеловала и, как бы винясь, прибавила с мольбой:

— Дождись! Скоро приду...

Наконец, начальство, дружно над чем-то смеясь, потянулось из прокуренной хаты. Мария с Федотовной сложили всю посуду в деревянный ушат, отложив ее мытье на завтра. Хозяйка отправилась отдыхать, а Мария — к Виктору. Разговор получился хороший, душевный. В числе прочих новостей Мария сообщила о том, что ее детская мечта — побывать в Ленинграде — наконец-то осуществится. Она получила письмо от подруги, которая месяц назад демобилизовалась и возвратилась к себе в Ленинград. Вот пишет, что сможет ее принять — их дом уцелел. Мария хотела съездить туда, пока ей положен бесплатный билет. С этим Виктор согласился, не очень задумываясь о том, как это будет.

Прошли еще дни, собралась очередная группа отъезжающих, в основном — демобилизованные, а также трое отпускников, среди них и Мария. Девчонки, кто с чемоданчиком, кто с сумкой, кто с вещмешком, пытались пристроиться на попутки в сторону

Жмеринки. Когда, наконец, порожняя машина остановилась и девчата начали грузиться, кто-то крикнул: «Маша! Вон Витя твой бежит!» Постучали в кабину, чтобы шофер еще маленько подождал.

Виктор подошел, какой-то неулыбчивый и бледный, отозвал Марию чуть в сторону:

— Маша, меня завтра или через день демобилизуют. Распоряжение пришло, и начальник приказал быть у него с документами. Сначала растерялся, не сразу и поверил, а потом вспомнил, что ты уезжаешь. Вот бросился за тобой, боялся очень, что не успею перехватить. Разве я тебя в Ленинграде найду? Как нам быть-то теперь? Мне уж трудно представить свою жизнь без тебя!

Мария стояла и не верила в свое счастье. Девчонки с машины кричат, шумят, торопят. Потом поняли, что у их товарищей жизнь решается.

— Прощай, Мария! Счастья тебе и Вите!

Машина ушла. Молодые люди вернулись к Федотовне, оставили чемодан и сразу отправились по начальству. Виктор — свои бумаги выправлять, а Мария — подать просьбу о демобилизации в связи с вступлением в брак. Подполковник, только что отправивший Марию в краткосрочный отпуск, был удивлен:

— Ну, вы даете! То одно, то другое... Но, вообще-то, очень рад. Садитесь, товарищ старший сержант. Пишите рапорт.

Виктора в последний день его службы командир еще успел в ночной наряд отправить. Зато Мария вечернюю паузу решила посвятить тому, чтобы привести в порядок гимнастерку жениха. Пуговицы начистила, подворотничок новый подшила — как-никак предстояла регистрация брака.

ЗАГС располагался в центре села на втором этаже деревянного здания, рядом с ним — сапожная

мастерская. Весь низ дома занимала столовая. У входа в нее Мария увидела своих сослуживцев, кто-то с удивлением спросил: «Ты уже из Ленинграда вернулась?» Виктор все объяснил и пригласил девушек подняться с ними наверх, быть свидетелями.

Им довольно быстро выписали «Свідоцтво про шлюб», так по-украински называется свидетельство о браке.

— Затем мы расписались в журнале, — вспоминает Мария Семеновна, — и нам сделали отметки о регистрации брака; Вите — в красноармейской книжке, мне — в личном удостоверении: «Вступила в законный брак с Астафьевым Виктором Петровичем 26 октября 1945 года». Перед тем как заполнить графу «Фамилия после заключения брака», я чуть помедлила, переждала мгновенное напряжение-ожидание: что скажет Витя, отныне мой муж? И он сказал: «У нее своя фамилия есть!» И тогда я подтвердила: «Да, есть. Я — Корякина Мария Семеновна».

Получили документы. Пока заведующая ЗАГСом сверяла правильность записи в журнале, Виктор вышел покурить. Мария осталась ждать, когда ей отдадут бумажку в половину тетрадного листа величиной, так много значащую в будущей жизни каждого нормального человека, свидетельствующую о том, что появилась новая молодая семья.

Кого на обратном пути из знакомых солдатиков встретили, тех и пригласили отметить событие. Раздобыли бутылку самогона, Федотовна достала из бочки несколько соленых огурцов, кусок сала, несколько чесночин, и свадебный пир начался. Солдаты поздравляли, произносили пожелания долгой и радостной жизни. Посидели хорошо, но недолго. Ребята поняли, что у молодых полно нерешенных вопросов...

Они пошли в последний раз прогуляться по селу. Наутро — в Винницу, где их окончательно

демобилизуют, выпишут билеты, выдадут недельный сухой паек — и скатертью дорога! Вопреки ожиданиям, все произошло быстро и организованно. Когда вернулись в Станиславчик, Виктор предложил уехать, не мешкая, в тот же день.

Проходящие поезда останавливались здесь редко. Наконец, прибыл поезд на Киев. Сестра на него помогла солдатская смекалка: друзья Виктора решили атаковать вагонный туалет. Один из парней подтянулся на поручнях к туалетному окну, изловчился и довольно аккуратно его выбил. Потом он забрался вовнутрь, принял от Виктора Марию и втащил ее в окошко. Следом полетел вещмешок, а затем влез и Виктор. Так у них и началось путешествие с войны домой.

Когда поезд тронулся и начал набирать скорость, Виктор долго не отходил от окна и молчал. Мария думала о том, что дома родители ждут не дождутся. Слава богу, живые остались, молодые — все со временем устроится...

На станциях, где состав притормаживал, они видели и слышали всё то же: крик, плач, мат, рев, возгласы о помощи. Люди стремились скорее добраться домой...

На вторые сутки пути Виктор и Мария не без труда выбрались из туалета, хотя тут помогли сами пассажиры, потому что наведаться в это заведение не терпелось уже многим. В Киев поезд пришел поздней ночью. Виктор оглядел толпу-очередь, подумал и невесело сказал, что суток трое — не меньше — понадобится выстоять. Смог договориться с железнодорожниками — их взяли в угольный тендер.

В Дарнице взглянули друг на дружку и едва не упали со смеху — такие они черномазые сделались за дорогу. У водокачки умылись, привели себя в порядок. И снова предстояло решать задачу, как действовать дальше. Патрульный офицер, который подходил к ним, чтобы проверить документы, сумел посадить их в вагон-

прикрытие какого-то спецпоезда на Москву. Такой вагон ставили между паровозом и пассажирским составом — на случай, если поезд резко затормозит. Вагон прикрытия может при этом превратиться в гармошку, зато пассажиры других вагонов, как правило, люди важные, даже и не поймут, что произошло.

Появлялись патрули, требовали, чтобы вагон освободили — не положено, опасно, угрожали даже, что стрелять будут. В конце концов заперли их снаружи. На остановке Виктор попросил через закрытую дверь путевого обходчика раскупорить их вагон. Тот какими-то инструментами стронул тяжелую задвижку с места и откатил ее до отказа.

В Москву они приехали поздним вечером и сразу же спустились в метро.

А до уральского города Чусового добрались молодые супруги в ночь на 7 ноября 1945 года и стали жить в доме Корякиных по улице Железнодорожной, 32.

На страницах «Веселого солдата» версия Астафьева по поводу своего изменившегося после войны статуса солдата-холостяка выглядит довольно жестко. Он пишет:

«Служил солдат четыре года и холостым побыл четыре дни. Таковая вот баллада на старинный жалостный лад слагалась в моей башке под стук вагонных колес и под шум встречного ветра...

Катил я с незнакомой почти женщиной на ее любимую родину, на Урал, в ее любимый город Чусовой. Катил и все время ощущал томливое сосание под ложечкой. Куда меня черт несет? Зачем?

Но в той нестройной части, куда я с отрядом искалеченных фронтовиков, у которых открылись раны, угодил после конвойного полка и госпиталя, была туча девок-перестарок, и взялись они за нас решительно, по ими же установленному суровому закону: попробовал —

женись! Были, конечно, среди нас архаровцы с опытом, уклонялись от оков, выскользали из цепких рук...

Я же сам добровольно отдался провидению — ехать-то не к кому, вот и пристроился, вот и двигался на восток, намереваясь в пути узнать характер своей супруги. Наивняк! Проживши бок о бок с нею полсотни с лишним лет, я и сейчас не убежден, что постиг женский характер до конца. Знаю лишь доподлинно и твердо одно: баба есть бездна.

В пути, в народной стихии, баба моя присмирела, ужалась, в тень отодвинулась, и волей-неволей пришлось мне брать руководство семейной ячейкой на себя. Хватили мы под моим опыта не имеющим предводительством столько мук, страхов и горя — в мой солдатский рюкзак не вошло бы...»

Справедливо ли Астафьев отводил жене такую незавидную роль в начале их совместной судьбы? Ответ на это можно найти в последующих главах.

Глава четвертая ЧУСОВОЙ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Последняя пересадка, теперь уже в Перми второй, на соликамский поезд, который должен доставить их в Чусовой, на родину Марии. Здесь не было такого вагонного столпотворения, можно было осмотреться и прикинуть, что к чему. Правда, Виктора тут же отвлекло небольшое происшествие. Когда поезд уже набирал ход, на площадку запрыгнул совсем юный младший лейтенант. Он радостно заулыбался, когда понял, что успел заскочить именно в тот поезд, до Чусового. Увидев двух фронтовиков, представился: «Радыгин» — и тут же стал сокрушаться, что вот сам он вынужден возвращаться домой, не успев сразиться с врагом, отличиться и погеройствовать.

«Когда я сказал ему, чтоб он не жалел об этом, что ничего там, на войне, хорошего нет, он не захотел меня ни понять, ни поверить мне...

Ох-хо-хо! Каким я был стариком по сравнению с ним, с Радыгиным, хотя и старше его всего на два года. Какой груз я вез в своей душе, какую усталость, какое непреодолимое чувство тоски и печали, неизвестно когда и скопившихся! Как жить с этим грузом? Куда его девать?? Кому передать, чтоб облегчиться. Не возьмет ведь никто — ненужный это, обременительный груз. А больше у меня ничего нету, пара белья, портянки — даже шапки нету, а мороз нажимает, усиливается...»

Наконец, поезд остановился на станции Чусовская. И тут настроение нашего героя дало себя знать. Даже спустя полвека, вспоминая те часы своей жизни, он только и смог, что обозначить их — предельно жестко, даже жестоко.

Они вышли на перрон, затем миновали привокзальную площадь.

Юный супруг огляделся. По одну сторону станции — гора, на склоне которой дома то табунками, то поодиночке. По другую сторону — сплошь железнодорожные пути (станция-то узловая), а за путями — река, но ее почти не видно. Увидел в низеньком, приосевшем привокзальном скверике на невысоком постаменте тоже как бы приосевшую, литую фигурку Ленина со снежным комом вместо шапки на голове и с вытянутой в сторону перрона рукой. Виктор какое-то время поводил головой, поприглядывался к фигурке вождя и громко, с веселостью воскликнул: «Здорово, товарищ Ленин! — единственная знакомая мне личность в этом городишке».

До родного дома, откуда Мария уходила на фронт, они шли молча и как бы не спеша, хотя была уже ночь на 7 ноября 1945 года. Она поняла, что ее молодой супруг волнуется, и невольно замедлила шаг.

Когда подошли к дому, вошли под навес крыльца и решили чуть посидеть на лавке.

Мария вспоминает:

«Посидели. Я хотела уж стучать в дверь, но Витя остановил, мол, посидим еще маленько. Еще посидели. И тут я неожиданно, но с надеждой вспомнила, куда клали ключ от двери, прошлась пальцами за верхним наличником двери от угла до угла и в конце наткнулась на гвоздь, вбитый сбоку, а на гвозде том... ключик, не золотой, конечно, поржавевший уж немного, но тот самый! Я мгновение подумала и отдала тот ключ Вите, чтоб открывал...

За дверью послышался легкий, настороженный шум...

— Кто стучается? Ково надо?..

— Папа! Да это же я, Мария! Мы с Витей с войны приехали, вот, домой!..

— Марея?! Дак што же ты отпереть-то дверь не можешь, чё ли?.. Вертите теперь не к Куркову, а к Комелину!.. Осенью варнаки какие-то испортили замок. Пришлось исправлять да наоборот вот и вставили.

Наконец, дверь с легким скрипом открылась. Перед нами папа, в нижнем белье, в телогрейке, накинута на плечи...»

Таким запомнилось возвращение в родной дом с войны Марии Семеновне.

Дом наполнился суетой, все были разбужены. Мария познакомила Виктора с родней. И если она вспоминала те мгновения с радостью, Астафьев на страницах повести «Веселый солдат» в этой домашней кутерьме усмотрел покусение на свою персону.

«— Приехали вот!.. Привезла с собой... Прошу... Вот... Прошу любить, стало быть, своим считать... прошу любить и жаловать, как говорится.

Ох, как много было всякой всячины в этих словах и обидного для меня лишковато: „Привезла, видите ли! Теленка на веревке! Она! Привезла! Ха-ха!“

Но опять же и предупреждение: привезла в людный дом, но в обиду не дам, кривой на один глаз, зато человек хороший, может, и не очень хороший, зато добрый, боевой! Не на помойке найден. С фронта! Там худых держать не будут! Медаль худому не дадут! Тем более орден!..

В общем и основном ее поняли, состояние ее почувствовали, начали со мной знакомиться ближе: Зоря, Вася — братья; Тася — сестра моей супруги; человек с залысынами архиерея — муж старшей сестры, Клавы... Звали его Иван Абрамович! Тещу — Пелагия Андреевна, тестя — Семен Агафонович...»

Быстро собрали стол, на котором, впрочем, оказалась лишь вечорошняя картошка, приправленная молочком и запекшаяся в загнете. В чугуне была похлебка из требухи...

Маша еще раз, уже не торопясь, рассказала о том, что в момент демобилизации они с Виктором расписались и случилось это 26 октября.

Вырос муж в Сибири, рос в детдоме, а потом ушел на войну. Несколько раз ранен...

— Мама, папа, вы уж жалеете его почаще, — завершила она знакомство-представление супруга.

Разговор шел рваный, бестолковый. От ужина и домашнего тепла, которое пришло на смену холодным вагонам их долгой и мучительной дороги с войны, быстро сомлели. Виктор то и дело встряхивал головой, отгоняя накатывающий сон.

Родители Марии определили для молодой семьи место в верхней комнате дома и туда отправили отдыхать измотавшегося в пути солдата.

«Эту ночь я спал так, как и должен спать демобилизовавшийся солдат, оставивший вдали войну навсегда: без настороженности, без жутких сновидений, — спал, доверяясь большому дому с такой мирной тишиной, устоявшейся в его недрах, с печным, из недр выходящим теплом, со знакомыми с детства запахами коровьего поила, половиков, полосканных в мерзлой воде и сохнувших на морозе, с примолкшей на холодном окне, но все еще робко, последним бутоном цветущей геранью, чистой, хранящей снежную свежесть наволочкой под ухом, с осторожными, сонными вздохами в темноте, мирным говором и приглушенным смехом подо мною, внизу на кухне».

На другой день молодых супругов ждало новое испытание. Мария Семеновна вспоминала о нем с легкой усмешкой, а Виктор Петрович обострял ситуацию, и такой он изобразил ее в своей повести.

Около полудня Семен Агафонович, поднявшись наверх на несколько ступенек, нарушил их отдых:

— Маррея! Витя! Баня истоплена. Идите, мойтесь, пока не выстыла. После такой дороги... Айдайте,

мойтесь.

— Ладно, папа. Сейчас пойдем... Соберу бельишко да и...

Виктор потянул на себя одеяло и вставать не собирался.

— Витя! Папа баню истопил, велит идти мыться...

— Вместе, что ли?

— Ну... может, ты пока мыться будешь, я в предбаннике подожду. Только так ведь не бывает у добрых людей...

«Понял я, понял — не чурка уж совсем-то, да и выспался, соображать начинаю: нам, молодоженам, по старому российскому обычаю, идти в баню вместе. Вдвоем. Родители ж не знают, что мы и ознакомиться друг с другом не успели, что мы еще никакие не муж и жена и расписаны лишь в красноармейской книжке, мы и не женились по-человечески, мы сошлись на ходу, на скаку, в военной сутолоке... А теперь вон — в баню! Вдвоем! Но там же в галифе, в гимнастерке с медалями не будешь. Там же раздеваться надо, донага! Обоим! Мыться надо и, как загадочно намекали сверхопытные вояки нашего взвода, „тереть спинку“!

...Баню, понимаешь ли, натопили! Это ж в баню сходишь — и все! Это уж значит — муж и жена! По-настоящему! Конечно, и жена моя новоиспеченная тоже не святая. Да и я оскоромился в станице Хасюринской — приголубила меня там казачка удалая. Любовь госпитальную пережил, тоже с переживаниями!.. Но чтоб в баню вместе! Это очень уж серьезно! Это уж как бы в атаку идти, в открытую — страх, дым, беспамятство...

— Робята! Дак вы чё в баню-то не идете? Выстынет ведь, — раздался с лесенки голос тестя.

И я докумекал: отступать некуда. Надо принимать вызов. Рывками оделся, натянул сапоги, громко, тоже с вызовом, притопнул и с вызовом же уставился на

супругу, завязывавшую в узелок бельишко и отводившую от меня глаза, да в забывчивости громко, обиженно пошмыгивающую папиным носом.

— Куда прикажете?

— Что?

— Следовать куда прикажете?!

Напрягшись лицом, она молча показала мне на дверь, ведущую с верхнего этажа на другую, холодную, лестницу и по ней, через сенки, во двор. Там вот и она, баня, — рылом в рыло.

Вышел и уперся. Не на задах огородов баня, не в поле, не на просторе, как у нас в селе, вот она, с закоптелым передом, с удобствами, с угарным запахом в предбаннике.

Еще больше разозлившись оттого, что нет к бане долгого и трудного пути, некогда обдумать свое поведение и собраться с духом, решительно распахнул я дверь в угоенную, чистенькую баню с окаченным полком, с приготовленным на нем веником, с обмылком на широкой замытой скамье — этакое миротворно дышащее теплым полутемным уютом заведение с яростно накаленной каменкой.

...Я сорвал с себя одежду, повесил грязное белье на жердь — для выжаривания, сложил в сухой угол верхнее, подумал-подумал — и портянки повесил на жердь, более никакой работы, никакого заделья не было.

Супруги моей тоже не виднелось. В предбаннике, за дверьми, она не слышалась. Я взял сапоги за ушки и, чтоб они не скоробились от жары, решил их выставить в предбанник. Предупредительно кашлянув, захватив грешинку в горсть, распахнул я дверь бани, уверенный, что супруга там разделась и ждет моей команды на вход, на холоду ждет и получит от меня за это взбучку. А она опять мне в ответ что-нибудь выдаст, и там уж в предбаннике все как-нибудь само собой наладится.

Но она, сжавшись в комочек, опустив голову, сидела на дощечке, приделанной вместо скамьи, и теребила ушки узелка с бельем...»

Тут у Виктора разыгралось ретивое, и он прямо зарычал на юную супругу:

— Ты зачем сюда пришла?! Мыться или меня караулить?!

«Даже не помню, — вспоминала Мария, — как скинула с себя рубаху, нашарила второй таз, схватила ковш, крючком зацепленный за край бачка, пощупала на мокрой лавке мыло... Вспомнила, как до войны мы всегда мыли голову щелоком: ставили ведро на привычное место, в углу, и или наливали через край, или осторожно черпали, чтоб не взбаламутить. Голова щелоком хорошо промывается, и волосы потом как шелковые делаются. Заглянула в тот заветный уголок в конце лавки, нашла щелок и промыла голову...»

Виктор, когда помылся, то на полог полез, чтобы попариться.

Мария собралась уж выходить в предбанник, одеваться, когда он опять рявкнул:

— А кто на каменку сдавать будет? Папашу звать?!

«И тут я поняла, — не без иронии замечает Мария, — человек мыться намеревается основательно, чтоб все, как у людей. Осталась с ним, чтобы не получилось, что мы торопились, не хотели вместе побыть».

После бани их ждало все семейство за самоваром.

Так Виктор Петрович был принят в семью Корякиных.

Уже на другой день пришлось Виктору идти со своей новой родней на реку, вмерзшие в воду плоты вытаскивать. Обычно делали это почти всегда еще до заберега, до шуги. Но в этот раз не получилось — помощников-то не было.

Работы хватило на целый день. А к вечеру, когда все подустали, случилось происшествие. Виктор и брат Марии, Азарий, ворочали бревно и не в раз его сбросили. Азарий поспешил, и вершина бревна, спружинив, разбила нос Виктору.

Азарий клял себя за оплошность и матерился, прикладывал к носу Виктора снег, отбрасывая пропитанные кровью комки, лепил новые... Как часто бывает, беда сблизила их, они быстро сроднились и сдружились.

Безденежье не особо удручало — к нему привыкли.

«Надев военную шапку жены и свою форсистую шинель, под нее папашину душегрейку, я снес на базар запасную пару белья и, потолкавшись среди военного в основном люда, роящегося на холодном пустыре, обнесенном черным от копоти, шатнувшимся в лог, местами уже и упавшим забором, посреди которого стояли два дощатых торговых „павильона“, по которым гулял ветер, потому как тес с них был сорван, столбы щетинились ржавыми гвоздями и под крышами „павильонов“ угрюмо и пустынно гудело, я реализовал свой товар. На вырученные за белье деньги тут же, на базаре, в дощатой будке сфотографировался на паспорт, купил полбулки серого смятого хлеба и стриганул домой, радуясь тому, что жене выдали шапку, что головы у нас одного размера, вот только характеры разные. Совсем разные. Разительно разные. Но Бог свел, соединил нас, и родители ее доказали всей своей жизнью, что женитьба есть, а разженитьбы нет.

Через три дня я получил фотокарточки и отправился в райвоенкомат — сдавать военные и получать гражданские документы и обретать уже полностью гражданскую свободу».

Оказалось это делом не простым. Таких, как Астафьев, в городе было пруд пруди.

Помню, мы с Виктором Петровичем как-то подробно говорили о ситуации, которая сложилась в 1945 году после победы.

— Выходит вас, фронтовиков, встретили не с распростертыми объятиями? — поинтересовался я.

— Какие объятия, все кругом фронтовики. Да и те, кто дома оставался, — сплошь покалеченные. Вот нас с фронта еще двое появилось. Обустраиваться надо, а как? Говорю же тебе, что даже на учет, помню, вставал как-то затянно, тягостно.

Из армии сначала отпускали старший возраст, после пятидесяти, и женщин. Потом — во вторую очередь — тех, кто имел по три ранения. Вот это — меня коснулось.

Приехали мы в Чусовой в шинелишках, я — в пилотке, только у Марьи шапка была. А это же ноябрь, мороз под 30 градусов. Не забалуешь. Я при демобилизации получил 180 рублей денег и пару белья. Примерно такие же богатства везла моя жена. Между тем булка хлеба стоила 400 рублей. Тут можно пропасть без человеческого участия. И потому скажу, что в самой организации жизни, пожалуй, тогда больше было человеческого.

Нас в военкомат одномоментно съехалось несколько тысяч. В военкомате — две девчонки, с утра до ночи с солдатами возятся, выправляют документы. Чтобы паспорт выдать фронтовику, надо кучу бумаг исписать, где-то заверить и прочее. Так просто у нас гражданином не стать. Сколько времени отнимали проверки! У порога военкомата ошивались с утра до вечера. По очереди забежали внутрь, чтобы согреться.

Помню, вышел к нам подполковник Ашуатов, тоже после фронта, только-только назначенный военкомом, и говорит: «Да-а! Так вы у меня пропадете — без документов и довольствия. Надо вам искать

применение. Пойдете на снегоборьбу? Там, пожалуй, договорюсь».

Станция Чусовая — серьезная, узловая. Объем движения огромный. Кому из нас больше заняться было нечем, пошли снег грести. Сразу дали карточки. Раз в неделю — деньжонки подкидывали, около ста рублей. Так началась моя сознательная трудовая жизнь. На станции перезнакомились, могли держаться в новой для нас обстановке вместе, сообща.

Что еще важно: все-таки мы мало чем от того подполковника отличались. Я и теперь благодарен ему: ведь нашел Ашуатов, куда нас приткнуть. Выйдет ли сегодняшний полковник к таким же замерзающим у его порога ребятам? Не знаю, не уверен. Скорее всего, пройдет, сунув нос в воротник, мимо и рванет с молодой шмарой на дачку. Пропади вы пропадом, солдатики.

Подошла третья очередь демобилизации, четвертая, а мы все на снегоборьбе. Впрочем, там я и нашел себе постоянное место. Так что начинали после войны мы без жилья, без профессии...

— Но у вас же было ФЗО за плечами, вы работали до войны составителем поездов?..

— После полученных увечий я не соответствовал условиям своей специальности, не взяли. Да и сам не смог бы, физически...

Возвращаясь к разговору о Чусовом, скажу, что городишко в основе своей был сплоченный. Народ кучей жил, взаимовыручкой. Это реально помогало выкарабкаться из нищеты, вселяло какую-то надежду. Хотя, казалось бы, на войне мы все ожесточились, ведь находились в нечеловеческих условиях. Не дай бог вам подобное пережить. И никому...

«Кто-то где-то там наверху, в небесах, — пишет Астафьев в повести „Веселый солдат“, — услышал слова подполковника Ашуатова, наши ли солдатские молитвы

до Бога дошли — на Чусовской железнодорожный узел обрушились гибельные метели со снегом. Все мы, военкоматовские сидельцы, были мобилизованы на снегоборьбу. На станции нам ежедневно выдавали талоны на хлеб, еще по десятке денег и тут же, в ларьке, их отоваривали. Однажды даже выдали по куску мыла и по несколько метров синенькой дешевенькой материи, из которой жена моя тут же сшила себе первую гражданскую обновку — коротенький халатик, кокетливо отделав его по бортам бордовой тряпицей...»

Во время этой работы на станции, прознав, что Астафьев по первой профессии — железнодорожник, правила и образ станционной жизни знает, ему предложили быть дежурным по вокзалу. Впрочем, продержался он на этой должности недолго — очень оказалась работа суетная и бестолковая.

А в доме Корякиных — еще события. Как-то сквозь сон услышал Виктор крики, плач, ругань. Жены рядом не было, и он догадался, что кто-то еще приехал, скорее всего Калерия, которая была старше двумя годами Марии. Самая красивая и строптивая...

Калерия была медсестрой на фронте, там вышла замуж и вот теперь приехала рожать в родной дом. Сопровождал ее супруг, капитан Смерша.

Определили Калерию на вторую кровать, стоявшую в дальнем углу той же комнаты, где разместились Виктор и Мария. Характер у нее был скверный, заносчивый. Она постоянно находила поводы для ссор.

«На работу жена моя ходила к девяти, как человек интеллигентного труда. Погладив меня ладонью по щеке, шепотом напутствовала:

— Умывайся тихонько. Папа и мама недавно легли. Кружка молока с чаем и кусочек хлеба тебе на припечке. Рублевка на обед в кармане гимнастерки...

Увы, жена моя была не только образованней, но и опытней меня во всех делах: земных, житейских, служебных и всяких прочих; очень много всякого разного успела изведать как в личной жизни, так и в общественной, работая в „особых“ войсках, даже под расстрел чуть не угодила.

А что я, год назад начавший бриться солдатик, от ранения потерявший зрение правого глаза и по этой причине единственную свою профессию — составителя поездов, еще совсем недавно рядовая окопная землеройка с шестиклассным образованием, мог знать? Я даже род войск капитана не различил по погонам.

Зато Мария хорошо ведала, какого рода войск погоны прикреплены к гимнастерке новоявленного родственника».

Конечно, все фронтовики о Смерше хотя бы слышали. Виктор прежде с этими людьми дела не имел, и теперь ему предстояло отстоять себя на очень узком семейном пространстве. К тому же супруг Калерии был офицером, что тоже нарушало между ними равновесие. Правда, капитан шпионов не ловил, состоял при каком-то хитром отделе какой-то армии. Там он, как выражается Астафьев, и «словил» сестру Марии «да накачал ей брюхо». Кроме того, капитан приволок из Германии множество всяких чемоданов и узлов...

Виктор тем временем устроился в депо слесарем, но при этом деле долго не продержался и перешел в литейный цех. Мария тогда работала плановиком в промартели «Трудовик» Чусовского горпромсоюза. Работа как работа, умела она на счетах считать и учетные ведомости составлять. Карточку дали хорошую: 800 граммов хлеба, талоны на крупу, на мясо или рыбу, еще нет-нет да мануфактуры выпишут, или меду, или валенки.

Но вот голова ее была занята совсем другим: как там, дома?

С возвращением Калерии там возникла жуткая теснота. У дома Корякиных имелась пристройка, но в ней жили постояльцы, которых уже не раз просили освободить жилплощадь. Мария понимала, что это для нее выход, они с Виктором смогут там зажить как бы самостоятельно. Однако постояльцы съезжать не спешили.

Ожидаемое событие, рождение Калерией ребенка, не заставило себя ждать. В доме Корякиных появился еще один мальчик, а у Марии с Виктором — племянник.

Петр, муж Калерии, не упускал повода, чтобы как-то задеть Виктора, впрочем, и тот в долгу не оставался. Из-за этого напряжения все в доме были постоянно на взводе, и Марии все чаще и чаще приходилось звать мужа вечером в кино. В эту пору они посмотрели многие трофейные фильмы, некоторые — по несколько раз, однако общего настроения эта культурная программа не меняла. Виктор уходил в себя, ожесточался, все чаще заводил разговор о том, что, наверное, ему стоит съездить на родину, в Сибирь.

После очередной ссоры с мужем Калерии Виктор выскочил из дома и тут столкнулся с квартиранткой из флигеля. Она была так напугана видом Виктора, что закричала, и это усилило общее смятение. Мария, выбежавшая тоже на улицу, повисла на нем, пытаясь успокоить. Это был настоящий нервный срыв. Виктор исступленно восклицал:

— Да что же это такое? За что-о?! Зачем я не подох, когда был беспризорником?.. Зачем меня не убило на войне? Н-ну, зачем? Зачем ты меня сюда привезла, скажи ты мне на милость?!

— Витенька! Милый мой! Любимый мой и такой несчастный. Я это... без вины виноватая... Наша семья была до войны дружная, хорошая. Разве я думала, что

все так будет? Поезжай, родной мой, поезжай. Повидаешься со своими родными... Не все же за войну озверели. Поезжай, а потом приедешь. Когда приедешь, все будет хорошо, все наладится. Миленький мой, я не знаю, как тут без тебя буду? Да пусть хоть как, хоть умру, только бы тебе было полегче... Я тебя никогда не забуду. Я всегда буду любить тебя, ждать тебя, думать о тебе.

После этого конфликта как бы само собой сложилось, что Виктор окреп в своем давно копошившемся в глубине души решении поехать в Сибирь, в родную деревню. Пока он побудет со своей сибирской родней, она, Мария, здесь наладит жизнь и добьется, чтобы флигель был квартирантами освобожден.

Невысокая эта женщина, которая сама нуждалась в защите, тем не менее своей любовью оберегала Виктора Петровича.

Итак, возник такой эпизод в его жизни, когда он сказал себе: всё, хватит, я не могу жить в такой униженности и в такой тяжести.

Перед уходом из дома Корякиных, может быть, навсегда, он выкрикнул в пространство, ни к кому не обращаясь:

— Прощайте, не поминайте лихом!

И малодушно кинулся на вокзал. Он имел на станции знакомых (ведь некоторое время был дежурным по станции), взял себе билет. До отъезда еще оставалось несколько часов, когда его разыскала Мария:

— А ты знаешь, Вить, я тебя на самом деле не удерживаю. Ты хочешь поехать в Сибирь, к себе на родину? Ну, съезди, посмотри. Как уж там у нас получится — сам решай. Но вот мне сегодня дали

премию, и я думаю, что мы с тобой, пока есть эти четыре часа, можем пойти в ресторан.

— Да ты что? Какой ресторан? Тут и ресторана, наверное, нет, — засомневался муж.

Конечно же он знал, что ресторан на вокзале есть, но не был готов к такому повороту событий. Когда они уселись за столик, к ним подошла официантка, оказавшаяся знакомой Астафьева: «Так ты, оказывается, выпиваешь? И с девчонками гуляешь! А на нас-то внимания не обращал»...

Мария в этом эпизоде, о котором она мне сама рассказывала, пожалуй, дала Виктору новое ощущение, которое не могло возникнуть в тесном, перенаселенном доме. С обитавшими в нем людьми — родителями, братьями и сестрами жены с их семьями — очень трудно, почти невозможно, было ужиться.

И к тому же — двое военных: простой солдат и капитан, которого привезла с собой Калерия. Здесь возникло непримиримое столкновение позиций, и в данном случае оно было неизбежным. Ведь Астафьев исповедовал окопную правду, разделял мнения и суждения солдат. А восприятие войны у офицера-штабиста оказалось совсем иным. Их совершенно разное положение на войне определило неприязнь друг к другу. Стычки в доме возникали естественным образом и постоянно.

...Здесь, в привокзальном ресторане, Мария, давая Виктору право поискать что-то в жизни, напомнила: они живут одной семьей, они — муж и жена, и она не хочет, чтобы он просто куда-то бежал, она пришла на вокзал, чтобы проводить его достойно. Вполне возможно, что она даже придумала тогда, что у нее премия.

Они сели, выпили бутылочку портвейна. Она его проводила.

Когда переписка между ними наладилась и у Марии появилась надежда на возвращение Виктора, в доме

случилась беда: заболела Калерия, и заболела серьезно. Астафьев воспринял весть об этом с тревогой, как член одной со своей свояченицей семьи. Он спешит из Сибири, чтобы застать Калерию живой, чтобы поговорить с ней, чтобы помочь домашним. В таком его поведении усматривается воздействие того урока семейных взаимоотношений, который преподнесла Мария своему супругу при прощании. Можно это назвать и уроком настоящей любви, какую Мария испытывала к Виктору. Любви, граничащей с мужеством. Так можно охарактеризовать ее чувства, испытанные на прочность всей последующей жизнью.

Этот эпизод, на мой взгляд, характеризует взаимоотношения между Марией и Виктором очень сильно и точно. Хотя в повести «Веселый солдат» он может остаться для читателя и незамеченным в среде других поступков, порожденных не всегда объяснимыми движениями души героя, его «нервных» вспышек.

И все же... Мы знаем, что лирический герой «Веселого солдата» воспринимает преподанный ему урок и возвращается к своей семье.

То же произошло и в биографии Астафьева.

Уезжая, Виктор не обещал, что скоро вернется.

Вскоре после его отъезда квартиранты освободили флигель, и Мария принялась его ремонтировать, благоустраивать. На это ушел весь февраль 1946 года. Из Сибири шли письма, из которых Мария мало что могла понять о настроении Виктора, его планах. Зато она отвечала ему обстоятельно.

Сначала рассказала о том, как она организовала ремонт флигеля, какие сшила занавески. В другом письме сообщила о том, что отделилась от родительской семьи, начала обживать их первую собственную квартиру.

Из писем Марии Виктор узнал о тяжелой и опасной болезни Калерии. В середине марта он возвратился из Сибири.

«Забегаю по скрипучей лесенке наверх, в большую комнату и вижу: возле кровати, на которой лежит больная моя сестра, сидит Витя! Мой Витя! — пишет в своих воспоминаниях Мария Семеновна Корякина. — Какое-то краткое время пережила я грустную радость, что вернулся мой долгожданный муж, обнялась с ним накоротке, над сестрой склонилась, спрашиваю о самочувствии. А она кивнула на табуретку, мол, посиди, и стала говорить о том, какой хороший человек мой Витя, вот из Сибири, из такой дали, привез ей брусники, такой вкусной, такой приятной. Она поела немножко, и вроде даже полегчало маленько.

— Спасибо, Витя, — сказала она, погладив его руку. — Спасибо! Ты на обед? — обратилась она ко мне. Я кивнула. — Ну, тогда идите: у тебя перерыв, Витя с дороги. Идите к себе, а вечером заходите посидеть... — и прикрыла глаза, отвернувшись.

Мы пока не пережили бурной радости от встречи. Когда разогрелась овсяная каша, поели, попили чай с медом, который нам недавно выписали в горпромсоюзе — отоварили талоны на сахар. Я заспешила на работу, не чувствуя, чтоб меня удерживали, посмотрела на Витю с улыбкой, ожидая ответной, он кивнул и стал приглядываться к жилью: подушки на кровати пощупал, в окна поочередно посмотрел, половичок поправил...»

И все-таки с работы она очень спешила, даже к родителям не заглянула, сразу к себе в дом, чтобы поужинать и вместе куда-нибудь сходить. А Виктор с дороги крепко спал, однако, заслышав, как скрипнула и отворилась дверь в избу, вскинул голову, утер губы и сел, как бы виновато улыбаясь.

Странно, но Виктор не спрашивал, как тут она без него управлялась, не рассказывал о себе, о

родственников. Это смущало Марию, и она не понимала, как ей себя вести.

Ужинали, потом Мария прибрала все со стола. День заканчивался.

Виктор придвинулся вдруг к ней и произнес:

— А ты меня сегодня в слезу вогнала!

Мария в недоумении подняла глаза.

— Открыл я шкафчик, разобрал белье, одеваюсь, и тут носки увидел! Я же их и в детдоме-то никогда не носил... Они — глаженные, аккуратно сложенные... А уж когда носовой платок обнаружил, да тоже глаженный!.. Тут из моего глаза и покатились слезы горючие одна за другой. Засунул голову поглубже в тот ящик, будто ищу чего или достаю, а сам шмыгаю носом да утираю слезы свои непрошеные...

23 марта 1946 года перед обедом Калерия умерла. Ушла из жизни она на двадцать седьмом году от роду, оставив месячного сыночка Толика.

Большая семья стала меньше на одного человека. Все в доме были подавлены свалившимся на них горем. И капитан Смерша, казалось, тоже переживает из-за потери своей молодой жены. Когда Калерию хоронили, он, как привиделось Астафьеву, даже изобразил желание упасть в могилу.

— Театр, — жестко сказал Виктор.

Так оно и оказалось. После поминок на девятый день Петр сказал семье о том, что родина требует от него очередной жертвы, он должен будет ехать в Японию — для него, мол, война пока не кончилась...

Год-два он еще заезжал на день-другой провести сыночка, даже привозил какие-то гостинцы. Однажды даже заикнулся о том, что заберет ребенка к родителям в Ростов, когда тот немного подрастет. Впрочем, больше он этого разговора не заводил.

Родителям все тяжелее было заниматься с растущим Толиком, и Астафьевым все чаще

приходилось его брать к себе. Спустя какое-то время Витя написал беглому папаше письмо с довольно жесткими, но справедливыми упреками. В ответе ничего вразумительного не было, пропавший родитель жаловался на несчастную судьбу, неудачи. На этом все дело с воспитанием сына и закончилось. А Анатолий стал членом семьи Марии и Виктора Астафьевых.

1 мая 1946 года — первый день рождения Виктора, который они отмечали вместе. Отнеслись к делу серьезно. Мария сшила себе платье из бордового шифона. Повыше, на груди, вышила мелким крестиком две полосы и тем еще больше украсила свой наряд. У Виктора была нарядная белая рубашка в зеленоватую полосу. Приодевшись, они пошли в фотоателье, чтобы сделать первый семейный портрет.

— И еще, — вспоминает Мария Семеновна, — Витя мне преподнес накануне своего праздника нарисованную цветными карандашами летящую птицу, на фоне облаков. В верхнем углу написал: «1-е мая, 1946 год». Под рисунком, наискосок, зеленым карандашом, оттенив крупные довольно буквы желтым, как бы солнечным цветом, добавил: «Машенька моя!» А на обороте чернилами фиолетовыми вывел:

«Поздравляю тебя от души с самым жизнерадостным, самым прекрасным из всех существующих праздников весны — 1-е Мая!

Будь так же радостна и бодра, как этот чудесный день — 1-е мая 1946 года, всю жизнь цвети, как май, и всю свою будущую жизнь будь также молода душой, как май! Пусть все твои дни будут прекрасны и не омрачены тоской!

Целую! Виктор».

А продолжение добавил уже в стихах:

«Цвети, как май!
Будь вечно юна!
Мечтай и в мыслях вспоминай
Дни прошлые... (души порывы)
Их никогда не забывай!
Люби и будь всегда любима,
Надежду в счастье не теряй!

30. IV.46 г.».

Вскоре Мария поняла, что забеременела. В связи с этим было над чем задуматься. Для себя она тогда решила: надо рожать детей — двух, трех, сколько будет, но не столько все-таки, сколько было их, сестер и братьев, у ее родителей. Надо растить детей и ставить их на ноги, жить до тех пор, пока будут силы содержать дом и семью, обихаживать себя.

В декретный отпуск она ушла с опозданием — все не выписывали больничный, так как сроки, определенные в женской консультации, не совпадали с расчетами Марии.

Накануне 1947 года Виктор перешел работать в артель «Металлист». Там была хорошая норма на хлеб, выдавали неплохие продовольственные карточки. Кроме того, появилась возможность выписать старое железо и гвозди для починки крыши.

11 марта 1947 года в семье Астафьевых появилась дочка, названная по настоянию отца Лидочкой.

Зима в тот год была лютой, а весна запоздалой. Особых доходов у супругов не было. Стараясь, чтобы расходы были минимальными, экономили на всем, одевались плохо. Мария застудила грудь, у нее пропало молоко. Только полгода прожила Лидочка, скончалась от диспепсии. Случилось это 2 сентября 1947 года.

Несчастье навсегда оставило зарубку на сердце Марии:

«Какое это горькое горе и чувство — родительское бессилие, тяжелое, жестокое, совершенно немилосердное. Мой младший брат Вася, добрый и уже несчастный, часто летними днями держал, бывало, Лидочку, свою племянницу, на руках. Усядется с нею на крыльце, в тень, похлопывая одной рукой, а другую листает страницу за страницей — читает. Он очень много читал, иной раз спросишь, чего он читает? А он виновато, скорее, застенчиво, улыбнется и то скажет название книги, то покажет обложку и тут же успокоит: мол, за нее не беспокойся, я же с нею не только сижу, мы и погуляем — шаги меряем от угла до угла дома, или по бороздам, меж зеленой ботвы моркови, к тополям вон ходим. Ты не беспокойся. Она у вас такая тихая, спокойная. Мне нисколько с ней не трудно...

Когда Лидочка умерла, Вася чаще стал жаловаться на головную боль. У него, когда он работал на строительстве дома в Новом городе — штукатурил, красил, — однажды голова закружилась, он упал с лесов, долго был без сознания. А потом врачи осмотрели, признали сотрясение головного мозга, мол, нужен покой, обязательно нужно больше лежать, отдыхать, а в больницу не обязательно его класть, можно и дома, только очень следить нужно, чтоб не нервничал, ничего не делал в наклон — больше, как можно больше покоя. А книги пусть читает, раз грамотный, раз нравится, может, и на поправку пойдет быстрее».

О Васе разговор здесь неслучайный — приумножит он горя в семье. Пройдет не так много времени, и он вдруг ни с того ни с сего покончит с собой. Оказывается, диагноз врачей был неверным — у него был менингит, который надо было лечить. И конечно же не чтением, которое он так любил.

— Потеряли на войне Толю и Валю, а после войны — Калерию, Лидочку, а теперь и Васю. Что же это делается?! — в отчаянии вопрошал за поминальным столом Семен Агафонович.

Вася умер, когда не прошло еще и трех недель после смерти Лидочки. Эти две смерти, такие страшные и непостижимые, нанесли удар по всей семье и внесли очередной разлад в отношения Марии и Виктора. Астафьев места себе не находил и снова пришел к мысли, что ему надо непременно уехать. Так он, недолго думая, и сделал, и не удержало его даже то, что Мария вновь была беременна. Уехал почти что тайно, оставив совсем краткую записку с припиской: «Не поминай лихом. Целую. Виктор».

На этот раз он отсутствовал долго, почти полгода. Время от времени от него приходили из Красноярска письма, разные по настроению и содержанию. То писал, что скучает и постарается поскорее вернуться, как только уладит кое-какие дела. То с гневом, не выбирая выражений, обрушивался на Марию, заявлял, что давно надо было разойтись и не создавать видимость нормальной жизни. То жаловался на то, что близких и родных ему людей оказалось меньше, чем думал на самом деле. «С большим опозданием, но хвалю себя, что взял и все разом оборвал! Хватит, побатрачил, поел оговоренный кусок, похлебал баланды, под названием пища...»

На все письма Мария отвечала сдержанно и кратко. В подробности, как это бывало прежде, не вдавалась.

Однажды от Виктора пришло письмо, в котором он сообщал о трудностях в работе, а в конце неожиданно ударился в лирику. Дескать, не представляю, какая весна бывает на Урале, какие первые весенние цветы появляются. И все в таком роде. Это было что-то новое, о чем раньше в его письмах ни разу не упоминалось. И,

пожалуй, самое важное для Марии: приписал, что целует и любит, что думает и домой подаваться...

Как же все это переносила и воспринимала супруга Астафьева? Предоставим ей слово.

«Потом, когда Витя вернется домой, а до этого не так уж долго оставалось ждать, я уничтожу все эти письма, изорву, оплачу каждое — и в печку... Они, письма эти, такие для меня мучительные и долгожданные. Но думать о Вите не переставала, и он уж мне казался не таким, каким был, каким уезжал, а каким-то недоступным уж для меня, что ли, тем более что я, дохаживая последние сроки, выгляжу плохо, неуклюжа, мало улыбчива — это только когда дома, когда наедине со своим, еще не родившимся, но таким уж бесценным существом, когда дороже и ближе не бывает. Только пока я еще не могу излить на него всю свою любовь и нежность, потому что он еще не появился на свет, и я даже не знаю, кто это будет: девочка или мальчик? Для меня это не имеет значения. Я знаю точно: это моя радость, моя мука, моя тревога и любовь — безмерная на всю жизнь!

Мне хотелось написать обо всем этом Вите моему — он бы представил, поверил и без раздумий вернулся бы. Он бы узнал, какой для меня он самый дорогой, самый умный и красивый! Что никаких обид я уже не помню и не хочу вспоминать, как и обо всем том, что произошло. Что я готова повторять и повторять за поэтессой М. Зиминой, которая в своем стихотворении призналась в переживаниях, очень созвучных моему сердцу и уму»:

Исчезли мелкие подробности,
Ушла обыденность поспешно.
И ты до неправдоподобности,
До ненормальности безгрешный.
Мы перед временем бессильны:
Что было близким, стало дальним.

Но чем ты дальше, тем красивее,
Чем недоступней, тем желаннее.
Твоим величием подавлена
И удивляюсь то и дело:
Да как же я в ту пору давнюю
Такого полюбить посмела?

Весна 1948 года началась дружно, радостно, солнечно. В марте Виктор прислал жене письмо-поздравление. На конверте нарисовал цветочек, в письмо вложил засушенный стародуб и десять рублей. Приписал: мол, знаю, что на цветы не потратишь, тогда купи чего-нибудь к чаю.

А Мария — с головой в заботах. Для ее семьи родители выделили в огороде, с краю, три гряды под мелочь разную. Посадила она морковь, лук, чеснок, горох и репу. Трудно было, срок родов приближался, но все равно решила еще помыть пол. После мытья окинула свое жилье усталым, но удовлетворенным взглядом, надела чулки, чтобы не суетиться потом, рубашку, лифчик — все чистое надела. Приготовила халат, туфли и пальто. Когда схватки начались, избушку на клюшку — и к маме. Та распахнула дверь, охнула, схватила шаль шерстяную большую под мышку — на случай, если дорогой роды начнутся. До больницы — бегом...

«В приемном покое, — вспоминает Мария Семеновна, — велели раздеваться, чтоб на топчан ложилась, всю обмеряют, потом в ванну и тогда в родильную палату...

Пока залезала на высокий стол в родильной палате, воды отошли, роды начались. И я закричать от боли не успела. Обступили меня, переговариваются акушерки, на живот давят... И вот он! Крик! Прорвался, через момент какой-то повторился. Я приподняла голову и тут

уж крикнула так крикнула: акушерка держала за ножки вниз головой мою дочку, в полоску! Синеватую-розовую, белую и как кровоподтек...

— Успокойтесь, мамаша! Успокойтесь же! Девочка живая, хорошенькая, полосатенькая... это пуповинка ее так перепоясала, бывает... Все будет хорошо, вот увидите...

Когда во время обхода я стала настаивать на выписке, врач подумала, попыталась отговорить, но больничный принесла, положила на тумбочку.

Был теплый майский вечер, девятнадцатое число 1948 года, пятница. Мы идем домой.

Дома тихо, тепло, чисто. Сестра Полина разогрела самовар, стала накрывать на стол. Я тщательно вымыла руки и развернула малюсенькую девочку — два килограмма семьсот граммов!

Полина послушала, подождала, потом подошла к кровати и сказала:

— Марийка! А ты чего плачешь-то?! Смотри, какая у тебя лялька! Прелесть! Завертывай ее давай, пока она не замерзла, покорми, и она уснет, а мы с тобой „за жизнь“ разговаривать станем....

Попросила я ее купить пустышек... И еще, чтоб дала Виктору телеграмму: „Родилась дочь, как назвать, на какую фамилию записать? Мария“.

Виктор ответил быстро, тоже телеграммой: „Пусть будет Ирина Астафьева. Приеду, оформим, как положено. Виктор“.

С Витиной телеграммой мы с доченькой Иринушкой сходили в ЗАГС, зарегистрировали ее. Наведались домой, чтоб покормить ее да перепеленать, — и в детскую поликлинику.

Иринку окрестила Шура Семенова, веселая, самоуверенная молодая женщина, у которой уже был свой сынок. А у меня подходил срок выходить на работу — в ту пору не давали длинные отпуска роженицам. Что

делать? Работать так работать. Принес папа от соседей, а может, и сам когда-то сделал, да забыл за давностью лет, „дупло“ — такое хорошее сооружение для малых. Внутри сиденье — маленькая скамеечка: малый может на ножках постоять, посидеть. „Дупло“ со всех сторон пеленкой теплой или одеялом стареньким обложено, на сиденьице кладут еще пеленку или платок старенький, сложенный в несколько раз. Очень это „дупло“ удобное. Все за столом, и малый как бы в компании, то до ложки дотянется и либо в рот тянет, либо уронит, то хлеб мумляет, все с ним разговаривают, он воркует на своем языке. В таком „дупле“ Иринка моя много времени проводила, иногда и жалко ее было очень, на руках бы побольше поддержать, погулять. Но это уж не в обеденный перерыв, после работы — вечер наш. И погуляем с нею, Толика за руку рядом ведем.

— Маша! Витя ведь приехал! Мы вместе... он там, за оградой... Марийка, ты же умница!

Я замерла на мгновение, приподнялась затем на цыпочки и из-за Полининого плеча увидела за оградой Витю! Но что это был за Витя?! Одни глаза. Лыжный костюм из фланели чертовой кожи табачного цвета, может, темно-зеленый — грязный, и сам Витя грязный, может, и на крыше даже ехал... Исхудавший до костей. Я рванулась, припала к нему, лицом уткнулась в грудь и глажу, глажу его по рукавам, по спине, а лица от его груди оторвать не могу, может, не решаюсь. Наконец переборола в себе больную радость, улыбнулась ему, как смогла, через силу, да и чтоб не расплакаться.

— С приездом тебя, Витя! Я рада... я так рада... я так ждала... Ну, пойдем домой, — рассказываю, что к маме пол мыть идти собралась, ну да это потом. — Иди, Витя! Да иди же...

Вошли в избу. Витя сел на табуретку, оглядел кухню, увидел ванну и чуть пожал плечами, затем стал снимать сапоги, куртку. Я сижу на табуретке напротив,

смотрю на него и опять — верю и не верю. Он умылся наскоро, утерся, заглянул под положок, кивком головы дал понять, мол, человек спит-похрапывает!.. Помедлил, постоял над корытом и тихо сказал: „Может, мне помыться... хоть в корыте, хоть лишнюю грязь смыть...“».

Засуетилась Мария. Принесла из сеней ведро с холодной водой, показала, что горячая — на плите, подала Виктору мыло, мочалку, полотенце. Из чемодана достала его чистое нижнее белье, носки, рубашку черную, косоворотку, брюки, расческу поближе положила. Решила переждать у мамы, пока он помоемся.

Когда возвратилась назад, он уже был одет.

— Ну, помылся маленько?

— Соскреб, чего смог.

— Ну, не все сразу. Завтра или баню истопим, или в городскую сходишь — как лучше, так и сделаем. Мне-то на работу, а ты, поскольку пока вольный казак, останешься за няньку. Или как?

— А я ведь еще и есть хочу, — с обидной дерзостью сказал он.

— И это дело поправимо: есть вареная картошка, лук, масло, даже огурчики, даже водочка! Гостя ждали, вот и дождались. Правда, с папой вечером вчера чуть не выпили по маленькой, да он, как знал, сказал: Витя приедет, тогда и выпьем.

...Мария расправила постель, подушки положила рядышком, так же, как когда-то, кажется, уже давно, откинула угол одеяла, ладонями расправила простыню и, привычно качнув люльку, вернулась в кухню. Встретилась с Виктором взглядом, сдерживая слезы, улыбнулась и кивнула на постель: мол, можно ложиться. Расстелив одеялко на протертом насухо столе, сходила за ванной, принесла еще ведро воды и

стала ждать, когда дочка проснется, чтобы выкупать ее. Тем временем начистила картошки на завтра — так чтобы успеть и ребенка накормить, и к обеду кое-что приготовить. И вдруг почувствовала глубокую усталость.

Выкупав Иринку, молча легла, застыла, словно по команде «смирно!». Что-то было не так, будто стена какая-то возникла между ней и мужем. За всю ночь они с Виктором не сомкнули глаз и не сказали друг другу ни слова.

Так состоялось второе возвращение Астафьева в свою семью...

Мария поднялась пораньше, привела себя в порядок, подбросила поленьев в «экономку», соль, масло, хлеб и заварку оставила на столе, а кастрюлю с припаянным в артели «Металлист» дном поставила на печку сверху, чтобы была над огнем. Витя лежал, отвернувшись к стене, а Иринка заворочалась, запыхтела сердито, зашмыгала носом — значит, мокрая, значит, есть захотела. Взяла ее осторожно Мария из люльки, обернула сухой пеленкой и, чтобы не расплакалась и не разбудила бы папку, раскинула на коленях клеенку и стала кормить.

— Ну, вот и все! — шепотом заговорила мама с дочкой. — Теперь потерпи, пока приду на обед, и снова все будет хорошо.

Не капризничай. Пеленки не мочи одну за другой — кто ж тебя перевернет, кто тебе поможет? Скоро папа встанет, позабавится с тобой, потом бабушка придет проведать, потом, может, папа и «дупло» перенесет сюда. Пристроит его к забору, чтоб не шатнулось, и ты будешь сидеть в нем, поглядывать на травку, на небо, на птичек. А поездов, проходящих мимо, не бойся — они к тебе не подвернут, у них своя дорога... Ну, давай,

повалаясь еще в своей зыбке или поспи. Я ведь недолго...

— Ты уходишь? — поднял голову Виктор. — Так и не поспала?

— Ничего. Не первый раз. Отосплюсь еще. Я тут, что можно, приготовила, позавтракай. Если сам не справишься с Иринкой, к маме ее унеси. Ну, я пошла. Я скоро...

На работе ее вдруг вызвали к телефону. Звонила Полина. Поздоровавшись, предупредила, что будет говорить кратко, о главном. Сказала, что Виктор переживает очень. Говорит, мол, если бы вернулся на белом коне, тогда и разговор был бы другим. А так... Если Мария будет попрекать меня, мол, такой-сякой оставил-бросил, — тут же повернусь, и уж более она меня никогда не увидит!..

«Вон, оказывается, в чем дело! Вон отчего все! Да Господи!.. Да разве б я могла?..»

Вдоволь наплакавшись на улице, Мария поспешила домой. Сенцы оказались не заперты, в избу дверь тоже открыта. Заглянула за шторку, которая отгораживала кухню от комнаты, и увидела мужа. Тот с нежной осторожностью возился с малюсенькой дочуркой.

— Ну, как вы тут? — спросила с улыбкой. Умылась, переоделась в халат. Поцеловала Виктора, поправила пеленки в зыбке, спохватилась, вернулась за гостинцами, прикупленными в честь приезда мужа, положила их на стул.

— Я так рада, как дура!..

— Почему «как»? Ты и есть дура!

Мария растерялась и почувствовала, как обида подкатила к самому горлу. Прислонилась к косяку — что еще мне мой милый скажет?

— Тебе бы бить меня надо, гнать в три шеи, в глаза бесстыжие наплевать, а ты — рада...

— Витенька, да что с тобой? Успокойся и расскажи, что случилось. — Мария едва сдерживала слезы.

Ребенок тем временем ножонками сучит, ждет, когда на руки мама возьмет, когда кормить ее будет. А у Марии в голове свое — чем же и за что меня Витя еще побольнее ударит...

— Ты пока кормишь, я в ограде посижу, подумаю, на природу полюбуюсь, я недолго, пока кормишь.

Когда ребенок успокоился, Виктор и Мария сели ужинать. Долго оба молчали. Потом она стала убирать посуду со стола. Тут Виктор и начал:

— Маша!.. Ты слушай, смотри мне прямо в глаза и отвечай! Но чтоб безо всяких обиняков, напрямую, как было, так и скажи...

Она поспешно села за стол, напротив мужа, чтобы услышать его правду. Самой-то ей вроде и сказать нечего. Оправдываться? Так не в чем.

— Маша! Ты действительно меня ждала? — Помолчал. — Ты действительно верила, что приеду? Ты действительно меня любишь? Не возненавидела?.. Чего молчишь?

— Жду, чего еще спросишь.

— Я все спросил! Это — главное! Когда ехал, твердо для себя решил: если ты меня упрекать начнешь, унижать, может, и прогонять, — уеду. Ни на минуту более не останусь. Сейчас мне очень важно знать, как ты ко мне относишься. Может, прощаешь, презирая, снисходительность проявляешь... А мне все-все надо знать. Сегодня и сейчас.

— Витенька! Раз ты вернулся ко мне, к нам, значит, мы нужны друг другу. Значит, очень нужны. И люблю я тебя еще больше... Это все, что я хочу и могу тебе сказать.

Виктор какое-то время окаменело сидел за столом, ничего не говорил и ничего больше не спрашивал.

Затем тяжело поднялся, обошел стол, остановился перед женой, покачался легонько и со стоном сказал:

— Спасибо! Спасибо тебе, родная моя, многотерпеливая моя жена! — Опустился на пол, положил голову ей на колени и повторил: — Спасибо! Не забуду этого... Спасибо за дочку, спасибо за терпение, спасибо за любовь твою, такую самоотверженную!.. Спасибо...

Вот так, примирением, заканчивался для них этот важный и трудный день.

Азарий, брат Марии, был очень рад возвращению Виктора, и вскоре заглянул к ним.

— А-а, вот вы как! Ты чего же, Виктор, приехал и глаз не кажешь? Шурин я тебе или нет? — Пожал ему руку, обнял, отстранил от себя, снова крепко обнял, затем обернулся к Марии: — Я тебе чего говорил, помнишь? Помнишь, чего я тебе говорил, Маша? Говорил, что Виктор скоро приедет. Говорил? Вот и замечательно сделал, ничего не скажешь! Маша, а у тебя пропитанье на такой случай какое есть или мне к Софье — туда-сюда, обратно?

— Давайте так, — начал распоряжаться Азарий. — Ты, Маша, ставь варить картошку. Я к Курковым наведу насчет десяточка яиц, может, и огурчиков. У меня вот мерзавчик есть, лук зеленый на гряде — овощ хорошая! Может, чего у мамы найдется? Нет, надо к Соньке — у нее наверняка будет...

Виктор наколот помельче полешек в «буржуйку», начал картошку чистить, а она свеженькая, и чистить ее одно удовольствие. Отец Марии пошел нащипать луку и сказать матери, чтобы пораньше с коровой управилась да с ними тоже посидела.

...Тесть с зятем разговаривают да на кухне хлопочут. Мария за занавеской ребенком занимается: распеленала, сухое подложила, подтыкала с боков и

оставила повалиться на кровати, накинув на дочь старенькую пеленку. Забежал племянник То-лик, громко с порога заявил, что они с бабушкой корову встретили, сейчас ее доить будут.

Мир в доме...

Однажды Виктор повстречался с Вахмяниным — заведующим артелью «Металлист». Вахмянин предложил ему вернуться в артель слесарем. Зарплата ничего, карточки хлебные и продовольственные — тоже нормальные. «Пока поработаешь, сколько сможешь, а подходящая работа подвернется — держать силой не станем: рыба ищет, где глубже, а человек, само собой, где лучше».

Астафьев проработал в артели год.

А Марию пригласила к себе на работу жена брата Сергея, ведавшая городским радиовещанием. Разговор был такой: ты, мол, грамотная, информашки писать сможешь (смотри только, чтобы без халтуры, чтобы знала, что и о ком пишешь), и времени будет свободного побольше.

Бывая на станции, Мария заходила обычно в вагоноремонтное депо. Однажды мастер Бортников сказал, что у них есть место плотника. Виктор решил попробовать себя в новом деле.

Время идет, Иринка подрастает. Несмотря на скудный семейный бюджет, супруги уже книги начали покупать. Виктор полку в простенок встроил, и книжки заняли свое место. Хорошо бы стол настоящий заиметь, пока же у них — тот, списанный, что привезли из горпромсоюза. В спальне же стояли две кровати и между ними втиснута тумбочка — больше туда ничего не входило.

Когда Мария почувствовала, что скоро появится второй ребенок, Виктору пришлось из плотников снова перейти в горячий литейный цех. Там зарплата была

побольше и продовольственные карточки посущественнее.

Недалеко от станции располагалась школа рабочей молодежи, и его убедили, что надо учиться, ну, хотя бы среднюю школу закончить...

Витя был в классе старший, да к тому же женатый и уже дважды отец. Он пользовался уважением учителей и их снисхождением, когда не был готов к уроку. Обычно приходил с работы усталый, ел, переодевался и бежал в школу. Подтрунивал над собой: «Учись, грызи гранит науки — он счастья будущего ключ!»

А на полке-досочке прибавилось еще несколько книг. Виктор часто разглядывал корешки, названия книг, иную открывал, сожалея, что времени для чтения не остается.

13 марта 1950 года появился на свет Андрюша, братик Иринки.

Семья постепенно становилась на ноги, но судьба как будто смеялась над ними. Только жизнь начнет налаживаться, и снова все не слава богу.

В августе 1950 года вышло решение горисполкома о том, чтобы снести постройки, мешающие укреплению сточной системы. Под это решение попали два дома, один из них — Корякиных. Конечно, дом уже был старый, нуждался почти в ежегодном ремонте, но все-таки он был!

Предложили посмотреть несколько подходящих участков, где можно было строить новый дом. Стали ходить, кумекать, прикидывать силы и возможности. Наконец, вроде определились с местом.

Больше всех волновался за будущее жилище Семен Агафонович: «Косяки и рамы Сергей Андреевич изладит. У них сосед то ли баню, то ли избушку рубить собрался, да уж почти и срубил. Да вот незадача в семье случилась, и теперь продавать собрался... Марея! Ты за декретный-то уж получила или нет ишшо? Ну, вот.

Сколь-то уж есть. Да Азарий пускай ссуду для себя, как бы, временную, выпишет... Я уж всяко думал и вот чего решил: если наш Сергей выпишет лесу на нижние венцы, дак и за дело бы приниматься можно...»

Виктор вел себя отстраненно, в разговоры о строительстве дома, да и в обсуждение других семейных дел, не вступал. Утром, как обычно, шел на работу, потом надо было еще и в школу успеть.

Кто знает, смогла бы семья Астафьевых справиться с проблемами тех трудных лет, если бы не круг хороших знакомых, выручавших в трудную минуту. Кто-то помогал продуктами, кто-то — деньгами, кто-то — трудом да умением.

Кум Саша Ширинкин сговорил двух работающих мужиков, и они довольно быстро и сноровисто уложили в подготовленное ложе нижний венец. Положили на него еще три ряда ровных, новых бревен... Старую избушку раскатали и на другое место перевезли. Сергей Андреевич оказался опытным плотником, мастерил оконные и дверные косяки, рамы.

К зиме постройку дома не закончили — не успели. Крышу временно покрыли толью, окна забрали досками. Мария с помощницами промазала пазы глиной, но это не защищало от сквозняков, гулявших по недостроенной избе. И она заболела воспалением легких.

У Виктора обнаружился ревматизм, утром он едва вставал на ноги. Мария их и керосином растирала, и теплую соль прикладывала, и сшила из стареньких пеленок утеплители к коленям. Муж одевался, завтракал и отправлялся на работу. А когда возвращался обратно, тащил две-три доски из вагонного депо. Из тех досок впоследствии получились сени с оконцем.

И все же однажды их семье повезло. Жена Саши Ширинкина — Маша, милая и удалая женщина,

работала на колбасном заводе. Когда там открылась вакансия, предложила на нее Виктора. Конечно, работенка не завидная. Приходилось ему сгружать и таскать мерзлые туши по узким и скользким от жира лестницам. Только держись, не упади, а то потом можешь и не подняться! Но зато он теперь и сам поест на работе, и домой что-то обязательно принесет. Чаше — обрезанных жил, изредка — колбаски.

«...Еще горяченькой! — вспоминает Мария Семеновна. — Ни до той поры, ни после такой вкусной колбасы я не едала! А ребятишки подавно. А то и шпику, и мы на нем жарили картошку, по-настоящему, когда сало швырчит, картошка подпрыгивает, а потом, когда поостынет и на дне сковороды останется самая вкуснота, — ребятишки всю клеенку извозят, тянут друг от дружки ту сковороду, отскребают жирные, хрустящие пригаринки. И так это нас поддержало, так выручило, что у ребятишек заметно и быстро округлились мордашки, да и в нас молодые чувства взыграли...»

В артели «Металлист» по старой памяти Астафьевых снабжали гвоздями. Сергей Андреевич стекло сумел выписать и готовил рамы.

Виктор уже пол настилает, потолочины примеривает, многие сгодились от прежней избушки...

По совету друзей пригласили дядю Гришу, известного в городе печного мастера, а кум Саша к той поре сварил из толстого железа прямоугольный пятиведерный бачок для воды с откидной крышкой и медным краником внизу.

Сложил дядя Гриша русскую печь на самом высоком уровне. Вместо кирпичей на шесток плиту с кружками положил, а сбоку вмуровал бачок, сваренный Сашей. Теперь в доме всегда будет горячая вода! Посоветовал печник толочь бутылочное стекло и рассыпать его под кирпичи: дров сожжешь меньше, а печь до жара

накаляется. С той печкой, по мнению Марии Семеновны, никакая другая в сравнение не шла! В первый раз затопил печь сам дядя Гриша. Присел, полюбовался, как свод в печи заалел. Раза два дым выбросило, а дальше пошел-повалил он, куда ему и положено.

А потом они также дружно красили двери и пол. После того как побелили стены, дом стали обставлять. В комнате оказались все тот же горпромсоюзский списанный стол, четыре стула, диванчик, обитый дерматином, который все величали кожаным. Ящик из-под печенья — крепкий, металлическими ленточками по углам обитый, — покрыли клеенкой, и он стал заправским кухонным столом.

Избушка с виду была, конечно, не дворец, зато внутри теплая, светлая, чистенькая. Все, кто приходил к Астафьевым, удивлялись — так хорошо и уютно внутри.

А главное, дом был под крышей. С наружной стороны оставалось подшить карниз и прибить наличники, ну а внутренняя отделка — работа тщательная, неторопливая, требует продуманности и не сразу делается. Важно устроить так, чтобы потом каждый угол служил хозяевам. Но все оставшееся будет делаться уже под крышей, в тепле, в соответствии с пословицей: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Виктор, чтобы как-то отблагодарить кума за неоценимую помощь, взял поддержанную клеенку, краски, оставшиеся после отделочных работ в доме, и за несколько вечеров нарисовал для Ширинкиных картину-ковер!

Что это был за ковер! Его хоть над кроватью прибай, хоть над комодом, да где угодно! На первом плане — мелкое разнотравье, а ближе к воде — камыши, которые, кажется, даже покачиваются на ветру! По нежно-голубой глади озера, отражающей растущие на дальнем берегу деревья, плавают лебеди...

Постепенно Астафьевы осваивали свое новое жизненное пространство. На окна со временем повесили новые филейные шторы в пол-окна, которые расшили нитками по рисунку, изображавшему белые розы и резные листья. По низу штор — кисточки. На одно окно поставили трехламповый самодельный приемник, на другое — несколько цветущих домашних цветков в красивых кастрюлях с проносившимися донышками.

Когда заботы о доме отошли на второй план, стали думать, как жить дальше. Труднее всего было прокормить семью. Одно время даже завели и держали козу, но она себя не оправдывала, давала не больше литра молока в день. После этого взяли трех куриц и петуха. Определили их в тот самый большой ящик, что служил кухонным столом. Кое-что достроили, перегородили, приспособили жестяное корытце для корма.

Все бы вроде нормально, места за столом всем хватает, да одна незадача: петух стал проявлять странности в поведении. Пока семейство усаживается за стол — молчит. Но вот только Виктор потянется с ложкой к тарелке — просовывает свою петушиную голову меж перегородок и начинает кукарекать что есть мочи.

Всем смешно, только хозяину не до шуток. В сердцах трахнет по столу кулаком так, что ложки с мисками подсакивают. Петух с урчанием утянет голову назад в курятник, но ненадолго — только момент выждать. Ложка в курятник летит, матюки по кухне разлетаются. Перепадало и ребятишкам — чтобы петуха не поддразнивали.

Вскоре случилось одно важное событие. Как-то привел к Астафьевым сосед свою племянницу, приехавшую из деревни, чтобы устроиться на работу, а потом и паспорт получить. Дядя Секлеты — так звали

девушку — прослышал, что нужна в доме няня для ребятишек. Секлета оказалась хорошей помощницей, к детям была добра и ласкова.

...В домике по улице Партизанской города Чусовой семья Астафьевых прожила почти семь лет. К счастью, он сохранился. Переступив порог, оказываешься у кухонного стола, за которым и работал писатель. Справа, в простенке возле печи, — лежанка, не очень длинная и не широкая, на ней спала Секлета. Соседний закуток использовался как раздевалка, вместо вешалки — забитые в перегородку гвозди. Здесь же и умывальник. По узкому проходу попадаешь в крохотную гостиную. Направо — спальня с двумя большими кроватями. На одной валетом спали дети, на другой — родители.

Сейчас здесь небольшой музей — ведь в этих стенах раскрылся писательский талант Виктора Астафьева.

Глава пятая ГРАЖДАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Хорошо, конечно, иметь крышу над головой, знать, что после трудового дня тебя ждут в семье. Да и в школе рабочей молодежи не всякий себе позволит учиться. Только вот сказывались накопленная за войну усталость и полученные ранения, жизнь впроголодь в предшествующие годы. Вдруг выяснилось, что у Виктора столько всяких болезней, что по силам ему работа исключительно легкая. А уж мойщиком туш он никак не может быть. Но в городе Чусовом в основном расположены металлургические производства, а тяжелая промышленность, как известно, требует здоровых людей.

В поиске работы полегче оставалось рассчитывать только на удачу. И она пришла. Появилась возможность стать вахтером того же самого колбасного цеха, в котором ворочал туши. Проверь все замки и двери, все ли замкнуто, а когда убедишься в том, что так оно и есть, хочешь — сиди до утра, хочешь — спи. В дежурке тепло и сухо.

Чусовой город небольшой, но народ там и до войны был не сонный, а после войны и вовсе зашевелился. Городская газета вдруг сообщила, что при ней создается литературное объединение.

Интерес к книге очень часто становится началом той тропинки, на которой многие так или иначе пробуют свои силенки в литературе. Виктора сообщение заинтересовало, и он решил побывать в редакции на встрече с дебютантами литературного дела, приглядеться, что к чему.

На первом занятии кружка начинающий автор И. Реутов прочитал свой рассказ «Встреча». Товарищи

похвалили автора и, как водится, аккуратно покритиковали. Всё честь по чести. И вдруг никому не известный мужик встает и заявляет, что написанное — просто мур, такого вранья он терпеть не может.

Шум, гам, противостояние сторонников и критиков автора. В адрес Астафьева, а раскритиковал рассказ именно он, — встречные шпильки: дескать, знаем таких, покажи, чего сам-то стоишь.

Тут, увы, Виктору нечем было крыть. Ведь он пришел на заседание кружка в первый раз. Однако конфликт, видно, пошел ему на пользу, дал такой заряд, который разбудил что-то давно прятавшееся внутри и свербившее его.

Впереди — вахтенная ночь. Проверив запоры, Виктор не стал, как обычно, ложиться спать, а сел за стол, стоявший в комнате дежурного, и начал обдумывать тему для рассказа. Размышления постепенно приобретали вполне осязаемые формы, замысел уже распирал, душил его. И тут мелькнула мысль: надо бы все это записать...

Впрочем, посмотрим, как вспоминает этот эпизод сам Астафьев.

«Несмотря на все жестокие будни и превратности жизни — бесквартирье, бесхлебье, нищенское существование, я никогда не переставал читать и, узнавши, что при местной газете „Чусовской рабочий“ начинает действовать литературный кружок, пошел на первое же занятие.

На этом занятии литкружка читал рассказ бывший работник политотдела наших достославных лагерей. Рассказ назывался „Встреча“. В нем встречали летчика после победы, и так встречали, что хоть бери и перескакивай из жизни в этот рассказ. Никто врать его, конечно, и в ту пору не заставлял. Но человек так привык ко лжи, что жить без нее не мог. Вот и сочинительствова.

Страшно я разозлился, зазвенело в моей контуженной голове, и сперва я решил больше на это сборище под названием „Литературный кружок“ не ходить, потому как уже устал от повседневной лжи, обмана и вероломства. Но ночью, поуспокоившись в маленькой, теплой вахтерской комнатке, я подумал, что есть один единственный способ борьбы с кривдой — это правда, да вот бороться было нечем. Ручка, чернила есть для борьбы, а бумаги нету. Тогда я решился почти на подсудную крайность: открыл довольно затрепанный и засаленный журнал дежурств, едва заполненный наполовину, и поставил на чистой странице любимое мною до сих пор слово: „Рассказ“.

Я написал его за ночь и, вырвав плотные страницы из корочек, на следующем занятии кружка, то есть через неделю, прочел рассказ вслух. Рассказ был воспринят положительно, и его решили печатать в газете „Чусовской рабочий“ как можно скорее. Поразобрав каракули, нанесенные на бумаге полуграмотным, да к тому же и контуженным человеком, маленько его подредактировав, — „Чего там редактировать? Там же сплошная правда!“ — я еще вернусь к этой самой „правде“, потолкую о ней и о понимании ее в нашем любезном отечестве — рассказ начали печатать. А пока забегаю вперед скажу, что однажды безмерно мною любимый... новеллист Юрий Нагибин... уверял меня на полном серьезе, что писателями мы сделались исключительно по причине фронтальной контузии. „Понимаешь, — говорил он, — отыскал я пару своих рассказов, напечатанных в журнале ‘Огонек’ еще до войны, — ну ни проблеска там, ни бисериночки. А вот ударило по голове, что-то в ней оборвалось, повернулось ли — и открылся талант! А иначе откуда бы ему взяться?..“

Да, а рассказ-то с продолжением печатают в „Чусовском рабочем“! Фамилия моя сверху, ниже —

название, мною собственноручно написанное, — „Гражданский человек“. Я гоголем по обвальному цеху хожу, хотя с резинового фартука сукровица течет, порезанные костями руки кровоточат, солью и селитрой их разъедает так, что от боли штаны у меня мокрые, но я пою на весь завод: „Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!“ И бабы-трудяги мне дружно подтягивают.

Бабы-обвалыщицы, шпиговщицы, кишечницы и копильщицы — все, все знают, что я получу много денег, куплю себе новую шапку, костюм, может, и на штиблеты сойдется, что выйду я в богатые и с ними, с бабами, ревматизмом от постоянного мокра искореженными, от мясного изобилия впадающими в лютость, тут же переходящую в сентиментальность и плаксивость, здороваться перестану и узнавать их не захочу.

Вдруг обвал, трагедия, полный срыв коммерческих и творческих планов — рассказ мой на середине печатанья остановили по причине его полного безнравственного содержания.

А, батюшки мои! Что же это за зверь такой — безнравственность-то! Сама заведующая отделом агитации и пропаганды Чусовского горкома, запротестовавшая против рассказа и совращения чусовских трудящихся посредством печатного партийного органа, прижила от заезжего прощелыги-лектора ребеночка — и ничего, трудится, мораль направляет...

Какой же чудовищной силы и мощи фугас я запустил, что пошатнул здоровую мораль передового советского сообщества?! Мне тут же любезно, отечески и объяснили какой: наша любимая партия всегда нас воспитывала любезно, отечески, коли не воспитываешься, — в железы тебя, в руды лагерные, тем более и везти-то недалеко, значит, и ненакладно, всего несколько остановок, — город со всех сторон

обложен каторжными лагерями, воспитательными заведениями всех мастей и разрядов с длинными номерами, знаками и значками и непонятными грифами.

Рассказ „Гражданский человек“, которым я решил напрочь смести всякую ложь с советской земли, совершенно бесхитростен, открыт, прямолинеен и даже патриотичен, в чем легко убедиться, найдя его в первом же томе под названием „Сибиряк“. Он и сейчас-то, после капитальной переработки и доработки опытной рукой, — не ахти что, а тогда был и вовсе наивненький, блекленький, но в нем было и притягательное свойство — я все списывал с „натуры“, в том числе и главного героя — моего сотоварища по фронту. Всё-всё: имя, фамилия, название фронтовых и тыловых деревень, количество детей и т. д. — всё было точно, доподлинно, всё должно было противостоять вселенской неправде. Лишь в одном месте дал я маху — перепутал название деревни главного героя, поименовав ее Каменушкой. Тогда как она оказалась Шумихой, и детей перепутал — было у моего героя их трое, я написал — двое парней и девочка, а оказалось наоборот.

Но этот мах был вовсе не роковым махом, мах я допустил в том месте, где решил пошутить вместе с героем насчет нашего сословия, да и выломал нечаянно дверь с надписью: „Советская мораль — самая лучшая в мире мораль“. Словом, из рассказа сокопники узнают про главного героя, что был он лучшим трактористом в колхозе, такой неразворотливый, скромный, незаметный — и лучший! Как же это может быть?

Как видите, все в лучших традициях соцреализма шло до одного рокового места. Оч-чень это интересное явление — „лучшая в мире мораль“. Многие совлитераторы, еще не умея писать, уже владели лукавыми приемами соцреализма и могли, как утята, — только-только вылупившись из яйца, хорошо плавать. Как читающий человек, владел ими уже и я, а тут

возьми мой герой и брякни: „Мало сейчас нашего брата, стало быть, мужиков, в деревне осталось, вот и стали мы все для баб хороши“.

„Ка-ак?! — возмутились поборники нравственной чистоты в Чусовском горкоме. — Наших, советских женщин называть бабами? Делаются, к тому же, грязные намеки на их неразборчивую похотливость, тогда как они у нас...“

Ну, а дальше вы все знаете, как это бывало и бывает еще, какие слова говорятся и оргвыводы делаются. Редактор газеты, Григорий Иванович Пепеляев, отнес все это громоверженье в область юмора, да и народ наш, опять же народ, передовой, советский, самый замороченный, но сознательный, давай звонить, писать в редакцию и даже приходить и спрашивать — отчего рассказ молодого автора не печатается, в „верха“ жаловаться народ грозился. Может, насчет „верхов“ и народа Григорий Иванович и приврал, стараясь приободрить молодую творческую поросль, — в ту пору гибкость редактору и чутье требовались отчаянные, чтобы уцелеть на должности и газету вести на приличном уровне. И печатанье художественного произведения в местной прессе тогда было редкостью. Редактор, сделав вид, что общественность-таки его додавила, рассказ печатать закончил. Пока этот сырбор шел да разгорался, одна малосильная работница газеты ушла в декретный отпуск, оттуда угодила на „комсомольскую линию“, меня пригласили на ее место, тут я узнал, что весь двухполосный номер газеты имеет гонорар аж семьдесят рублей, по новому курсу — семь, и мне не только на костюм и на шапку, даже на портянки вознаграждения за рассказ не хватит.

Но не бывает дыма без огня, как и огня без дыма, — слух о скандальном рассказе докатился аж до областного города Молотова (ныне это снова Пермь), достиг отделения Союза писателей и оттуда поступила

просьба: выслать газеты с рассказом и как можно скорее. Не успел я обсесться в „Чусовском рабочем“, проморгаться как следует, бац! — мой рассказ появляется в областной газете „Звезда“, правда, в сокращенном виде. Я еще и дух не перевел, эйфорию не перечувствовал, как рассказ уже полностью звучит по областному радио, играют-читают в нем артисты, да еще и под музыку, под симфоническую. И когда пришло письмо-извещение о том, что рассказ будет напечатан в альманахе „Прикамье“, во мне уже никаких сил не осталось, один лишь восторг чувств бушевал во мне и с этим восторгом я накатал несколько рассказов подряд. Но мой творческий порыв был охлажден в той же редакции газеты „Чусовской рабочий“, на занятиях того же боевого литкружка, — исчезли из моей творческой продукции вульгарные и грубые слова, вроде „баб“, все персонажи у меня говорили изысканно, поступали правильно, главное — идейно и выдержанно.

А так как я еще от фронта не отошел и имел грамотешку в шесть групп, в Игарке еще с трудом законченных, то сами понимаете, как эта самая „изысканность“ выглядела в моем исполнении. Что-то меня образумило, задержало в „творческом развитии“, скорей всего беспросветная нужда и газетная поденщина, и где-то и как-то я и сам усек: мне сейчас надо больше не писать и печататься, а „поработать над собой“, потом уж и сочинять продолжать.

Всего же город Чусовой дал миру десяток членов Союза писателей, и, сообразуясь с этим феноменальным явлением, я пришел к твердому убеждению, что советский писатель охотней и лучше всего заводится в дыму, саже, копотии».

Так Виктор Астафьев описал рождение своего первого рассказа в статье 1996 года. А вот что он мне

рассказывал в 1982 году о начальных годах работы в литературе. Приведу выдержку из нашей беседы:

«— Было бы интересно услышать от вас рассказ о молодости, о той поре жизни, когда вы делали первые шаги в литературе...

— Я был весьма связан в плане житейском, бытовом. Городишко, где тогда жил, родина моей жены. Мы поженились в 1945 году, возвратились прямо из армии, можно сказать с войны, туда, на Урал.

Город, скажу прямо, жуткий — сплошные дым, сажа, копоть... Когда-то французы организовывали там завод. По-моему, в романе Золя „Деньги“ эта самая компания упоминается, как и станция Чусовская.

Нынешний город Чусовой расположен в очень красивом месте, на стыке трех рек. Кстати, река Чусовая — одна из красивейших в Европе. Река удивительная, кое в чем и уникальная. Она своим руслом разломила почти пополам хребет Уральский. Одно из самых удивительных по природе мест.

Но пришел туда человек и все осквернил, загадил. Металлургия — страшная сила. Но я, конечно, когда работал в местной газете, писал совсем о другом. Врать приходилось много, и, по сути, сознательно. В газете все про всё знали и понимали, потому меж собой называли кормилицу нашу „Очусовелый рабочий“.

— А большая она была по объему?

— Сначала две полоски, потом — четыре. Но на эту, четвертую, мы никак не могли накопать материалов. Туда-то, на страницу культуры, и писать хотелось не рапорты и фанфары, а по-человечески. Но о чем? Событий культурного плана в окружающей жизни не было. Кругом — заводы, цеха, шахты. Все есть, кроме культуры. Злится редактор и кричит мне: давай в библиотеку. Звоню знакомым библиотекарям. Прошу их выискать какую-нибудь красную дату в календаре. Отвечают: скоро дата у Помяловского. Тогда, говорю,

поставьте его книги на отдельную полку. Будем считать, что у вас открылась выставка к юбилею писателя. А уж о творчестве его сам накатаю.

Все-таки находили выход из положения.

Как мы цинично орем о том, что вот в авангарде у нас рабочий класс, человек труда. На Урале, где я жил, можно называть все рабочие города подряд. Чусовой уже охарактеризовал. Дальше — Лысьва. Наверное, известна вам по плитам и утюгам. Потом идет Губаха — коксохимическое производство. Кызыл — центр угольного бассейна. Затем Березняки — химическая промышленность... Целая корзина вреднейших производств. И ничьи города так не обирают, не изничтожают, как вот эти, исконно пролетарские. Всюду смог, выбросы ядов в атмосферу, несоблюдение элементарных правил безопасности. И сегодня, впрочем, модное слово „экология“ не очень нас выручает.

А как жили? В Чусовом пассажирский автобус появился через 12 лет после войны. Дом культуры металлургов строили так долго — лет восемнадцать, что сразу же после сдачи потребовался капитальный ремонт. В центре города стояла какая-то каркасная баня, на описание аварий и происшествий в ней мы, наверное, истратили тонну бумаги. Не раз случалось, что там стена вываливалась, и голый, моющийся народ во всей красе представал перед изумленными прохожими.

В такой вот атмосфере прошла послевоенная запоздалая молодость. Но не скажу, что эти годы — самые худые. С вашей юностью я, конечно, свою не сравниваю. Уже тогда народ люто пил, всякие штуки, включая поножовщину, устраивал.

Меня спасала природа. Постоянно бывал в лесу, на рыбалке или охоте. Вроде меня добытчиков встречалось в ту пору мало. Моего возраста ребят это не увлекало:

лучше выпить и подраться возле магазина. Людей старшего возраста, уставших и покалеченных войной, тянуло со смены домой, к печке и семье. Настрелялись они, брать в руки оружие не хотелось.

Поскольку любителей таскаться по лесам было мало, жизнь шла раздольная. Вскоре появились первые моторишки лодочные. Они ломались, рыбаки их проклинали. Но наловчились чинить, что-то вовремя подделывать... А уже с мотором можно было рвануть на настоящий речной промысел.

Как-то одну свою ерунду принес в газету, на обсуждение литературного кружка, который там был. Почитали и решили печатать. Частично напечатали, но вдруг остановили. Крамола!

— А в чем она была?

— Тогда же царствовала литература Бабаевского, фронтовик — это только кавалер Золотой Звезды, никак не меньше. Когда умирала русская деревня с голоду, когда мы, фронтовики, так вот мыкались, в литературе торжествовал конфликт хорошего с прекрасным. Помните, какое было редкое, великолепное название у прославленного романа тех лет — „Счастье“. Как это нестандартно, свежо, как оригинально!

Еще тогда свирепствовал драматург Суров и под стать ему. Потом эту халтуру очень сложно было преодолевать. Причем даже не саму продукцию, а инерцию, привычку опираться именно на такие образцы. Зато у меня, вчерашнего солдата, и о таком же написавшем, обнаружили недозволенное, недопустимое.

Вот сейчас вспомнилась реплика, которую услышал значительно позже от самого Александра Трифоновича Твардовского. Может, этот эпизод здесь к слову окажется, прекрасная реплика: „Эти авторы нас погубят, они не думают о проходимости...“

Конечно, к моему созданию подобная реплика не могла иметь никакого отношения. Придирки к газете и моему тексту — пример дремучести местных партийных чинуш. Мой рассказишко был примитивный, написан по лекалам соц-классицизма. Прообраз героя — мой друг, который до фронта был неплохим трактористом. И он у меня произносит фразу: „Мало нашего брата в деревне осталось; вот и стали все мы для баб хороши“.

Намек на правду, какая-то живинка, пожалуй, в этой реплике есть. В итоге редактору на орехи досталось. Что там за писатель появился? Надо, дескать, у него документы проверить...

— И проверяли?

— Проверяли, хотя сейчас все это кажется невероятным и даже смешным. Впрочем, худо без добра не бывает. Меня на этом деле заметили и... позвали в редакцию. Стал корреспондентом.

— Выходит, это лучший способ для укрощения талантов?!

— Ну, не думаю, что кто-то мог в нашей дыре дойти до такой степени изощренности. Просто редактор посчитал, что полученной им и мною головомойки достаточно для боевого крещения. Коли ты у нас литератор, то и пиши, поднимай культуру.

— Это газета городская?

— Да! В Чусовом в ту пору проживало 65 тысяч, в районе — 150 тысяч, довольно прилично. Позже из него выделился Горнозаводский район. Он и по территории был большой, и по серьезности предприятий.

Для журналиста в общем-то была возможность развернуться. Но надо помнить, что грамотешка у меня была довоенная — шесть групп, фронт дал, конечно, жизненный опыт, но культуры и грамотности не добавил. Надо было все это срочно набирать. Правда, я даже в окопах ухитрялся книжки иметь и читать. Я знал, что предложение должно заканчиваться точкой,

но вот где оно, предложение, заканчивается, точно не представлял.

— Может, это и выручило?

— Во всяком случае, помогло сохранить нутряной язык. Вы должны понять меня правильно. Всякая творческая судьба — оригинальна, своеобразна, неповторима. У меня сложилось все именно так, как рассказываю. Для вас это просто пример выживания...

— Как это у вас все-таки получилось?

— Коли надо, расскажу. Должен признать: создавать информацию — дело занозистое. Не сразу в нормальной голове прилаживаются, слово к слову, фразы вроде: „Став на трудовую вахту в честь товарища Сталина, металлурги взяли на себя повышенные обязательства по чугуну, стали, стружке...“ Совсем это не просто. Но писать некому, журналистом я стал в первый же рабочий день в редакции.

Через несколько лет к нам прислали выпускницу факультета журналистики Уральского университета. Мы смотрели на нее как на чудо. В еще большее изумление пришли, когда она потребовала себе полтора месяца, чтобы „вжиться“ в материал, освоиться. Правда, и это не помогло.

— Давайте к вам вернемся...

— На другой рабочий день сварганил зарисовку об электрификации депо. Думаю, и дальше бы пошло, но перемудрил. Грамотешка слабая, человек с ветру, неуверенный, даже места своего не имел, сидел за столом с бухгалтером.

На мою беду мне надавали массу брошюр с советами, как писать очерк, передовицу, статью. Брошюры для рабкоров сочиняли столичные борзописцы. Сами-то пишут, как бог на душу положит, а в своих советах наворачали правил. Я по вечерам над ними корпел, начитался и впал в уныние. Видишь ли,

обрабатывая письмо трудящегося, надо впаивать в текст пословицы, крылатые слова, суждения классиков. К тому же придерживаться стиля автора. Как же мне все это освоить?

Через неделю стали готовить читательские письма на третью полосу. Мне досталось про кражу кожи на местном комбинате. Надо 25 строк, а я накатал полтора. И стиль-то авторский сохранил, и поговорок насовал... Прихожу к ответсекретарю Саше Толстикову с шедевром. Он, как увидел объем, захохотал. Стал марать мою стряпню, и резал, гад, будто по живому. Оставил заявленные 25 строк и страшную сердечную рану. Я был просто уничтожен.

В самый разгар моей газетной деятельности вдруг обнаружил, что у меня уже большая семья, дети, их надо кормить. Так мы жили безалаберно, что сначала производили детей, а потом только задумывались, как их поднимать, на какие шиши.

Самый большой заработок в газете был за передовую. Сейчас, слава богу, многие газеты от них отказались, тогда это был обязательный атрибут каждого номера любого издания. Газета у нас пятиразовая, то есть пять передовых. За месяц — двадцать! Конечно же, писал их чаще всего сам редактор. Но счастье перепадало и заму, и другим работникам.

Хоть уже бойко писал, взяться за передовицу не хватало духу и воображения. Но без передовых я зарабатывал меньше всех. Сказал об этом редактору.

— А вы работали тогда в каком отделе, культуры?

— Сначала у нас вообще никаких отделов не было. Но когда объем газеты увеличили до четырех полос, появился отдел промышленности, куда меня и определили, вел лес и транспорт. Публикации по проблемам культуры оказались просто довеском, вроде

общественного поручения. За информацию о культуре платили совсем чуть-чуть.

— Простите, этот вопрос отвлек вас от мечты о передовице...

— Ну да. Возник этот вопрос о деньгах. Согласился редактор дать мне передовицу, но я-то робел, как к ней подступить? Редактор наш, Григорий Иванович Пепеляев, добродушный мужик, юморист. Подозвал меня к своему столу и продемонстрировал тайну творчества. Взял ручку, развернул газету „Правда“ и... принялся сочинять. Шпарит прямо по правдинской передовой, дополняя ее местными фактами и примерами. И короче, конечно, — чусовская газета все же маленькая. Полчаса, и статья готова. Посмотрел на меня лукаво: все понял? Киваю. Смотри, завтрашнюю статью не завали. Куда там, свалял ее таким-то методом даже быстрее. Впрочем, обучая меня премудрости в сочинении передовиц, Григорий Иванович все же кое-что добавил и от себя. Деликатно так, вроде между прочим, молвил: помни только, если приводишь два факта отрицательных, то положительных в статье должно быть три.

Года полтора-два я работал с удовольствием. Но коллектив маленький, а газета — пятиразовая. К тому же стали сотрудников рвать в партшколы, на переподготовку. Я — беспартийный, меня не привлекали, но за ушедших-то приходилось ломить. Выматывало. У меня тоже появились амбиции, стал пытаться писать по-настоящему. На два фронта — тяжело. Те три тоненькие книжечки, что уже появились на свет, давали только моральное удовлетворение. И все же решил бросить редакцию и засесть за большую книгу.

Конечно, поторопился. Мы оказались в безденежье, вскоре пришлось искать новое место службы. Стал корреспондентом пермского областного радио. Тут

совсем другое дело. Во-первых, оклад 850 рублей, да еще гонорар. Техника, правда, капризная, громоздкая. Один аккордеон, так мы называли записывающее устройство, 35 килограммов, а еще — патефон, тоже около 18 килограммов, плюс — батареи. Зимой их держали за пазухой, чтобы на морозе не разрядились. Правда, всем этим оборудованием занимался техник, а на мне — творческая часть, подготовка самой передачи. Техник выезжал из Перми, я к нему по дороге подсаживался, и уже вместе ехали на задание.

Но и там продержался недолго, года полтора. Решил все же бросить, еще чуть-чуть, и просто перестал бы себя уважать. Наше радио, конечно, нечто ужасное: трескотня, резонерство, ложь. Деньги платили хорошие, да, но это состояние духа вступило в непреодолимое противоречие с тем, что я пытался выразить в писательской работе. С тех самых пор тружусь только за столом, воюю только с листом чистой бумаги.

Мой радиный начальник Василий Григорьевич Гуревич ко мне хорошо относился, но был раздосадован: только научили, и вот уходит. Больше, говорит, ни одного писателя не возьму. Наверное, он по-своему прав.

— А вы к тому времени уже были членом Союза писателей?

— Да. В 1951 году я начал писать, в 1958-м — меня приняли в Союз писателей.

— А почему вы так долго не вступали в союз, не принимали?

— Нет, мне предлагали вступать гораздо раньше. Но я мог действовать только наверняка, когда сам уже был уверен, что всамделишный писатель.

Меня на фронте истрепали, изранили... Еще не хватало здесь получать удары от графоманов вроде Бабаевского, чтобы они меня принимали со

снисхождением. Вступал, когда было очевидно, что я — профессионал.

Была такая Вера Васильевна Смирнова. В основном она — театральный критик. Человек милейший, отзывчивый. Она ко мне отнеслась бережно, внимательно. Собственно, она и побудила меня к тому, чтобы больше не откладывать вступление. Дала рекомендацию, на двенадцати страницах! Этот текст у меня есть, он как дорогая награда.

— Она одна из первых занялась изучением творчества Михаила Булгакова...

— Да, знаю об этом. Потом она меня устроила на месячный семинар рассказчиков в Малеевку. Нынешние так называемые всесоюзные совещания для молодых авторов, что устраивают на четыре дня, — мура, совершенно бесполезные мероприятия. Ребята только и успевают выпить да потрепаться. А вот за месяц в Малеевке можно что-то почувствовать, даже и научиться.

Когда я написал повесть „Перевал“, то попросил послать рукопись ее вместе с обязательными экземплярами моих книжек в приемную комиссию. Эту рукопись и передали члену приемной комиссии Вере Васильевне Смирновой. Она ее прочитала, написала обширную рецензию, сама из-за болезни не смогла прийти на заседание приемной комиссии. Рецензию ту зачитали вслух, проголосовали — и я оказался в союзе, который на протяжении многих лет давал мне право числиться на работе, служил поддержкой и опорой в нелегкой и непростой жизни провинциального литератора, поспособствовал крутым и полезным изменениям в творческой жизни. И поклон земной, и спасибо Союзу писателей за это, но перестраиваться, начинать жизнь по-иному все же надо — другие времена, другие поколения на дворе и потому должны быть другие требования к слову и содержанию жизни

художника. Мы все-таки жили по упрощенной схеме: „руководитель — руководимый“ и работали по традиции, пусть и замечательной, завещанной и оставленной нам великой русской литературой. Но традиции — не окаменелость, они также подвержены времени и его изменениям...»

Здесь уместно прерваться и обратиться к статье Астафьева «Подводя итоги», которая содержит теплые слова о В. В. Смирновой. Нашлось в ней место и для рассказа о памятном семинаре в Малеевке:

«...Вновь созданный Союз писателей РСФСР от щедрот своих и административного размаха затеял творческий семинар молодых рассказчиков России. Вера Васильевна не только записала меня в число семинаристов, но и взяла под свою опеку. Собрались мы, молодые литсилы России, в шикарном доме творчества Малеевка. Аж на целый месяц оттуда удален был всякий другой пишущий, но больше отдыхающий люд, дабы не мешал он молодым талантам думать и творить. К каждому двум семинаристам приставлялся опытный наставник-писатель, среди которых оказались Троепольский, Москвин, Зубавин, Перцов и еще кто-то, я уж сейчас не помню. Они, наставники, и жили почти безвыездно здесь же, в Малеевке. Но у Веры Васильевны был я один-единешенек, и в Малеевку она не приезжала, я ездил к ней в Москву, пил с нею чай и разговоры разговаривал...

За блаженный месяц, отпущенный мне Богом и Союзом писателей, я должен был не только перезнакомиться с творческим народом, но и пообщаться с Москвой, побывать в театрах, на выставках и... написать новый рассказ. „Сильно себя не утруждайте, напишите чего-нибудь для отчета, пустячок какой-нибудь набросайте и привезите мне, — наставляла моя умная и доброжелательная

руководительница. — Главное, больше общайтесь с людьми, читайте, обсуждайте, соскребайте с себя ногтями провинциальную штукатурку...”

...На знаменитом, увы, ни разу более не повторившемся в том же виде малеевском семинаре были Юрий Казаков, Глеб Горышин, Виктор Потанин, Виктор Попов, Павел Макшанихин, Андрей Ромашов — более трех десятков рассказчиков было, и все чего-то сотворили иль из стола вынули написанное. Я написал рассказ „Кровь человеческая“, издал его в Свердловске отдельной книжкой, там же его напечатали в коллективном сборнике — про борьбу с преступностью. И на том мое сердце успокоилось, рассказ тоненькой книжицей всунулся меж других книг и забылся надолго. Увы, увы, на курсах, на Высших, в московской суете, в интересной, порой бурной жизни столичной, подзабыл я благодетельницу свою, разок-другой наведалься, позвонил, потом переезжал из Чусовского в Пермь, обустроивался в деревне, писал, читал, снова суетился. Однажды открыл „Литературную газету“ — там скромненький некролог в рамочке, — не стало Веры Васильевны Смирновой — тихо, незаметно ушла она, сделав много добра людям, в том числе и мне. И ничего мне не остается, как раскаянно вздохнуть и поклониться низко той земле, которая не перестает рожать добрых людей, в коих ныне особенная нужда...»

Продолжим прерванную беседу с писателем:

«— Виктор Петрович, давайте вернемся чуть назад. 1953 год, смерть Сталина. Какие чувства вы тогда испытывали?

— По сути — никаких. Не сразу осознал. Может быть, потому что сам вырос в кругу преследуемых, ссыльных. Игарка — это была суровая школа правды, даже если со временем это и оставалось под спудом, как неосознанный опыт.

Как-то даже в Курейке оказался, где Сталин в ссылке был. Но для меня эта смерть не была ни потерей, ни чем-то содержательным.

Конечно, привычка к нему в народе была. В марте 1953 года я как раз редактировал в Перми первую книжку. Помню, собрание проводили, писатели что-то говорили...

Другое дело, что была и есть необходимость в личности. Это имя можно бы заменить каким-то другим. Но вот вопрос — каким?

— Я задал этот вопрос к тому, что вот ваши размышления о безразличии к человеку, наверное, рождены не только войной, но и жестокостью двадцатых и тридцатых годов, той же Игаркой. Сколько по стране было таких мест утеснения и ссылок...

— Безусловно. Война проявила эти варварские отношения для моего поколения. А старшие хлебнули горя гораздо раньше — в коллективизации, в десятилетии террора...»

Итак, уже своим дебютным рассказом Виктор Астафьев вошел в литературу, пока, правда, своего города и Пермского края. Рассказ «Гражданский человек» был напечатан и в областной пермской газете «Звезда» под названием «Матвей», и в альманахе «Прикамье», где в финале Мотю в госпитале находит награда. Но с этого же момента началась еще одна линия внутреннего дискомфорта: мучительные поиски самого себя, собственного творческого пути.

«Как-то Саша Ширинкин, — вспоминает Мария Семеновна, — прочитал Витин рассказ, а затем у нас, угостившись бражкой и как бы развязав язык от хмельной смелости, стал с громким удивлением говорить о талантах моего мужа. И дом вот себе построил, небольшой, но внутри теплый, главное — свой и вместительный, имея в виду то, как ловко в нем

все разместилось: комната само собой! В спальне две кровати и между них „конторка“ — продолговатая, с двумя створками, и в кухне — стол, табуретки... А в комнате еще и короткая, гладко строганная доска — полочка, прикрепленная к стене скрученной как суровая нитка проволокой, и на ней уже книги: „Дитте — дитя человеческое“ Мартина Андерсена Нексе, „Гроздь гнева“ Стейнбека, „Самостоятельные люди“ Х. Лаксnessa, Мельников-Печерский — „В лесах“, „На горах“...

Когда кум Саша, высказав свое восторженное удивление по поводу рассказа, приблизился к книжной полке, поразглядывал книги, которые, видимо, ни о чем ему не говорили, однако же, кивнув на них, сказал: мол, если даже по полстраничке списать из них — вот тебе и роман получится!.. Только, конечно, с умом надо.

Виктор выслушал Сашу, а потом сказал, мол, будь бумага, так он еще и не такой рассказ написал бы! Но за испорченный вахтенный журнал на колбасном заводе ему дали прикурить!..»

И вот однажды пришел Саша Ширинкин, принес буханку хлеба, немножко муки в кошелке и рулон обоев, не по-фабричному, а рыхло свернутый, положил все на кухонный стол. Рулон тот немного распустился, и сделались видны обрезки разных обоев. Виктор был дома, посмотрел на кума, на остатки обоев, зрячим глазом уставился на него, пытаясь понять замысел.

Кум, не допуская возражений, пояснил, для чего это. Пусть Мария разрежет отходы на полосы, сложит стопкой или, может, сошьет посередке, чтобы получилась как бы самодельная тетрадь. И тогда тебе, Виктор, останется писать-пописывать, пока все не испишешь, может, не один еще рассказ сочинишь!

Да, это был нужный в тот момент подарок.

«В будущем и всю жизнь, — рассказывает Мария Семеновна в „Знаках жизни“, — Виктор Петрович будет

писать только на клетчатой бумаге. А тогда... Витя сидел за стол бухгалтера, просматривал подшивку газет и прислушивался к далеко не бойкому стрекотанию машинки — он и потом всегда будет с нетерпением ждать и любить читать печатный, машинописный текст своей рукописи, особенно после первой перепечатки.

С этого все и начиналось: он учился сочинительству, а я осваивала работу машинистки. Позже, не раз и не два, в разговоре с кем-нибудь он говорил, мол, она избаловала меня тем, что мне не надо искать машинистку, диктовать ей или переписывать начисто, как поступают некоторые писатели, или учиться самому, далекому от всякой техники, печатать на машинке. А она — вот она, своя машинистка и между делами терпеливо перепечатывает мою писанину. Она, к примеру, мою повесть „Кража“ перепечатала тринадцать раз, повесть „Пастух и пастушка“ — одиннадцать...

А тогда, в 1951-м, на длинных — в ширину — пластах обоев, шириной, как страницы того, вахтенного журнала, амбарную книгу напоминающего, я хорошо это помню, был написан рассказ о войне.

Куда тот оригинал рукописи, написанной на обоях, делся, не знаю, а жаль — это такое было бы свидетельство о работе начинающего, молодого литератора нынешним молодым, и не только, с ленивой небрежностью относящимся к высокому своему назначению».

В Перми в 1953 году вышли первые книжки Астафьева — «До будущей весны», «Огоньки», «Дядя Кузя, куры, лиса и кот». А первым сборником, увидевшим свет в столице, стал изданный Детгизом в 1958 году «Теплый дождь». Но, конечно, главное место в его творчестве занимала серьезная проза. Давалась

она тяжело — мучительный творческий труд перемежался с напряженной работой по самообразованию. Астафьев об этом периоде жизни вспоминал: «Ничего у меня не получалось. Я писал рассказ за рассказом и сам видел, что они вымученные, неживые, подражательные...»

И все же возникла вещица, на которую он возлагал некоторые надежды. Когда закончил, решил предложить ее сразу в «Новый мир». Это был рассказ «Жил на свете Толька», который послужил черновиком повести «Кража». Так, во всяком случае, оценивал его позже сам Виктор Петрович в комментариях к первому тому своего собрания сочинений.

Тем большее уважение вызывает прозорливость Бориса Закса, в то время — литсотрудника знаменитого журнала, а позже члена его редколлегии. Он сразу же сумел почувствовать в рассказе начинающего автора нечто такое, что потом может перерасти в более крупное произведение.

Письмо Виктора Астафьева в «Новый мир» сохранилось:

«Уважаемая редакция!

Я — начинающий автор. Писать начал три года назад. Еще в первый год я написал рассказ о мальчике — сироте, который обрел новую семью в детдоме. Рассказ так первоначально и назывался „В новую семью“. После него я написал уже порядочно рассказов, некоторые из них напечатаны. Но, видимо, у каждого начинающего есть такие вещи, которые нуждаются в том, чтобы их переделывали и переделывали. Рассказ этот я много раз переделывал, но отправить куда-либо не решался. Читал людям — нравится, но меня в нем что-то смущает.

Недавно я взялся за него еще раз и сделал не от первого лица, как он был написан, а от третьего. Но разобраться в нем, увидеть его со стороны мне до сих

пор трудно. Дело в том, что рассказ этот почти автобиографического характера. Когда я его читаю, к написанному примешиваются мои чувства, воспоминания, я волнуюсь. А волнует ли этот рассказ читателя, сказать не могу.

Мне очень хочется разобраться в этом рассказе и получить квалифицированную помощь, поэтому я впервые решился отправить свою рукопись в толстый журнал. Может быть, кто-нибудь из писателей не откажется прочесть этот рассказ и указать его недостатки. Я не обижусь ни на какую критику, буду за нее только благодарен.

В. Астафьев, 13/VII — 1954 года,
г. Чусовой
Молотовской области».

Не менее любопытен и ответ из редакции «Нового мира»:

«Уважаемый тов. Астафьев!

В Вашем рассказе есть немало волнующего, однако (только правильно поймите мою мысль!) — это еще не является результатом вашего художественного мастерства. Волнует непосредственно самый факт — судьба мальчика, то о чем рассказано, и меньше — как рассказано.

Есть такие сюжеты, которые способны волновать сами по себе, даже будучи сообщены в совсем не литературной форме. И волнение, которое они вызывают, не может быть целиком отнесено на счет рассказчика, а больше на счет природы самого факта.

Так и у вас. Толька, в общем, получился неплохо, но все остальные персонажи (пусть даже они и второстепенные) еле-еле намечены. Наделить их характером, индивидуальностью вы пока не сумели. Вы сами пишете, что рассказ почти автобиографический. Может быть, это и является причиной того, что вы сумели убедительно изобразить одного лишь Тольку

(хотя его восхищение детдомом выглядит слишком скоропалительным и чрезмерным).

Словом, пока рассказ еще не получился. Думается, он и не должен претендовать на самостоятельное значение, а, скорее всего, пригодится вам в будущем как составная часть более крупной вещи.

Вот что хотелось бы добавить к отзыву т. Глинского.

С приветом

лит. редактор отдела прозы Б. Закс».

Что тут скажешь? Ответ Бориса Закса, тактичный и прозорливый, — еще одно подтверждение высочайшего профессионализма «новомировцев» во все времена. (К сожалению, отзыв рецензента Глинского обнаружить пока не удалось.)

Пожалуй, ничто так глубоко не раскрывает человека, как его письма. Глубже понять начинающего писателя Астафьева, постичь круг его творческих интересов и замыслов в начале писательского пути помогает его переписка с П. В. Чацким, которая относится к 1959 году.

Пожалуй, имя это мало кому известно. Павел Васильевич родился в семье вологодского крестьянина. Начал печататься в 1917 году, написал роман «Лешегоны». В середине 1950-х — начале 1960-х годов он не раз обращался с письмами к В. Астафьеву, С. Викулову, П. Дудочкину, Ю. Казакову, В. Лидину, В. Тендрякову, В. Шкловскому. Все они откликнулись на его послания. В этом крестьянском писателе, по мнению Сергея Викулова, сразу был виден человек, который ищет близких по духу и взглядам на литературу людей, стремится как-то их объединить. Эти качества были созвучны устремлениям Викулова, которые в полной мере проявились у него позднее, на посту главного редактора «Нашего современника».

Астафьев ответил Чацкому — ему был нужен собеседник, умудренный жизненным и творческим опытом! Не будем комментировать его первое письмо Чацкому — читатель сможет оценить его не хуже нас, лучше приведем его полностью:

«Уважаемый Павел Васильевич!

Извините, что я не сразу ответил на Ваше письмо. Катался по Вашим родным местам на пароходе — от Перми до Астрахани и вот только прибыл домой со своим семейством. По Каме и Волге я ездил первый раз и ревниво сравнивал их с Енисеем. Сам я сибиряк, родился близ Красноярска, неподалеку от того места, где сейчас строится Красноярская Г. Э. С. Конечно, „всяк кулик свое болото хвалит“, но Енисей, несомненно, величественней и изумительный по красоте. Волге повезло прославителями, и только.

Это говорится без желания умалить в ваших глазах Волгу. Всякому своя родина и милей, и краше.

Я буду рад переписываться с Вами, а затем и познакомиться лично. Иногда, изредка, правда, я бываю в Москве. И считаю, что часто там бывать не следует. Хотя Л. Никулин и уверяет, что житье в Москве якобы возвышает людей культурно над периферийщиками, я все же остаюсь ярым приверженцем „бескультурной“, но и не обьевропеившейся, в худшем смысле того слова, периферии. Старый пердун он, этот Никулин, если так позволяет себе думать о так называемой периферии. Она ему все еще кажется сирой Русью, какой была до отмены крепостного права. Ни хрена-то он не знает, акромья литературных архивов, если занимается такими утверждениями. Он даже на семинаре-то не был, а пишет о нем тоном неоспоримого судьи. Я был на этом семинаре и убедился воочию, что молодые „культурные“ москвичи, имеющие под боком первоклассные библиотеки, академиков, маститых

писателей и т. п., ничего за душой не имеют, кроме цинизма, [пошленьких] анекдотцев, литературных сплетен и беспрецедентного апломба. Они и научились-то только тому, чтобы плюнуть в руку, которая дает им хлеб. Рабочий для них — быдло с жерновами вместо мозгов.

Ах, отрывка нового времени! И сивый Никулин возносит эту отрывку! Ведь не они дали рассказы-то на-гора во время работы семинара, а все те же периферийщики, умеющие работать и не умеющие говорить красиво, удивлять блестящими верхушками, нахватанными повсюду.

Ну, ладно, разбрюзжался я, как истерик. А мне еще 35 лет, и я считаю себя молодым, не в литературном смысле, разумеется. А то у нас слово „молодой“ обязательно ставится рядом со словом „снисходительность“.

Пишу я девятый год. До этого был самым распоследним „быдлом“, работал литейщиком, грузчиком, плотником, чистил помойки, выгружал вагоны, работал на сплаве. А до войны жил в детдоме, потом закончил школу Ф.З.О. и трудился составителем поездов возле Красноярска.

В 42-м ушел добровольцем в армию. Там мне кое-что подбили, в том числе и глаз. Составителем я уже не мог работать. Образование шесть классов, здоровье подорвано — вот я и мотался. А в 1951 году неожиданно для себя и для всех написал рассказ, который имел успех, и немалый, тут, на периферии. Потом написал много плохих рассказов, и они доселе лежат в столе. В 1953 году вышел мой первый сборник рассказов. Сейчас на моем счету шесть книжек.

Одна из них большая и довольно слабая — это роман „Тают снега“. Его, правда, хвалят. Было пяток рецензий, читательские конференции, но сам я хвалить его не могу. После того написал я две повести —

„Перевал“ и „Стародуб“, продолжал работать над рассказами и очерками.

Повесть „Перевал“ напечатана в № 5 журнала „Урал“, и, если у Вас сыщется время, прочтите — это моя любимая вещь. Нынче она выйдет отдельной книжкой в Свердловске, и я Вам ее непременно пришлю. „Стародуб“ с рассказами выходит на будущий год в Перми. Все эти вещи о Сибири, к Уралу я плохо прирастаю, хотя и написал на уральском материале роман и ряд рассказов.

Вот видите, какое Вам длиннущее письмо накатал. Может, Вас интересует что-либо — спрашивайте. Могу выслать нашу газету „Чусовской рабочий“. Уровень ее, конечно, низкий, но фактический материал бывает интересный. Сам я месяца на полтора уеду в творческую командировку в г. Игарку, где я жил в детдоме, и стану работать над второй частью „Перевала“. Вашу книгу „Лешегоны“ я видел в магазине, но, к сожалению, не читал. Постараюсь прочесть, чтобы иметь представление о Вашем творчестве.

Город наш очень дымный, черный и неблагоустроенный, но стоит в очень живописных местах. Здесь сливаются три реки — Вильва впадает в Усьву, а Усьва — в Чусовую. Город в основном расположен на стрелке и за реками.

У нас большой металлургический завод, крупный железнодорожный узел. Богатый историей и промышленностью пригород. Здесь есть все: алмазы, цемент, руда, уголь, лес, сельское хозяйство, ферросплавное производство, рыбалка, охота и многое, многое другое.

Сам я рыбак и ярый охотник. Много брожу. Леса здешние и округу знаю отлично. Все реки проплыл и обходил. Красота на них не поддается описанию. Так

что я богатый человек. Темы и замыслы меня одолевают постоянно.

Никак не могу выбраться на ровную линию, чтобы работать над одной, двумя вещами. Вечно в работе ворох рукописей. Теперь Вам станет понятно, отчего меня не тянет часто в столицу. Иногда разве только встряхнуться и сплетен послушать — это тоже время от времени нужно, дабы нюх обострялся и скушное житишко взвеселялось.

Кстати, Вы писали, что жили в Кирове. Из Кирова на семинаре был интересный и весьма культурный (как это не покажется странным Никулину!) — парень по фамилии Лубнин. Его рассказ напечатали в № 2 „Нашего современника“. И вообще на семинаре было немало интересных ребят.

Были, правда, и такие, коим следовало бы заниматься в литкружке при районной газете, ибо они еще азов не знают.

Ну, Павел Васильевич, всего Вам доброго. Знаю, что почерк у меня ужасный и Вам придется помучиться, но жена утащила где-то на рынок и перепечатывать письмо некому. Сам я не печатаю. Уж не обессудьте, если я что и не ладно сказал. Я стараюсь быть со всеми откровенным. Попадает мне за это, да ничего, терплю.

Еще раз желаю Вам всех благ, шлю привет семье и дружески жму руку.

В. Астафьев

5 июля <1959 года>».

Второе письмо Астафьева Чацкому отправлено позднее, уже с Высших литературных курсов.

«Павел Васильевич, здравствуйте!

На Ваше последнее письмо я так и не ответил, хотя собирался это сделать по возвращении из командировки. Но тут меня подхватили дела. Оказывается, мне срочно нужно было выезжать в

Москву на Литературные курсы. Вот я и приехал и живу здесь уже месяц. Однажды даже проезжал мимо вашего города. Ездил вместе с другими курсантами в Дубну на экскурсию. А живу я неподалеку от Дмитровского проезда и, значит, когда-то смогу заглянуть к Вам, если вы не возражаете.

В командировку я съездил хорошо. На курсах пока дела идут вперед, но писать приходится мало, и это меня несколько огорчает.

Привет Вашей супруге.

Желаю Вам всех благ земных и удач в творчестве.

Астафьев».

Из письма следует, что начался новый период в жизни Астафьева, который выдался исключительно напряженным.

Глава шестая ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР

Виктор Астафьев — человек очень памятный на добро. Примеров тому предостаточно. В его статье «Подводя итоги», открывающей пятнадцатитомное собрание сочинений, есть даже специальный раздел «Кому благодарен», в котором он пишет о том, что мог бы называть и называть людей, не давших погибнуть его семье в послевоенные годы, серьезно и бескорыстно занимавшихся тем, чтобы поставить его «на твердые гражданские ноги, научить обращаться со словом, не пропить, не продать по дешевке Божьего дара и совести...».

Конечно, за полвека литературного труда он так или иначе сумел рассказать о многих людях, способствовавших становлению начинающего писателя, поддерживавших его в трудные дни, часто невыносимо тяжкие. Однако... «Творчество, — писал Астафьев, — не только ненормированный, но зачастую и непредсказуемый труд, в нем случаются срывы, провалы и досадные недоразумения, а то и обыкновенная забывчивость. И те, кого хотел бы поблагодарить, отметить словом, вдруг откатятся на задворки памяти...»

Всякое, конечно, бывало в жизни и творчестве Астафьева. Но меня всегда удивляло, например, что он часто вспоминал в автобиографических заметках главного редактора журнала «Смена» М. А. Величко — фактически только за то, что тот ему предоставил возможность по командировке редакции съездить в 1957 году в родную Овсянку. Конечно же отправить корреспондента на одну из ударных комсомольскихстроек (а мы помним, что Овсянка находится в окрестностях Дивногорска, совсем рядом с

Красноярской ГЭС) для редактора молодежного журнала не составляло особого труда. Однако писатель не забывал об этой услуге и считал Величко едва ли не своим благодетелем.

В самую начальную пору творческой деятельности Астафьева свела его судьба с другим главным редактором — Григорием Пепеляевым. Мы уже упоминали, что тот редактировал городскую газету «Чусовской рабочий» и по его непосредственной инициативе при редакции был создан литературный кружок. С этого любительского объединения и начался путь Виктора Астафьева в большую литературу. Неудивительно, поэтому, что Г. И. Пепеляева Виктор Петрович нередко поминал добрым словом. Тот приложил немало усилий, чтобы Астафьев (как тот сам о себе пишет) «прижился на „чистой работе“, овладел азами журналистики, поскорее преодолел бы безграмотность и непрофессиональность».

«Журналистикой, — пишет Астафьев, — пусть и ранней, убогой, повторяю, помог мне овладеть Григорий Иванович, однако в качестве писателя иметь меня было ему ни к чему — газете нужен работник, ломовая лошадь, но не свободолюбивый творец. Когда дело дошло до того, чтобы идти мне на „вольные хлеба“, Пепеляев не мешал этому, надеюсь, искренно пожелал успехов и, надеюсь, так же искренно радовался им, когда таковые сошли на меня».

В этом же очерке есть слова, которые, по-моему, стоит привести полностью, поскольку случилось, что Виктор Петрович кого-то ненароком и обходил вниманием: «Я знаю, как много на земле, особенно на уральской, бродит или уже ковыляет тех, кто „сделал из меня писателя“, по слабости характера, всего себя „отдавши другим“, и только из-за неимения времени или охоты сами писателями не стали, недосуг было».

К прозаику Владимиру Александровичу Черненко (1918–1988) эти слова можно отнести лишь частично (он — писатель состоявшийся, хотя, наверное, и не в полной мере), однако то, что он сделал для становления Астафьева в ущерб, может быть, своим личным литературным интересам, трудно переоценить.

В. А. Черненко — один из тех, кто стоял у истоков творчества Астафьева, был редактором его первой книги — сборника рассказов «До будущей весны». Тем более одно обстоятельство выглядит почти загадочно, если учесть человеческие качества, о которых мы только что упоминали, — Астафьев этого столь значимого в начале его писательской биографии человека нигде не упоминает. Не сохранились и письма Черненко Астафьеву, по крайней мере, их нет в удивляющем своей полнотой астафьевском архиве, в том числе чусовской, пермской и вологодской его частях. К слову, документы уральского периода, к которому относится переписка Астафьева и Черненко, обработаны особенно подробно и тщательно сотрудниками Государственного архива Пермской области, а также рукописного отдела Пермского областного краеведческого музея.

Не будем гадать, что произошло — то ли между писателями случилась размолвка, то ли Черненко по другим причинам «откатился на задворки памяти» Астафьева. Во всяком случае, Владимир Александрович сохранил письма нашего героя, которые важны для нас тем, что отражают процесс формирования писателя в пятидесятые годы.

По ним можно проследить, как делались Астафьевым первые шаги в литературе. В начале этого пути любому литератору практически невозможно обойтись без поддержки. И Астафьев, не стеснясь, без ложной гордости, постоянно обращается к Черненко за помощью и советами. И, судя по всему, не остается без

внимания. Результат налицо — первые его изданные книги: «До будущей весны», «Васюткино озеро», «Огоньки», «Тают снега», рассказы и очерки.

По всему видно, что трудно переоценить роль редактора в появлении на свет первых астафьевских произведений. Вот что пишет Астафьев Черненко по поводу одного из первых своих рассказов: «...Лучше стало, но как бы и меня не стали звать захребетником, вроде ставропольских писателей, за которых дописывают редакторы. Если такой правке подверглась только „Земляника“, то я считаю, что это еще не беда, но если все рассказы, признаюсь, мне будет совестно называть книжку своей».

Астафьев понимает, что редакторский труд — неблагоприятное занятие, что текучка — опасна для творческого человека, может сгубить талант. Не случайно в одном из писем он как-то пытается повлиять на Черненко, советует ему порвать с редакторскими заботами и активнее заняться писательской деятельностью:

«А как ты, человек, существуешь? Все редактируешь? Брось ты это занятие к чертям и приезжай ко мне, глядишь, хоть чего-нибудь здесь напишешь, там, как я погляжу, тебе не дадут взяться за перо... Здесь, на отшибе, не больно до тебя докричаться, и ты сотворишь чего-нибудь. А то я, откровенно говоря, боюсь, как бы ты не отвык работать над своими вещами и не превратился в вечного редактора. Черкать же таких гавриков, как Кривооченко-Астафьев (Астафьев иронизирует над своим физическим недугом. — Ю. Р.) или Недоумейко-Реутов, не совсем приятно. Они наворочают, а ты зализывай, не твое это призвание».

Для многих читателей публикуемые письма интересны и тем, что раскрывают секреты творческой «кухни», в которой «варился» начинающий писатель. По

ним можно проследить, с какими трудностями сталкивался он на первых ступенях своей творческой деятельности.

Обратимся к этой важной части обширного эпистолярного наследия Астафьева.

9 декабря 1952 г. Чусовой.

«Многоуважаемый Владимир Александрович!

После разговора с Вами пришел с работы и ознакомился с отредактированным рассказом^[1].

Вы совершенно правильно сделали, что заменили у него название. Я, откровенно говоря, даже не задумался над заголовком, а теперь понял, что стоило подумать, как следует. С Вашей правкой согласен полностью, кое-что я уже и своим „нюхом“ учуял, переделал, но многое пригодится. А вообще даже отредактированный вариант выглядит бледно по сравнению с тем, который имеется сейчас у меня. Ну, ничего, утешает, что в сборнике будет рассказ лучше. Прошу Вас, Владимир Александрович, исправить всюду слово „байя“ на „бойе“. Я, как видите, написал его по слуху и неверно. Слышится „а“, но пишется „о“. Мне думается, лучше заменить слово „арги“ простым словом „переход“. Колорит достигается не употреблением северных слов, а речевой интонацией. Я это понял позднее, и теперь у меня северяне говорят по-северному, а не как закоренелые „русаки“. Кажется мне, что последняя фраза в рассказе лучше будет звучать так:

„Это ладно. Надо такие подписи у сердца хранить“ (слова Айгичема). Можно и слово „сокуй“ пустить без пояснений, а написать так: „Тимкоуль через голову натянул меховую дохусокуй...“, и, по-моему, будет понятно. Вот, в основном, у меня и все замечания по тому тексту, который вы прислали.

Насчет „Гр. человека“ я подумал, и, пожалуй, вы правы. Именно таким рассказом следует открывать сборник^[2]. Он будет преддверием от человека, тоскующего на войне по мирному труду, к людям, занимающимся мирным трудом, защищающим мир.

Но вот беда. У меня дома нет никакого текста этого рассказа. Восстановить же по памяти я его не смогу, так как он написан давно. Если у вас имеется какой-нибудь текст „Гражданского человека“, вышлите мне, пожалуйста.

Работа над сборником продвигается успешно. Сейчас потею над последним рассказом „В одном ряду“. Хочу написать короткий-короткий, но пока не получается, мучает многословие. Трудно судить о своих произведениях, но, кажется, один рассказ я сделал ничего, во всяком случае, меня трогает. Это рассказ „В новую семью“. Может быть, он получился лучше других потому, что тема близка сердцу и выдумки в нем нет.

Ну, я, кажется, расписался. Закругляюсь. Привет всем нашим коллегам и пожелание успехов в труде.

С приветом, Астафьев».

Из последующих писем видно, как быстро изменился их стиль, став непринужденным и дружеским. Из обращения на «ты», без отчества и прочих условностей можно сделать вывод, что Астафьев с Черненко сошелся довольно близко.

1953 г., Чусовой.

«Добрый день, дорогой Володя!

Получил твое письмо и рукопись. Ждал письма с нетерпением и волнением, все еще был в великих сомнениях насчет сборника^[3]. Жалковато, как и любому смертному, свое произведение, выкинутое из сборника, ну да, может быть, к лучшему, авось сделаю из него

что-то порядочное. В общем, когда ты поедешь к нам, захвати, пожалуйста, исправленный экземпляр этого мученого рассказа. Посмотрел „Землянику“^[4]. Лучше стало, но как бы и меня не стали звать захребетником, вроде ставропольских писателей, за которых дописывают редакторы. Если такой правке подверглась только „Земляника“, то я считаю, что это еще не беда, но если все рассказы, признаюсь, мне будет совестно называть книжку своей.

„Дерево без корней“ — это хорошо и даже здорово. Только скудоумие мое помешало мне найти эту строчку в рассказе для названия.

„Подснежники“ я закончил, где-то отправил его прочесть Кельнику, а он, змей, или прочесть не выкроит время, или что, но молчит, как утопленник.

Интересно мне узнать, Володя, когда приблизительно наберут мою книжку? А еще интересней знать, когда вышлют аванс, ибо в деньгах имею большую нужду. Если сумеешь устроить это дело, буду очень благодарен тебе. Ну, это между нами, издержать деньги всегда, конечно, успею. Машинку нужно, и поэтому и хотел бы скорее получить гроши.

В общем, пока рад и тому, что книжка прошла все стадии перед набором. Гора с плеч.

Ходил один раз на рыбалку, клюет хорошо, давай приезжай скорее. В огороде редиска и лук спели. Ыых, хороша закуска!

Ну, будь здоров. Держи меня в курсе дел (с книжкой), передай большой привет Надежде Николаевне^[5], Владимиру Васильевичу^[6], Левке^[7] и всем, всем.

Крепко жму руку. Виктор.

Обязательно позвони, когда поедете, чтобы встретить Вас, а то еще нападут чусовские бандиты».

1953 г., Чусовой.

«Здравствуй, дорогой Володя!

Сейчас только моя старуха^[8] принесла мне на работу твое письмо и рассказ. Пишу коротенький ответ. „Королева“^[9] я отослал с Поповым^[10], он позавчера был в издательстве, только не мог увидаться с тобой, а Рождественская^[11] в тот день болела, но стихи он передал и мою писанину Вагнеру^[12] тоже.

Насчет твоих вопросов. Я лично склонен к тому, чтобы ты включил „Кандидатскую карточку“ и „Кузнецовку“, но смотри сам. Насчет „Магарыча“ я полностью за. А вот насчет „Земляники“ стоит подумать. Не лучше ли будет рассказ с уральской тематикой „До будущей весны“. Но я полагаюсь на твое чутье и буду согласен с тем, что покажется тебе лучшим, а я, право, сейчас, кроме „Магарыча“, не знаю, как оценивать свои рассказы.

Вообще, конечно, пока страшновато печататься в другой области. Словом, и страшновато, и заманчиво. Но все, что ни совершается, к лучшему, если даже один рассказ напечатают, и то хорошо.

Я после твоего отъезда в тот же день ездил в командировку в Пашню^[13], собрал интересный материал для очерка, но пока за него не принимался, запутался в домашних делах.

Да! Набросал один детский рассказ в период командировки. Думаю все рассказы писать от первого лица, от мальчишки, чтобы не подделываться под ребячий тон, это трудней и одновременно проще.

Ну, Володя, будь здоров.

Привет Сашке, Марии И.

А насчет выгодной темы, если нет желания, брось! Как с материалом для „Известий“, скоро смотреть газеты или нет?

Виктор».

6 июня 1953 г. Чусовой.

«Дорогой Володя!

Ждали мы от вас обещанное, рассердились и... разродили сами разворот^[14]. Правда, шапка у разворота не совсем скромная, но спорить с начальством — дело тяжелое, и я вынужден был отступить. Надо было писать „начинающих авторов“, а не писателей.

Между прочим, открыли мы нового автора Белугина^[15]. Люди читали его повесть и называли талантливой. Вчера и я прочитал ее, и тоже присоединяюсь к этому мнению. Парень одаренный. Работает крановщиком в мартеновском цехе, бывший моряк. Сейчас у нас начал работать литкружок (так что „Молодая гвардия“ не попала в [кон], воспользовавшись старыми фактами), и мы эту повесть Белугина будем обсуждать. После чего, очевидно, он ее доработает, и мы ее отправим в союз. Еще этот автор работает над повестью из жизни завода, так что он заслуживает внимания и писательской организации, и издательства.

Поговори о нем с Людмилой Сергеевной^[16] и Клавдией Васильевной^[17], покажи наш разворот и напиши, когда нужно будет выслать повесть Белугина, чтобы ее обсудили. Она небольшая, 73 страницы.

Как вы съездили? Что нового? Пишу на работе, поэтому мало.

Да, неплохо бы было, если бы в отношении работы кружка нам дали кое-какие указания, пока он работает при редакции, без руководителя и всяких инструкций, но надо сказать, более активно, чем раньше. Обсуждение разворота прошло живо и интересно, это перед тем, как его напечатать.

Ну, будь здоров, спешу тут на одно собрание.

Пиши. Крепко жму руку. В. Астафьев».

Ноябрь 1953 г., Чусовой.

«Здравствуй, дорогой Володя!

Все собирался тебе черкнуть, да тут мы сколотили литературную страницу, хотели попутно выслать и ее. Однако материалы с пресс-конференции вытеснили нашу страницу, и ее отложили до следующего выходного, поэтому пишу, не дожидаясь ее.

Ну, первое, что меня интересует, ты уже, наверное, догадываешься, книга, конечно. Сегодня шестнадцатое, а моя „будущая весна“^[18] все еще не зацвела. Не бачу я ее, что с ней, горемышной? Идет она или нового года дожидается? Успокой душу любителя весен, напиши. Долго ли еще будет осень? Это одно. Теперь немножко о себе. Штуку ту, о которой тебе говорил, вчера закончил и, как только Марья напечатает, вышлю тебе читать. „Личность несознательную“^[19] положил перевоспитываться в ящик, мне ее не переделать в том духе, в каком требуют звездинцы^[20].

...Как ты живешь, друже? Чего нового на наших творческих и издательских горизонтах?

Привет твоим домочадцам.

Р. С. Да, не написал ли тебе Боголюбов^[21] конкретно, чьи рассказы приняты в сборник? А то Реутов^[22] меня спрашивает, как с его рассказом.

Ну, будь здоров.

Жму руку, Виктор».

1953 г., Чусовой.

«Здравствуй, Володя!

Как видишь, я разродился!

Вещь написана^[23], но не отшлифована, поэтому на частности не обращай особого внимания.

Попрошу вот о чем: свежим взглядом заметь, где имеются смешения во времени. Как тебе известно, это мой грех. Теперь, не лишка ли природных описаний и

сравнений в тексте, понятны ли будут ребятам написанные сравнения? Нет ли в тексте таких мест, которые тормозят движение? Надо ли подбавлять в вещь больше трудностей и приключений?

Я лично за то, чтобы меньше было выдумки. Мне кажется, для мальчишки и этих испытаний достаточно.

Самое главное, Володя, помоги мне разобраться вот в чем: повесть это или рассказ?

Сейчас тот период, когда эта штука должна отлежаться; видимо, с месяц я в нее заглядывать не буду, поэтому особенно не торопись, а когда будет время, тогда и прочтешь. Если сумеешь подсунуть прочитать ее В. Александрову^[24] или Андрею^[25] — тоже будет хорошо. Чем больше советов и замечаний я получу в процесс работы, тем меньше будет с вещью потом.

Да, насчет языка вещи. Как видишь, я не особенно подделывался под детский язык в авторском тексте. Старался писать просто, но почти так же, как и для взрослых. На этой почве, видимо, у меня будут потом схватки с издательством, однако я буду отстаивать именно такой, не сюсюкающий характер писания, а строгий и немного грубоватый.

Как ты на это дело смотришь?

И еще вот что: как Васюка?^[26] Получился ли пацан? Может быть, надо еще оттенить какую-нибудь его сторону?

В общем, без всякой пощады критикуй — пойдет на пользу. Можешь прямо в тексте и на полях делать пометки. Все равно еще перепечатывать придется не раз.

Получил наконец-то свою „Весну“^[27]. Спасибо тебе! Книжонка получилась аккуратная и выглядит неплохо.

Уже поздравляют и критикуют меня людишки. Редакционные коллеги скептически поздравили, а

большинство знакомых искренне трясут руку.

Ну, Володя, будь здоров!

Привет Марии Иосифовне и Саньке.

Не надумаете ли в Конституцию приехать к нам? Было бы хорошо. Если да, то черкни заранее.

Жму руки. Виктор Астафьев.

Да, посылаю тебе литстраничку из полос. Весь номер^[28] еще не видел. Сегодня воскресенье».

1954 г., Чусовой

«Здравствуй, дорогой Володя!

Посылаю еще одну литстраницу, как видишь, трудимся! Решили делать почаще странички, да, к сожалению, из нашего полку убыло. Уехал в Свердловск хороший писака Алексей Степанович Новосельский^[29]. Так что письмо твое его не застало, а он рад бы был, но ничего, обещал он писать мне, поэтому я не теряю надежды переслать ему письмо.

Никольскому^[30] передам обязательно, парень тоже будет рад и доволен.

А письмо, которое пришло на мое имя от Краюшкина и Назаровского^[31] (ты, вероятно, знаешь, о чем в нем речь), озадачило меня. Ведь я в сельском хозяйстве ни бельмеса, редиску от брюквы с трудом отличаю, поэтому я откажусь от участия в сборнике, тем более что сейчас и в колхозы мне ехать негодь. Пепеляев у нас уехал на год учиться в г. Молотов, вместо него Толстиков. Так что в редакции не хватает двух человек (нет еще человека на сельхозотделе) и работы, конечно, по горло. Возможно, я найду кого-нибудь, кто согласится написать этот очерк^[32], — другое дело.

Ну, а как ты поживаешь? Что нового? Пиши.

Жму руку. Виктор».

1954 г., Чусовой.

«Дорогие Володя и Володя!^[33]

Если вы желаете посмотреть на настоящий Урал и отдохнуть по-настоящему, вам колебаться не надо. Берите отпуска и айдате ко мне. Какая перспектива вас ожидает? Жизнь на лоне природы. Раз! Трезвость (ибо там, куда мы поедем, близко магазинов нет). Два! Временное избавление (а я считаю для отдыха настоящего джентльмена это очень важным фактором) от спутницы жизни! Три!!! Ну, я думаю, этого уже достаточно, чтобы соблазнить вас, если вы, конечно, поэты и если вам осточертел город.

Вильва^[34] снова мутная, но это не должно смущать вас, как не смущает меня. Мы можем подняться на лодке выше на 6 километров того метеоролога, о котором я говорил, и там устроить жилье, допустим, шалаш, или займем пустую хату. В 6-ти километрах от того старика Вильва уже светлая. Можем податься и вверх по Усьве^[35], например, в поселок Бревно, в коем живет 109-летний старик. Словом, пожить, как настоящим „робинзонам“, набраться вдохновения, нарыбалить место мы всегда найдем. Насчет лодки я уже договорился, насчет отпуска тоже, с 1 июня. Дело за вами. Но, право, если вы надумаете, вам позавидуют не только живые молотовские писатели, но и мертвые. Не знаю только, дадут ли вам разом отпуск. Ну, настаивайте. Смелость города берет, а вы ребята brave и уж маму-то Римскую^[36], думаю, одолеете.

Так что дело за вами. Пишите, когда? Как? Что? Чтобы я был начеку. Как идут у вас делишки? Я имею в виду издательские. Если у вас серьезные намерения насчет отпуска, вам уже надо сейчас приниматься хлопотать. Давайте, действуйте.

С приветом, В. Астафьев».

1954 г., Чусовой.

«Здравствуйте, орлы-курортники!

Шлю вам виды. Комментарии к ним, как говорится, излишни. Поэтому сразу перехожу к делу. Как моя книга? Брать мне с собой ружье, когда поеду в Молотов, или миром обойдемся?

Глядите, ребята! Я тут за отпуск щук множество съел, так что шутки со мной плохи. Ясно?

Чем вы порадовали за отпуск себя и Родину? Я думаю, о себе-то не забыли, слышал, что „караул“ насчет денег кричали, а как насчет творчества?

Я отпуск провел дома. На рыбалке был только пять дней и настолько удачно, что вдругорядь не потянуло. Далеко и тяжело. Работал. Конечно, марал бумагу. Намарал много, оттого и здоровьишко нисколько не улучшилось, все еще шумит в голове. Это меня начинает беспокоить не на шутку. Ну да, ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Кормиться надо.

Из журнала „Смена“ меня настойчиво протежируют в литературный институт, но для этого надо сдать экзамены за 10 класс, а у меня сейчас, пожалуй, силенок не хватит. Я совсем ослаб в математических науках, надо начинать почти с третьего класса.

Ну вот, хотел черкнуть трохи и расписался.

Только что вернулся из командировки. Ездил по лесам и долам, видел много интересного.

Да, братцы! Вы, конечно, сейчас народ издержавшийся до невозможности, но тем не менее раскошеливайтесь и, если не трудно, пришлите мне альманах № 18^[37], который, по слухам, вот-вот должен выйти.

Р. С. Что ты, Володя, думаешь насчет книжки очерков, о которой говорил? Помнишь? Да, вот еще что. Что, если я предложу издательству на будущий год книгу очерков, часть которых уже издавалась в газетах и часть которых я напишу, а?

Жму крепко ваши лапы. Виктор».

1954 г., Чусовой

«Привет, Володя!

Тебе, наверное, неизвестно еще, что я страшный лентяй писать письма, ну так вот, в силу этой лени я даже не ответил на твое письмо. Теперь вот потянуло потолковать с тобой в час послетрудовой. Я и взялся гвоздить.

Только что прочел рецензию в „Звезде“, где меня абзацем отметили, и выражаю страшное недовольство тем, что обошли в общем-то неплохой очерк. Забывчивость некрасивая, ведь человек печатается впервые, ждет, поди, критики, ночей не спит, а тут на тебе, ни слова.

Насчет критики на Ваньку Реутова судить не берусь. Но наш „злопыхатель“ Толстиков ковырнул этот роман^[38] с точки зрения исторической, и оказалась такая ересь, что надо дальше, да некуда. Он написал спокойную и убийственную рецензию с доказательствами, ссылками на первоисточники. Очевидно, на днях она будет напечатана в нашей газете, и я тебе ее пришлю. Я же решил снова взяться за очерк, довести его до конца, так как мужик^[39] заслуживает того. На днях он поедет на сельхозвыставку, и я постараюсь изловить его и допросить с пристрастием.

...Сегодня 11 число, денег до сих пор из издательства не получил. Тоскливо. Между прочим, журнал „Смена“ по этой части аккуратностью не блещет, доселе не прислал мне гонорар, и я сумлеваюсь, уж не забыли ли!

А как ты, человече, существуешь? Все редактируешь? Брось ты это занятие к чертям и приезжай ко мне, глядишь, хоть чего-нибудь здесь

напишешь, там, как я погляжу, тебе не дадут взяться за перо. На самом деле ты ведь не для того же ушел из издательства, чтобы батрачить снова. Здесь, на отшибе, не больно до тебя докричатся, и ты сотворишь чего-нибудь. А то я, откровенно говоря, боюсь, как бы ты не отвык работать над своими вещами и не превратился в вечного редактора. Черкать же таких гавриков, как Кривооченко-Астафьев или Недоумейко-Реутов, не совсем приятно. Они наворочают, а ты зализывай, не твое это призвание.

Так, это все беллетристика. Теперь о деле. Филоню я страшно и за последнее время почти ничего не написал, думаю с сегодняшнего дня взяться, так как погода настала самая писучая. О деньгах ты не беспокойся, потому что все равно мне, очевидно, скоро пришлют из издательства 60 процентов, и тогда разбогатею. Но о книжке^[40], я думаю, беспокоиться надо. Напиши мне все-таки, когда мы сумеем взяться за нее, чтобы я подготовился к этому времени, прикончил свои дела.

Словом, давай там закругляйся. В Москве, как я погляжу, семинар не состоится?

Ну, привет, Марии Иосифовне и Саньке, как он учится? Привет ему передают Андрюшка и Иринка^[41].

Будь здоров. Жму руку, Виктор».

1954 г., Чусовой.

«Еще раз здравствуй, Володя!

Высылаю тебе обещанную ранее рецензию, которая могла бы, разумеется, не появиться, если бы автор романа „На уральской реке“ не мнил о себе черт знает что и не нуждался в том, чтобы его спустили на землю.

Реагировал он на критику по-реутовски. Каждому встречному и поперечному он объясняет, что ляпусы эти и ошибки наделали издательство и редактор, а он-

де давал рукопись куда с добром, когда же ему говорят о том, что существует такая штука, как гранки, которые автор читает, он твердит, мол, ничего не читал. Словом, готовит он на нашу редакцию жалобу от горкома и вплоть до ЦК.

Ну, будь здоров. Когда приедешь?
Виктор».

Декабрь 1954 г., Чусовой.

«Здравствуйте, Черненко!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом, от души желаем того, чего хочется, а также здоровья, дружбы и Володе — больших творческих успехов.

Навидавшись в Московии всяких разностей и наслушавшись литературных богов и божков, он, наверное, здорово вдохновится, Черненко-то и нагвоздит том, большой, как дом, да еще крепче „Кольчуги“^[42].

Слушай, Володя! Говорил тебе В. Александров или нет относительно нашего литкружка? Если нет, то я вот что хочу сообщить. Мы решили возобновить работу кружка, ибо молодая поросль осаждает и требует к себе внимания. На сей раз мы решили поставить наш кружок на твердую ногу. Наметили избрать старейшиной А. М. Толстикова. Первое организационное занятие думаем провести 7-го января. Вернее, не думаем, а уже дали объявление в газете. Я очень бы просил тебя переговорить с Клавдией Васильевной^[43] относительно присылки на это первое занятие кого-нибудь из отделения. Было бы очень хорошо, если бы приехали ты или она как участники съезда^[44]. Помогли бы нам практически и рассказали бы. Кроме того, неплохо будет, если приедет кто-нибудь из издательства, посмотреть здесь на месте кое-что, познакомиться с авторами. А авторов этих, паря, все

прибавляется и прибавляется, скоро дойдет, наверное, до того, что, куда ни плюнь, в писателя попадешь.

Я думаю, Володя, приехать сюда к нам в интересах не только наших, но и писательской организации. Кроме того, нам надо с тобой решить в отношении книжки. Я, например, совсем охладел к ней и, как теперь быть, не знаю.

Ну, еще раз поздравляю с праздником и крепко жму всем Черненкоам руки.

Виктор».

Февраль 1955 г., Чусовой.

«Здравствуй, Володя!

Письмо твое получил. Высылаю по твоей просьбе вырезки для тебя и для поэта^[45]. Передал ли ты сборник Володе^[46]? Если да, то попроси его прочитать побыстрее, чтобы, приехав в Молотов в середине марта, я мог потолковать с ним досконально по всем рассказам.

Жду книжку^[47], ничего не пишется из-за этих ожиданий. Ну и тянут же они резинку.

Привет домочадцам.

Жму руку, Виктор».

1955 г., Чусовой.

«Здравствуй, дорогой Володя!

Вчера у меня был день большой радости: получил я от тебя книжку^[48] и машинку из Москвы. Огромное тебе спасибо, Володя, за внимание. Книжка оформлена очень хорошо. Всем нравится, и даже предвзято относящиеся к областному издательству люди говорят: „Даже, мол, не верится, что это Молотовское издательство сделало“; а главное, книжка нравится ребятам и родителям. Хором все спрашивают, когда и где ее можно купить. По такому случаю отправляю вам свой

новый рассказ. Может быть, он подойдет и для него найдется щелка в твоём сборнике?^[49]

Вчера с радости хватил кружку пива и сегодня сижу дома. Захворал. Боюсь, чтобы снова не схватило воспаление легких. Ну ничего, поправлюсь. Привет всем твоим коллегам и особенно Надежде Николаевне^[50]. Как ее здоровье?

Р. С. Вагнеру скажи, что итоги работы за сентябрь по сталеварам будут подведены скоро, и я вышлю ему дополнительные материалы к „Королеву“.

Привет твоим домочадцам.

Жму крепко руку. Виктор.

1 октября».

1955 г., Чусовой.

«Привет, Володя!

Письмо твое получил и рад тому, что ты, хоть и беден, но бодр. Я тоже бодрюсь и тружусь, а иначе нельзя, потому как роман^[51] надо дописывать, абы и впрямь лапу не сосать. Ну, говорить тебе о том, что живется после отпуска туго, я думаю, не надо. До того сделалось туго, что позавчера звонил в издательство и, как нарочно, ни одного... там не оказалось. Говорил с какой-то женщиной. Она сперва напугала, а затем пообещала... мол, скоро гроши вышлют. Цену таким обещаниям я приблизительно знаю, но все же надеюсь, что издатели не обойдут своей милостью страждущего человека, у которого по заверениям „Звезды“, „богатая кладовая“, да он, якобы, ей пользоваться не умеет. Я теперь держу ружье заряженным, так как уверен, что чусовское жулье, вычитав насчет моей кладовой, обязательно ночью полезет, а в кладовой-то Секлетины^[52] спит, еще пострадает девка из-за неосмотрительно оброненного рецензентом слова. Как

ты живешь?.. Погодка-то вай-вай, только в „Каме“^[53] и сидеть.

Думаю, что в конце августа я привезу в издательство книгу на обчитку и, пока ее там листают, можно будет податься на Яйву^[54]. Шибко охота. Тут я несколько раз бывал в лесу по ягоды, грибы и раз — на рыбалку. Поймал четырех щурят — одного приличного. Читал в „Литературке“, как разгвоздили Фрадкина^[55]. Черт его знает. Наша организация, видимо, у них там является объектом, который можно только гвоздить. Есть наших за что ругать, но есть и за что хвалить. Во всяком разе, организация такая, которая заслуживает больше внимания, чем тульская и им подобные. Ты бы хоть натравил Молчанова^[56] написать статью перед совещанием молодых^[57]. Ну, будь здоров, лист кончается. Жму руку. Виктор».

1956 г., Чусовой.

«Дорогой Володя!

Пишу тебе на ходу и поэтому коротенько. Если у вас в Молотове еще не шла картина „Седьмое небо“ и если ты ее не видал, то обязательно посмотри, иначе много в жизни потеряешь. Таких картин на свете очень и очень мало. Я вот вчера вечером посмотрел, и она мне сегодня всю ночь грезилась. Изумительная вещь!..

В Молотове с книгой^[58] буду числа возле 10-го, работа и особенно печатанье несколько затягиваются.

Ну, будь здоров. Привет домочадцам и Володе Александрову. Виктор».

1956 г., Чусовой.

«Здравствуй, Володя!

Высылаю тебе своих исперемаранных „Чижиков“^[59]. Как видишь, подросли они, а стали ли от этого солидней, тебе судить.

Как ты добрался? Как жив и здоров? Как домочадцы? Марья ждет их в гости. Книжки^[60] до сих пор (17 февраля) нету. Отчего это, не знаешь? Ну, в „Новом мире“ вопрос, кажется, решился положительно. Антонов^[61] прислал письмо, в котором извиняется передо мной за задержку, масса дел, говорит, и обещает к концу февраля прислать правленные им рассказы. Если, мол, согласитесь и т. д. Человек он, видимо, деликатный, и придется согласиться. Куда ни шло, пускай печатают, куда их денешь. Я шучу, поэтому не читай эти строки вслух. На самом деле мне не верится, что меня могут напечатать в толстом журнале. У нас все по-старому. Злопыхатели здравствуют. Я повидался с безруким охотником. Интереснейший человек. Обязательно весной побываю у него. Уже с ним насчет визита договорился.

Ну, будь здоров.

Привет домочадцам и ледактырю Володе^[62].

Нехай он шлет книжку и побыстрее читает рассказы.

Жму руку. Виктор».

1956 г., Чусовой.

«Дорогой Володя!

Ждал я ждал, когда у меня появится настроение дорабатывать „Чижики“, и не дождался. Своим наплевательским отношением к рукописи вы, очевидно, надолго убили во мне охоту дорабатывать этот рассказ. Думаю, для того, чтобы согласиться со мной, тебе надо представить себя на месте того автора, которому пришлют его рукопись в таком виде...

Говорю все это, может быть, и грубо, но, как всегда, прямо. Желаю, чтобы начало этого письма ты зачитал членам своей редколлегии.

В наказание же за ваши грехи я посылаю вам новый многотрудный рассказ „Месть“ и фельетон для раздела сатиры. Первых экземпляров нет дома, где-то братцы читают, а потому шлю вторые. Вообще-то, мне нужно было встать в оскорбленную позу, но я надеюсь, что случай с моей рукописью был единственный и последний. Губить в авторах их добрые побуждения неряшествами нельзя, за каждой рукописью стоит труд человека, и не всегда праздный труд. Ты это понимаешь лучше меня и, думаю, не возьмешься опровергать мои доводы или, тем более, обижаться на них.

Я сейчас, несмотря на болезнь, много и упорно тружусь над романом. Чего у вас нового? Жму руку. Виктор».

1956 г., Чусовой.

«Добрый день, Володя!

Как ты там живой? У тебя ли еще пребывают гости? А я, брат, после всех треволнений при обсуждении захворал, с головой сделалось хуже, и до сих пор ничего не делаю. Работать хочется здорово, а не можно, хоть зубами... Читать тоже нельзя, но удержаться не могу и читаю, отчего голове лучше не становится. Надо было использовать это, зря пропадающее время на поездку в колхоз, а мне почему-то не шлют из союза ни обещанной командировки, ни денег. Обещали прислать следом за мной, а вот уже скоро месяц, и ничего нет. Я не выдержал и написал письмо Рождественской с просьбой объяснить, что сие значит, но и она отмалчивается. Ты не в курсе дел, а? Если да, то черкни, отчего такая задержка. Без поездки же в колхоз мне за рукопись приниматься невозможно, и, если с командировкой там ничего не получилось, пусть они душу не томят. Я буду тогда сам что-нибудь изобретать. Мне тут, правда, присылали кус из Свердловска, — за очерк 40 % и 60 % за рассказ, который они взяли в

детский сборник (очевидно, „Только“), но, будучи невыдержанным от природы, я эти деньги растрес в течение суток: послал немного отцу, который вот-вот должен нагряться, раздал долги, и все. При желании можно было, конечно, выкроить на поездку, но я понадеялся и теперь сижу на мели. Очерк в „Смене“^[63] тоже что-то тянут, не печатают. Возьмут да раздумают. Им что, никакого урону, а мне таковой сюрприз даже не по нюху будет.

Однако есть у меня и отрады. Я ведь тебе говорил, что издательство взяло переиздать „Васюткино озеро“. И они мне поставили превосходные условия, с помощью коих я думаю относительно безбедно доработать рукопись романа. Дали они мне двойной тираж и оплату как за новое произведение, словом, оплата за лист получается в три тыщи с лишним. Такой „дерзости“ я от них не ожидал, знаю, что все это сделано для того, чтобы я смог дотянуть книжку, и таковая чуткость меня многому обязывает. Вот почему надо поспешить в колхоз.

Еще раз прошу, шевельни там Петровну^[64], узнай, в чем дело, а дело, по-моему, в ней.

Ну ладно, бывай здоров, привет Володе Александрову и Андрюхе^[65], а также твоему немалочисленному семейству. Чего нового?

Жму крепко руку. Виктор».

1956 г., Чусовой
«Володя!

Только запечатал тебе письмо, является почтальон и вручает от тебя пакет. Распечатываю письмо, вычеркиваю вопрос насчет рассказа^[66] и больше ничего не меняю, хотя твое письмо и прояснило некоторые мои вопросы насчет конференции. Я думаю, мы о ней поговорим подробнее при встрече. Спасибо тебе,

Володя, от души за искреннюю оценку рассказа. Ты настоящий товарищ... Ведь на таких вещах легко споткнуться и уйти в сторону. Будем считать, что я написал ее не зря. Ведь даже неудачная вещь многому учит. Иногда, пожалуй, больше, чем удачная. Лишний раз это меня убеждает в том, что надо поменьше выдумывать. Ведь моя биография — это кладезь, который едва ли за жизнь вычерпаешь. Она и должна быть источником дальнейших трудов. Вот и будут следующие рассказы называться „Паренек с...“ и „Озорники“ (о моем товарище детства), и вообще, мне надо писать больше о ребятах. В этом я убедился, работая над романом^[67]. Моя стихия — быт, семья, ребятишки. Производство не для меня. Да! О Ковырзине я написал, назвал эту вещь „Коршуном“ и отправил в „Огонек“. Пока ответа нет. Бувай. Виктор».

Май 1956 г., Чусовой.

«Дорогой Володя!

Сегодня приехал из Лысьвы и сыскал извещение на перевод в ящике на полтора рубля. Понял, что от вас очень кстати эти карбованцы. Спасибо. Сие событие послужило поводом к написанию сего письма.

Живу я неходко. Дела двигаются плохо. Что-то очень нерабочее настроение. Или наступила „пора серенад“, как это отметил небезызвестный Андрюха^[68], или надвигается рабочий сезон, только не пишется и баста! Подготовил, правда, „Васюткино озеро“ для отправки, по вашему совету, в Москву, и все.

Володя, был тут без меня Балахонов^[69] и довел до сведения моей Марьи такие новости: в издательстве денег нет, и будут лишь 10-го июля. Я вот что тебя прошу. Пусть Володя Александров узнает, сколько мне придется получить всего и за очерки, и из сборника сатиры, и сообщит, когда это можно сделать, т. е.

получить гроши, или сообщи ты. Мы бы с Марьей тогда поехали в Молотов получить гроши... а то ждать перевод, потом собираться и прочее, так, пожалуй, ни грошей, ни времени не останется.

Между прочим, если не смотрел картину „Папа, мама, служанка и я“, — обязательно посмотри вместе с Володькой. Картина эта из числа грустных комедий на бытовую тему, которые умеют мастерски делать французы и, увы, совсем разучились делать наши. Правда, тут некоторым не нравится она, потому что, как и всякая французская картина, она немножко скоромная, да мы ведь великих постов тоже не признаем, хотя подчас и стараемся делать вид, что причастны к лику святых. Ну, будь здоров.

Привет Марусе, Сашке и Володе. Знаю, что будешь плевать, разбирая мои каракули, да что сделаешь.

Жму руку. Виктор».

Октябрь 1956 г., Чусовой.

«Дорогой Володя!

Я так и не собрался поехать в Молотов. Главная причина — сам знаешь какая. Время у неработающего писателя есть всегда, а вот деньги — редкие гости. А тут Маня придумала болеть каждый месяц, и без „кормилицы“ тугο совсем. Я, собственно, сегодня и писать-то начал от отчаяния, чтобы спросить у тебя, не знаешь ли ты кого-нибудь из наших сознательных писателей, кто мог мне дать с тыщенку займы месяца на два-три? Может быть, у Бориса^[70] или у Макарова^[71] есть? Пришла пора подписываться на газеты и журналы, за ребятишек платить — и хоть реви. Из-за проклятых денег работа идет тугο. Не сделал еще и половины книги. Все думаешь, чего завтра жрать? Чтоб она пропала эта наша доля!

Ну ладно. Теперь изложу вторую, более светлорадостную причину, которая побудила меня написать письмо. Ходил я недавно на охоту. В верховьях одной из речек мы обнаружили лося, пойманного в петлю. Ну, я, разумеется, заявил об этом в милицию. Дали мне милиционера, председателя охотообщества и еще человека, и мы пошли, но лося нашли уже убитого. Браконьер половину его, в том числе рога, сумел стаскать и спрятать, другую же половину мы нашли и забрали. И вот, если у тебя есть желание попробовать лосятины от пуза, забирай пол-литра (в нашем городе сухо) и двигай ко мне; хотя бы на день. Можешь прихватить Бориса^[72], и, если погода будет ничего, сходим в лес с ночевой. Там есть избушка хорошая. Вот так. Новостей у меня больше нет. Из „Смены“ пока ничего насчет очерков не сообщили^[73]. Московский редактор пока тоже помалкивает насчет сборника. Тишь да гладь, и роман^[74] дорабатывается со скрипом. Надоел он мне и разонравился, а это основная беда, тормозящая работу.

Ну да хрен с ней.

Картошка есть, мясо есть, разве это не житуха.

Приезжай, старина.

Жму лапу. Виктор».

1956 г., Чусовой.

«Дорогой Володя!

Жаль, что я тебя не застал дома, возвращаясь из Сибири... отложим разговор на опосля. Вчера получил письмо от В. Александрова. Он наконец-то определился. Работает редактором в комсомольском отделе издательства „Молодая гвардия“. Вот его координаты на тот случай, если его нужно будет срочно вызывать по телефону: Д-1-15-00 (коммутатор), добавочный 178. Он, кстати, сообщил мне, что у тебя должны быть мои рассказы. Если тебя не затруднит, перешли их,

пожалуйста. Я тут получил письмо из отделения (это из журнала „Звезда“, ты, вероятно, знаешь о нем?) и хочу воспользоваться случаем, чтобы отправить им какой-нибудь из трех рассказов. Очевидно, pošлю „Материнскую руку“ — злосчастную, а у меня дома нет ее и нет „Наставников“, так что если затерялись, то мне хана. Я живу в трудах. Задание „Смены“ выполнил и сразу взялся за детские рассказы, ибо издательство поторапливает. Между делом написал газетный подвал, думаю послать его в „Известия“, если напечатают — ладно, а не напечатают — ничего. Ведь оно и привычно, получать отказы-то.

Теперь на подходе роман^[75]. Боязно за него браться, отвык. Дай бог вытолкнуть его... и больше не возьмусь за такую обременительную рукопись. Правда, существенных изменений так и не предвидится, да ведь это так кажется. Я вот сидел за детскую книжку, думал, что там работы немного, ан взялся, и пошло, многое пришлось дописывать, переписывать, вычеркивать, особенно в безудержно расхваленном „Васюткином озере“ и „Схватке“, которая теперь называется „Наследник“. Кстати, я переписывал еще ряд рассказов. Рассказ „Друзья“ я переименовал в „Теплый дождь“^[76], и это название думаю дать сборнику. Не знаю, как на это посмотрит столичное начальство и редактор.

А что у тебя нового? Пишется чего-нибудь или нет? Когда будет собрание? Мне уж до него, вероятно, не вырваться из дома — работы масса, а тут еще домашние дела одолели, картошку скоро копать. Смогу ли я пристроить „Чижики“ в 23— 1 номер альманаха, если доделаю их в конце октября? Может быть, не стоит спешить с ними. Ну, будь здоров. Привет Марусе, Сашке, бабушке и Константину Васильевичу^[77] — обнимаю. Виктор».

1956 г., Чусовой

«Дорогой Володя!

Я сейчас только прокинул предпоследнюю главу романа, и можешь сам судить, какое у меня настроение. Как я тебя понимаю, дорогой. Ведь я не принимался за роман всего несколько месяцев, и то едва раскачался. А тебе за „Кольчугу“ и вовсе страшно было приниматься. Но раз уж принялся — не отступай: ты большевик, могу тебя осрамить за малодушие от имени беспартийных представителей рогатого скота.

С деньгами дела тоже пока наладились... Я посылал в Красноярское радио один из сибирских очерков, и земляки были столь любезны, что не только прочли, но и заплатили за него три сотни. Словом, ты, пожалуйста, Володя, не беспокойся об этом несчастном долге. Я совсем забыл про него и оттого тебе написал, а сейчас раскаиваюсь. Я многим тебе обязан, и если нам начать говорить о долгах, то я себя буду чувствовать очень скверно. Ну, хватит об этом. Новостей у меня больших нет. Работаю, как вол, рукопись снова меня увлекла, и я, как видишь, заканчиваю ее. Правда, будет задержка с печатанием, но числа 12–15 ноября я все равно рассчитываю быть в Молотове с законченным романом.

Вот так. Привет Марусе, Сашке, бабушке».

1956 г., Чусовой.

«Привет, Володя!

Давно от тебя ни слуху, ни духу. И я не подаю признаков жизни. Трудимся, брат. Трудимся так, что огонь из-под пера. Вчера поставил точку, и Марья начала печатать рукопись^[78] на машинке. Ну, что тебе сказать о работе? Рукопись увеличилась на сто страниц. Это первое. Великолепная получилась, на мой взгляд, последняя глава, в которой Сережка воскрес. Вот,

пожалуй, все, что я могу сказать о рукописи. Она еще не отстоялась, не отлежалась, и я, разумеется, не могу взглянуть на нее трезво-критически. Думал я ее доставить в Молотов перед праздником, однако воздержусь это делать. 10-го мая выезжаю на курорт и завезу попутно. Это время использую на то, чтобы лучше подчистить текст, выловить, что можно. Думаю один экземпляр прихватить с собой, может быть, в Москве кому-нибудь суну почитать. Да! Есть немаловажное событие в моей творческой жизни. „Детгиз“ серьезно заинтересовался моей персоной и заключил со мной договор на издание сборника. При этом получились такие казусы, которые удивили меня, и, вероятно, не оставят в равнодушии и тебя. В „Детгизе“ начисто забраковали „Только“... с большим скрипом и под вопросом оставили в прожекте сборник „Васюткино озеро“. Лучшими рассказами они признали „Схватку“ и „Землянику“. Во, брат, какие вещи! Это лишний раз подтверждает, что единого мнения на литературное произведение не может существовать. Когда поеду в Ялту, остановлюсь на несколько дней в Москве. Побываю в „Детгизе“, выясню все окончательно.

Очень много наслышан о конференции уральцев^[79] (о ней мне писал Новосельцев, который, кстати, страшно жалеет, что обстоятельства помешали ему встретиться с тобой). Весьма мне понравилась статья Антокольского в „Литгазете“ об этом совещании. Мудрый мужик. О конференции до меня дошли лишь печатные отголоски, по которым судя, я сделал вывод, что молотовская литература была рыбой на безрыбье. Так ли это? Во всяком разу уже одно то, что белиберда, называемая „Навстречу жизни“^[80], попала в полуположительные, меня сразило. Видно, в самом деле

литература наша докатилась до ручки, когда такие вещи похваляют.

Однако не буду суров. Уже одно то, что нашу область наконец-то заметили, щекочет самолюбие и патриотические чувства. Да! Володя! Уехал ли Александров в Москву или все еще околачивается среди нас? Мне это интересно знать. Ибо остановиться мне в Москве не у кого, и, если он уехал, я рассчитываю на его гостеприимство. Вот пока все. Марья у меня придумала нынче болеть часто. В связи с этим сидим на могучей финансовой мели. И если Олег^[81] там пошевелится и ускорит перевод сорока процентов, возражать не станем».

18 апреля 1960 г., Москва.

«Володя, привет!

Получил пакет и письмо. Отписываю на открытке, потому что нет под рукой конверта, и, если сразу не написать, потом уже все.

Я все это время писал новую вещь „Звездопад“. Получился или крупный рассказ, или маленькая повесть. Сейчас я ее отсылаю на машинку Марье и потом обсужу на нашем семинаре и пришлю или привезу в Пермь посмотреть. Весна пришла, много потех, говору, трепотни и масса дел. Володька Александров работает в „Молодой гвардии“. Работает пока усердно, чем меня удивляет немало. Я собираюсь с бригадой писателей в Куйбышев и Сталинград на неделю выступать. Привет всем ребятам и Александре Петровне^[82] особый.

Обнимаю, Виктор.

Москва, И-254, Добролюбова 9/4».

Последнее письмо отправлено в Пермь уже из Москвы, когда Виктор Астафьев учился на Высших

литературных курсах. Этому периоду в жизни писателя и будет посвящена следующая глава.

Глава седьмая МОСКВА. НА ВЫСШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ КУРСАХ

О существовании Высших литературных курсов Астафьев узнал от В. В. Смирновой. Серьезно воспринял он и ее совет — непременно поучиться на них. «Разумеется, — предупреждала она Виктора Петровича, — никакой институт, никакие курсы писать вас не научат, но два года жизни в Москве, в творческой среде могут многое дать человеку, который хочет чего-то добиться и стремится к самоусовершенствованию».

Одними советами Вера Васильевна не ограничилась — она начала действовать, благо кандидатура Астафьева подходила по всем статьям. Был он уже членом Союза писателей, причем молодым, работал на периферии и высшего образования не имел — это также учитывалось при зачислении. Во время творческой командировки от журнала «Урал» в Игарку Астафьев, по его воспоминаниям, получил долетевшую в Заполярье телеграмму с извещением, что он зачислен на курсы и должен приступить к занятиям 1 сентября. В Москву он прибыл с опозданием на полмесяца. Шел 1959 год.

«Во время учебы на Высших литературных курсах, — вспоминает Виктор Петрович, — раздвинулись рамки моей окружающей среды. Москва с ее театрами, концертными залами, выставками, несколькими первоклассными преподавателями, единомышленниками и друзьями, много изведавшими, испытывшими, уже добившимися в литературе заметных успехов, — все-все способствовало духовному просветлению и нравственному усовершенствованию, способствовало прежде всего тем, кто к этому стремился, но не только водку пил. Гуляли, развлекались и мы, седые люди, пускали в аудиториях

бумажных голубей. Нина Михайловна Молева, милейший человек, преподаватель истории искусств, самозабвенно отдававшаяся своему делу, называла нас „мои взрослые дети“. Да, да, мы отыгрывали и отгуливали пропущенную юность, молодость, кто и отнятое детство. Среди нас были не только фронтовики, рабочие, крестьяне, были и репрессированные, жертвы сталинских концлагерей. Они делились с нами „богатым прошлым“, открывали глаза на правду.

На курсах я не только много общался с курсантами и студентами Литинститута, но и пересмотрел весь тогдашний репертуар в столичных театрах, перечитал рукописи почти всех сокурсников и литинститутцев, да и сам работал, написал повесть „Звездопад“, пяток рассказов, перевел по подстрочникам несколько произведений сокурсников из других республик.

Счастливые, плодотворные годы. Жаль, что всего их за первую половину жизни выпало лишь два».

Известный искусствовед Нина Молева, о которой столь тепло говорит Астафьев, на страницах «Литературной России» в 2009 году так вспоминала свою работу на Высших литературных курсах:

«Для меня все началось с 1958-го. Октябрь. Дом Герцена на Тверском бульваре. Комната третьего этажа — по преданию, та самая, в которой родился звонарь „Колокола“, — на тот день единственная аудитория еще только образовавшегося нового факультета Литинститута — Высших литературных курсов. Декан — „деревенщик“ Юрий Григорьевич Лаптев, зав. кафедрой мастерства — Виктор Тельпугов. И приглашенный преподаватель на дисциплину, которую еще никто не умел по-настоящему определить и осмыслить: психология создания художественного произведения (на материале истории мирового искусства).

Да, собственно, и с самими Высшими литературными все было далеко не очевидно. Учащиеся — со всех концов Советского Союза. От недавних фронтовиков до вчерашних заключенных концлагерей. По большей части с одной десятилеткой, но уже члены Союза писателей, авторы хотя бы одной вышедшей книги или нескольких опубликованных произведений. Приобретшие социальный (а зачастую и партийный) вес в родных местах. Уверенные в себе. Безапелляционные в суждениях. За пять учебных семестров им предполагалось дать основы гуманитарного образования. Нужду в нем кто-то испытывал, кто-то просто видел возможность прожить в хороших условиях в столице, завязать соответствующие профессиональные связи. Хотя никто не говорил об этом вслух, но преподавателям надо было применяться к своим слушателям. Никаких рычагов административного воздействия быть не могло — гарантия правления Союза писателей.

И первый же прокол. Положим, все идейно-партийные дисциплины не подлежали обсуждению, спокойно воспринималось литературоведение, но вот история искусства вызвала взрыв. Слушатели отказались тратить на нее время, и это притом, что лектором был приглашен один из ведущих советских искусствоведов профессор М. В. Алпатов, далекий от партийных перехлестов автор ряда монографических трудов по русскому искусству, отлично владевший словом. „Нет“ курса оказалось категоричным. Профессор предложил в качестве замены вчерашнюю аспирантку МГУ. Правда, с ученой степенью, с несколькими научными книгами, руководителя университетского семинара, считавшуюся хорошим лектором (диплом об окончании Щепкинского театрального училища). Ее он просил об одолжении,

чтобы разрядить назревший конфликт („хотя бы в порядке опыта!“).

Список слушателей тогда не говорил ничего, сегодня — это страницы энциклопедии нашей литературы: Виктор Астафьев, Евгений Носов, Анатолий Знаменский, Новелла Матвеева, Юрий Гончаров (впрочем, уже тогда его называли русским Ремарком), Римма Казакова, ставший классиком Белоруссии Владимир Короткевич и его супруга чеченская поэтесса Раиса Ахматова, поэты Николай Панкин и Вячеслав Кузнецов (вчерашний офицер, едва ли не единственный сумевший по-настоящему достойно выступить против сусловской кампании 62-го года), Сергей Викулов, Юрий Пиляр, тульчанка Наталья Парыгина — всего около двадцати человек, среди которых неярких не было...»

Молодая преподавательница, о которой вспоминает Н. Молева, хорошо запомнилась Виктору Астафьеву. Я, например, не раз слышал от него слова восхищения и благодарности в ее адрес. Слушатели буквально были заражены ее трепетным отношением к истории. Исторических знаний катастрофически не хватало, тем более не было времени на их пополнение. В качестве выхода использовались выезды курса по историческим местам. Маршруты комфортабельного по тем временам автобуса, который выделял Союз писателей, пролегали через Владимир, Кидекшу, Суздаль, Ростов Великий, Тулу, Переславль-Залесский, Дмитров, Ярославль, Сергиев Посад, Александров, Радонеж, а также десятки маленьких русских городков, усадеб...

О впечатлении, которое произвели курсы на Астафьева, мы можем судить из письма более позднего времени молодому прозаику Анатолию Буйлову: «Мой вам совет: как только вступите в Союз писателей, добивайтесь, чтоб вас приняли на Высшие литературные курсы. Сами по себе курсы — благо, во

всяком случае, для меня они были таковыми... Но еще большее благо — два года прожить в Москве, пообщаться с товарищами по труду (если в меру пить водку, времени для обучения остается) и прикоснуться к сокровищам отечественной и мировой культуры. За два года я посмотрел около шестидесяти спектаклей, посетил все постоянные выставки, приучил себя к серьезной музыке и т. д. и т. п. Это все необходимо, как воздух, в нашей проклятой и прекрасной работе...

Не обижайтесь на меня, что я вроде бы вмешиваюсь в ваши дела и в жизнь. Но мне так хочется, чтобы вы сократили путь „к себе“, ибо я сам всего добивался в одиночестве, лишь в зрелом возрасте начав осознавать себя и лишь на курсах приобретя настоящих, требовательных друзей».

Владимир Матвеевич Бахметьев (1885-1963) относится к самому старшему поколению советских писателей. Он начал печататься еще до революции в газетах Сибири, да и вообще его творчество в значительной мере связано с сибирскими реалиями. Может быть, поэтому, направляя ему письмо в период своей учебы на Литературных курсах, Астафьев рассчитывал на внимание и поддержку. А причиной, которая побудила молодого писателя обратиться к старейшему литератору, стала объявленная Гослитиздатом подписка на собрание сочинений В. Шишкова. Размышляя о готовящихся к переизданию произведениях, Астафьев недоумевает, почему ранний период творчества прозаика-сибиряка не отражен в собрании сочинений. Он обращается к Бахметьеву не только как к исследователю творчества Шишкова, но и его другу, надеясь, что тот может вмешаться, изменить ситуацию, повлиять на состав намеченных к печати томов, увеличить объем собрания. Виктор Петрович

показывает себя не только поклонником Шишкова, но и знатоком его прозы.

Можно предположить, что Виктор Петрович ждал ответа. А может, надеялся и на общение со старшим коллегой. Следует также заметить, что сам Астафьев всегда откликался на зов своих более молодых товарищей по перу.

Письмо, отправленное из Чусового, прибыло в Москву 18 августа 1960 года. На конверте карандашом сделана, очевидно, самим Бахметьевым, пометка: «читатель о Шишкове». Все-таки жаль, если старый литератор, которого отличала «тонкая наблюдательность» (характеристика из энциклопедии), не проявил интереса к Виктору Петровичу.

Оригинал письма — три машинописные страницы, на которых встречаются и грамматические ошибки:

«Глубокоуважаемый Владимир Матвеевич!

Долго ждал я подписки на собрание сочинений Вячеслава Шишкова. Наконец, сегодня моя давняя мечта осуществилась — я оформил подписку. Оформил и тут же решил написать в „Гослитиздат“, нет, не благодарственное письмо, а давно наболевший вопрос: почему в наших издательствах, у наших литературных властей такое отношение к замечательному писателю, в ряд с которым можно поставить только одного-двух советских писателей? Почему после долголетних обещаний „Гослитиздат“ решил „удивить“ читателей восьмитомником? Это же, по существу, повторение посмертного издания избранных произведений Шишкова, с той только разницей, что там было уложено все в шесть томов. Вам-то хорошо известно, что еще при жизни Шишкова издавалось 12 томов его сочинений — это, если мне память не изменяет, еще до написания им „Угрюм-реки“ и „Пугачева“. Так неужели же сейчас нельзя было сделать хотя бы двенадцатитомник? Снова не включен в издание роман „Ватага“, снова нет ряда

малоизвестных произведений Вячеслава Шишкова. Читатели снова должны верить на слово, что „Ватага“-де ошибочное произведение, что и в ряде других произведений Шишков ошибался и т. д. Было время, когда у нас все творчество Достоевского считалось ошибочным, и людей вынуждали подпольно, по альбомчикам и блатным песням узнавать Сергея Есенина, а за книгу Джона Рида садили в тюрьму. И вот до сих пор еще живы кое у кого эти тенденции, и они не доверяют читателям, боятся, что те не разберутся в ошибках и срывах того или иного писателя. И вот слабые в сравнении с другими произведениями, написанные в спешке, пусть нужные в свое время военные рассказы Шишкова печатаются без конца, включаются во все издания, а многое из творчества писателя замалчивается, утаивается от читателей. Мне, человеку, воспитавшемуся на книгах Шишкова, безмерно любящему этого силача в русском языке, великого выдумщика и недостижимого мастера в изображении людей, больно и обидно за покойного писателя, которого и при жизни-то замалчивали да поругивали время от времени. Да и как не будет больно, если на втором съезде писателей Шишкова упомянули один раз! Упомянул его Натан Рыбак в своем выступлении. А на Съезде российских писателей, где я присутствовал, его этак мимоходом хвалили за „Емельяна Пугачева“.

Диво-дивное! На этих же съездах воскурялся фимиам до небес таким писателям, которые и сами-то себя никогда не решатся поставить вровень с Шишковым.

Когда-то, в письме к Вам, Вячеслав Яковлевич сетовал на то, что у критиков он не в чести, но что радует внимание и интерес читателей к его произведениям и что, в конечном счете, это для писателя главное.

Да, это так, писатель пишет для того, чтобы его читали. И Шишкова читают, да еще как! Все последние издания „Угрюм-реки“, а их было довольно много, в нашей районной библиотеке постоянно на руках. А тут народ в основном трудовой живет, и, если уж что читает, так значит это действительно интересно. Пустяки тут не любят читать. И все-таки знают Шишкова больше как автора „Угрюм-реки“. Слов нет, это книга книг, и я уверен, что еще придут такие времена, когда по ней будут изучать историю русского капитализма, но не должно так быть, чтобы знали у нас Шишкова только наполовину. Писатель этот достоин того, чтобы его знали лучше, читали больше.

Вот поэтому-то я и не написал в „Гослитиздат“, а Вам. Надеюсь, что Вы принимаете участие в подготовке подписного издания и возможно сумеете как-то воздействовать на издательские власти и увеличить объем издания. Это крайне необходимо, на мой взгляд. Ведь даже многие из наших литераторов думают так, что Шишков и написал лишь то, что издается. Я вот учусь на Высших литературных курсах, и делал доклад на уроках по теории литературы о творчестве Шишкова, и видел, как люди удивлялись, слушая о жизни и творчестве этого исключительно даровитого писателя и широкодушного человека. А ведь я рассказывал-то о Шишкове литераторам! Да и пользовался-то я теми скудными материалами, которые есть в библиотеках и которые, в общем-то, лишь повторяют Вашу книжку о Шишкове.

Больше хочется знать об этом прекрасном писателе, больше и шире читать его. Шишков заслужил своим творчеством и своей жизнью заботливого, любовного внимания к себе, а о нем пишут лишь в дни юбилея его друзья, которых остается все меньше и меньше.

Извините, Владимир Матвеевич, за длинное письмо и за некоторую сумбурность. Дойдет ли моя просьба до

издательских властей — не знаю, но пусть хоть Вам будет известно, что у Вашего покойного друга есть искренне любящий его поклонник, который восхищается его творчеством и не устает у него учиться трудному литературному делу.

С глубоким уважением

Астафьев

15 августа 60 г.».

Завязавшаяся позднее дружба писателя с маститым советским литературным критиком Александром Макаровым, характер возникшей между ними переписки позволяют нам сделать предположение, что в этом письме выражена не только любовь Астафьева к прозе В. Шишкова. В нем виден более широкий подтекст, призванный привлечь интерес маститого писателя к идущему вослед литератору.

Для Виктора Петровича понятие «сибирская» литература — отнюдь не пустые слова. В письме В. Колыхалову, посланном значительно позднее, 16 апреля 1969 года, из Вологды, он писал: «...Люблю книги сибиряков. В них, у талантливых, разумеется, авторов... всегда покоряет выпуклая образность, сочный и богатейший язык, сочная природа. Наш грубоватый, не подмазанный крылышком юмор, не вымученная, не выставленная напоказ честность и правда, правда непосредственная, неотразимая, как жизнь, которая вроде бы как сама собой, разумеется, и потому ее обычно принимают и воспринимают без ахов и охов и никакой излишней подозрительности к ней не проявляют. Такова уж она, настоящая правда: ее или принимают целиком, или отвергают, но тоже целиком, ибо она неделима и неотделима эта „исповедальная проза“...

Твоя книга написана в лучших традициях сибирской прозы, которая была и осталась, по моему глубокому

убеждению, лучшей и определяющей в прозе 20-х и 30-х годов. Зазубрин, Ошаров, Петров, Иван Кратт, Шишков, Березовский, Жуков, Сейфуллина, Вс. Иванов, Черкасов (покойный, а не живой!) и множество других сибиряков зачали советскую прозу и продолжали ее с новейшим живописным блеском, они как бы изголодались по живому слову, по живому разговору, в душах их скопилось столько красок, столько живописных образов и эмоциональности, что они ее выплескивали удало, безудержно, темпераментно и иной раз одной страницы (у Шишкова, например) иному современному столичному „художнику слова“ хватило бы на роман — так они бедно заряжены жизнью, так мало видели и пережили.

Все это, присущее лучшим сибирякам, как бы само собой перешло к нам (да и как могло быть иначе? Мы ж росли, выросли на этой литературе!), и все это ярко, зримо и вещественно присутствует в твоей книге.

Но я глубоко убежден, что сибиряки наши, если б дали им возможность созреть, жить и работать, вспомнили бы, в конце концов, что до них были Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин — в прозе; Пушкин, Блок, Некрасов — в поэзии, которые умели — да еще как! — писать и образно, и живописно, и удало, и правдиво, и... как хочешь. От стихийной, порой „голенькой“ прозы они постепенно переходили к мысли, и, если уж шла война и ее описывали, то не одними батальными сценами отделявались эти воистину мудрые художники, а мятущийся появлялся у них на позициях и мятущийся, чего-то ищущий граф, и мужичок, со „своих позиций“ пытающийся понять себя, мир и происходящее в этом мире. Если уж нищий студент угрохал старуху, то за него нравственные вопросы решал не всезнающий майор Пронин или мимо ехавший и случайно завернувший в роман секретарь обкома, а сам он, студент, обращал свой взор вокруг и в

самого себя и все вокруг постигал — и высшую нравственность, и падения — путем мучительного размышления над сущностью человеческой жизни, над ее величием и мерзостью.

Тургеневы, Достоевские, Толстые достигли высших вершин в слове, потому что сделали это слово мыслительным и, мало того, пошли дальше, забрались туда, откуда возникает эта мысль — в человеческую душу.

Увы и ах! При всем блеске прозы 20-х и 30-х годов, особенно сибирской, она лишилась основного достижения нашей русской Великой литературы. Она изображала и только. Она, захлебнувшись, спешила вперед, летела, подхваченная круговертью событий и запущенной во всю мощь и на всю „железку“ собственной жизни. Еще раз говорю: дай ей время приостановиться, осмотреться, поразмыслить — литература эта непременно пошла бы в глубь явлений жизни, занялась бы самоанализом и осмыслением вновь народившегося общества.

Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубili под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она, если не представляет, то будет представлять опасность...»

Но вернемся к периоду учебы Виктора Астафьева на Высших литературных курсах. Сам писатель довольно часто и с удовольствием вспоминал эту пору своей жизни. Однажды я предложил ему побывать в его альма-матер, поговорить с новым поколением студентов-писателей. Астафьев согласился.

Встреча состоялась 17 декабря 1985 года. А лейтмотивом состоявшегося разговора стал тезис: «Каждый день что-то открывали...»

«Учеба на ВЛК — лучшие и святые мои годы, — этими словами начал разговор с молодым поколением Виктор Петрович. — Я пришел сюда с шестью группами

образования и житейским багажом. Только учеба в Москве помогла мне сбить провинциальную штукатурку, помогла преодолеть тот разрыв в образовании и культуре, который я имел и на преодоление которого в одиночку мне пришлось бы лет двадцать корпеть.

К счастью, почти все мои однокурсники были такие же: из провинции. Заносчивости и спеси столичной меж нами не водилось, мы не критиковали и не снисходили до окружающего, а каждый день что-то открывали.

Именно в те годы я посмотрел основной репертуар московских театров. Счастлив, что застал еще наших великих стариков из МХАТа. Видел грандиозные „Мертвые души“, видел спектакль „Дни Турбиных“ с Михаилом Яншиным в роли Лариосика.

Пользуетесь ли вы той возможностью, что вам предоставляет жизнь в Москве? Я как сделал: взял шоколадку, букет цветов и пошел к билетной будке возле метро „Новослободская“. Представился кассирше: так, мол, и так, неотесанный мужик из Перми приехал в столицу уму-разуму поднабраться...

Милая женщина, там работавшая, снабжала меня билетами на все стоящие спектакли все годы учебы. Впрочем, заглядывал я к ней и в более поздние времена.

Писателю никак не обойтись без культуры. Нужна она и художникам. Я вот в воскресенье побывал на выставке в Манеже. Удручающее впечатление. Выравненное мастерство. Будто писалось все одной рукой. Кто прежде писал хуже, чуть поднялся, а прежние мастера остались на своем уровне. Ни одна картина не берет за сердце.

Люблю Кугача. Но то, что показано им, вещь проходная, не выше Кугача прежних лет. Картина Мальцева, посвященная памяти Федора Абрамова, по моему, не вполне удалась. Нет подлинного трагизма этой утраты.

Вы должны все видеть, знать и все обсуждать.

Может, конечно, нам было легче?

В то время в Литинституте училась группа оригинальных людей: Николай Рубцов, Ольга Фокина, Василий Белов, братья Сафоновы.

У нас, на ВЛК, — Евгений Носов, Сергей Викулов и другие пытливые ребята. Этих двоих вспомнил, как говорится, навскидку. Таким образом, у нас существовала широкая, питательная среда общения».

Отвечая на вопрос, кто из преподавателей ему запомнился, Виктор Петрович прежде всего назвал Нину Михайловну Молеву. «Она читала нам историю искусств, а, по сути, говорила обо всем. Мы, дураки, не сразу оценили ее. Случалось, гасили свет перед лекцией.

— И что же?..

— Не обращала на это внимание, читала свои лекции в полной темноте. На наше счастье она занималась с нами целых два года! Какие лекции! Значительно позже я узнал, что эта хрупкая, изящная женщина — не только крупный специалист и великолепный лектор, но и ветеран войны, бывший санинструктор. Что она носит осколок в сердце. Как стыдно мне за прошлое ребячество взрослых мужиков.

Впрочем, эта мудрая женщина, полагаю, понимала ситуацию лучше нас самих. Ведь мои сокурсники, да и сам я, не имели отрочества и юности, не перебесились, не покуролесили свое, практически из детства ушли на войну. И вот, когда оказались снова за партой, кое в ком вдруг взыграло ребячество...

Нам Архипов читал историю литературы XIX века. Приходит к нам и сразу спрашивает: „Ну, как работаем?“ Все кричат: „Без перерыва!“ Его лекции о Николае Некрасове до сих пор в памяти, будто вчера мною слышаны. Особенно блистательная лекция — об Иване Сергеевиче Тургеневе, которого он, кстати

сказать, не любил. Не любил! И потому не считал себя вправе проявить какую-то личную предвзятость. Готовился к ней с особой тщательностью. Этот подход Архипова к нелюбимому им Тургеневу имел для нас большой нравственный смысл. Мы поняли, что писателя ведь нельзя трактовать одномерно и только из личных симпатий. Писатель ведь не доска, а дерево, живое и плодоносящее, которое, чтобы знать и хорошенько разглядеть, нужно ни раз и ни два обойти со всех сторон. А доску, конечно, можно просто перевернуть, чтобы убедиться: вот она доска и есть.

Разговор о днях, прожитых в годы учебы в Москве, — не только воспоминания. Для меня это настоящая потребность осознать для себя не такое уж далекое прошлое, крепко связав его с настоящим. Мне это нетрудно сделать. Ведь и на недавнем съезде писателей России встречал однокурсников, настоящих своих друзей. Наша дружба прошла проверку общей работой в литературе, тесным общением за истекшие два десятилетия.

Я много езжу по стране. Бывало со мною и так, что собираюсь, лечу в один город, а из-за непогоды попадаю в другой. Так однажды оказался в Краснодаре. Ночь. В аэропорту многолюдно, неуютно, голову негде преклонить. Но ведь Виктор Логинов — краснодарец. Еду через ночь к нему. Ломлюсь в дверь. На пороге появляется и невозмутимо говорит: „О, Витя, кореш мой, заходи. Рад тебя видеть и согреть“. Подобную братскую встречу я пережил и в гостях у воронежского писателя Юрия Гончарова.

Сам тоже радуюсь, когда вижу у себя в Красноярске родную душу.

Вы должны сделать все, чтобы сдружиться. Вы — писатели, только вошедшие в литературу. Вам еще много лет корпеть над словом, дружить, помогать друг

другу. Поднимается творческое настроение, когда испытываешь счастье от встречи со своей юностью.

— Чем вы могли бы объяснить, что самые яркие выступления, прозвучавшие на VI съезде писателей РСФСР, были посвящены нелитературным проблемам?

— Вопрос, на мой взгляд, поставлен неправильно. Почти нет чисто литературных вопросов. Если идет разговор о жизни, то, значит, мы говорим и о литературе. Внутри — цеховые рассуждения, схоластика, которая отвлекает писателя от насущного, наиболее в жизни страны.

Писатель — человек общественный. Проблемы экологии, например, которым посвятили свои выступления Валентин Распутин, Василий Белов и ряд других писателей, — важнейшие для нашего бытия.

— Сейчас обсуждается решение о переброске северных рек на юг. Каково ваше мнение по этому вопросу?

— Я противник всяких перебросок, строительства плотин. Это пройденный этап человеческой деятельности. Насыпная плотина, придуманная первобытным человеком, анахронизм. Но по всему видно, что государство пойдет на это вновь и вновь... Некогда передохнуть человечеству и природе. Со временем из всех сибирских рек сделают подобие Енисея. Будет много луж.

— Но разве разговор о положении писателя в обществе не актуален? Многим начинающим, да и не только, просто не удастся дожить до выхода книги, до нормального гонорара...

— Да, согласен, писателю трудно выживать. Голодный первичный этап прошел и я сам, и все мое поколение. По сути, это удел каждого писателя, который не ищет благоденствий от власти. Горжусь тем, что среди моих товарищей нет автора романа вроде „Кавалера Золотой Звезды“. Именно на провинциалах

упражняются столичные критиканы и рецензенты, сколько талантов им удалось буквально загрызть.

Но правильно написал Николай Глазков:

Никакие бредни рецензента
Не заменят светлый гонорар.

Изменить что-то очень сложно. Только работа — качественная и на результат, от которого общество не сможет отмахнуться. Потому-то и нужна нам культура. Она поможет устоять, будет поддержкой. Без опоры на опыт предшественников трудно выдержать бой за себя, свое слово.

— А когда вам легче работалось: двадцать лет назад или теперь?

— Чем дальше, тем трудней, это я вам обещаю.

— В смысле мастерства или в сборе материала?

— И того и другого.

Но, конечно, полно бумагомарателей, которые не испытывают никаких затруднений. Сейчас я буквально завален рукописями. Причем плохими, бессодержательными. Мелкотемье!

Посмотрите, какие мы серьезные вопросы ставили и обсуждали на писательском съезде. А молодые и не очень уже молодые писатели отягощают собственное сознание, тратят бумагу на изложение своих отпускных интрижек. Недавно я отослал одну такую рукопись товарищу с Дальнего Востока. Отругал его за мелкотравчатость. Дальневосточнику ли браться за описание случайных страстишек, грешков на старости лет. Между прочим, написал ему и о том, что после „Солнечного удара“, после „Чистого понедельника“ (рассказы И. А. Бунина. — Ю. Р.) нельзя походя браться за эту тему.

Спустя месяц он ответил, что разыскал названные мною „образцовыми“ рассказы и прочитал их. Первый — да, ничего, но второй... „Чистый понедельник“ он разнес в дым! В заключение написал мне так: ты не собьешь меня с толку сомнительными образцами. Вот так. Этому автору, конечно, всегда будет легко творить.

Если же говорить серьезно, то трудностей в нашей работе масса. И хотя сама технология ремесла для меня упростилась, — вещи я научился делать, — запросто опишу вам ветку или дождевую лужу, но не хватит ли нам в литературе описывать лужи? Не стоит ли отказаться от красот, когда теряешься, испытываешь настоящий страх перед чистым листом? В самом деле, о чем и как писать?!

Кроме того, как говорит мой друг Евгений Носов, приходится и „фирмой“ дорожить. Не хочется, чтобы читатель получал халтуру, подписанную твоим именем. Как видите, начинаются еще более сложные отношения с жизнью.

Еще аспект, которого не раз касался, но обойти не могу: знания, культура. Поверьте мне хоть на слово! Чем дольше живешь, тем острее ощущаешь недостаток культуры.

Современному писателю хорошо бы хоть пару языков знать. На одном читать, на другом — читать и общаться. Кроме того, древнюю философию, богословие... Там много человеческого материала.

Освоение наследия прошлого помогает человеку достичь высот в профессии. В этом я убежден. Именно отсутствием культуры подлинной объясняю тот факт, что большинство писателей не могут сами себя редактировать. Это серьезный минус.

Помните у Эзопа — крольчиха упрекала львицу, что та носит в чреве львенка два года, в то время как она, крольчиха, ежегодно производит на свет потомство

десятками. На что ей львица ответила: да, я вынашиваю своего детеныша долго, но зато рожаю льва.

Вот нам с вами важно давать читателю не однодневки, а глубоко выношенные, выстраданные произведения.

— Почему вы вдруг возвратились в родные края?

— Если кратко отвечать: вернулся помирать.

Я покинул свою родину — деревеньку Овсянка — очень, очень давно и не по своей воле. С войны поехал на Урал, на родину жены. Там прожил двадцать четыре года: восемнадцать лет — в Чусовом, шесть — в Перми.

На Урале я встретил замечательных людей, они помогли стать писателем. Это были фронтовики, наверстывавшие упущенное из-за войны время. Жили в дружеском соперничестве. Я хоть и молодой, а тыристый был. О тех годах много мною написано, посмотрите, кому интересно, публицистику.

Но постепенно как-то стал уставать от треска, от утверждений, дескать, Урал — авангард русской земли, там живут лучшие мастеровые люди и тому подобные декларации. А что делать, пока не понимал. Повезло: позвали на ВЛК. На Высших литературных курсах, в этих вот аудиториях, я сдружился с теми людьми, которых уже упоминал.

Сергей Викулов, кстати, был старостой нашей группы, а еще рядом учились поэты — Александр Романов и, чуть позже, Виктор Коротаев.

Один мудрый человек советовал каждому найти свою поляну. Я ее нашел в Вологде. Вообще Русский Север, когда я приехал туда, покорила сразу. Поразили своею красотой северные пейзажи. Ничего подобного ни в Сибири, ни на Урале не видел. Не знаю, насколько все это увиденное и пережитое обогащает перо, но душу — несомненно. К тому же в Вологде была и есть одаренная писательская организация. В дружеском

кругу я многому научился, многое понял. И главное — что надо быть с Родиной, — понял именно в Вологде.

Кроме того, стало просто не хватать наездов в родную деревню, запасы памяти истощились. Вдруг заметил, что забываю коренной, деревенский язык своей малой родины — Овсянки. В общем, точно сказано: в гостях — хорошо, а дома — лучше.

Ну, и та причина, о которой сразу упомянул — быть ближе к родному погосту, — немаловажная. Это нам завещал еще Пушкин, сказав:

А все же ближе к милому пределу
Душе хотелось почивать...

— Когда, при каких обстоятельствах вы стали жить как профессиональный писатель?

— Лишь с 1962 года живу только литературным трудом. До того приходилось и в газетенке покрутиться, и на радио. Но до чего же тяжело совмещать две столь близкие и равно далекие деятельности: писательскую и журналистскую».

На той встрече в стенах Литинститута были затронуты и другие вопросы, касающиеся жизни писателя и его творчества. Воспроизведу еще несколько вопросов, заданных Астафьеву, и его ответы на них:

«— Может ли человек, сам не воевавший, писать о войне, имеет ли на это право?

— Каждый автор сам решает, о чем писать. Он может касаться любой темы.

— В своей статье в газете „Правда“ вы упомянули о романе, который пишете. В какой он сейчас стадии работы?

— Я пишу неправильно, не так, как надо бы, как учит опыт литературы. Вспомните подробнейшие

планы, которые составлял себе Достоевский. У меня с романом такая ситуация. Почти готова третья книга. Наполовину — вторая, и нет — начала. Когда напишу, пока не знаю.

Из-за неправильности работы — говорю вам серьезно и без утайки — даже рассказы мои получаются с прогибом. Сгибаются, как пила. Это слабость, беда моя.

— Считаете ли вы, что вас обошли в наградах?

— Писатель не нуждается в наградах. Самая высокая радость — сама писанина, если она получается. Все остальное — мишура. Впрочем, наград у меня достаточно, а самая дорогая — солдатская медаль „За отвагу“.

— Довольны ли вы своим читателем, читателями вообще?

— Прежде всего не доволен собою как читателем. Только год назад по-настоящему вник в Гоголя, по сути, открыл его для себя! Сдается мне, что он, увы, до сих пор не прочитан. Не только в России, но и в мире.

Читатели у нас есть, но качественно читатель растет медленно. Этому свидетельство — те перегибы в книжных увлечениях, которые мы видим. Торжествует невзыскательность вкусов. Она распространяется уже и на самих писателей. Они начинают подлаживаться под усредненное восприятие, мало работают над словом. Вообще я должен с горечью признать, что средний литератор работает значительно меньше, чем хороший. Тревожное явление. Впрочем, еще Горький заметил, что русский писатель не любит, когда ему мешают, но радуется этому.

— Не много ли у вас общественных нагрузок?

— Нет, полагаю. Недавно вот детдом еще себе навесил. Все это нужно писателю как личности.

— Устраивает ли вас сегодняшнее состояние поэзии?

— Нет, конечно. Отсутствие ярких имен в поэзии — наша общая беда. Ведь именно в поэтическом слове прежде всего находит выражение современность. Если в поэзии безвременье, это плохой признак. Мне очень не хватает поэтического слова, наследующего традиции русской культуры.

— Вы сказали о том, что вам не хватает культуры, сожалеете об утраченных возможностях... Сейчас вы компенсируете ее недостаток чтением. Какой процент в вашем чтении занимает западная литература?

— Я довольно плохой читатель. Одним глазом много не прочитаешь. Поэтому беру в руки только проверенные временем вещи. Модную литературу не читаю. Из последних произведений западных авторов самое сильное впечатление — роман Джонсона „Только позови“. Люблю Д. Лондона, М. Твена, Т. Драйзера...

— Есть ли у ваших героев прототипы?

— Редко. Не зря, по-моему, раньше нас называли сочинителями. Мы стали это забывать. Далеко не всегда есть прототипы. В интересе к так называемым прототипам со стороны исследователей и читателей я вижу сильный перебор».

Напомню, что встреча в Литинституте состоялась в конце 1985 года, когда то ли свежий ветер перемен врывается в душную атмосферу, давившую на многих мастеров пера, то ли мгла еще более сгущалась над страной. Это, конечно, не могло не отразиться на жизни и творчестве «неправильного» писателя Виктора Астафьева.

Но не будем забегать вперед.

Одна из моих бесед с Астафьевым произошла накануне выхода в свет книги «Зрячий посох» (1988), в основе которой, как известно, лежит переписка автора с известным литературным критиком А. Н. Макаровым.

По этой книге мы можем судить о том, как молодой Астафьев нуждался в дружеской поддержке умудренного жизнью товарища по цеху и обрел, к счастью, такого в лице Макарова.

«Литературные курсы и вот он (Макаров. — Ю. Р.) были для меня колоссальной, настоящей наукой творческого поведения» — такие слова услышал я от Астафьева, когда речь зашла о его учителях и наставниках.

«— Александр Николаевич преподавал у вас?

— Он занимался в поэтическом семинаре. Я увидел его в коридоре, в интеллигентном и жарком споре со студентами. Этот в отличие от некоторых других профессоров не спешил уйти после окончания лекции. Занятия его могли еще час продолжаться в коридоре, на лестничной площадке у окна, на скамейке в скверике Литинститута...»

Заочное знакомство очень скоро выльется в тесное творческое сотрудничество. Произойдет это в 1962 году. Сначала Астафьев пришлет Макарову свою книгу — чтобы узнать его мнение о ней. Почему же именно его отзыв был нужен начинающему литератору? Потому что уже тогда, читая его статьи и слушая отзывы студентов Литинститута о своем преподавателе, понял Виктор Петрович, что «это был человек колоссального чутья и эрудиции, большого внутреннего предвидения».

«— Не являются ли эти слова своего рода данью памяти человеку, который вас когда-то заметил? — поинтересовался я, может быть, и не совсем тактично.

— Не потому, что заметил или поддержал. Этого, по существу, и не было. Он был старший друг, а я — младший. Он, конечно, более образованный, культурный, знающий. И как истинно культурный человек он умел не делать, не показывать дистанции. Пожалуй, это отличительная черта тех немногих подлинно культурных, интеллигентных людей, которых

я встречал. Такой же была и В. В. Смирнова. Редкое и удивительное умение с человеком любого культурного уровня говорить на равных, без высокомерия и спеси.

Повторяю, это была большая дружба писателя и критика, двух людей, не только любящих литературу, но бесконечно, до конца ей преданных. Максимально и без скидок!

Как сегодняшнему обществу недостает таких людей! Без снобизма, заносчивости, угодливости и перехмура. Зато сколько полукультурных снобов! Далеко искать не надо, достаточно завернуть в ЦДЛ, сколько встретишь самопупства, откровенной дури. А ведь в основном отдыхают и резвятся там писатели. Каждый второй — гений с задраным рылом...»

Откроем страницы «Зрячего посоха».

«Жизнь, — пишет Астафьев, — состоит из встреч и разлук.

И встречи, и разлуки бывают разные, как разны и люди, с которыми встречаешься и разлучаешься.

Судьба подарила мне счастье быть короткое время знакомым и дружбою связанным с Александром Николаевичем Макаровым. Он был старше меня во всех смыслах, но он был мудр, деликатен, чист мыслями, и я, в наших с ним отношениях, никогда не чувствовал разницы в возрасте и подавляющего его превосходства в интеллектуальном развитии.

Мы дружили на равных, но это не мешало мне в то же время почтительно относиться к его трудным сединам, к его феноменальным познаниям. В наших отношениях младшего и старшего литератора и человека не было никогда фамильярности, но было много теплоты и доверительности друг к другу.

Больше всего меня привлекало в Александре Николаевиче одно бесценное по нынешним временам качество — полное отсутствие вождизма, распространенной скверной болезни в нашей

современной литературе, и терпимое, выкованное годами трудной его жизни, отношение к людям.

За все годы нашей дружбы он ни об одном — ни об одном! — человеку не сказал дурно, не унизил себя поношением и бранью в адрес того или иного литератора. Если человек был ему не симпатичен, он так и говорил, что этот человек ему не симпатичен, но никогда не навязывал мне своих симпатий и антипатий. Он доверял мне самому разбираться в людях, и рукописи, книги мои читая, тоже не был никогда категоричным в суждениях, а лишь тонко, мягко подводил меня к той или иной мысли и далее пускал как бы в „самостоятельное плавание“, полагая, что я сам уже не мальчик, и веруя, что разбираясь сам в себе и в сложных вопросах жизни, литератор большему научится и от много избавится, и многое приобретет.

Да, встреча и дружба с Александром Николаевичем осложнили мою писательскую работу. Я стал относиться к ней строже, ответственной и на себя смотреть критичней. И по сей час я каждую строку свою рассматриваю как будто пронизательными глазами Александра Николаевича: выдержит ли она этот взгляд? Улыбчивый, чуть ироничный; как будто совершенно открытый, но с глубокой мыслью и отеческой заботой в глубине!»

Упоминает Астафьев о своем состоянии после смерти Макарова: «Я осиротел... Вторично осиротел в своей жизни. Много лет назад потерял мать, а теперь вот отца, отца-друга, отца-наставника, не назидательного, не резонера, не грузно нависшую надо мной фигуру „старшего“, а друга, до которого иногда просто хотелось дотронуться рукой и почувствовать, что он тут, он есть и к нему можно прийти с радостью, с бедой и ничего не говорить о них, но выздороветь душою...»

Во время работы над «Зрячим посохом» Астафьев пользовался в основном письмами, которые он получал от Александра Николаевича. Своими же письмами он не располагал, воспроизводил их содержание по памяти. Существовавший пробел в переписке Астафьева и Макарова восполнила книга «Твердь и посох. Переписка 1962–1967 гг.», опубликованная в 2005 году Г. К. Сапроновым.

Историико-литературный материал этой книги, связанный с творческой работой Виктора Петровича в шестидесятые годы, неожиданно открыл передо мной совершенно новый пласт отношений между Астафьевым и Макаровым. Мы уже сказали о том, что Александр Николаевич больше знал, был более искушен в литературной политике и щедро делился со своим младшим собратом своим опытом и знаниями. Но дело было не только в опеке «ведомого» им провинциального автора, все складывалось намного сложнее. Спустя год-два с начала знакомства становится все более очевидным, что общение с Астафьевым, астафьевские письма, выраженные в них взгляды на мир и литературу не просто нужны, а необходимы Макарову. Диалог с Астафьевым ломал устоявшиеся взгляды, заставлял на многие вещи взглянуть под иным ракурсом.

Бескомпромиссность творческого поведения, которую нес в себе младший товарищ по цеху, не давала маститому литератору права спокойно «почивать на лаврах». Нередко «ведущий» и «ведомый» меняются местами — Астафьев увлекает Макарова за собой, предлагает продолжить полет на более рискованных высотах.

В недавно вышедшей книге В. Курбатова «Нечаянный портрет» (2009) я нашел подтверждение своим мыслям и ощущениям.

— Нужен ли вам теперь Макаров? — спрашивает Валентин Яковлевич у Виктора Петровича (разговор

происходит в 1995 году).

— Нет, наверно. Как друг, может быть, да. Я теперь, может, ему был бы и нужнее, чем он мне. Одинокий все-таки был. Сидел бы сейчас в твоей избушке (в этот момент Курбатов гостил у Астафьева в Овсянке и жил в доме для гостей. — Ю. Р.), на Енисей ходил, была бы копейка за день — хорошо. Коммунист был, вряд ли бы чего понял в нынешней жизни, последних моих работ, скорее всего, не принял бы, но другом остался...

Глава восьмая ОТЗВУКИ «БОЛЬШОГО ВАЛЬСА»

Через всю жизнь Виктор Астафьев пронес в своей душе незабываемое чувство, пробудившееся когда-то в суровой и далекой Игарке. Во всяком случае, от того дня, когда он случайно попал в кинотеатр на «Большой вальс» (а случилось это, очевидно, в 1940 году, когда этот фильм вышел на экраны страны) до создания затеей «Счастье», посвященной пережитому тогда событию, прошло почти полвека.

Счастье. Оно ворвалось в жизнь детдомовского мальчишки, застигнутого однажды жестокой пургой. «Если вы не бывали под заполярной вьюгой глухой северной зимою, — пишет Астафьев, — считайте, что и горя не ведали. Она не просто бьет и треплет мир Божий, она его перетряхивает, как старую рухлядь, и все норовит поднять вверх, перепутать, свить в клубок и укатить невесть куда. Блажен, кто в этакую пору сидит под крышей у жарко натопленной печи и, попивая чаек, ведет неторопливые беседы.

Но если в детдомовском „семисезонном“ пальтишке — это значит, в летнем и в зимнем одновременно, — в куцей шапчонке, уши которой стянуты тесемками под нижней губой, потому что до подбородка не достают, в полусуконных штанах, под которыми тлеело шевелятся тонкие кальсонишки, засунутые в жесткие голенища валенок, низко обрезанных из-за того, что загибал ты их для форсу, но строгие учителя отпластали половину обуви с воспитательной целью, — если во всем этом снаряжении, натянув на щеку воротничкишко и затыкая мокрый задыхающийся рот казенной рукавицей, через лога, через сугробы переть на окраину города, во тьму кромешную — лампочки на столбах лишь в центре

города, у ресторана, под козырьком магазинов и у кинотеатра едва светятся сквозь тучи снега, дальше и вовсе провал, конец света, голосящая преисподняя?»

Счастье ворвалось в судьбу Астафьева вместе с американским музыкальным фильмом режиссера Жюльена Дювивье, посвященным Иоганну Штраусу. На фоне суровой и безрадостной жизни заполярного городка, где царят «мороз, пурга, круговерть снежная, отторженность от земли обетованной», где «забитые „под завязку“ бараки со старостой во главе, который раз в месяц должен в комендатуре отчитываться „по головам“ за свое „население“», — вдруг «Сказки венского леса», Карла Доннер в широкополой шляпе и великолепный Шани, Иоганн Штраус, лес, озаренный утренним солнцем, полный пения птиц, кибитка, музыкально постукивающая колесами, чудаковатый и добрый извозчик, зарождение мелодии, полной любви и утреннего света, вальс, вырвавшийся из двух сердец...

«...Если в такую среду, в такую глушь врывается искусство, подобное фильму „Большой вальс“, оно становится не просто лучом в темном царстве, но и глотком живительного воздуха. Люди на фильме „Большой вальс“ плакали о другой жизни, которая, пусть и в кино, все же была. Фильм „Большой вальс“ сделал в ту пору большую работу, чем все наше плакатное, крикливое, судорожное искусство „новой эры“».

Много раз в своей жизни смотрел кинокартину «Большой вальс» Астафьев и перестал на нее ходить после того, как она была дублирована. Классный фильм, как пишет Виктор Петрович, тем и отличен от плохого фильма, что в нем все целесообразно, продумано до мелочей, подобрано к месту и снято «очко в очко». После дублирования погасли подлинные голоса исполнителей, их интонации и, наконец, тайна самого непонятного языка — фильм «онемел» и во многом

потерял привлекательность, сделался простеньким и даже слащавым. Ну, может, это произошло еще и оттого, что к той поре мы уже досыта насмотрелись иностранных фильмов, среди которых было немало киношедевров.

Не стал так остро, как прежде, восприниматься фильм, но осталось воспоминание детства, которое непостижимым, почти мистическим образом оживало под воздействием совершенно иных событий, пережитых Астафьевым. В их ряду особое место занимают знакомство и переписка писателя со старейшей русской актрисой Е. А. Тяпкиной. Это имя не из тех, что живет на слуху у театралов и кинозрителей, поэтому необходимо дать хотя бы краткую биографическую справку.

Елена Алексеевна Тяпкина, москвичка, родилась в Замоскворечье 10 мая 1900 года, а скончалась в столичном Доме ветеранов кино в 1984 году. В 1916 году она закончила Елизаветинскую гимназию, два года училась на историко-филологическом отделении Московских женских курсов. В мае 1920 года держала экзамены и была принята в Опытно-показательную студию Театра сатиры. С 1924 года — актриса Театра В. Э. Мейерхольда. Наиболее значительные ее роли, сыгранные у Мейерхольда, — это Гурмыжская в «Лесе» А. Н. Островского, Атуева в «Свадьбе Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина, Пошлепкина в «Ревизоре» Н. В. Гоголя.

С 1938 года и до начала войны Е. А. Тяпкина работает в Малом театре. В кино она начала сниматься в 1926 году, первая ее роль в кинематографе — прачка Настасья в фильме Ольги Преображенской «Каштанка». Принимала участие в озвучивании мультфильмов, а кроме того, снималась в фильмах «Веселые ребята» (1934), «Русские люди» (1943), «„Богатырь“ идет в

Марто» (1954), «Анна Каренина» (1967), «Дворянское гнездо» (1969) и многих других. Всего в кино она сыграла более тридцати характерных, комических и трагических ролей. В 1947 году Е. А. Тяпкина стала заслуженной артисткой РСФСР. Занималась переводами с французского, пыталась писать сценарии. Оставила воспоминания о В. Мейерхольде, Э. Гарине, П. Маркове, Л. Орловой.

Их встреча с Астафьевым, вероятно, состоялась в начале 1970-х годов, уже в вологодский период жизни и творчества писателя, и имеет она свою предысторию. О ней Астафьев поведал в затее «Старое кино».

«Мы, начинающие зрители начинающегося звукового кино, очень любили всякие речи, свадьбы и песни в конце фильмов, а она, владеющая чистейшим старомосковским говором и любовно им пользующаяся, совершенно очаровывала и потрясала наши сердца, готовые в любой миг отозваться на страстное слово, и, что было, то было, сначала мы отзывались, а потом уж думали: на что отзывались-то? И главное — зачем?

О жизни артистов ничего мы в ту пору не знали и знать, кто на ком женат и сколько получает, не пытались — артисты для нас были людьми неземными, дрались и умирали взаправду, и много споров, а то и потасовок требовалось, скажем, нам — игарским детдомовцам, чтобы выяснить, как убитый командир, хоть бы его и сам Крючков играл, возник снова целый и невредимый?! Словом, были мы простофили-зрители...

На фронте, будучи уже взрослым и тертым воякой, сидел я как-то в тесно забитой бойцами украинской клуне прямо на земляном молотильном току и смотрел кинокартину о войне, смотрел и вдруг дрогнул сердцем, вскинулся, узнав знакомую с детства актрису...

Когда дело дошло до того места в картине, где мать убитого дитяти, тайком от фашистов закопавшая его во дворе, притаптывала землю, чтобы „незаметно было“, и

глядела на нас широко открытыми глазами, в которых горе выжгло не только слезы, но даже самое боль, и сделались они, эти глаза, как у младенца, прозрачны и голубы, хотя кино было не цветное, почудились они нам звездами, они даже лучились, остро укалывали в самое сердце. Отстраненная от мира, она ничего уже не видела, она топталась и топталась по своему дитяти, с кротким недоумением, с немой мольбой глядя куда-то, должно быть, в вечность. Белая рубаха до пят, припачканная землей и детской кровью, похожая на саван, распущенные шелковистые волосы и ноги, босые материнские ноги, будто исполняющие знакомый, но въяве первый раз увиденный танец вечной муки, возносили ее в ту недоступную высь и даль, где обитают только святые, и в то же время блазнилось — живыми ногами наступает она на живое, думалось, дитяти больно и страшно в темной земле...

Хотелось остановить ее, да не было сил крикнуть, шевельнуться — оторопь брала, костенела душа, стыла кровь.

Потом на экране появилась хозяйка избы, занятой врагом-фашистом, чистившая острым ножом картошку. Она встретила квартирантку, тешившуюся в постели с оккупантами, таким взглядом, что я совершенно „вживе“ вспомнил: „Перышко по тебе скучает“...

„Немецкая подстилка!“, „потаскушка!“, „простигосподи!“ — как только не крестили бойцы сожительницу немецкого офицера и, нетерпеливо ерзая, подсказывали хозяйке, от одного взгляда которой попятилась с кухни продажная тварь: „Пырни ее! Пырни ножиком-то!“ Когда же возлюбленная фашиста забилась в истерике, уверяя лупоглазого Ганса в том, что хозяйка-змея прикончит их, со всех сторон удовлетворенно раздалось: „А-а, падла! Ты что же думала?!“

...Целую вечность спустя я поднимался по скрипучей лестнице старого замоскворецкого дома и на каждом пролете переводил дух, решая про себя задачу: не задать ли стрекача? Первый раз в жизни шел я к настоящей живой артистке! Страшно-то как!

Пересилив-таки себя, дошел я до нужной двери, перевел еще раз дух и позвонил, ожидая, что мне откроет горничная, непременно хорошенькая и в белом фартучке. Но дверь отворила сама артистка и, приветливо улыбаясь, пропустила меня в прихожую.

— Вы такая же точно, как в кино! — неожиданно для самого себя ляпнул я...»

После знакомства, преодолев первое смущение, Астафьев рассказал артистке о том, как бойцы смотрели кино на фронте, повзводно меняясь с передовой, и как потрясла его сцена на кухне, неподдельная ненависть женщины-хозяйки, которую играла Тяпкина, к немцу, к «продажной шкуре».

«— А я и не играла, — почти спокойно, с глубоким достоинством произнесла актриса и потупилась, чтоб я не заметил дрогнувших губ.

Муж ее бросил в мою сторону встревоженный взгляд. Мне стало неловко — я коснулся какой-то запретной темы, сделав им обоим больно.

— Ничего-ничего, — сдавленным голосом проговорила она и, незаметным движением обмахнув глаза, слабо и ободряюще улыбнулась мне: — Вы и не представляете, какая мне награда ваш рассказ за ту мою работу...

Чуть рвущимся голосом, восходящим порой до высокой, готовой вот-вот вдребезги разбиться звонкости, она поведала мне о той действительно тяжелой, а в моем нынешнем понимании до подвига поднимающейся работе. Был мне тот рассказ как драгоценный подарок, который никому не передают, но и в себе его носить уже невозможно

— годы бегут, люди уходят, и как часто опаздываешь сказать им спасибо.

Столичная киностудия, эвакуированная в Алма-Ату, снимала фильм в полуразрушенной клуне. Одну из второстепенных ролей в этом фильме играла уже пожилая замоскворецкая актриса, и роль ей, особенно центральный эпизод, не удавалась. Да и мудрено, чтоб он удался, — эвакуация, разлука с родимой Москвой, где остались муж и восемнадцатилетний сын, который — только мать за порог — тут же поспешил в военкомат и подал заявление.

В разгар работы над фильмом пришла телеграмма, которой срочно вызывали актрису в Москву — на похороны убитого в ополчении сына.

Ей выписали пропуск, проводили на поезд, а через десять дней встретили. Была поздняя ночь, холод, пустота. Она удивилась, что на вокзал приехал сам постановщик фильма, прославленный режиссер, занятый человек. Но тут же забыла об этом. Привезли ее почему-то не на квартиру, в киностудию повезли и, как была она — в старой шалюшке, в древней стеганке и в домашних подшитых валенках, завели в павильон, где их уже ждала съемочная группа.

— Это бесчеловечно! — сказала актриса режиссеру. — Я не могу сейчас работать! Не могу! Не могу...

Она рыдала. Режиссер, поникнув седой кудлатой головой, гладил ее по мокрой, сиротски-серенькой шалюшке и ничего не говорил.

— Я правда не могу! — взмолилась актриса. — Пощадите!..

И тогда режиссер шевельнул скорбно сжатым ртом и выдавил короткое, но такое в ту пору распространенное слово:

— Надо!..

Режиссер был опытный и хитрый. Он знал, как и чем отвлечь женщину, да еще хозяйку, да еще замоскворецкую хлебосолку. Он дал актрисе ножик, мешок с мелконькой картошкой, какая только в войну вроде и рождается, усадил ее на скамейку, а сам принялся тихонько расспрашивать про Москву, про сына, про похороны.

Раз только, в самом начале съемки, когда ослепили ее светом, актриса зажмурилась, сжала руками голову:

— Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете?! — А потом послушно стала исполнять свою работу, чистить картошку, и ушла куда-то так далеко, что актера, игравшего немца, а был он доподлинный немец, предупредили: „Будьте осторожны. У нее в руках нож...“

Она работала всю ночь, чистила картошку и тихо рассказывала про Москву, про сына, про похороны, и все, что от нее требовалось, сделала — весь кусок в фильме был отснят без репетиций и дублей. Когда закончились съемки и измученные люди повалились спать кто где, режиссер встал на колени перед актрисой и поцеловал ее руки, вымазанные картошкой:

— Прости!

Она хотела спросить — за что? Но тут же поняла, что он так все и задумал — снять ее в потрясении и горе, снять еще „горячей“, значит, полумертвой, и она только покачала головой, подумав: „Какая жестокая наша работа!“ — а вслух медленно произнесла:

— Бог с тобой. — И слабо, заторможенно пошевелила ртом: — Получилось ли хоть что? Мне ведь не пересняться. Я умру...

Ту военную картину больше не показывают на экранах, должно быть, лента износилась от долгого употребления или потеряла она свою силу, но мне все помнится старая клуня с дырявым верхом, тесно набившиеся в нее бойцы, слышится вперемешку

перестук пулеметов и движка, не гаснет в памяти танец — голыми ногами, по голой земле и видятся тоже голые, белые от ненависти, испепеляющие глаза русской женщины, которая так умеет страдать, терпеть и ненавидеть, как никто, наверное, на земле не умеет».

Астафьев вспоминает, что он охотно, да, к сожалению, не так часто, как мог бы, навещал старую актрису и подолгу вел с ней занимательные беседы, гоня ароматные чаи.

«И вот в одном уже поздневечернем разговоре ухо мое царапнуло раз, другой, третий слово „Милка“. Я заострил внимание и спросил у занимательной рассказчицы, что за Милка?

„Да та самая Милка, что в ‘Большом вальсе’ снималась“, — махнула рукой хозяйка и пошла чесать дальше. Но я приостановил вдохновенный рассказ Елены Алексеевны о том, как к ней в новую измайловскую квартиру повадились цыгане, „и всякий раз норовят что-нибудь стащить, прохиндеи!“. „Так насчет Милки-то, Елена Алексеевна, голубушка, пояснили бы...“ — „Ну, видели вы ‘Большой вальс’? Там Милица Корьюс играет. Она была моей школьной подругой, вот я ее потому Милкой и зову...“

Этим известием и дальнейшим рассказом старой актрисы я так был ошарашен, что позднее хватился вспомнить что-нибудь и не мог восстановить в памяти ничего связного. Тогда я попросил Елену Алексеевну изложить мне в письме все, что она когда-то рассказывала.

И вот оно, это письмо, передо мной, письмо с прыгающими от тика буквами, пришедшее уже из дома престарелых актеров, что на улице Нежинской в-Москве, где тогда жила в комнате номер пять моя милейшая знакомая актриса».

«...Пишу вам о Милице Корьюс — постараюсь подробно, — о самой Милице и всей ее семье.

Когда началась первая империалистическая война, я и моя сестра учились в Елизаветинской гимназии — институте, половина учащихся были приходящие, половина живущие. Семья Корьюс жила тогда в Варшаве, где отец Милицы (глава семьи) был преподавателем музыки в Варшавском корпусе. Отец был швед, а мать полька (настоящая польская красавица — панна). Детей было пять человек: один сын и четыре дочери, старшая Нина, затем Милица (Милка, как мы ее называли), Тамара и Аня.

Во время войны Варшавский кадетский корпус эвакуировали в Москву, отца перевели также преподавателем музыки в Лефортовский кадетский корпус, а девочек поместили в Елизаветинскую гимназию, где учились и мы с сестрой. Нина, старшая дочь, попала в один класс с моей младшей сестрой, а другие сестры Корьюс, в том числе и Милка, — в более младшие классы. Мы очень подружились. Чаще всех бывала у нас Нина и на праздники оставалась у нас ночевать. Познакомиться с нашей семьей приезжала к нам мать семейства Корьюс.

Первое время жили спокойно, тихо, все шло хорошо, но затем в семье их разыгралась трагедия. В числе переведенных из Варшавы преподавателей был очень известный математик (немец), он влюбился в мать Корьюс, между ними разыгрался бурный роман, она бросила мужа, забрала четырех дочерей, сына оставила мужу и уехала с этим немцем в Киев, и там все они поселились — жили они в Киево-Печерской лавре. Вначале все шло как будто хорошо, но затем новая трагедия. За это время подросла Нина — старшая дочь, стала красоткой, была уже скрипачкой и работала в оркестре под управлением Рахлина. И вот этот немец, муж матери, влюбился в Нину. А она была

действительно красоткой, по-моему, красивей Милицы. Он стал преследовать ее своей любовью. Нина, конечно, никак ему не отвечала, старалась все скрыть от матери. Но та про все это как-то узнала, произошло бурное объяснение и затем разрыв. И этот негодяй (иначе я назвать его не могу) бросил всю семью без всяких средств и уехал в свою Германию, где стал знаменитым математиком. Всю семью вытягивала на своих плечах Нина (работала скрипачкой в оркестре и брала какие-то работы на дом). А у Милки к тому времени открылся хороший голос, она пела уже в „Думке“ — так назывался киевский ансамбль.

Обо всем случившемся узнал отец Корьюс и прислал бывшей жене письмо, где писал, что он обо всем знает, понимает, как им тяжело материально, и предлагает прислать к нему одну из дочерей, чтобы он мог дать ей образование. Он в то время жил с сыном в Ковно. И вот на семейном совете было решено послать Милку — так она и попала за границу, а через год с небольшим Нина стала получать из Эстонии от Милицы афиши — объявления о концертах в небольших залах со следующим сообщением: „Heute singt Milicha Korjus“ (сегодня поет Милица Корьюс). А некоторое время спустя была задумана постановка „Большого вальса“. Год целый режиссер искал актрису на главную роль фильма. Милка стала знаменитостью. И когда в Москве я увидела объявление, что главную роль играет Милица Корьюс, я глазам своим не поверила: неужели эта та самая Милка, которая училась когда-то вместе со мной в московской Елизаветинской гимназии, а затем уехала с матерью в Киев?! К этому времени Скоропадского в Киеве уже не было, и наша связь с семьей Корьюс, главным образом с Ниной, возобновилась. Мы переписывались, встречались (я приезжала в Киев с театром Всеволода Мейерхольда на гастроли), Нина мне рассказывала, что она переписывается с Милицей, что

та вышла замуж и у нее двое детей, и со смехом мне рассказывала об одном письме Милицы, где та писала, что они с мужем купили виллу, но им тесновато — у них всего-навсего восемнадцать комнат. Милица писала, что в сороковом году она собирается приехать в Москву. Но война тому помешала.

В дальнейшем судьба семьи Корьюс сложилась очень печально. Нина вышла замуж, но неудачно и скоро умерла. Тамара вышла замуж и уехала в Ленинград. Я с ней встречалась. Во время блокады Ленинграда Тамара и мать Милицы погибли.

Аня, с которой у меня никогда связи не было, по слухам, вышла замуж и ведет обычную серенькую жизнь...»

Мне удалось выяснить некоторые подробности жизненной истории Милицы Корьюс, которые до недавнего времени были неизвестны, естественно, не знал о них и Виктор Астафьев. Оказывается, ее отец был по национальности не швед, а эстонец. Поначалу его жизнь и карьера в буржуазной Эстонии, делавшей ставку на национальные кадры, складывалась удачно. Он занял должность старшего адъютанта военного министра, получил чин полковника.

Убедившись, что у его дочери действительно талант, хороший голос, он нанял ей лучших педагогов. В основном это были русские специалисты, бежавшие из революционной России. Мила училась вокалу в музыкальной школе-студии выпускницы Петербургской консерватории В. А. Мелома. Варвара Александровна была тонким, искусным педагогом и отзывчивым человеком. Она могла и бесплатно заниматься с учеником, если чувствовала в нем дарование. Более того, для некоторых молодых талантов ей время от времени удавалось найти, как мы теперь говорим, фанты, в том числе и на стажировку в Италию.

Еще одним наставником Милы стал С. И. Мамонтов. До бегства от большевиков Сергей Иванович служил концертмейстером Большого театра в Москве. Считается, что именно эти два человека оказали важное влияние, привили юной вокалистке лучшие традиции русской музыкальной школы.

По воспоминаниям таллинских старожилов, буквально за год-два Корьус стала довольно заметной и успешной артисткой. Ее публичные выступления прошли во многих городах Эстонии. В мае 1929 года «Нарвский листок» поместил такое суждение о молодой исполнительнице: «Г-жа Милица Корьус, обладательница необычайно гибкого и богатейших оттенков голоса, певица, которой принадлежит большое будущее, имела на концерте исключительный успех».

Прогресс в ее творческом развитии, успех у публики были очевидны. Но когда певица попыталась пройти конкурс в оперную труппу театра, ее постигла неудача. Захлестнувшая страну «эстонизация» жизни коснулась и деятелей искусства. Ото всех без исключения требовали знания коренного языка. А в семье Корьус, где говорили на трех языках, все же предпочитали русский. История сохранила реплику одной из эстонских газет того времени: «Певица при исполнении единственного номера на эстонском языке держала перед собой текст... Трудно объяснить неэстонское произношение певицы, это тем более удивительно, что певица ведь эстонка по происхождению. Публика, большей частью состоявшая из инородцев, была очень темпераментна и требовала все новых и новых номеров сверх программы...»

Как покажет будущее, рана, нанесенная молодому дарованию горе-патриотами, оказалась незаживающей. Позже, став мировой знаменитостью, Милица нигде и никогда не говорила о своем эстонском периоде жизни.

А между тем среди артистов эстонского происхождения она, несомненно, самая известная.

...Пришел час, и Мила встретила свою судьбу в лице молодого инженера Гуно Фельца. После свадьбы они уехали в Германию, где она с успехом выступила на сценах Берлина и других городов. Европейская критика сразу заметила ее талант.

В 1932 году певица ненадолго возвратилась в Таллин. Здесь у нее родилась дочь, которую называли также Милица. А уже с 1933 года Корьюс — солистка Магдебургской оперы. В течение нескольких лет она становится европейской знаменитостью. Одна за другой выходят пластинки с записями ее выступлений.

А в это время в Голливуде на кинофабрике «Метро-Голдвин-Майер», созданной, кстати, выходцем из России Лазарем Меиром (Луис Майер), готовились к производству нового фильма. Режиссер Ж. Дювивье должен был снять картину по мотивам жизни Иоганна Штрауса (младшего). В фильме о короле вальса, естественно, должна была звучать его музыка. Чтобы приспособить ее к картине, пригласили аранжировщика Дмитрия Темкина, тоже выходца из России. Следует сказать, что Темкин блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Он осовременил музыку Штрауса, и она органично вплелась в контекст фильма. Для солирующей в одном из эпизодов партии скрипки пригласили всемирно известного Яшу Хейфеца.

Но кино могло по-настоящему осуществиться только тогда, когда режиссер найдет исполнительницу главной роли. Произошла заминка. Дювивье не устраивала ни одна из актрис, которых ему показывали.

Продюсер Ирвин Тальберг услышал, что европейская дебютантка Милица Корьюс пользуется все возрастающим успехом. Пришлось пересечь океан, и это путешествие принесло желаемый результат. Продюсер был покорен красотой, обаянием и голосом певицы. В

Голливуд полетела телеграмма: нашел! Удивительно, но режиссер поверил коллеге и утвердил Милицу на роль Карлы Доннер без непременно кинопроб.

Несколько месяцев упорной работы, и фильм был снят. С 1938 года начался его мировой триумф, не завершившийся и по сей день.

В СССР «Большой вальс» показали перед войной, причем — редкий случай! — он был официально куплен для показа сроком на пять лет. Красивая, завораживающая музыка, обаяние героев фильма и сама его атмосфера не нуждались ни в переводе, ни в каких бы то ни было комментариях. Люди всех возрастов и общественного положения зачарованно всматривались в венскую сказку, в иную жизнь.

Влияние этот фильм оказал, пожалуй, на несколько поколений. Вот что ответила народная артистка СССР Елена Образцова на вопрос журналиста, когда и каким образом определилась ее судьба:

— Когда мне было пять лет, на экраны вышел фильм «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. Роль возлюбленной Штрауса играла великая певица Милица Корбюс. Мне тоже захотелось иметь роман с таким великим композитором и красивым мужчиной. И я стала петь вальсы Штрауса...

Но вернемся в сороковые... Фильм понравился и Сталину. Он заказал своим «мастерам искусств» сделать ленту не хуже, но на отечественном материале. Указание приняли к исполнению, начали работу, но замысел оказался неосуществимым. Впрочем, это уже совсем другая история.

А вот один эпизод, связанный с судьбой исполнительницы главной роли в «Большом вальсе», упомянуть стоит. Перед тем как покинуть СССР, юная певица в составе киевского хорового коллектива «Думка» гастролировала по городам и весям родного отечества. Побывала она и в столице. Известно, что в

марте 1927 года в дни торжеств в честь Т. Г. Шевченко на одном из выступлений «Думки» присутствовал Сталин. Ирония судьбы, конечно, но никто в этот момент не мог предположить, что на сцене в числе прочих пела маленькая хористка, творческий успех которой через десять лет поразит самого Хозяина, а руководителям советского кинематографа создаст много проблем. Недавняя гражданка СССР станет звездой Голливуда и мирового кино. Можно себе представить и то, как кусали локти эстонские стражи национальной чистоты, когда фильм «Большой вальс» демонстрировался в Таллине и других городах Прибалтики.

Судьба Милицы Корьюс после «Большого вальса» сложилась трагически. Роли в других фильмах — «Венера в шелках», «Пražский студент», «Рыцарь империи» — не были столь же значительными. А в 1940 году она попала в автокатастрофу, едва не лишилась ноги. В последующие годы она могла выступать лишь с сольными концертами и записывать пластинки. Основным же содержанием ее жизни стала семья, воспитание дочери, которую на американский манер стали звать уже не Милицей, а Мелиссой.

Дочь ее стала дипломатом. Любопытно, но опять-таки, видимо, по иронии судьбы, на исходе прошлого века после многих лет работы в разных странах мира дочь Милицы Корьюс назначили послом США в Эстонии. Вполне естественно, что по прибытии к новому месту службы Мелисса Уэллс (фамилия по мужу) один из первых своих неофициальных визитов нанесла на старое кладбище. Ей было важно отыскать могилу с прахом деда Артура Корьюса. Затем она побывала в тех городах и залах, где начинала свою блистательную карьеру ее мать.

Кстати сказать, Милица Корьюс пережила всех своих родных сестер, оставшихся в СССР, и брата,

жившего в Эстонии. Скончалась она в 1980 году. Так удивительно замкнулась цепь событий одной из больших и удивительных семей российской империи, в которой родным языком по праву считали русский.

Жаль, конечно, что все это я не успел рассказать Виктору Петровичу Астафьеву.

...Судьба уготовила Астафьеву еще одну встречу с «Большим вальсом». Произошла она в Югославии в дни юбилейных торжеств, посвященных освобождению Боснии от фашистских оккупантов. Виктор Петрович вспоминал, как, будучи в столице ее Сараево, ехал однажды на машине с друзьями к горе Игман:

«Что-то знакомое „зацепило“ мой глаз. Присмотрелся внимательней: аллея с ровно и высоко вознесшимися деревьями, дорожка меж них, по дорожке катит очень знакомая кибитка со знакомой лошастью и давно знакомым извозчиком. Я и сказал моим спутникам, что нечто подобное видел в одном знаменитом фильме. А они мне в ответ: ничего, мол, удивительного — знаменитые кадры той знаменитой картины снимались здесь, в Сараево, на этой самой аллее, и с тех пор кибитка из „Большого вальса“ катается и катается взад-вперед по аллее, и кто хочет посидеть и прокатиться под звуки вальса в кибитке Карлы Доннер и ее возлюбленного Иоганна Штрауса — плати денежку.

„Я хочу! Я хочу!“ — заорал я во всю глотку и, бросив горсть мелочи в руку старенького и приветливо улыбающегося извозчика, взобрался на сиденье кибитки. Скопление туристской братии, грохот и вой музыки, шум машин на шоссе, идущем параллельно прогулочной дороге, современный содом и суэта мешали мне отдаться блаженной картине — услышать поскрипывание рессор, стук лошадиных копыт, пение

птиц, шум воды, шелест листьев над головой и рождение вальса.

Кибитка доехала до подножия горы Игман, повернула обратно, но не возникла музыка. Давняя картина заслонила ближними впечатлениями, встречами, рассказами о войне, речами на митингах, посвященных освобождению многострадальной земли — горной Боснии, где погиб в войну каждый четвертый житель.

Поздним вечером перед сном я пришел на аллею Штрауса и Карлы Доннер. Движение на дороге замерло, унялись туристы, лишь где-то вдалеке стойко звучал транзистор, мелькал радужный свет водопада под горою, и туда, мимо брызжущего света, мимо взвинченной, на цирк похожей туристской жизни удалялась одинокая кибитка, и на облучке ее едва различимо маячила фигурка одинокого старенького извозчика.

Глаза мои провожали кибитку до тех пор, пока она не скрылась в совсем уж темном, ночью накрытом подгорье. И пока кибитка, словно в тихом, бережно хранимом сне уплывала в такую покойную, такую манящую вечную даль, в вознесении, на горе и за горой Игман, в небе, у самых звезд, пронзая время, пространства, тяготы жизни, обманутые надежды, горести и утраты, звучала музыка, звучал вальс любви, кружа меня в волнах светлого света, еще не погасшего в усталой душе».

В переписке Виктора Астафьева с Еленой Тяпкиной для нас, конечно, интересны не только сюжеты, связанные с судьбой главной героини «Большого вальса». Письма литератора актрисе особенно ценны тем, что они помогают нам представить, как рождались некоторые произведения писателя. Из этих писем тянутся ниточки к двум астафьевским затеям. Мы

можем проследить, как из случайно брошенной фразы, творческого «сора» (вспомним Ахматову: «Когда б вы знали из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...») рождается замысел произведения. Кроме этого, они дают нам представление о замыслах писателя в 1970-х годах, его творческих целях и интересах.

Передо мной — газета «Вологодский комсомолец» за 12 января 1975 года. Всю последнюю ее полосу здесь занимает затея «Старое кино» с посвящением Е. А. Тяпкиной. На газетном поле — автограф писателя:

«Елене Алексеевне Тяпкиной в память о давней и незабываемой встрече!

Будьте здоровы!

В. Астафьев».

На страницах, вырванных из журнала «Север» (№ 1, 1975), с «короткими рассказами» Астафьева — еще один авторский автограф:

«Милой Елене Алексеевне от автора и вечного поклонника ее искреннего таланта, произросшего из добрейшей души.

В. Астафьев.

д. Сибла, май, 1975 г.».

(В записной книжке Е. А. Тяпкиной за 1975 год находим точный адрес:

162209, Вологодская обл., Харовский район, п/о Никольское, деревня Сибла, Астафьеву В. П.)

Естественно, одна из главных тем писем Астафьева связана с его отношением к искусству кино. Возьмем, например, письмо, отправленное им 31 мая 1975 года:

«Дорогая Елена Алексеевна!

Наконец-то я раздобыл второй журнал и с радостью их высылаю. Сейчас я уже в деревне сижу, пробую работать, иногда наезжаю в город.

На „киношников“ я пожаловался в „Лит. Россию“; они напёрли на „Экран“ и оттуда ответили, что „власть

переменилась“, новый редактор и секретарь ничего не знали, но что да, перед автором извинятся и сделают сценарную поправку.

Посмотрим!

Как Вы живы-здоровы? Хотя бы изредка пишите мне. Рука-то у Вас, надеюсь, не ушиблена? Никто Вам поленицу на пути не поставил?

Когда случится мне быть в Москве, я дам знать, и мы еще повидаемся. А пока кланяюсь Вам и желаю доброго здоровья Вашим друзьям и прежде всего Эрасту Гарину наш общий с женою поклон и то же пожелание — здоровья!

Ваш В. Астафьев».

Интерес к кинематографу Астафьева не случаен. Виктор Петрович как-то обмолвился, что он — зритель с детства. Следует помнить, что в тридцатые, сороковые и даже пятидесятые годы прошлого столетия кино для большинства населения страны было единственным прикосновением к культуре, радостью, отдушиной. Об этом, кстати, и пишет Виктор Астафьев в затесях «Счастье», «Старое кино». Артисты тех лет были невероятно популярны и почитаемы никак не меньше, чем нынешние. И такое отношение к актерам прозаик сохранил на всю жизнь.

Мне приходилось быть свидетелем его общения с Георгием Жженовым, Олегом Борисовым, Львом Дуровым, Михаилом Ульяновым... Это были встречи и разговоры особой тональности, как правило, с взаимно подчеркнутым уважением. К этому времени Астафьев, пожалуй, никак не уступал им в популярности, общественном весе. Более того, он обычно вызывал едва ли не больший интерес собеседника. Так, например, случилось при знакомстве с Олегом Ивановичем Борисовым. Их встреча состоялась 20 декабря 1990 года в ЦАТСА после спектакля «Павел I».

Виктор Петрович пришел за кулисы поблагодарить актера за хорошую игру. Борисов выглядел растерянным. После самых первых фраз знакомства он стал сбивчиво говорить о том, как ценит книги писателя, какая это для него честь, что человек такого масштаба пришел к нему в артистическую, благодарит за спектакль. А когда Астафьев сказал, что ему очень понравилось чтение Олегом Ивановичем закадрового текста к фильму «Однажды в Америке», то волнение актера еще более усилилось. Затем он вдруг примолк, разговор прервался. Решив, что актер устал, Виктор Петрович стал прощаться. Их встреча продлилась не более четверти часа, но была очень искренней и бесхитростной, с очевидным обожанием друг друга.

Помню и другой эпизод, когда с напряжением и волнением Виктор Петрович ожидал звонка от Н. С. Михалкова. У Астафьева была тайная мечта вместе с Никитой Сергеевичем поработать над фильмом на сибирскую тему. Жаль, что не сложилось. По сути дела, мы так и не имеем ни одного сильного фильма по произведениям В. П. Астафьева.

Однако идея соединить свое творчество с киноискусством не покидала его. Свидетельством этому является, например, письмо Астафьева Дмитрию Мироновичу Молдавскому, литературному критику и литературоведу, возглавлявшему довольно продолжительное время (в должности главного редактора) 2-е творческое объединение «Ленфильма». Заметим, что с ним Виктор Петрович не был лично знаком.

«27 июля 76 г.

Дорогой Дмитрий!

Спасибо за добрые слова о моей повести и предложение экранизировать „Сон о белых горах“. К сожалению, „сон“ этот самый зафрахтован студией

Горького. Я дал им право на экранизацию, и они уже подыскивают сценариста и режиссера, испросив с меня обязательство никуда эту главу не давать, и именно на нее, на эту главу, и спрос — ваше предложение уже третье.

Я не позвонил вам оттого, что сижу в деревне и редактирую „Царь-рыбу“ для отдельного издания, и хотя у меня здесь есть связь, называемая телефоном, но дальше Вологды она не берет. Как говорят вологодские телефонистки, все чего-то „сбрасывает“. Видимо, так много отнимают сил и возможностей средства подслушивания, что на работу связи уже ничего не остается. Во всяком случае, в Эфиопии связь быстрее и надежнее — там бегают...

Желаю вам всего доброго!

В. Астафьев».

Конечно же здесь нельзя обойти стороной исключительной важности документ, поднимающий огромную проблему: «Писатель и кинематограф». Речь идет об ответах Астафьева на вопросы анкеты ленфильмовской многотиражки «Кадр»:

«Уважаемый тов. Е. Поротов!

Спасибо Вам за газету „Кадр“, за письмо и предложение ответить на Вашу анкету. Коротенько отвечаю (подробнее нет времени):

1. Я — зритель с детства. В деревенском клубе крутил „динамку“ немного кино, чтоб заработать право смотреть бесплатно фильм. Каждому огольцу доверялось прокрутить целую часть. Силы хватало не у всех, слабела рука, слабел свет на экране, исчезало изображение, публика громко выражала негодование, и слабака немедленно подменяли. Из фильмов, увиденных в детстве, мне ярче всего запомнился „Когда пробуждаются мертвые“ с участием молодого Игоря Ильинского. Видел я первый звуковой и цветной фильм

— „Соловей-соловушка“. Впечатление чуда, сколь его потом не пытались уничтожить наши и заграничные ремесленники кино, так и не исчезло до сих пор.

Сейчас, в силу суеты и занятости, я уже не такой активный зритель кинематографа, появилось чувство усталости (не пресыщенности) от огромного количества фильмов серых, привычных и часто вторичных — из двухсот фильмов, выходящих за год, запоминается два-три — это очень мало, даже в литературе, переживающей сложные времена, нет такого многопроцентного серого потока продукции, а ведь воздействие кино на массы (не отдельных читателей и зрителей), куда более напористо ныне, нежели влияние литературы.

Из последних фильмов студии „Ленфильм“ (мною увиденных) запомнилась картина „Старые стены“, а в картине больше всего мне понравилась Гурченко, сделавшая сложную, если не сложнейшую, работу, перешагнув через образ и стереотип той, что засела в памяти зрителей, скорее и не героиней, а персонажем, исполняющим песенку: „Пять минут, пять минут...“

Проблема: „Писатель и кинематограф“ будет до тех пор, пока существует то и другое, уж очень разные это вещи, а думаю я, что было и будет в этой проблеме главенствующее лицо — писатель, ибо, сколько бы у него ни было надзирателей, они не могут проникнуть в его тайну, тайну замысла, и, следовательно, никому не дано распоряжаться писателем, сколь бы ни старались, как бы ни изощрялись в этой бесполезной и бессмысленной работе люди, присваивающие себе право судей, диктаторов или „добрых советчиков“. И еще — писатель свободней кинематографистов был и будет потому, что процесс его работы стоит не дорого — бумага, перо, а место — если приспичит писать — можно найти хоть в лесу, хоть на чердаке. „Киношник“

обложен со всех сторон надзором, словно медведь в берлоге, и я удивляюсь даже, как это иным режиссерам при таком огромном количестве финансовых, идейных и прочих надзирателей еще удается иногда как-то извернуться и выпустить что-то интересное на экраны! Считаю это не просто удачей режиссера, сценариста, художника, оператора и актеров, а их творческим подвигом. Думаю, дальше будет еще труднее, уж очень много (год от года все больше и больше) появляется желающих руководить, направлять, указывать, ковыряться в душе художника, и все меньше и меньше желающих нести тяжелую каторгу творца. Демагог, если судить хотя бы по журналу „Экран“, становится все более напористым и властным диктатором; и, если учесть, что художник, „как собака, все понимает, но сказать не может...“, битву наглядно проигрывает он. Хотя когда демагог срубит „последнюю сосну“ и окажется лицом к лицу с пустыней, ему снова придется замолчать и ждать, когда другие, способные к труду и творческому подвигу, люди насадят и вырастят „лес“, и ему, демагогу, снова будет что срубить...

Сейчас, одновременно ведут со мною переговоры о постановке картин по моим произведениям три студии. „Всякому овощу свое время“, — гласит житейская, честная русская пословица. Видимо, я, „как овощ“, созрел для кино...

С приветом

В. Астафьев

4 октября 1976 г.».

Но — вернемся к переписке В. П. Астафьева с Е. А. Тяпкиной, в которой, совершенно неожиданно для многих, выявляются важнейшие стороны мировоззрения писателя.

«Дорогая Елена Алексеевна!

Простите меня, Бога ради, что я затянул с письмом. Давно получил я Ваше письмо, но работал, как проклятой, хотел закончить повесть, но она меня скорее, видно, кончит. Работы еще на полтора-два месяца, а я уж совсем извелся, „пар“ из меня вышел, и сроки поджимают. Никогда не заключал заранее договоров, а тут покупка машины и прочее выбили из финансов, вогнали в кабалу, вот и приходится вкалывать до изнеможения. А в остальном, как говорится или поется: „все хорошо, все хорошо!..“

Я безвылазно в деревне. Иногда удается выплыть на речку, поудить, сходить в лес по грибы, хотя старушки-шуструшки наши и вышаривают ближний лес, я все же немножко нахожу после них, и они удивляются: „Эко же! Мы эт-то не токо выходили, а и вылежали всю траву, а он где-то и сыскал!..“

Очень их удивляет и то, что я сам варю обед, колю и пилю дрова, копаю картошки, выношу помойки: „ли ко, ли ко писателё — от наш тоже, как человек!!.“ И очень они, иные из них, разочарованы этим. Вот кабы барином был, белоручкой, так зауважали бы! Ах как мы навывдумывали наш народ! Убожества в нем и дури нисколько не убавилось, невзирая ни на какую „зарю“. Вот живут в соседях две старухи, обе приехали из города на лето. Одна вкалывает дни и ночи, другая — ходит губы поджавши, сплетничает.

„Что же Вы Фане-то (сестре) не помогаете?“ „А я начальница!“ — У нее, видите ли, зять работает в Череповце мастером в заводе, и вот она попутно с ним „начальница“ и уж считает, что начальнику, — и значит и ей, — и делать ничего не следует. Ну, где еще может такое говно взрасти, кроме как на Руси и в Африке?

Журнальчик, вшивый „Экран“, так и не дал поправку. Более того, рассердившись на мою жалобу, и гонорара мне не заплатил, посчитав рассказ перепечаткой. Свины!

Редактора только что перевели из „Смены“, ну если так себя вести будет, переведут из „Экрана“ в Цека комсомола, там не хватает безответственного и похабного народа.

Как Вы здоровы? Как живете-то? Пишите, не обижайтесь, что я подолгу не отзываюсь. Запутался в делах. Поздней осенью, скорее всего в ноябре, я долго буду в Москве, — редактировать буду книгу, — и тогда мы повидаемся.

А пока кланяюсь и желаю Вам всего самого наилучшего, вперед всего — здоровья.

Ваш Виктор Астафьев».

Даты этого и последующих писем не установлены. Можно только, судя по содержанию, с уверенностью сказать, что последние из них написаны уже на рубеже 1970—1980-х годов.

«Дорогая Елена Алексеевна!

Не секите, а просто отрубите мою повинную голову — в декабре был в Москве, на пленуме, и со дня на день собирался Вас навестить, были дела, друзья и прочее, а потом взял да и загрипповал, и пришлось давать тягу домой, а тут внук тяжело болен был, сейчас уж, слава Богу, все наладилось, погода суше, морозней и я себя лучше стал чувствовать, но из дому уехал в лес — нет возможности работать, а тут срочно две верстки надо было читать, вот и смылся, и лишь вчера закончил работу.

Сегодня начал отписываться, отвечать на поздравления, а то ведь стыд и срам, никого и не поздравил с Новым-то годом.

Припоздало пусть, но поздравляю Вас и желаю того, что для Вас пока главное — здоровья! Здоровья! Здоровья! Рад, что Вы „оквартирились“, убегли от соседа-полковника, они только со старухами и горазды воевать, а на фронте в блиндажах сидели под тремя-

четырьмя накатами и „героически“ посылали на смерть нас — солдатишек.

Сейчас я собираюсь в Ленинград на неделю, потом вернусь сюда же и буду заканчивать „Последний поклон“. Хочется до весны разделаться с этой книгой окончательно и весной уехать со съемочной группой на Родину — „Мосфильм“, режиссер Мансуров, экранизирует мою повесть „Перевал“ (условное название ф-ма „Сретенье“, если пропустят?!). Надо бы мне отдохнуть, авось хоть за счет фильма удастся.

Летом выйдет моя новая книга — она будет у Вас, а в феврале меня собирался вызвать по финансово-договорным делам, так я уж непременно навешу Вас, а предварительно позвоню (будучи в Москве, я еще не знал, что Вам поставили телефон).

А вы знаете, Елена Алексеевна, я ведь пробовал себя в театре, написал драму „Черемуха“, и она с успехом идет в театре им. Ермоловой и у нас, в Вологде. И пьеса, и спектакли, по правде сказать, мне не очень, но... кажется, эта „первая ласточка“ поможет мне написать настоящую пьесу, которую я вынашиваю. Вот только времени почему-то не стало доставать... для работы, т. е. на главное-то! О других новостях, только хороших! (худые новости пусть на месте лежат), я Вам доложу при встрече, а пока по-сыновьи Вас обнимаю и целую Ваши добрые руки.

Преданно Вас любящий В. Астафьев».

«Дорогая Елена Алексеевна!

Я и все мое семейство поздравляем Вас с Новым годом! Все мы, в том числе и наш маленький, но шустрый уже внук — Витенька, желаем Вам доброго здоровья, душевного покоя, интересных встреч и неиссякаемого Вашего жизнелюбия!

А мы закончили фильм: „Сюда не залетают чайки“, по известной вам повести „Перевал“ — скоро выйдет на

экраны — посмотрите. А еще я закончил „Последний поклон“ — работал много.

Кланяюсь Вам В. Астафьев».

«Дорогая Елена Алексеевна!

Еще на съезде мне передали Ваше письмо, и я очень ему обрадовался.

Особенно меня обрадовала весть о том, что Вы еще и снимаетесь.

Ну, молодец! Ну, умница! В Вашем возрасте больше стонут и жалуются, старушки, и ждут пустого, словесного утешения. А Вы вон как хорошо себя ведете и достойно живете.

Дай Вам Бог и дальше держаться бодро и находить радости в труде и интересном досуге. А Бог Вам за это воздаст толикой здоровья.

Я все хочу Вас навестить, но Москва меня так изматывает в 3-4 дня, что сил остается лишь на то, чтоб добраться до дому.

Журнал „Театр“ с Вашей статьей непременно найду и прочту, и напишу Вам, а я, в свою очередь, прошу Вас написать хотя бы вкратце все, что Вы мне рассказывали о Милице Корьюс (Милке, как вы ее по-девичьи назвали) — это страшно любопытно. Никто мне не верит, когда я пытаюсь пересказать то, что Вы говорили.

Напишите, хоть я понимаю, как Вам это делать нелегко. А я попробую это подработать и напечатать в „Литературной России“. Договорились?!

Я вот уже год живу на Родине, в Сибири. Приближающаяся старость потребовала ехать „домой“, ближе к родным могилам. Год этот ушел на устройство, работал мало, урывками.

Осенью собираюсь начать роман, а пока пишу мелочи.

Здоровье здесь получше. Во всяком разе с легкими пока в больнице не бывал, а то уж на гнилом Северо-Западе замаялся.

Только вот дети и внуки остались в Вологде, а жена со мною, и мы очень скучаем, особенно по внучатам.

Но, что же делать? Надо жить, работать и думать о лучшем.

Обнимаю и целую Вас, милая Елена Алексеевна. Радуюсь и горжусь Вами!

Ваш Виктор Петрович

Жена, М. С., кланяется Вам и целует Вас вместе со мной».

В 2007 году, после того как я опубликовал эти письма в книге «Страницы из жизни Виктора Астафьева», в «Российской газете» появилась статья литературного критика Павла Басинского, который обратил внимание на взрывной характер одного из писем Астафьева старой актрисе Елене Алексеевне Тяпкиной. Помните: «Ах как мы навывдумывали наш народ! Убожества в нем и дури нисколько не убавилось, невзирая ни на какую „зарю“»?

После таких слов, как пишет П. Басинский, «идиллия исчезает. Виден суровый, порой даже до несправедливости суровый астафьевский взгляд на жизнь, на людей даже и родной деревни.

Он имел право на такой взгляд. Один из немногих, кто имел.

Как имел он право и на свой поздний взгляд на войну в романе „Прокляты и убиты“. Кем это они прокляты? — недоумевали критики, читатели, в том числе влюбленные в Астафьева прежнего.

Осталось загадкой. Но то, что в конце жизни Астафьев как-то ожесточился, как-то принципиально отказался от присущей ему прежде светлой доброты взгляда и стал искать какой-то последней жесткой

правды, — очевидно. И опять — он имел на это право. Один из немногих, кто имел».

Что же касается меня... Почему-то, когда заходят разговоры о жизни и творчестве Астафьева, я часто вспоминаю слова самого Виктора Петровича о том переживании, которое вынес он с детства: «...Где бы я ни слышал вальсы Штрауса, в первую голову „Сказки венского леса“, закрою глаза, и вот оно, небо и земля, замешенные в белом тесте пурги, деревянный городишко на краю света, парнишка, бредущий куда-то и зачем-то, и музыка, музыка над всем этим, радостная, сияющая, красивая музыка!» И великое литературное наследие писателя представляется мне той музыкой, которая парит над суровой прозой нашей неустроенной жизни. Со временем меняется ее тональность, она перестает ласкать и нежить слушателей. Но она всегда живет — даже в произведениях позднего периода, которые многим режут слух.

Глава девятая ЗАМЫСЕЛ, ВОЗНИКШИЙ НА РАЗЪЕЗДЕ

Наверное, одно из самых пронзительных произведений Астафьева — военная повесть «Пастух и пастушка». По крайней мере, в нашей литературе не встретишь более болезненного и лирического изображения любви, возникшей в таких неподходящих условиях, какие бывают только на войне.

Виктор Петрович не раз рассказывал, что замысел повести «Пастух и пастушка» возник у него при совершенно конкретных обстоятельствах. Вот что я услышал от него в 1976 году, когда состоялась наша очередная беседа:

«Три года я делал „Пастуха и пастушку“. Это моя самая любимая и больная повесть. А замысел, кстати сказать, — литературный.

До того, как стать профессиональным литератором, я шесть лет работал в газете, потом чуть посидел за столом, и еще полтора года вкалывал на местном радио. Это была та еще работенка. Техник носил тридцать пять килограммов аппаратуры, а я — еще восемнадцать!

Как-то я ехал в командировку в Кизил и проспал свою остановку. Вышел сгоряча на разъезде, чтоб возвратиться. Так я оказался на заброшенном полустанке. Вскоре выяснилось, что до поезда в обратном направлении чуть меньше суток. В общем — попал! С собой пачка сигарет и книжка аббата Прево „Манон Леско“. Дел никаких. Сел читать. Книга меня потрясла. Прочитал и задумался: а возможна ли в сегодняшнем мире подобная романтическая любовь? Способны ли мы сейчас на такие чувства или хоть на похожую путаницу чувств?!

Так возник, скорее, даже не замысел, а появилось только ощущение... Тем более, тогда, в начале пятидесятых годов, я еще не мог и браться за такой материал. Понимал — писать о любви безумно трудно. Но мелодия, ощущение возможности такого произведения поселились во мне и не оставляли. Не было покоя; порой даже физически раздражало ожидание этой работы, перевод ощущений в слова. Так продолжалось четырнадцать лет! Появилось даже что-то вроде трусости.

Как-то, когда уже отучился на Высших литературных курсах, рассказал о своей задумке другу и критику Александру Макарову. Он подтолкнул: „Давай, пиши!“

Черновик набросал за десять дней. Потом еще три года переписывал. „Пастушка“ перепечатывалась двенадцать раз на машинке! От первоначального варианта осталось несколько фраз. Трижды возвращался к повести после ее публикации.

Сейчас она как будто оставила меня. Больше переписывать не буду, хотя не всем в ней доволен. (Астафьев еще несколько раз возвращался к повести. Например, „Студенческий меридиан“ в 1990 году опубликовал ее восемнадцатую редакцию. — Ю. Р.) Надо бы сделать ее короче, листа в четыре всего, и все действие уложить в одну ночь.

Четырнадцать лет не писал! Органически понимал, что с задачей пока мне не справиться. И все равно чуть рановато взялся, потому ее пришлось несколько раз переписывать. Я частенько дорабатываю свои вещи, всегда радуюсь чистой рукописи и возможности еще с нею повозиться.

Иногда много, сутками сижу за рабочим столом, хотя быстро пишу черновики. Почти все как-то довожу, довожу, не умею сразу исчерпать тему...»

Во время той нашей беседы я задал Виктору Петровичу вопрос:

— Как-то вы написали: гуманизм держится на уважении к женщине. Не могли бы вы пояснить, прокомментировать эту мысль...

— Отчего же. Ее комментирует вся наша русская литература. Мне остается добавить свое личное отношение. Женщина — прежде всего мать. Все, что мы называем нравственностью, неразделимо с любовью, самыми сокровенными человеческими чувствами. Все начинается с уважения, с любви к женщине: к матери, к девушке, к бабушке. Я вообще не понимаю, как без почтительного, трепетного отношения к женщине человек может что-то написать...

Пожалуй, таким отношением к женщине и наполнена повесть «Пастух и пастушка».

Казалось бы, слишком отвлеченным и оторванным от жизни выглядит изысканный французский роман, описывающий любовную историю кавалера де Грие и Манон Леско, чтобы произвести впечатление на человека, выросшего в заполярном детдоме, познавшего на войне запахи пота и крови, трижды раненного, пережившего гибель многих боевых товарищей. Но это лишь на первый взгляд — ведь был уже в жизни Астафьева «Большой вальс», так изменивший, раздвинувший его представления об окружающем мире.

Не приходится поэтому удивляться, что впечатления от прочитанной книги заставили молодого писателя попытаться совместить книжные образы, передающие не отягченную строгими нравами атмосферу французского общества начала XVIII века и пугающего обычного человека реальность своих собственных переживаний на самой страшной войне в истории человечества.

И все же, наверное, не стоит преувеличивать влияние произведения аббата Прево на идею создания книги, которую вынашивал Астафьев, — книги о любви на войне. Тем более что, по его же словам, от первоначального наброска в десять страниц, который он сделал по горячим следам, под впечатлением романа Прево, в итоге осталось всего несколько слов.

Много лет искал Виктор Астафьев своего героя. Как заметил литературный критик А. Ланщиков, он искал характер, через который выразилась бы правда того времени, когда чувство долга потребовало от его поколения великих жертв и того духовного напряжения, что порой бывает выдержать не легче, нежели самые тяжелые физические нагрузки.

В итоге писатель находит такой характер и выводит своего героя на рубеж главного испытания — испытания войной.

Не удивительно, что после такого длительного «подготовительного периода» Астафьев в повести «Пастух и пастушка» предстает во всей зрелости своего писательского мастерства. Поразительная емкость письма, отчетливость каждого образа и композиционное совершенство позволяют ему на страницах небольшого произведения показать трагизм войны через небольшой эпизод из жизни подразделения, которым командуем вчерашний мальчишка Борис Костяев.

Действие повести начинается с описания напряженного боя, когда противник делает отчаянные попытки прорвать кольцо окружения и избежать неминуемой гибели. И каждый наш солдат чувствует свою личную ответственность за исход операции — не выдержит батальон, рота, взвод, и разомкнется кольцо окружения. В этом кровавом единоборстве трудно выделить особых героев — героизм стал нормой, а война — работой. Взвод лейтенанта Костяева выстоял,

каждый боец сделал все, чтобы обеспечить общую победу. В ходе боя людей отличали друг от друга разве лишь степень военной сноровки да должностные обязанности.

Окончен бой. Эвакуированы раненые, погребены павшие. Оставшиеся в живых из взвода лейтенанта Костяева расположились на отдых в уцелевшей избе, в которой усилиями молодой ее хозяйки Люси повеяло вдруг далеким домом и чем-то схожим с прежней, мирной жизнью. Солдаты едят, пьют самогонку, разговаривают... И тут с них как бы спадает некая пелена и открываются характеры, в которых рельефно проступают различия, невидимые в повседневных военных буднях. Каждый участник только что утихшего боя обретает свое неповторимое лицо, очерчиваются сложные взаимоотношения людей, нивелированные в бою единственно возможным и необходимым в нем чувством взаимовыручки.

Солдаты вышучивают молоденького и незадачливого Шкалика, «приписавшего» когда-то себе два года, чтобы попасть в ремесленное училище, и попавшего на два года раньше, чем положено, на фронт. Они с уважением относятся к службе расторопных Малышева и Карышева («Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости, да основательно. В „умственные“ разговоры встrevали редко, но уж если встrevали — слушай»). По-разному побаиваются лихого и сноровистого вояку старшину Мохнакова и бывшего сельского пожарника, скользкого человека — рядового Пафнутьева...

Если для Бориса мир терял свои очертания и в его сознании начинали путаться «предметы, лица солдат», то читатель, напротив, начинает все отчетливее и отчетливее различать их. Но тут действие притухает — наступает ночь, и героев одолевает столь необходимый

теперь для них сон. Однако и ко сну каждый отходит по-своему, не в силах «справиться» со своим характером. По-отечески заботливо укладывает Ланцов «разбушевавшегося» Шкалика, а сам отходит ко сну тяжело и не сразу:

«Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.

— Несчастное дитя! — Хозяйка потупилась, а он потискал обросшее лицо. — Простите старика! Напился, как свинья. И вы, Борис, простите! — Корней Аркадьевич уронил голову на стол, пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала из чистой половины подушку, подсунула ее под голову Корнею Аркадьевичу. Почуввав мягкое под щекою, он захлюпал носом: — Подушка! Ах вы, дети! В какое время родились! Как мне вас жалко... — он пошлепал губами, выдул носом свист и таким вот образом отошел ко сну».

Но даже и во сне, когда утихшее сознание не руководит ни словом, ни поступком, когда, собственно, нет места ни слову, ни поступку, не стираются признаки индивидуальности. «Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь и вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис глядел на разметавшихся, убитых сном солдат, куда бы лечь. Шкалика — мелкую рыбешку, выдавили наверх матерые осетры — алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому, как в буран, трепало возле рта его. Взлетали планки медалей на булыжной груди Карышева».

И тут как бы спадает еще одна пелена и открывается уже третий, наиболее глубокий слой человеческого характера, а число действующих героев сводится почти до минимума — только *он* и *она*, Борис и Люся. Не суждено было в ту ночь забыться сном

взводному рядом со своими боевыми товарищами: внезапная любовь обрушивается на него.

Одну короткую ночь отвела жизнь лейтенанту Борису Костяеву на единственную в его судьбе любовь. Наступивший день принес будничные заботы и прощание — вперед, на запад, вели военные дороги лейтенанта и его взвод. И снова расширяется круг действующих лиц, сначала это опять взвод, а затем — и вся армия. Но теперь уже не теряется ничья судьба в общем, огромном военном котле. И мы остро испытываем горечь утрат, которые неотступно преследуют Бориса Костяева. Это чувство овладевает нами только теперь, когда с людей спали все покровы и каждый предстал перед нами в своей жизненной незащищенности. Каждого погибшего мы уже заносим не в разряд потерь, а в разряд собственных утрат.

Да, «немец уже стал не тот», но война оставалась прежней. Один за другим гибнут герои повести, и гнетущее одиночество охватывает взводного.

«Снайпер угодил Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка. Карышев был еще жив, когда его доставили в траншею, но нести себя в санбат не разрешил.

— Убитый я, — прерывисто схлебывая воздух, сказал он.

...Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту „прощай“, и перевел взгляд на кума. Борис понял: ему надо уходить. Распрямился взводный и не услышал под собою ног.

— Моих-то... — прошептал Карышев.

— Да об чем ты? Об чем?! Не сумлевайся ты в смертный час, — по-деревенски пронзительно запричитал Малышев.

Борис шагнул в темноту, нащупал перед собою какую-то стойку или столб, уперся лбом в его холодную

твердь и повторял, ровно бы кому-то грозя: „Так умеют умирать русские люди! Вот так!..“».

По-разному умирали люди, впрочем, как и жили. Пафнутьев жил без достоинства, не обрел он его и на краю гибели.

Суровый, даже мрачный человек, к которому на протяжении повести ни автор, ни читатель симпатий не испытывают, — старшина Мохнаков. Но в критический момент, когда война поставила на карту и его судьбу, и судьбу товарищей, он предпочел расплатиться собственной жизнью.

«...Немец догадался — этот русский с тяжелым, ссохшимся лицом и спокойно-отрешенным выражением глаз идет на смерть.

Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул под гусеницу, и она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею...

В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружились награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях...»

В финале повести на глазах лейтенанта Бориса Костяева подрывается на mine сопровождавший его в санбат молоденький солдат Шкалик. «Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности?..» Вот это «расслабление» будет потом стоить жизни и самому лейтенанту, когда он, оказавшись в санитарном поезде, не найдет в себе силы бороться за собственную жизнь и умрет от раны в общем-то и не смертельной.

Жизнестойкость Борису Костяеву обеспечивали духовные связи с товарищами по оружию, а нелепая гибель Шкалика окончательно повергла Бориса в то

состояние, которое привело к гибели его самого. Конечно, его судьба исключительна, однако это исключение типическое, выражающее крайнюю и в то же время достоверную степень духовного состояния. Все судьбы героев повести как бы сбежались в сердце Бориса Костяева, и война безжалостно вырывает их из него: гибнут товарищи. И не приводят кривые военные дороги молодого взводного к порогу единственной для него Люси.

Реализм военный прозы Астафьева, порой — реализм ужасный, у иных вызывает оторопь. Но кто ответит, где и в чем границы дозволенного. Мы часто оказываемся в плену представлений, возбуждающих в нас сомнения в том, должен ли писатель показывать ужасы или нет, должен ли он воспевать красоту подвига, если он окружен страшными деталями, если его заслоняет отвратительное смертельное обличье. Между тем Писарев еще сто с лишним лет назад сказал: «Мы не требуем оптических обманов, мы не боимся тяжелого впечатления, не отвертываемся от нравственного зла, но настоятельно требуем, чтобы это зло было нам объяснено, чтобы наше обличение было не клеветой на действительность».

Мы хорошо научились видеть «зло» (порой даже там, где его и нет), но еще не научились видеть «объяснения» (порой даже там, где они есть), а потому не всегда отличаем «зло» от «незла». Мы иногда охотно воспринимаем «оптические обманы» и страшимся «тяжелых впечатлений», что мешает нам правильно понимать многие произведения. Вместо того чтобы разобраться в них, мы торопимся «клевету на действительность» обнаружить там, где ей совсем нет места.

Правда, с другой стороны, создание «тяжелых впечатлений» порой становится самоцелью некоторых авторов, а при отсутствии «объяснений», о которых

толковал Писарев, и в самом деле оборачивается искажением действительности, клеветой на нее. Иногда это даже сулит автору легкий успех и не требует от него самостоятельного осмысления материала, раскрытия философии изображаемого времени.

«Тяжелые впечатления» вовсе не противопоказаны искусству, но в то же время они не могут быть для него самоцелью. Безусловно, художнику в равной мере должно быть важно, что писать и как писать, и эти «что» и «как» не должны ни противостоять друг другу, ни заменять друг друга.

Но помимо этих двух компонентов есть и третий — во имя чего писать. Это триединство для настоящего художника нерасторжимо, и ценность любого произведения определяется внутренней взаимосвязью всех этих трех компонентов, общей мерой их идейно-эстетического звучания.

Именно под таким углом зрения мы должны воспринимать страницы военных произведений Астафьева, да и не только военных.

...Пройдет много-много лет, и давнее мгновенное, но, видимо, самое глубокое чувство приведет Люсю к одинокой могиле Бориса, затерявшейся в просторных уральских степях среди тишины и безграничья. Собственно, этим эпизодом и начинается повесть «Пастух и пастушка». Им же она и заканчивается.

«— Господи! — вздохнула она и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли. Костлявый татарник робкой мышью скребся о пирамидку. — Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Мы будем все равно вместе, там уж никто не в силах разлучать людей...

Она шла, и глаза ее видели не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого

качалась одиноким бакеном пирамидка, и зыбко было все в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, осталось в безмолвной земле, опутанной корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России».

Читая эти строчки, невольно думаешь: не тот ли далекий разъезд «подсказал» автору композиционное решение будущего произведения и не в той ли безграничной степи он «увидел» будущую героиню, припавшую к одинокой могиле того, кого она полюбила на всю жизнь? Не там ли, прочитав книгу аббата Прево о всепоглощающей любви двух молодых людей, Астафьев вдруг навсегда поверил в вечность и неодолимость истинной любви?

В повести есть один эпизод, на котором автор заостряет читательское внимание.

«За давно не топленной, но все же угарно пахнувшей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будыля, лежали убитые старик и старуха...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому, и в ругани, и в житейских дразгах, но обнявшихся преданно в смертный час. Двое заброшенных сирот в мятущемся мире, не подходящем для тихой старости.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозных коров. Пастух и пастушка».

Пастух и пастушка... Отсюда и «современная пастораль». Акцент в подзаголовке этой совсем не пасторальной повести следует, видимо, делать на слове «современная». Этим понятием подчеркнута жестокость времени, которое подминает под себя главные приметы традиционной пасторали — любовь и человеческое счастье.

Охваченный пламенем войны, мятущийся мир не подходил для тихой старости. Но этот мир, может быть, еще меньше подходил и для молодой любви. Но любовь все-таки побеждает войну, побеждает смерть, переживает ее. Так было всегда, испокон веков. Вечная любовь от времен Манон и Грие тянется сквозь столетия невидимыми нитями к пастуху и пастушке, от них — к Люсе и Борису, а от них дальше — уходит в бесконечность.

Во имя чего? Во имя жизни! Во имя победы жизни над войной!

Весной 1969 года А. Ланщикова побывал в Вологде и встретился там с Виктором Астафьевым. В то время он работал над «Пастухом и пастушкой», и, вполне естественно, критик и прозаик много говорили о новом произведении. Писатель поведал, как в самом конце шестидесят седьмого года уехал в уральскую деревню Быковку (тогда Астафьев жил еще в Перми) с намерением наконец-то приступить к работе над повестью, о которой не переставал думать многие годы:

— В Быковке не было никаких условий, кроме главного — там мне всегда хорошо работалось. Я в тот раз почти не вставал из-за стола. В течение трех дней выкурил весь табак и написал черновик. Конечно, вымотался... Состояние было такое, что хотелось вообще бросить писать. Да еще за окном все время дурным голосом ревела Спирька. Собака. Решил уехать домой. Тут кто-то постучал: «Ой, извините, телеграмма...» Вскрыл телеграмму. Читаю: «Умер Александр Макаров...» Бросив все, сразу же выехал в Москву.

Виктор Петрович еще долго рассказывал гостю из Москвы об Александре Макарове, о роли, которую тот сыграл в его творческой судьбе. Потом разговор снова вернулся к повести...

«Почему „Пастух и пастушка“?... Нет, не сразу пришло это название. По-разному было... И „Легкое ранение“, и „Комета“... Да с Буниным слишком перекликалось, с его „Солнечным ударом“... И „Не пришел с войны“ называлась...

Я пишу о людях, которых видел и которых знал. Но как говорил Моэм, если даже собственное сердце пропустить через наковальню воображения, то его нельзя будет узнать... Борис Костяев? Мне встречался шофер полуторки с такой фамилией. Взял только фамилию. Больше ничего. А образ этот обобщенный. Жизнь все равно не скопируешь. Собственную родословную и то не проследишь... Бабушка у меня действительно исключение, но и в „Поклоне“ некоторые герои не имеют реальных жизненных прототипов...

Что для меня было самым трудным? Описание любви Люси и Бориса. Описание интима — дело вообще самое трудное. Идиллическое и плотское, и чтобы одно не перекрывалось другим... И вся история за одну ночь... Это самое трудное. Бунинский „Солнечный удар“... Но там не убивали... А здесь — война... и любовь».

Встреча с Астафьевым дала Ланшикову пищу для размышлений:

«Тогда еще не все окончательно сложилось в новой повести Виктора Петровича. Не удовлетворял его финал: что-то в нем не получилось... Какие-то подробности заслоняли главное... Впереди предстояла еще немалая работа. И писатель жил этой работой, жил судьбами своих героев, независимо от того, погиб ли герой двадцать пять лет назад, живет ли он сейчас или жил несколькими столетиями раньше... Для писателя все, чего коснулась его душа, настоящее.

Серьезность гражданских и литературных намерений писателей астафьевской генерации определенным образом настраивала и критику. В частности, к Виктору Петровичу критики в общем-то

относились доброжелательно, и его произведения, как правило, получали положительную оценку. Правда, за доброжелательными отзывами нередко скрывалась снисходительность».

Некоторые современные писатели, вспоминая советские времена, любят поговорить о «рогатках цензуры», мешавших их творчеству, попрекают всех без разбора издателей тем, будто бы они сдерживали их лучшие порывы и желание сказать правду — одним словом, выполняли неблагоприятную роль бревна, лежащего поперек дороги.

Иные и вовсе пытаются сегодня уверить несведущего читателя, будто прежде все поголовно ввали, а правда писательская лежала в столах, дожидаясь своего часа. Однако произведений, «пролежавших» в столах, оказалось не очень-то много, к тому же значительная часть из них, как выяснилось со временем, не публиковалась до девяностых годов отнюдь не по политическим соображениям и не из-за правдолюбия авторов, а по причине их не очень высокого художественного уровня. Как бы там ни было, перелом в общественном сознании приближали авторы, которые активно публиковались и вели диалог с читателем.

Более того, в шестидесятые — восьмидесятые годы вышло огромное количество произведений, имевших, по сути, взрывной характер, будораживших умы и сердца. Вместе с ними ломала благодушно-потребительское отношение общества к литературе и повесть Астафьева «Пастух и пастушка».

Насколько я знаю, «в верхах» отношение к ней было не слишком благосклонное. Тем не менее она почти одновременно вышла и в журнале «Наш современник», и в издательстве «Молодая гвардия», хотя, по существовавшим тогда литературным нормам, книжное издание выходило только после журнального. Но не

такими уж непреодолимыми были утвердившиеся каноны, когда люди, связанные с литературным процессом, проявляли твердость и принципиальность.

Это подтверждает и публикация большинства произведений разных периодов творчества Астафьева. Примерно в то же время, что и повесть «Пастух и пастушка», из-под пера писателя выходит рассказ «Ясным ли днем» (1967), в котором приметы удаляющегося от войны времени показаны непривычно резко, обнаженно, болезненно. Мне кажется, что именно в этом астафьевском рассказе впервые появляется та жесткость, самым автором, может быть, еще не осознанная, которая, срачиваясь с непримиримостью и нетерпимостью, будет присутствовать практически во всех произведениях позднего Астафьева.

В самом начале рассказа Сергей Митрофанович сталкивается с унижительной процедурой, которой подвергают и других инвалидов-фронтовиков на ежегодных врачебных комиссиях. Подвергают лишь для того, чтобы убедиться в очередной раз в их инвалидности.

«Чем прибранней становился город, чем больше замечал он в нем хороших перемен, наряднее одетых горожан, тем больше чувствовал униженность и обиду. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

— Что вы сказали?

И, непривычно распаляясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче, с вызовом:

— Нога, говорю, не отросла еще?»

И все же обида в нем не захлестывает чувство ответственности за все, что происходит вокруг. Он понимает, что находится в неоплатном долгу перед теми, кто остался там, на поле боя. Весь расчет его погиб во время танковой атаки, а он один уцелел, вернее, не уцелел, а остался жить. «Покой был на земле и в поселке. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила в себе отзвуки битв, но в теле старого солдата война жила неизменно. Он всегда слышал ее в себе».

Сергей Митрофанович — человек открытый. Встретил на вокзале ребят-новобранцев и тут же познакомился с ними, разговорился, хотя, по правде говоря, выглядели они не столь уж и привлекательно — «ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамовато». Потом он окажется с ними в одном вагоне...

Принято считать, что в рассказе «Ясным ли днем» автор перенес центр тяжести на извечную проблему взаимоотношения поколений. Но есть ли она, эта проблема, существует ли пресловутый барьер, разделяющий отцов и детей? Герой показывает нам, что если такой барьер и существует, то его не трудно преодолеть — с помощью правды. Правдивость фронтовой истории Сергея Митрофановича покоряет его молодых попутчиков.

«Опять пристали ребята насчет ноги. Дорожа их дружелюбием и расположением, стал рассказывать Сергей Митрофанович о том, как, застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою. Сосняк

стеною вздымался на гору, высокий, прикарпатский, сектор для стрельбы выпиливали во время боя. Два расчета из батареи пилили, два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были так толсты, а пилы всего две, и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону матерились, грозились и наконец завопили:

„Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!“

Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо было свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий. Но на войне часто приходится переступить через нельзя.

Повели беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от близкого разрыва кургузой гаубицей, а командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так и отвоевался я, ребята, — глухо закончил Сергей Митрофанович.

— Скажи, как бывает! А мы-то думали... — начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно таращился на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал?! — подхватил с усмешкой Сергей Митрофанович».

По всему видно, что Астафьев хорошо был знаком со слабостью многих фронтовиков приукрасить свои боевые заслуги. Слабостью вовсе уж и не безобидной, потому что она подрывала у нового поколения доверие к прошлому, глянцеваала его...

Скромность Сергея Митрофановича — не нарочитая, естественная. Может, поэтому награждает его автор повести не орденами и медалями, а природным талантом прекрасного певца.

В конце концов, и в вагоне дело дойдет до песни. А когда фронтовик запел, «снисходительные улыбки, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лица парней. Замешательство, пробуждающееся внимание и даже удивленность появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше...

Полуприщуренный взгляд его был смягчен временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим смерть. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, с души его струпьями сходила скверна и накипь житейских будней, потребность в братстве ощущал человек, чтобы его любили и он бы любил кого-то».

Сергей Митрофанович пел и знал, что именно в песне он делится с людьми самыми заповедными своими богатствами, не отягощенными ничем, что может хоть в какой-то степени их девальвировать. И молодость раскрылась перед ним, песня неожиданно раздвинула представления ребят о людях и о жизни. Вскоре Сергей Митрофанович станет прощаться со своими молодыми попутчиками, и тогда один из них скажет: «Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина». И он не ошибся. Действительно, жена у Сергея Митрофановича была очень правильная женщина, и не будь ее постоянно рядом, возможно, и у Сергея Митрофановича общий жизненный баланс был бы в пользу долгов, а не в пользу богатства.

«Отцовство» героя рассказа отнюдь не символическое: «Оттого, что у Сергея Митрофановича

не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорей всего получалось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не поумнели».

Вполне очевидно, что Астафьева беспокоит не столько тема конфликта поколений (он разрешим), сколько другое, более опасное явление. Гораздо большую тревогу вызывает у него равнодушие общества к поколению победителей. Коробит действующих лиц повести отношение к фронтовикам. Особенно резко это проступает в эпизоде домашней встречи Сергея Митрофановича, в котором задает тон его теща.

«Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам. А теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Вторую группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те вторую уж на том свете вырешат...»

Мы и *они*, народ и *они*... Это противопоставление, которое зреет и становится устойчивым в глубине народа, куда опаснее, нежели недопонимание между двумя поколениями. И оно отныне будет присутствовать, явственно или незримо, почти во всех последующих произведениях Астафьева.

Совершенно естественным образом соглашаешься с логикой анализа А. Ланщикова. «В рассказе „Ясным ли днем“, — отмечает он, — раскрывается образ не только одного конкретного человека — Сергея Митрофановича, в нем раскрывается характер народа, важнейшие его черты. Когда ребята-призывники слушали Сергея

Митрофановича, то изумлялись, как это с таким голосом он затерялся в глуши?»

А теперь обратимся к Астафьеву. «В искусстве, — рассуждает Виктор Петрович, — как в солдатской бане, пустых скамеек не бывает. И поет где-то, вместо Сергея Митрофановича, безголосый, тугой на ухо человек. Он же все, что не трудом добыто, а Богом дано, ценить не научен и к дару своему относится стыдливо, поет, когда сердце просит или когда людям край подходит, поет, не закабалая дара своего, но и не забавляясь им.

Никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди».

Не просто в нашем обществе происходит усвоение нравственного закона времени, выработанного коллективной волей народа в часы наибольших для него испытаний. Пожалуй, в этом отношении образ Сергея Митрофановича — один из самых значительных в творчестве Астафьева. И не потому, что герой приобщен в своей жизни к самым глубинным пластам нравственного богатства своего народа. А потому, что волею судеб он, пройдя войну, стал одним из многочисленных творцов этого богатства, отвоевал себе в жизни право быть его хранителем.

Особенно важно, что главный герой рассказа «Ясным ли днем» вынашивает в себе одну из самых сокровенных идей нашего народа — идею всеобщего счастья, которая передается из поколения в поколение, несмотря на все потрясения и испытания, преследующие Россию.

«— Да не пугай ты меня-а-а! — Паня привалилась к его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она осторожно и виновато провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. „Шароховатые“ — вспомнил он. Паня припала к его плечу:

— Родной ты мой, единственный! Тебе, чтоб все были счастливые. Да как же устроишь такое?»

Может быть, когда-нибудь наступит время, когда мечтания русского человека и реальность сольются воедино. Только, читая Астафьева, понимаешь, что не скоро это будет.

Глава десятая ЦАРЬ-РЫБА

1 мая 1974 года Виктору Астафьеву исполнилось пятьдесят лет. К тому времени он уже выпустил в «Советском писателе» большой том рассказов «Синие сумерки» (1968, Москва), несколько повестей — «Звездопад», «Кража», «Пастух и пастушка» (1973, Пермь), закончил, как казалось тогда, «Последний поклон», заявил новый для себя жанр — «затеей», представляющие небольшие лирические миниатюры, которые автор публиковал в газетах и журналах. В 1972 году они были впервые объединены в небольшую книжечку под тем же названием — «Затеей». Вышла она в Москве.

В конце 1975 года за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» Астафьев был удостоен Государственной премии РСФСР. Вслед за этим отмеченные повести были опубликованы уже в лауреатской серии.

Прозаик Юрий Сбитнев, познакомившийся с Астафьевым еще в 1956 году, утверждал, что он уже тогда понимал уровень письма начинающего литератора, видел огромную разницу между ним и другими молодыми авторами. Несмотря на это, к середине семидесятых годов положение Астафьева в литературе все еще оставалось не вполне выясненным. Можно даже сказать, что он как был, так и оставался писателем-периферийщиком. Причем автор, пожалуй, и сам разделял такую точку зрения.

По-настоящему широкое, всенародное признание пришло к Астафьеву чуть позже, в 1976 году, когда в журнале «Наш современник» увидело свет его повествование в рассказах «Царь-рыба». Это произведение, а вместе с ним, естественно, и автор

сразу оказываются в центре внимания и читателей, и критики.

На страницах новой книги писатель исследует взаимоотношения человека и природы, а вернее будет сказать — варварское отношения человека к природе. Впрочем, сам он возражал против такой постановки вопроса, и когда я однажды упомянул такую формулировку, пришлось услышать от Виктора Петровича целую отповедь на эту тему:

— Ничего я не исследую. Просто пишу в меру творческих возможностей об одиночестве человека в современном мире. Об одиночестве и одичании, которые не где-то, а у меня перед глазами. Вижу их в современниках. И вот этот нутряной психологический крен находит отражение в прозе.

Одиночество! И уже только по касательной, как очевидный фактор — человек и природа (курсив мой. — Ю. Р.).

Сначала я попробовал писать очерки, у меня получилось. Потом написал какую-то главу, по-моему, «Каплю», и от нее пошло-поехало. От размышлений о состоянии природы перешел к взаимоотношениям человека и природы, а там уже и к главному для себя, — как понимаю на сегодняшний момент, — природе самого человека, которому все вокруг оказалось вдруг не почем и ни к чему. А тут уж шаг от внутреннего одиночества — к одичанию... Но при этом я никого не обличаю и не обвиняю, всего лишь — пишу, что вижу, чувствую, что волнует.

Три с половиной года подряд напряженно сидел над «Царь-рыбой» (разговор наш с Астафьевым состоялся в январе 1977 года. — Ю. Р.). К сожалению, эта моя вещь не была внутренне выношена, многое пришлось дотягивать в процессе писания. А ведь по объему на сегодняшний день это самое протяженное мое

произведение. Из-за этого тоже испытывав особые трудности. Хотя обычно могу все рассказать заранее, от начала до конца. А вот добивать, достраивать текст всегда мучительно.

Главное здесь даже не столкновение со стихией поступков, а раздумья о жизни. Окончание всякой вещи для меня — повод к раздумьям, размышлениям о нашем странном существовании в мире.

Человек и природа. Мне хотелось преодолеть шаблонную трактовку. Мы часто говорим о браконьерах, о загрязнении природной среды... Но все это происходит не само собой, это делает сам человек. И его поступки не могут быть признаны высоконравственными.

Повесть строится в двух планах. Сначала — бесхитростный рассказ о моих поездках по Сибири в сочетании с человеческими ситуациями. Люди, сами рожденные в енисейских деревнях и селах, вроде неплохие, у них — крепкие семьи. Но постепенно, занимаясь грабежом тайги, истреблением природных богатств, безумным отстрелом зверей и птиц — без особой нужды, — они утрачивают нравственные ориентиры и качества, которые были заложены еще в их предках, вроде бы переданы отцом с матерью.

Браконьеры ведь ниоткуда не приходят, это люди нам близкие. Поэтому я не только изобличаю браконьеров, но и наряду со страшными рассказами пытаюсь поэтически высказаться о земле, об общении с рекой, деревьями, полями. То есть о той самой природе, которая нас породила и которую мы безбожно транжирим, может быть, себе на погибель. Хочу дать людям возможность лишний раз прикоснуться к чистоте.

Я никогда не чувствовал себя одиноким в тайге. В лесу я всегда занят впечатлениями увиденного, душевно наполняюсь. Мысли очищаются, голова

становится ясной. Все мелочное, прежде казавшееся непреодолимым, становится второстепенным и уходит. Чувствую зарождение жизни, ее дыхание, вижу, как она начинается — из капли...

— И вот в этом, в возвращении человека к осознанию своей ответственности за содеянное им, вы сейчас видите главную свою задачу? — задал я вопрос, когда Астафьев высказал наболевшее.

— Как говорится, красив не был, а молод — был. Конечно, придирчивей всего я к самому себе. Моя ответственность — это бескомпромиссная работа над словом. Потому даже не раз уже изданное вдруг пересмотрю, схвачусь за голову и сажусь переписывать. Так случалось много раз. С тревогой принимаю в руки каждую новую свою книгу. Открою на случайной странице, прочитаю кусок — вроде ничего, можно работать дальше.

Место свое в литературе я знаю, отношусь к нему очень спокойно, с достоинством, поскольку никто его за меня не зарабатывал, я сам его себе отвоевал. С самого начала меня крыли за мой натурализм, крыли в хвост и гриву. Но сегодня у меня такое положение — отвоевал его себе. — когда критики снисходительно говорят: ему можно, он неграмотный, пусть уж гнет свое.

Надо помнить, что никто не поднесет вам место в литературе и право на слово, на свой стиль. Всего этого каждый добивался своим трудом, настойчивостью. Мне приходилось много учиться, даже грамоте. Я ведь в недавнем прошлом — обычный чусовской рабочий.

Если бы я не стремился к чему-то, не самосовершенствовался, так бы и остался на районном уровне. Может, и печатал бы рассказы, может быть, даже стихи — местного порядка. Надо было преодолевать себя, исправлять вкус. Придерживаюсь гуманистического направления, в основе которого защита и поддержка человеческого в человеке. Наша

всегдашняя задача — утверждение добра, через добро — ниспровержение зла. Конечно, это вроде бы казенная старая истина, но куда денешься. Я вообще весь на старых истинах работаю, новые-то еще нуждаются в проверке. Тем более, многие из них уже низвергнуты самой жизнью, ушли в утиль, а старые — выверены тысячелетиями.

Закрытых тем не бывает. Рождение, жизнь, смерть... Даже о войне уже столько сказано, что лично я смотрю на иные книги с некоторой опаской. Будь моя воля, закрыл бы производственные, деревенские темы, потому что есть только общечеловеческие проблемы, все остальное — спекуляция словом. Конечно, деревня или цех могут и останутся местом действия или поводом для столкновения характеров персонажей, но не более того.

У Федора Абрамова в «Пряслиных» действие происходит где-то у черта на куличках, на далекой от общесоюзного читателя Пинеге. Но проблемы подняты общенациональные, государственные. Как такой откровенный, полновзвучный разговор с читателем можно назвать деревенской прозой?! И я никогда не был деревенщиком, хотя меня причисляют к ним. Как, впрочем, и к какой-то особой «вологодской школе»... Выдумки все это, лукавство. К ним относятся и разговоры об исповедальности. А где ее нет в русской литературе? Критике не хватает мысли, заменяют ее надуманными терминами...

— «Царь-рыба» — как вы сами определяете жанр этого произведения? В некоторых отзывах его называли и романом...

— У нас зачастую как определяют: если толстая книга, то роман, средняя — повесть, тоненькая рукопись — рассказ.

Роман — вещь серьезная, глубокая, глобальная, если говорить о настоящем романе, а не по толщине

судить. Я не чувствую еще за собой таких сил, чтобы написать роман. Я долго искал определение жанра этой вещи. Рассуждал так: это все-таки рассказы, часто отдельные, едва лишь связанные местом действия, но сквозной герой есть — это Аким, и только. И сам себе определил жанр — повествование в рассказах.

Именно, повествование. Само слово как бы уже рассказ, когда человек повествует от первого лица. Замысел вещи давний, и даже не замысел, а потребность. Я очень много ездил в Сибири, но, в общем-то, о современности никогда не писал, капитально не подбирался к такому материалу. Он сам скапливался, стремился наружу...

Вот бондаревский «Берег» — роман. Юрий Васильевич острейшим образом ставит вопрос об одиночестве современного художника. Увы, и он, властитель дум, в конечном счете тоже одинок, и, пожалуй, еще обостренней испытывает это чувство. Да, у Бондарева это выражено с пронзительной силой.

— Получилось, что наш разговор опять вернулся к теме, которой вы касались в его начале, — теме одиночества. Может, его испытывает только человек, оторванный от цивилизации?

— Не соглашусь! Надо еще осмыслить, какое одиночество — городское или таежное — страшней. У Бондарева особенно потрясает эпизод, когда человек пошел за сигаретами и заблудился... в гостинице. Это одна из лучших, на мой взгляд, страниц в прозе Юрия Васильевича и в нашей литературе.

Я же, в меру собственных сил, пытался выразить подобное состояние в другой стихии, природной. И привлечь читателя к этому, задуматься: почему нас постигло такое? Страшно ведь не само по себе одиночество человека, страшна привычка к нему, переходящая в одичание. Реально это проявляется тогда, когда люди вдруг начинают дорожить

одиноким, стремиться к нему. Живя на одной квартирной клетке десятиэтажного дома, мы часто не знаем, кто живет на третьем этаже, кто на пятом.

Понимаю: тридцатые годы, война, толчея, тесное житье в бараках и окопах надоело людям, они стремятся побыть наедине с самими собой. Но побыть — одно дело, а иное — замкнуться. Вспышка оголтелого мещанства — не боюсь этого резкого слова — происходит как раз от этого очень тяжелого состояния, не свойственного нашему народу и обществу. Коли мы сейчас заговорили о нравственных вопросах, то мы должны в открытую сказать об этой беде: о стремлении людей затеряться в собственном мирке. Что-то надо с этим делать, а писателям — хотя бы пока поставить этот вопрос. Преодолевают, разрешают проблемы сама жизнь, отнюдь не писатель. Так что часто от писателя требуют невозможного: реши, как задачку, нашу жизнь...

Мы должны заострить внимание общества на острых углах современности, и, кажется, я, сам того не предполагая, попал книгой в болевую точку — в отношения природы и человека, нравственные отношения их между собой. Бездумное махание топором в лесу, «чирканье» спичками — несет беду. Мы губим не только леса и реки — равнодушием к природе разрушительно влияем на состояние духа самого человека. Вот и природа сама по себе начала давать сдачу в виде энцефалитного клеща, пустырей, эрозии почвы, загнивания воды... Это также отражается на человеке.

В «Царь-рыбе» много описаний природы, над которыми я всегда работаю с особым удовольствием. Мне хотелось заострить внимание на том, о чем пора кричать во весь голос. Писатель не может, если только он любит свою Родину, бестрепетно относиться к своей земле. Он уважает свой язык, свой народ. Проходить

мимо этих назревших вопросов — о взаимоотношении человека с природой — тоже нельзя.

Мы часто думаем, что нравственность воспитывается в школе, с помощью радио, газет. Все-таки думаю, оно начинается гораздо раньше, при первых самостоятельных шагах по земле.

— У вас, наверное, большая почта. Как читатели приняли это ваше произведение?

— Писем много. Большая часть — встревоженных. Особенно из Сибири. Пишут ученые и простые люди; лейтмотив: тема затронута вовремя.

— Вы уже закончили работу над этим произведением, возвращаться к нему не будете?

— Вещь большая, и я просто устал от нее физически. И она от меня отстала, редактуру закончил, с нее довольно.

— В чем, на ваш взгляд, нравственный долг писателя перед обществом?

— Выразить, как и понять себя, очень сложно. В «Царь-рыбе» есть много страниц, которыми я остался недоволен. Самовыражением писатель занимается всю жизнь. Что касается некоего долга, мне кажется, писателю не столько надо говорить о чести, достоинстве, ответственности, сколько самой работой, позицией, исполнением своего гражданского долга подавать нравственный пример. В этом задача писателя. Нравственность писателя в том, чтобы работать по совести.

— Собственно говоря, а как складывается ваш реальный писательский день?

— Сложно, мучительно работаю. Правлю очень много, ищу слова. Чтобы написать человека, должен хотя бы в уме иметь зрительный образ. Выдумщик я неважный, хотя пофантазировать люблю. Не очень владею сюжетом, поэтому скачу. Обычно знаю начало и

конец, но плохо знаю середину. Это мучает меня. О своей работе рассказывать трудно — интимное дело...

Если нынешний молодой читатель прочтет повествование в рассказах «Царь-рыба», то уже, пожалуй, и не удивится той степени человеческой агрессивности, что запечатлена астафьевским словом. Да и слово «экология» стало обыденным, хотя за ним все чаще проглядывают контуры надвигающейся на нас катастрофы. Но в середине семидесятых годов разговор, затеянный Астафьевым, посчитали крамольным.

Публикация «Царь-рыбы» на страницах «Нашего современника» доставила ему много горечи. Сначала она подверглась серьезной правке еще в редакции журнала, где, кстати, писатель состоял членом редколлегии.

Надо сказать, что «Наш современник» стал особенно замечен после того, как в него перешла большая группа «деревенщиков» из «Нового мира». Как известно, либеральная часть редакции этого журнала подверглась резким нападкам, была обвинена в космополитизме, а А. Т. Твардовский ушел в отставку. Поэтому не удивительно, что бдительная цензура не обходила «Наш современник» своим вниманием, требуя от редакторов «тщательной работы с авторами». Впрочем, главного редактора журнала Сергея Викулова Астафьев считал хорошим организатором и «умеренным цензором». «Не диво ли, — писал он, — что давимые, ловимые, ругаемые в высоких идейных кабинетах направителей морали, истязаемые журналы тем не менее умудрялись печатать не просто хорошую литературу, но и вещи выдающиеся».

Особенно богатым на «вещи выдающиеся» стал для «Нашего современника» 1976 год. Сначала вышла повесть Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное

ухо», затем читателю были представлены роман Сергея Залыгина «Комиссия», который очень высоко ценил Астафьев, и сразу ставшая знаменитой повесть Валентина Распутина «Прощание с Матерой». В середине того же года увидела свет и «Царь-рыба», которая печаталась в четвертом — шестом номерах.

Неувязка произошла с продолжением публикации в пятом номере, неожиданно приостановленном цензурой. Главному редактору С. В. Викулову посоветовали не загружать цензоров «дерзкой, чуть ли не антисоветской продукцией».

К тому времени Главное управление по охране государственных тайн в печати приняло решение читать не рукописи, одобренные журналами и издательствами, а сверстанные журналы и книги. «Мы-то, писатели, — рассказывал Астафьев, — помню, обрадовались: к печатному тексту придирааться меньше будут, ведь редакция и главный редактор тоже цензор, да еще какой! Но все это хитромудрое начинание больно ударило и по авторам, и по издателям. Что вот делать редакции „Нашего современника“, когда верстку пятого номера надо подписывать в печать, шестой номер поджимает, типография неустойку платить затребует, а то и вовсе расторгнет договор и вышвырнет журнал, „не умеющий работать с автором“, на улицу? Оставался один-разъединственный шанс — брать главному редактору портфель под мышку и идти на поклон в идеологический отдел Цека, упрашивать крупного, всегда важными делами занятого направителя советской морали, чтоб он убедился, что ничего особенного в повести нет...»

В конце концов, «главный покаянно голову склонит... согласится, что вот проглядел, что разберется со своими подчиненными... Далее автору из редакции кричат: „Горим из-за тебя! Прогрессивка

накрылась! А у нас, между прочим, как и у тебя, семья, дети, и тоже, между прочим, жрать хотят...”

Так-то вот довели и меня, — подводит невеселый итог Виктор Петрович, — до полной прострации; махнув рукой, пошел я ложиться в больницу. Делайте, мол, что хотите...».

Здесь следует сказать, что в редакции еще при подготовке рукописи к публикации были изъяты две главы — «Дамка» и «Норильцы». К удивлению своему, «Дамку» Астафьев почти без редакционных придилок опубликовал в январе 1976 года в «Литературной России», зато про главу «Норильцы» ему по секрету шепнули, что увидит он ее напечатанной не раньше, чем лет через двести. Сдали у писателя нервы: «Полное у меня к ней отвращение появилось и с тех пор не правил я ее, ничего не восстанавливал, не делал новых редакций, как это бывало у меня с другими повестями и рассказами».

Однако годы спустя наткнулся Астафьев на пожелтевшую рукопись «Норильцы» и ощутил, что именно этого звена остро недостает повести. Выправил, кое-где дописал текст и, назвав ее более точно и современно — «Не хватает сердца», отправил в тот же «Наш современник». В восьмом номере за 1990 год, через четверть века после написания, она пришла к читателю.

Дороги к успеху тернисты и непредсказуемы. Даже у прилично покровсанной редакторами и цензорами повести «Царь-рыба» читательская судьба оказалась одной из самых счастливых. Как замечает в предисловии к одному из ее последних изданий Лев Аннинский, «Астафьев плачет от выбросов и поправок, желает редакторам подохнуть, но смиряется...

...И не знает, что впереди — триумф, несоизмеримый с репутацией автора, с коего столица только что сбила „слой провинциальной штукатурки“».

В 1978 году книга выходит отдельным изданием в более или менее завершенном варианте и практически сразу же удостоивается Государственной премии СССР — премии, присужденной, между прочим, совместным постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР.

По мотивам повествования был снят фильм «Таежная повесть». В полностью восстановленном виде «Царь-рыба» вышла в свет в красноярском издательстве «Гротеск» в 1993 году. Всего же она была издана более ста раз. Заметим, что великолепное подарочное ее издание осуществлено издателем Геннадием Сапроновым и художником Сергеем Элояном в 2002 году.

Широкий резонанс книга имела и за рубежом. Уже в своем привычном, шутиливом, тоне пишет Астафьев о том, как мучались переводчики с переводом как «витиеватого, непереводаемого названия, так и с текстом, перенасыщенным „русскостью“». Но, замечает автор, «это меня мало волновало. Главное, что наш, российский, читатель воспринял книгу взыбиль, где и бурно, и чудеса с нею разные случались, и приключения».

Возвращаясь к своим мыслям и наблюдениям, порожденным откликами на книгу, писатель выносит суровый приговор времени:

«Пусть придут другие радетели слова и отразят „деяния“ свои и наши, постигнут смысл трагедии человечества, в том числе и поведают о сокрушении Сибири, покорении ее, отнюдь не Ермаком, а гремящим, бездумным прогрессом, толкающим и толкающим впереди себя грозное, все истребляющее оружие, ради производства которого сожжена, расплавлена, в отвалы свезена уже большая часть земного наследства, доставшегося нам для жизни от предков наших и завещанного нам Богом. Они, богатства земные, даны нам не для слепого продвижения к гибельному краю, а

к торжеству разума. Мы живем уже в долг, ограбляя наших детей, и тяжкая доля у них впереди, куда более тяжкая, чем наша».

Одна из первых и центральных глав «Царь-рыбы» — рассказ «Капля». После рыбалки, сытной ухи таежники улеглись спать, и один только автор-гость бодрствует. Он рад этой возможности побыть с ночной тайгой наедине. И тайга вроде бы та же, и над головой вечное небо то же... Все родное, но...

Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад
Невозможно...

Не зря эти строки предваряют последний рассказ повествования — «Нет мне ответа». Но сейчас наш разговор — о «Капле».

«Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом над далеким Енисеем небе различил две мерцающие звездочки, величиной с семечко таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят: „тот свет“, — я не за гробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением. А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал: радость кратка, преходяща, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее и укатится перекатным громыханьем. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем,

рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно-сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе-притягательном будущем. Мудра, выросла печаль — ей миллионы лет, радость же всегда в детском возрасте, в детском обличье, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов — чем гуще тайга, тем они реже».

Лирический герой, alter ego писателя, задается вопросом: «Но при чем тут небо, звезды, ночь, таежная тьма?» И дает ответ, который лейтмотивом проходит через все повествование: «Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством». И эта возвышающая боль заставляет задуматься над тем, о чем говорим весьма часто, вроде бы безразлично.

«Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети — счастье, дети — радость, дети — свет в окошке! Но дети — это еще и мука наша! Вечная наша тревога! Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу — все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими — никогда. И еще: какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет? Простит?»

Боль автора — не только о собственных детях. Это боль за всех тех, кто идет за нами.

Переживания Астафьева, по-моему, наиболее точно отразил Анатолий Ланщиков. «Страшную, нечеловеческую войну выдюжили, отстояли страну, победили, и началась долгая чередая мирных лет; там, на фронте, казалось, что окончится этот кошмар и начнется какая-то новая и непременно светлая жизнь, а

потекли эти мирные годы, незаметно вплетаясь в десятилетия, и жизнь не становилась светлой, жизнь становилась какой-то мутной, хотя по-прежнему в ночи мерцали те же звезды, напоминая о вечности и соблазняя ею, а вот тайга под напором людской дури и жадности начала терять признаки своей всевечности: гибнут озера, реки, умирает лес, в жестокой алчности истребляется зверь и рыба, будто конец света наступает и после тебя уже никому не жить».

Пугающая картина, нарисованная Астафьевым, предстает перед нами:

«Осень тысяча девятьсот семьдесят первого года по всей России выдалась затяжная. И в Сибири — неслыханное дело! — почти до декабря не было снега...

Справедлива, мудра, терпелива наша природа, но и она содрогнулась, оглохла в ту осень от грохота выстрелов, ослепла от порохового дыма.

На лодках, с бочками горючего, с ящиками боеприпасов, с харчами в багажниках двинулись налетчики вверх по Сыму, в глушь молчаливой тайги. Нет на Сыме ни инспекторов, ни милиции, никакого населения, но охотники все равно врозь правятся, боясь друг дружки, крадутся по реке...»

«Исчезли обычаи, предания, правила, законы, лишь страх перед штрафом или тюрьмой сдерживает от полного разграбления тайги. Люди живут одним днем, одним сезоном — побольше б зараз урвать задарма. Впрочем, и охота, и рыбный промысел — это тоже работа. Но работа работе рознь. Испокон веку кормился таежник и лесом, и рекой, только ведь брал с них ровно столько, сколько нужно, и тогда, когда можно. Теперешняя же работа на реке или в лесу напоминает грабеж: вытащат пять рыбин, а заодно пятнадцать загубят, спилят кедров, чтобы побыстрее и побольше взять орехов, зверя и птицу готовы лупить в сезонье и в

несезонье», — обобщает Ланщиков свои впечатления от раздумий Астафьева.

В ностальгической гордости за свой край Виктор Петрович приводит в заключающем повествование рассказе «Нет мне ответа» слова профессора Симона Палласа, побывавшего в Красноярском крае в 1772 году:

«Вокруг Красноярска чем более урожаю, тем жить дешевле, да я и совершенно уверен, что хотя в благополучной сей империи России нет ни одного уезда, где б на дороговизну жаловаться было можно. Однако ни в которой части сего государства земные продукты так дешевы не находятся, как здесь... О всеобщем недороде, кроме обыкновенно хорошей жатвы, здесь не знают и примеру...»

Слова профессора будят в Астафьеве собственные воспоминания: «„Быть веселеньку!“ — желание сие, укрепляясь в пути, пробилось сквозь толщу времени. Шумел базар, гулял базар, и не хватало на нем рядов. Торговля с вozов, на берегу — из барж и лодок, рыбу продавали бочками, попудно свежую и соленую, вяленую и копченую, мороженую и сушеную, красную и белую, „низовскую“ и „верховскую“, большую и маленькую — на всякий вкус и спрос». И все это — не из чужой памяти заимствует автор. Это — живые впечатления собственного детства, детства сурового, скупого на радости.

«Царь-рыба» — глава, давшая название всему циклу, собирает воедино все важнейшие эпизоды первой части. Автор оттесняется как бы на задний план, на место стороннего наблюдателя событий — ведь он, хотя человек и здешний, но все-таки уже давно гость в тайге.

Центральный эпизод главы — единоборство Игнатъича с огромным осетром. И был это не простой осетр, а царь-рыба, о которой еще дедушка суеверно

говаривал: «...Лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее». Но напористый и самоуверенный от природы Игнатийч заглушает в себе дедушкин голос. «Упускать такого осетра нельзя, — думает он. — Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому якову. Дамке отродясь не попадала и не попадется — он на реке-то не рыбачит, сорит удами...»

Завязывается страшный поединок. Рыба сильнее человека, но человек — умнее рыбы, это он придумал и изготовил всяческие приспособления для того, чтобы одолеть ее. Рыба боролась за свою жизнь, человек — за небывалый охотничий трофей. На стороне рыбы — правота, человек же отдался во власть азарта. Рыба здесь олицетворяет природу с ее силой и бессилием, противная сторона — насилие над природой и человеческую гордыню...

В самый драматический момент борьбы человек вдруг оказывается за бортом. Он путается в изготовленных им же самым опасных снастях, к нему прибивается изможденная рыбина, и вот они рядом, тело к телу — еле держащийся за борт человек и израненная его крючками рыбина.

«Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один — медведь, волк, рысь — грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом рассказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, тупоголовая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя — у зверя глаза умные, а не пороссячи, бессмысленно-сытые глаза — такое-то на свете бывало?

Хотя на этом свете все и всякое бывало, да не все людям известно».

К человеку пришли воспоминания о той давней жизни, которая вроде бы не предполагала такой развязки. Вспомнилось ему, как он в юности оскорбил, мерзко оскорбил юную односельчанку Глашку. Они и теперь живут в одном селе, вернее, она живет теперь в селе, а он вот здесь, в воде, рядом с громадной рыбиной заканчивает свою жизнь. И все же хватило сил просипеть: «Гла-а-аша-а-а, прости-и». И с тем хотел разжать пальцы, отпустить борт лодки, но пальцы не разжимались, их свело судорогой. — Так продолжает пересказ-анализ А. Ланщиков, углубляясь в размышления Астафьева.

Словно услышал кто-то эти его прощальные и последние слова, прозвучал в речной темени звук лодочного мотора, и Игнатъич понял, что это брат, Командор. Волна придала рыбине добавочные силы, и наконец-то она, рвя свое тело, отодралась от смертельных пут и ушла в холодную глубину.

«„Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!“ — молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения».

Вот так и разошлись они по-хорошему, — если считать хорошим все, кроме смерти, кроме гибели, — природа и отделившийся от нее человек.

Завершает первую часть повествования рассказ «Летит черное перо», в котором Виктор Астафьев с грустью повествует о том, как грабят кому не лень и у кого совести нет уже стонущую от нашествия двуногих дикарей тайгу.

«Птица сопрела на складе. Вонь плыла по всему поселку. „Товар“ списали, убытки отнесли на счет стихии, повесили кругленькую сумму на шею государству, а глухарей навозными вилами грузили в кузова машин и возили в местный пруд, на свалку.

Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки; и как вздымался ветер, сажею летело над поселком Чуш черное перо, поднятое с берегов обсохшего пруда, летало, кружило, застыл белый свет, рябя отгорелым порохом и мертвым прахом на лице очумелого солнца».

Всего два коротких абзаца, и перед глазами читателя — картина огромная и страшная. Казалось, ничем не приукрашенная, горькая правда должна нарушить коллективное равнодушие, побудить людей к действию... Но что изменилось с тех пор? Как в таких случаях принято говорить, вопрос чисто риторический. История с такими масштабами варварского уничтожения природы еще не сталкивалась. А ведь с того времени, когда русские писатели ударили в набат, прошло уже полвека. Достаточно, чтобы понять то, о чем предупреждает нас Астафьев: варварское отношение людей к природе равносильно самоуничтожению. С деятельностью человека связаны приобретающие угрожающий характер тяжелые природные аномалии. Природа, которая долгое время находилась в своей вековой неизменности, бьет тревогу. Почти ни у кого не вызывает сомнения глобальное потепление. Все чаще приносят огромные бедствия мощнейшие ураганы и разрушительные землетрясения, невиданные лесные пожары и наводнения. Человек начал пожирать результаты своей хищнической деятельности.

Летит над землей черное перо.

«Уха на Боганиде» открывает вторую часть повествования. Перед нами — нелегкое детство Акима. Полуголодное существование иногда заставляло его отправляться на поиски остатков от вольготной таежной трапезы различных хищников.

«На обогретом, с боков заголенном серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое перо, хотел побежать скорее — может, сова или песец задавили линялого гуся, косточки да остались от него, но сапоги, хоть в них и было толсто подвернуто, хлябали, вязали ноги. Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо листьев у цветка были крылышки, тоже мохнатые два крылышка в слабом, дитячем пере, и мохнатый, точно куржаком охваченный, стебелек подпирает чашечку цветка, в чашечке мерцала тоненькая, прозрачная ледышка».

Согласимся с критиком. В самом деле может показаться, что избыточность авторской наблюдательности, которую Астафьев выразил при описании цветка, не вполне уместна, когда речь идет о голодном мальчишке, рыскающем по тундре в поисках случайной, даровой пищи. Автор повествования и сам не раз переживал в детстве чувство голода, знает и помнит цену куска хлеба или какого другого продукта, способного утолить голод. Ему известно, по детским впечатлениям, состояние, которые он описывает. «После Аким не мог вспомнить, нашел он изорванного гуся или какую другую еду? Вроде бы нашел, глодал сырую кость, облепленную пером и мохом, да, может, это было совсем в другую весну... однако цветок, тот стойкий цветок тундры, приручивший само солнце, жил и цвел в памяти отдельно от всех воспоминаний, потому что где-то и в чем-то оказались сходными жизнь Акима и северного цветка с трудно запоминающимся, из-за моря привезенным названием».

Не случайно помянул автор «другую весну» — стало быть, не в диковинку такие вёсны Акимке, стаю быть, голодал он довольно часто. Но не назовешь такое детство несчастным, если в нем, хоть иногда, но появлялись неожиданные цветы, которые дарила

ребенку окружающая его природа. Дальше в рассказе «Уха на Боганиде» повествуется о матери Акимки и о его сестре Касьянке, о том, как они остались сиротами, и о тех людях, что окружали их в детстве.

В главе «Поминки» мы встречаем Акима взрослым, работающим в геологическом отряде в районе Нижней Тунгуски. Как замечает Астафьев, числится водителем вездехода. На самом же деле, будучи человеком сноровистым, но не нахрапистым, исполнял он самые разные работы. Но почему — «числился»? Да вездеход давно отжил свой век, а его все еще не списали — вот и мучаются с этой «техникой» покладистый Акимка и его помощник Петруня.

Однажды увидел Акимка в реке лося, решил подкормить своих товарищей, сидящих на консервах и концентратах, свежим мясом, вернулся в лагерь, схватил ружье, и назад. За ним увязался и Петруня. В определенном месте Акимка приказал Петруне остановиться и в одиночку стал выслеживать лося, но тот словно под землю провалился. Потом раздался крик Петруни. «Не слухом, нет, подсознанием скорее Аким уловил, после уж уяснил — кричал человек, и так может кричать он, когда его придавливает насмерть деревом или чем-то тяжелым, и сам крик тоже раздавливается, переходит в надсадный хрип не хрип, крехт не крехт, стон не стон, но что-то такое мучительное, как бы уж одной только глубиной нутра исторгнутое».

На поминках Петруни Аким сталкивается с бывалым «путешественником» Гогой Герцевым. Потом между ними произойдет трагическое столкновение. Но об этом — чуть позже, а пока обратим внимание на то, чем кончаются «Поминки»:

«Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске, он нарочно сделал отворот, долго шарился по мрачной реке Ерачимо, пытаясь найти место, где стоял и работал когда-то

геологический отряд. Но сколь ни бегал по речке, сколь ни кружил в уреме, следов геологов и могилы друга найти не мог.

Все поглотила тайга».

Казалось бы, давным-давно откатилась в прошлое война, но продолжают гибнуть люди, навеки теряются их могилы, время по-прежнему поглощает память о человеке, который уходит в вечность неизвестным, потерянным и забытым.

В главе «Туруханская лилия» вновь появляется рассказчик, и повествование ведется от первого лица: «Наконец-то побывал я на Казачинских порогах! Не проплыл их на пароходе, не промчался на „Метеоре“, не пролетел на самолете — посидел на берегу у самого порога, и он перестал быть для меня страшным, он еще больше привораживал, поднимал буйством какую-то силу, дремлющую в душе».

Во время путешествия по родным краям Виктор Астафьев многое узнаёт и вспоминает. Но многое для него оказывается как бы внове, непривычно, и поднимаются ворохи чувств и мыслей, которые никак не складываются в стройные размышления — нет тишины и нет покоя.

«Мы обмылись водою — купаться нельзя — величайшая в мире ГЭС держит такую толщу воды, что она не прогревается, температура ее почти постоянная зимой и летом. Чалдоны невесело шутят: если охота купаться, валяй в Заполярье...

Нет и никогда уж не будет покоя реке. Сам не знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, заарканить природу...

Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать, брать — миллионы, тонны, кубометры,

киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?..»

Писатель отправился за тысячи верст от Казачинского порога на Нижнюю Тунгуску, «где, по слухам, нет еще враждебных природе мет человека».

Походы по таежным тропам, впечатления от увиденного, пережитого... «Ты рад тайге, и тайга вроде бы рада тебе, только ты вот уже не тот, будто наслоились на тебя десятилетия чужой, посторонней жизни, не связанной с родным краем. Он страдал без тебя, ты, блудный сын, страдал без него. Но блудный сын может любить если и не сильнее, то острее, и эта запоздалая любовь сладостна и горька одновременно...»

И вдруг во время похода за свежими червями для рыбалки — редкостная находка:

«Понявши, что червей мне не раздобыть, я сломил пучку, зубами содрал с нее жесткую кожу и жевал сочный побег, прыгая с камня на камень, как вдруг, при выходе из завала, среди наносного хлама, пробитого там и сям пыреем, метлицей, трясункой и всякой разной долговязой травкой, увидел лилию, яркую-яркую, но как-то скромно и незаметно цветущую среди травы, кустов и прибрежного разнотравья.

— Саранка! Саранка! — себя не помня, заблажил я и чуть не свалился с камня в ледяной поток...

— Да как же тебя занесло-то сюда, голубушка ты моя ясная? — защипало разъеденные комарами веки — неужто такой я сентиментальный сделался. Да нет, не спал вот двое суток, гнус душит, устал...

И здесь, на первобытно-пустынном берегу реки, надо было перед кем-то оправдаться за нахлынувшую на меня нежность».

А потом, когда будут возвращаться домой, Акимка вдруг скажет: «Ах, собаки! Собаки!.. Забыли саранку!

Сигов вот не забыли! А саранку, такую хоросыньку, забыли! Сто мы за народ?!

Я ничего ему в ответ не говорил, потому что верил: саранку вынесет потоком в реку, выбросит на берег Тунгуски, Енисея ли, и, поймавшись за землю, хоть одно семечко дикой туруханской лилии прорастет цветком».

Одним цветком подобное семечко уже проросло — проросло, как мы помним, в рассказе «Уха на Боганиде», проросло в сердце и памяти Акима, когда он был еще мальчишкой. Так одарить автор мог только очень близкого ему героя...

Гога Герцев — антипод Акима. Как замечает Лев Аннинский, он не просто противостоит ему, а противостоит как победитель. В мире побеждает дух Гоги, «а от этого все прочие качества, и деловые, и человеческие, скособочиваются и выворачиваются набок. Не отменяясь, но означая полную подмену всего: позиций, поступков, судеб...».

Забрасывая Акима и все необходимое ему в тайге для долгой и одинокой жизни имущество, пилот вертолета из рассказа «Сон о белых горах» шутит: «Две Бельгии и полторы Франции в твоём распоряжении!» Напрашивается сравнение Акима с романтическим героем Даниеля Дефо — Робинзоном Крузо, с детства знакомому большинству читателей. Только вот тот с его имуществом, которое при нем оказалось на необитаемом острове, через полчаса в зимней Сибири превратился бы в труп.

Правда, на «необитаемом острове» Акима стояла готовая избушка. Ну уж, а остальное уже — дело твоего ума и твоих рук. Зато — неограниченная свобода и вдобавок — полная независимость: ни ты ни от кого не зависишь, ни от тебя никто не зависит. Одним словом, жизнь по принципу: как потопаешь, так и полопаешь. Хочешь молчать — молчи, хочешь говорить — говори, но лучше пой: начнешь сам с собой говорить — подумаешь,

что умом начал трогаться. И побольше работай руками — тут помощников не предвидится.

Но побыть в гордом одиночестве Акиму так и не удалось. Вот что предстало его взору в зимовье:

«Кучей лежащее на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами оленьей шкурой, зашевелилось, и из-под него заглушенно донеслось:

— Го... Го... Го-го...

Аким бросился к топчану, поднял шкуру, разрыл тряпье...

„Ба-а-ба-а-а!“ — отшатнулся Аким».

На нарах умирала от болезни и голода совсем молодая женщина. И все полетело прахом: охота, работа, подготовка к зиме. Аким на долгие дни стал и доктором, и санитаркой, и поваром, и нянькой. По бреду больной, по вещам, по следам и порубкам Аким уяснил: в избушке было двое, девушка и мужчина. Когда Эле станет получше (так звали незнакомую девушку), Аким отправится искать этого мужчину и найдет его мертвым. Им окажется Гога Герцев, тот самый Гога, с которым он чуть-чуть поцапался еще на притоке Ерачимо (рассказ «Поминки»), затем основательно поссорился в Чуше, когда Гога выменял у инвалида-алкоголика за поллитровку медаль «За отвагу» и смастерил из нее отличную блесну. А ведь тогда дело дошло до того, что стреляться удумали — «как пересекутся в тайге пути, чтоб и концов не было». Вот и пересеклись их пути.

«Похоронив Герцева, Аким... поднялся к порогу и в прозрачной воде увидел зеркально-мерцающую катушку, поднял со дна складной спиннинг, по леске подтянулся к тому, что было тайменем».

Вот из-за этого тайменя и погиб Гога. Он поскользнулся на порогах, ударился затылком о камень и упал в реку, потом тело его выбросило на берег. И не помог ему в тайге принцип, которым руководствовался

он, сын второстепенных актеров, в своей жизни — «... всему научиться, что нужно для жизни, независимой от других людей, закалить дух и тело, чтобы затем идти куда хочется, делать, что вздумается, и считаться только с собою, слушать только себя».

Гога — человек честный и аккуратный: женился, завел дочь, а потом одумался. Он платил алименты и мечтал заработать большую деньги, чтобы зараз рассчитаться с ними. Библиотекарше Людочке он сразу же сообщает, что женат — о дальнейшем пусть уж думает сама Людочка. Работал он хорошо, но «от» и «до», сколько положено. Никогда не оставался в долгу. Элю тоже не обманывал, пригласил, и она пошла с ним. Тайгу он знал и жить в тайге умел, но и здесь он хотел жить свободно и шутя. Однако тайга шуток не любит. Расплатился за все Гога собственной жизнью и расплатился бы второй — Элиной, да только случай спас ее, а если говорить точнее — Аким.

А казалось, сбывается жизненная цель Гоги: «бродит, где хочет, куда хочет, делает, что вздумается, ограничив свои потребности до минимума, но все, что нужно человеку не барахольных наклонностей, у него есть: палатка, мешок, нож, топор, бритва, малокалиберное ружье, из которого он за сто метров попадает в гривенник и, если надо, убьет лося, медведя, тайменя на отмели».

Аким заметил в тайге, что все чаще встречаются места соболиных схваток — оседлый соболь отстаивал свои владения, изгонял с них ходового соболя. В схватках этих побеждал сильнейший. Но соболь-то не для себя обороняет пространство, а для своей семьи, чтобы продлить свой соболиный род.

Гога же отринул и семью, и дружбу, и сыновьи чувства (родителям он давно уж не писал), а свою мнимую свободу он возвел в личный культ, доведя естественную человеческую потребность до абсурда.

«Это он, Гога, не считал людей ни друзьями, ни товарищами, он сам по себе и для себя жил», Аким же любой человек, в тайге встреченный, — свой человек. Поэтому, увидев мертвого Гогу, он заставляет себя надеяться, что это все-таки наваждение — больно много всего на одного человека: сперва девка, часующая на нарах, теперь вот мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, не товарища при жизни...

Проблемы больной Эли полностью заслонили собой то, ради чего Аким и оказался в дальнем зимовье. Вспомнил как-то: «Под договорчик-то аванс взят, пятьсот рубликов!.. А-а, как-нибудь выручится, выкрутится, не впервой в жизни горы ломать, да из-под горы выламываться, главное — человека спасти! Там видно будет, что и как».

Мы не знаем, как дальше сложится жизнь у Акима, но знаем, что она у него легкой не будет. Но вот другим, тем, кто видит разницу между жизнью и базаром, на котором каждый норовит извлечь только выгоду для себя, будет с ним просто и надежно.

В беседе со мной о «Царь-рыбе» Астафьев как-то заметил: не только этой повестью, всю оставшуюся жизнь буду настаивать, талдычить о том, что человек, относящийся варварски к родной реке, родному лесу, занимается самоистреблением. Важнейшая тема, пронизывающая его творчество — «Человек и природа», — постоянно преследует Виктора Петровича, не дает ему покоя. Он постоянно касается ее в переписке с друзьями и знакомыми, высказывает резкие и категоричные суждения. Вот, например, взятое почти наугад одно из сохранившихся писем Сергею Баруздину, известному литератору, главному редактору журнала «Дружба народов»:

«Дорогой Сергей Алексеевич!

Я все лето в Сибири, обживаю избу в родной деревне, которую купил для работы. Но работать пока некогда, много хлопот, много поездок, которые, увы, не обходятся без пьянки — это бедствие какое-то, и от него не так-то просто отмахнуться или спастись.

Работать на бумаге почти не довелось, но перевидал и передумал много — за Сибирь взялись вплотную, и поскольку на моих глазах был разгромлен Урал, то меня оторопь берет от размаха того погрома, который развернулся здесь. При таком темпе и при таких хозяевах и Сибири хватит нам ненадолго, а это последний наш форпост. Потом надо будет ложиться и добровольно помирать. Пропадем без войны, без внешнего вмешательства, но зато при передовой системе.

Журнал я ваш получил давно, а не успел поблагодарить за него только из-за того, что не было времени присесть за стол.

Так благодарю сейчас, издалека, и желаю доброго здоровья. Розе кланяюсь.

Ваш В. Астафьев 17 августа 1979 г.».

Но, пожалуй, больше всего внимания проблеме взаимоотношения человека и природы уделяет Виктор Астафьев в письмах Феликсу Штильмарку, ученому, доктору биологических наук, одному из крупнейших знатоков заповедников России и автору нескольких замечательных книг. Вот некоторые из них: «Лукоморье — где оно?», «На службе науке и природе» (летопись Кондо-Сосвинского боброво-соболиного заповедника), «Таежные дали», «Историография российских заповедников». В этих книгах — свежесть взгляда, достоверность очевидца, боль от надругательств над родной природой, попытки найти выходы из создавшихся тупиков.

Коллеги неизменно отзывались о нем как о разностороннем ученом-естествоиспытателе, энергичном авторе природоохранных проектов, самоотверженном защитнике особо охраняемых природных территорий. С его непосредственным участием были созданы такие прекрасные заповедники, как Малая Сосьва, Юганский, Сохондинский, Таймырский, Центрально-Сибирский, Брянский лес.

Тяга ученого к литературной деятельности неслучайна — родился он в семье знаменитого советского писателя Роберта Александровича Штильмарка (1909–1985), автора популярного приключенческого романа «Наследник из Калькутты». Перед своей смертью Феликс Робертович завершил работу над рукописью, в которой рассказывает о незабываемых встречах своей жизни. В одной из ее глав приводятся письма Виктора Астафьева за двадцать лет переписки с ним и отцом. Передавая мне рукопись, Феликс Робертович рассказал о том, как завязалось их знакомство:

«Виктор Петрович в 1970-х годах лично познакомился на каком-то писательском сборище с моим отцом, который в 1940-х — 1950-х годах отбывал тюремно-лагерный срок в енисейской Сибири, в том числе и в Игарке, где служил при так называемом „крепостном театре“. Конечно, симпатии Астафьева к отцу были связаны и с необычной историей создания им романа „Наследник из Калькутты“.

Как-то я послал В. П. Астафьеву отзыв об одном его произведении. В январе 1979 года на читательской конференции по книгам Астафьева в Москве я попросил Виктора Петровича о встрече, которая вскоре состоялась в Переделкине. Он согласился тогда похлопотать о переиздании „Наследника из Калькутты“, который при жизни автора был запрещен Госкомиздатом РСФСР.

Кстати, раньше, в 1960-х годах, я жил в Красноярске. Позднее часто доводилось ездить туда по своей работе, связанной с охраной природы и созданием новых заповедников. Когда В. П. Астафьев возвратился на родину в Овсянку, я стал с ним чаще встречаться. Однажды мы ходили на Столбы. Все это сблизило нас, и почти до конца его жизни я имел счастье и честь получать письма от великого сибиряка. Благодаря Виктору Петровичу в 1989 году, уже после смерти отца, „Наследник из Калькутты“ переиздан в Красноярске с моим послесловием. Содействовал Астафьев и в публикации романа-хроники „Горсть света“, изданной в Москве в 2001 году.

Имеющиеся у меня письма В. П. Астафьева весьма интересны как своей непосредственностью, так и информативностью. Особенно поражают страстные высказывания писателя о насилии людей над природой, его боль и страдания из-за этого. К сожалению, мне не всегда удавалось разобрать его весьма трудный почерк, поэтому некоторые слова и даже отдельные фразы остались непрочитанными».

Итак, перед вами письма из личного архива Ф. Р. Штильмарка. Вначале — два письма, адресованные его отцу, Роберту Штильмарку.

«Дорогой Роберт иль Роман!

Полмесяца жил я в Москве, каждый день собирался Вас навестить, но задержали, затискали делами, точнее, видимостью дел до хвори — погода плохая, сыро везде, а у меня — хроническая пневмония, ну, и плюс болезни, которые сопровождают человека сидячей работы всюду и везде. Приехал сын, и меня на машине — к тетушке в Хотьково, глянули на карту — Балашиха совсем в другом конце, сын — водитель молодой и зеленый, вот и не рискнул делать крюка, уехали домой. Первый раз я ехал этой древней дорогой — через Переславль, Ростов,

Ярославль — на Вологду. Какая тихая, теперь уже обманчиво притихшая Россия! Представляю, как тут было при царе-кесаре, и зависть к предкам охватывает — жили, никуда не спешили, ничего не боялись, одного барина почитали, а теперь-то их, вон, по тыще на каждого трудящегося развелось! И все кланяться велют, и почитать их, а главное — идею, по которой они вознеслись и здравствуют.

Мой папа тоже зимогорил в Енисейске, правда, не без вины, а по причине дурной своей башки. Сейчас у меня доживает век: дети, сотворенные им с маменькой, видеть его не желают, да и мало их осталось. Поумирали, поспились.

Есть о чем поговорить нам, есть! И я непременно Вас навещу, как буду „посправней“, навещу скорее всего в октябре, что-то в первой половине, а пока удалюсь в деревню, отлеживаться после „редактуры“, далеко еще не завершенной, т. е. мною-то она сделана, но еще изд-во не начинало „работу с автором“...

Статью Вашего сына Феликса я читал в „Нашем современнике“, и она мне понравилась^[83], жаль, что не довелось мне с ним встретиться во время работы над „Царь-рыбой“, впрочем, и от того уже, что я знал и видел, у меня уже раскалывается башка, а он бы, как ученый, добавил бы мне еще „материалу“... Ну, крепитесь, держитесь и прочее! Поклон Вашей Маргарите Дмитриевне, и Вам, и Феликсу от всего нашего вывода!

24 августа 1976 г.

В. Астафьев».

13 октября 1980 г., Овсянка.

«Дорогой Роберт Александрович!

Письмо Ваше нашло меня уже на родине, куда я перебрался еще в июле и, поскольку переезд в наше

время и в нашем возрасте дело очень тяжелое, для начала заболел, но воздух родины не только был „сладок и приятен“, но и сух в отличие от европейского, где мело и льет с весны, то я поправился, и сейчас, осенью, легкие мои работают почти нормально. Осень здесь тоже сухая, уже морозило сегодня, градусов шесть — очень хорошо на улице. Я сажу в огороде лес и цветы, и земляки мои, привыкшие садить здесь картошку, думают, что я с катушек съехал...

Для Вас и для Феликса сообщаю адреса — 660036, Красноярск, Академгородок, 14, кв. 55, тел. 5-95-6-05 и 663081, Красноярск, п/о Овсянка, ул. Щетинкина, 26. Феликс здесь бывает часто, пусть меня найдет, необходимо повидаться.

Поклон Вашей Саше и ребятенку — я тоже на Вашей стороне — любовь, да еще поздняя — это награда судьбы.

Ваш В. П.».

Далее следуют письма Виктора Астафьева Феликсу Штильмарку. К первому из них есть пояснения самого Феликса Робертовича:

«Приводимое ниже большое письмо, во многих местах неразборчивое, вызвано замечаниями старого таежника А. Г. Костина из обского поселка Полноват. Он привел в своем письме ко мне после прочтения романа „Царь-рыба“ ряд критических высказываний, в частности, по главам „Туруханская лилия“ и „Сон о белых горах“.

Позже я очень раскаивался, что выслал их Виктору Петровичу, причинив писателю своего рода моральную травму — замечания Костина были восприняты болезненно. В. П. Астафьев был человеком предельно открытым и соответственно — ранимым. Мой отец тоже сожалел о том, что мы выслали эти недобрые замечания, и просил за них извинения».

«20 февраля 1979 г.

Дорогой Феликс!

Письмо Вашего отца я переслал Николаю Машовцу, главному редактору „Молодой гвардии“^[84], предварительно переговорив с ним.

Москва меня заездила вконец, и сразу надо было в Ленинград...^[85]...Фильм получился ничего. Собачку вот на съемках у них одну украли, так консультант-охотник больно горевал. Его жалко...

Ваш корреспондент Костин пусть по фильму кроет своего собрата, охотника-промысловика, человека тоже самоуверенного и „всезнающего“. Читать его, Костина, бредни, происходящие от невнимания, да и невежества ума одряхлевшего, было очень неприятно не потому, что он меня там кроет за „ошибки“, а потому, что я, автор, кажусь ему мальчишкой, которого он имеет право сечь за преднамеренную неразумность, употребляя авторитеты Толстого, Тургенева, Достоевского и не зная, что как раз этим-то стирает краски и кроет за „неточности“... такие, что Астафьеву и не снились. Что стоят... тургеневские женщины и человек во фраке, бродящий по Бородинскому полю и философствующий в разгар сражения? А страшные и „красивые“ видения Болконского Андрея перед смертью? О Ф. М. [Достоевском] и говорить нечего...

Злой, злой хоришек ваш Костин! Он слепой и предвзятый. Меня уже крыл один такой „знаток“ за рассказ „На дикой северной окраине“, не заметив даже, что рассказ этот полулегенда, полусказка, а что касается „было — не было“, то это уж такая область...

Слышал ли ты о норвежском матросе, которого волной выбросило за борт корабля, его поглотил кашалот и начал уже выделять кислоту, чтоб переварить бедолагу на говно, как кашалота загарпунили, вытащили из него матроса, и он еще очень

и очень долго жил на белом свете; что касается медведей? Я однажды вообще лоб в лоб с ним столкнулся, думаю, знаю и чувствую этого зверя похлеще Костина, ибо очень внимательно и обостренно чувствую после фронта смерть; второй раз почувствовал в дурацкой охоте на медведя на вершине Кваркуш (Северный Урал) на альпийских лугах (Костин не поверит, конечно, что на Урале есть альпийские луга!), есть, есть, да еще какие роскошные...

Что касается описанного в „Рыбе“ случая, его мне поведал братец, Владимир Петрович Астафьев, проживающий по адресу г. Игарка, ул. Таежная, д. 10, кв. 5... Сестра пишет — на Новый год так загулял, так вдвоем с женой едва их в Игарке отловили, и вообще Володя — это наполовину Аким, и книга им почти вся рассказана, или, говоря книжно, „навеяна“, и он, только он, мог отпилить нос лодке, думая, что в такой „кошевке“ большой будет теплее и удобнее, и он, только он, мог так безалаберно ехать на охоту, отправляться в такой страшный путь по туруханским таежным завалам, горам и вообще натворить черт знает что, но при всем этом он человек добрый, за друга — душу отдаст и последнюю рубашку снимет. Много несообразностей и прочего есть в главе, вытекающих из характера этого человека и полного бескорыстия...

Ну, а что касается мелочей. Несколько замечаний я учту при издании „Рыбы“ в собрании сочинений, однако мало, очень мало. Ну, как можно читать так, чтобы не заметить, что в рюкзаке осталось несколько мотков ниток, да еще свитер Гоши распустили и вязали на основу. У меня жена перевязала тыщу верст ниток на моих глазах, этот предмет я „изучил“ и вообще с ружьем в тайге десяток лет таскаюсь; при моем „глазе“ и памяти многое умею видеть и помнить; конечно же, не увидь мои... и не услышь подобного случая ^[86], его и

в книге не было бы; у нас около деревни три речки, две из них — Малая Слизневка и Большая Слизневка теперь почти рядом (на этой речке стояла мельница моего прадеда), на одной камни во мху, а на другой — нет... Все зависит от того, кто ловит, а еще — комар заедает рыбаков, когда они шарятся в речках^[87]...

...А с цветком! Да у меня шкаф справочной литературы по фауне, зоологии, языку, и, если мне нужно было бы „уточнить“, не беспокойся, уточнил бы, да и с детства знаю — саранка растет луковкой, луковка состоит из плотно прилегающих маслянистых лепестков — в детстве этим объедался до блевотины. Это ж мое, авторское желание, чтобы цветок возрос цветком, это мечта о возрождении... человеческой души и жизни — и это надо объяснить людям, которые где-то учились, что-то помнили...

Что я делал бы, если бы у меня не было сотен и сотен читательских писем, в том числе и от охотников, как один из них пишет из Москвы... — одобрение опытного таежника.

...А первым читателем рукописи „Царь-рыба“ был Евгений Городецкий, бывший начальник геологической партии, базирующейся в Туруханске, облазивший все окрест, человек, окончивший Томский университет, ныне редактор издательства и писатель. С ним-то я и был на Нижней Тунгуске, ему и доверил „контроль“, ибо человеческая память инструмент, хотя и хороший, да несовершенный, и я... уже будучи опытным писакой, не мог полностью довериться и сделал, как делают все пишущие и вообще работающие люди.

Поблагодари, Феликс, за то Костина, что он еще что-то читает, но скажи ему, что в горе русские люди... становятся если не внимательней, то добрее друг к другу и называют человека трижды раненного на войне и по 14 раз переписывающие рукописи от руки... нельзя

им себя в пример ставить. Одно дело ездить по Оби, а другое — Енисей. Я по Оби от Салехарда до Кызыма...

...Бригада, что описана в „Ухе“, существует у Антония на Кубинском озере в 70 км от Вологды, а я ее на Боганиду перенес...

Вот так-то учить старших! Поклон и здоровья отцу и всем близким. Можешь переслать это Костину, если почерк разберешь...»

23 сентября 1979 г.

«Дорогой Феликс!

Шлю тебе ответно книгу, тут про медведей, как толковали, очень мало — два из трех рассказов мною написанных в жизни — они когда-то печатались в „Знамени“, но третий рассказ „Бедный зверь“ — детгизовский „отцам“ и „мамам“ показался очень жестоким, будто вся наша жизнь, особенно у зверя, вполне идиллическая!

Все лето я пробыл в Сибири, бывал и недалеко от тебя — в Игарке и даже на Гарбичиан летал — рыбачил. Ездил и еще кой-куда, ездил бы и больше, да отец умирал и 5 сентября мы его с большим горем схоронили — рак печени. Погубил он себя вином. И хотя последние пятнадцать лет жил с нами, пил при каждом подходящем случае. Ну, да Бог ему теперь судья, а не люди. Жалко все равно очень. Ушел от нас последний старик.

В будущем году, если не нарежут сценарий, начнутся съемки двухсерийного фильма „Царь-рыба“ где-то в районе села Бор и поселка Ворогово, на Осиновских порогах.

На всякий случай сообщаю свой деревенский адрес (я купил дом в родном селе) — Красноярск, п/о Овсянка, ул. Щетинкина, д. 26.

Об отце я поговорю, конечно, но я уже перестал верить всем. Кругом обещают, обещают и... врут.

Совсем трудно стало печатать молодых — сколько ни проталкиваю, не идут, и чем талантливее человек, тем его труднее стало напечатать.

В. Астафьев,
г. Вологда».

Написано в 1980-е годы на поздравительной открытке.

«Дорогой Феликс!

Прости меня великодушно. „Тайгу“ получил^[88]. Рад был безмерно. Я еще на выставке облизывался, глядя на нее. Хотел поблагодарить, да видно замотался, начал работать. Зима у нас хорошая — легкий морозец, солнце, чувствовал себя бодро, вот и потянуло на „творческие подвиги“. Кажется, удалось мне пристроить книгу Крутовской в Москве^[89].

До весны я буду дома, потом поездка... в Овсянке буду с мая месяца. Заезжай, буду рад еще раз побывать на Столбах, а пока поздравляю с Новым Годом! И всем желаю доброго здоровья...

Ваш Виктор Петрович».

6 февраля 1982 г., г. Красноярск.

«Дорогой Феликс!

Это хорошо, что летом ты поедешь в низовья [Енисея]. У меня в устье Подкаменной [Тунгуски] живет преданнейший школьный друг Вася Баяндин (работает в экспедиции) и стоном стонет, зовет к себе... и я наверное соберусь летом... Однако, когда поедешь, не минуй меня здесь, в Овсянке ли, найди. Надо кое о чем потолковать, и жена моя на Столбах не была. Хорошо бы снова, рано утром, до нашествия орды, побывать там, среди дивной и удивительной тайги. Я ведь теперь тоскую по Столбам и по ручью тому светлому, из которого пили; они-то, лес и камни, не виноваты, что мы

такие мудаки; и две дамочки не поделили „любви к природе“ меж собою^[90]; они (леса) умнее нас и величавей, если дерево падает и срывает с другого дерева кору, обламывает ветви, отряхивает хвою, оно, дерево, лишь простонет, согнется и начинает восстанавливаться и... лепить самое себя. Нам бы такое мудрое терпение на работе, не навязанное, а естественное, от жизни идущее...

Феликс! Я ведь посылал вам „Посох памяти“ — изданную книгу в „Современнике“, в библиотеке „О времени и о себе“, послал в ответ на „Тайгу“. Неужели пропала?! Осенью в Ленинграде пропало разом семь бандеролей с 4-м томом собрания сочинений. Бандитизм! Неуязвимый!

А может, ты имеешь в виду книжку „Древнее, вечное“, изданную „Советской Россией“ в библиотеке „Писатель и время“? Это маленький такой сборничек. В любом случае напиши, и я уж отправлю тогда ценной бандеролью. Что делать? Обезоруженный стоишь, а тебе карманы выворачивают, и еще улыбаются при этом!

Жду весны! Летал в Австрию. На обратном пути, уже в Красноярске, простудился, и вот только что принимаюсь работать. В декабре начерно написал новую небольшую повесть.

Обнимаю,

Вик. Петрович».

4 января 1983 г., г. Красноярск.

«Дорогой Феликс!

И вас всех с Новым Годом! Всем здоровья... радостей.

Вот ведь беда, Феликс. За один месяц рак съел редакторшу — Лидию Иосифовну^[91], женщину застенчивую, добрую, всех нас обогревавшую. Ей-то я и

отдал заявку на Крутовскую, и она сумела поставить ее в перспективный план. Что делать? Как? У кого? Где?

Я в Москве скоро не буду, нечего делать. Новую вещь не пропускают до советского читателя...

Придется тебе сходить в Детгиз, спросить, кто вместо Лидии Иосифовны теперь? Если таковых не найдется, тут же написать новую заявку, сказать, что все было договорено и что Астафьев сулился написать предисловие к книжке Крутовской, и все были „за“.

Будешь в Красноярске, обязательно зайди. У меня дома сейчас сложно — дочь с внуком приехали, она — рожать второго (муж — в бегах), а внук нервы портить деду с бабкой.

Ну, до встречи! Отцу поклон и поздравления с Новым Годом!

В. Астафьев».

«9 октября 1985.

Дорогой Феликс!

...Телеграмму^[92] и письмо получил... Я потерял своего непутевого отца семь лет назад, и передо мной открылась та же пустота, и свободен путь вперед сделался, а ведь отец у нас был нам не родителем, больше производителем, но родителей, как и вождей, — не выбирают. Все дороги. Всех жалко. По всем сердцу болит, и болеть никогда не перестанет, с той лишь разницей, что о непутевых родителях оно болит вдвойне.

Я думаю, Феликс, что тебе, как очеркисту, надобно вступать в Союз писателей, а не в какой-то профсоюз^[93]. Для этого тебе надо проделать кропотливую работу — подобрать все тобой написанное и обратиться к близким твоему сердцу писателям (одну рекомендацию, мою, считай, ты уже имеешь), вторую попроси у Юры Черниченко — это очень порядочный и

умный человек, а принимают очеркистов в союз чуть снисходительнее, чем остальных, их мало, оттого, что работа их не хлебная и вызывает много неудовольствия своей обнаженной документальностью. Краснобайство, пустословие и ложь криводушная оплачивается лучше, чем горькая правда.

Но если тебе нужна бумага от меня насчет профсоюза, сам отстучи ее на машинке, пришли, и я ее подпишу, а то, если я начну писать сей документ, то тебя никуда, кроме ЛТП и тюрьмы, не примут. Еще раз прими мое сочувствие, положи цветочек на могилу отца, скажи, что от сибиряков с извинениями за то, что они его тут, за колючей проволокой, чуть не уморили и не заморозили, и с благодарностью за то, что он здесь, спасая душу, написал своего „Наследника из Калькутты“...

Мир его праху! Кланяюсь,
Виктор Петрович».

«23 июня 1987 г.

Дорогой Феликс!

Жизнь не дает спуску. Два раза успел за май проваляться с обострением пневмонии и сейчас лечусь. Но днями надеюсь уехать в Иркутск на экологическую говорильню, на этот раз совместно с японскими писателями. Еду встряхнуться, повидаться с друзьями. Закис. Был недавно на водохранилище и не успел ни одной рыбки поймать — заболел. Более нигде не бывал. Так хотел побывать у твоего знакомого в Бору, и вот опять не вышло, лето проходит. Вернусь из Иркутска 7-го августа, будет текучка, почта, звонки, люди, и время пролетит, а вначале сентября собираюсь поехать в Словакию на международную конференцию, что названием „Роксан-87“, и там останусь на месяц отдохнуть и подлечиться.

В суете мелькнула твоя статья про детектив с „Наследником“^[94], и я даже не заметил где и найти не могу^[95]. Кстати, у меня ведь и „Наследника“ нет. Был один на всю семью, остался в Вологде, у сына.

Черкасова хорошо издали в Иркутске, в серии „Наследство Сибири“ и там же вышел первый том 20-томной Библиотеки Сибири, которую ведет ваш покорный слуга.

Вот коротенько мои новости из Енисейской волости. Если дома, черкни маленько. От Виктора Мироновича^[96] получил большое умнящее письмо и думаю, не предложить ли его Залыгину на предмет изготовления на основе письма статьи-рассуждения про мораль в литературе? Как ты думаешь на этот счет. Ведь обидно, что такие вещи лежат мертво в моем столе.

Обнимаю,
Виктор Петрович».

Декабрь 1988 г. Написано на открытке.

«Дорогой Феликс!

Посылаю тебе второй экземпляр рассказа^[97] и поздравляю с наступающим Новым годом! Здоровья, мира, работы много, горя поменьше. Написать подробней некогда — углубился в роман о войне, а на носу съезд, спешить надо, да и в жизни — сколько ее осталось?

У нас — наконец-то! — наступила зима, идет снег, а то было голо и тепло, как в Австралии. Будь здоров, поклон жене и ребятишкам. А открыточку марая, чтобы подразнить тебя^[98]».

Декабрь 1988 г. Написано на открытке из серии «Заповедник „Столбы“».

«Дорогой Феликс!

А это ты с бабой какой-то на камне, и шлю я тебе фото в благодарность за книжки и поздравляю с Новым годом! Пусть он будет не хуже предыдущего, хоть хуже-то и некуда.

Твою статью о романе отца мы напечатаем в „Енисее“ и ее же дадут как послесловие к „Наследнику“^[99]. Уже сегодня и началась охота за книгой, не то, что твоя охота в Бурятии, здесь более дельная и добычливая. Очень был рад письму. Мы помаленьку налаживаемся. Обнимаю, Виктор Петрович».

«28 мая 1990.

Дорогой Феликс!

Получил твое письмо, находясь в Овсянке и готовясь к ремонту дома. Прошло десять лет, как я вернулся домой. Все десять лет, жалея время и щадя себя, я не притрагивался к дому. Сложили лишь печку, ибо была в доме какая-то „плита“, а я без русской, хоть и небольшенькой печки, русскую избу не воспринимаю.

Наконец-то я маленько отдыхаю, т. е. копаюсь тихонько в огороде, полю траву и одолеваю почту. Середину зимы проболел, подцепив грипп в столице, на съезде, а он не чета нашему деревенскому — валит надолго и к сердцу подбирается, стервец. Прервалась работа над романом. И надолго, а это всегда болезненно сказывается на работе. Но я заставил себя вернуться к рукописи, и пусть вяло, с температурой 36,5, но закончил черновик первой книги. Так что я заработал право на отдых, да ведь как отдохнешь-то?

Современные дебилы-разгульники, используя благодатную весну, зажгли край со всех сторон — горело и в городе, и в селе, и в горах, и в полях, горела и Овсянка, а напротив, на дивных хребтах, опалено все

подряд, и еще пыльные бури поднялись — вот я и увидел, каков он будет, конец света...

Рукопись отца пришли ближе к осени. Я, как ремонт закончится, смоюсь на теплоходе с семейством вниз по Енисею, а потом осенью хочу съездить в Тофаларию и еще раз на Сыме побывать хочу, да и выступить в защиту охотника-промысловика, совсем его, труженика оголодали и обобрали.

В твоём любимом заповеднике^[100], кругом обгоревшем, медведь чуть всех не съел. Кое-как его скараулили и застрелили какие-то ученые сотрудники-столбняки.

Крепко обнимаю,
Виктор Петрович».

«28 сентября 1990.

Дорогой Феликс!

Лето у меня прошло плавно, без судорог и рывков. Сидел в Овсянке, копался в огороде, сплавал с семьей на туристическом теплоходе „Чехов“ до Диксона и вот в сентябре уже на недельку забирался на свет в тихую тайгу. И тем не менее, рукопись твоего отца^[101] еще не читал. Куда ушло лето и время, сказать я тебе не сумею. Все же семья, [нельзя] забыть о ней (внучка пошла в первый класс, внук в 9-й). Да праздный народ, газеты, да теле-еле жить и читать спокойно не дают. Читал я вообще очень мало. Погряз в газетах и по этой причине сократил наполовину подписку на будущий год. Сейчас начинается время разъездов, в конце октября в Китай, а потом съезды — писательский... видно... раньше зимы рукопись мне не прочесть, и ты уж не связывай журналы с моим именем.

Я перешел из „Нашего современника“ в „Новый мир“ и в „Москве“ свой человек теперь, так что, ежели „Нева“ заброшена, предложи рукопись другим

журналам. Увы, старший Штильмарк теперь может ждать и терпеть сколько угодно, хотя и при жизни терпению его было не учить.

Очень рад, что ты снова становишься таежником. Там все же разбойников многовато, и надо их как-то уравнивать нужными людьми.

Загляни в № 8 „Нашего современника“, там исключенная и похеренная в свое время глава из „Царь-рыбы“, и место, и обстоятельства знакомы тебе по рассказам отца. И Елогуй, и Сымская фактория поднимают национальный флаг, требуют создания национального совета и конституций. Вот только бы еще мыться научились и пить отучились, а то вонь от них сивушная и онучная, да в зимовьях их говна и грязи до колен, а вон мы были в зимовье потомственного русского рыбака и охотника — светлица! Угодья и жилье в порядке, сарай в идеале, топоры остры, ложки мыты, на стене киноактриса Удовиченко красуется...

Обнимаю тебя.

Твой Виктор П.».

22 января 1991 г.

«Дорогой Феликс!

Ну вот, уже поздней осенью добрался я до рукописи твоего покойного батюшки^[102]. Прочел с большим интересом, хотя, будь живой автор, он, вероятно, еще и еще перепахивал бы эти страницы, особенно в области языка, тут переначитанность ему шибко мешала, так и толкала его написать „культурное“ слово... Особенно худы заголовки, в том числе и всего романа. Шибко манерно для мужчины и совсем не к месту действия на Ленинградском фронте. Какой уж тут „свет“, хоть и всего „горсть“ его! Но роман, даже судя по этому куску, совершенно открыт, достоверен и искренен, как может быть искренна только исповедь.

Роман вполне пригоден, на мой взгляд, для печатания. В моих силах предложить его в „Москву“ или в „Волгу“, но ты написал, что его вроде бы где-то печатают? Рукопись пока остается у меня — напиши, что с ней делать? Как поохотиться в Забайкалье? Какая „охота“ в Москве я знаю — едва живой домой приехал^[103], и теперь не скоро меня туда заманишь.

Вышел первый том моего собрания сочинений в 6-ти томах, с выходом этого тома начинается подписка, и поскольку в республики ныне нашей продукции не дают тиражи, должна разойтись в России, потому можешь подписаться и всех охотников в тайге подписать.

Если дома, напиши поскорее. А когда будешь в наших местах? Кланяюсь! С прошедшим Рождеством Христовым и с наступающим Крещением. У нас мороз и солнце, да еще... непрерывный ветер. Вроде на горе, и то за горами жутко воет по современной обстановке.

Виктор Петрович».

Текст на открытке:

«12.02.1991.

Дорогой Феликс!

Сегодня, 12-го февраля, я отправил рукопись твоего отца в „Москву“^[104] и предварительно поговорил с Крупиным по телефону. Дай Бог ходу роману! Сам я одолевал текучку и обслуживал свору гостей и репортеров. Готовил 3-4 том собрания сочинений; в одном из них „Затеей“, подготовка и составление которых заняли все силы...

...Все твои письма я получил. Предисловие в папку вложил — оно необходимо. Будем теперь ждать решения редколлегии. Твой адрес я им написал.

Обнимаю,

Виктор Петрович».

«18 февраля 1991.

Дорогой Феликс!

Посылаю тебе для „Охотничьих просторов“ то, что нашлось в новых „Затесях“, имеющее отношение к тайге и немножко к охоте.

Подойдут — ладно, не подойдут — выбрось. „Затеей“ идут в 4-м томе собрания сочинений в 1992-м году, если к той поре не прекратится издание книг. Газеты, вон, уже не выходят даже центральные. Только трепачи на трибуны все всходят и всходят. Когда-то ж их сгонят или нет?!

Рукопись батюшки твоего с моим письмом ушла в „Москву“, но почта ходит страшно долго, иногда не менее месяца. Кланяюсь,

В. Астафьев.

У нас февральище! И мороз, и ветер дерет, в Енисейске — 42 с ветерком, в Эвенкии — 51. Увачан^[105] говорит: „Как станет, парень, сорок-то, дак жестко кажется“».

Письмо на открытке:

«27.12.1991.

Дорогой Феликс!

И сборник, и письма получил, спасибо! Какие чудесные иллюстрации к рассказу сделал художник, совсем неожиданно и здорово. Сейчас я делаю кусок об уборке хлеба зимой 1942 года в Сибири...

Вообще, долго не работал. Закончил летом „Последний поклон“ (главы идут в № 2-3 „Нового мира“) и на этом замер. Поездка в осеннюю тайгу на Енисей и на Сым не только не пособила и не вдохновила, но и доканала меня. Идет такое избиение природы, такое всеобщее нападение на нее, что волосы дыбом встают. Все наши беды жизни удесяттерено обрушиваются на природу, бьют все, что появится, рвут с корнем все, что

растет, Енисей искрещен самолетами, которые оставлены на дне и в зиму, губят там всякую тварь. О, Господи!

Поздравляю тебя и твою семью с Новым Годом! Желаю, чтобы он хоть какую-то надежду нам подарил и Бога в сердце воскресил, иначе всем нам конец будет.

Кланяюсь, обнимаю.

Виктор Петрович (В. Астафьев)».

«10.09.1992.

Дорогой Феликс!

Пишу тебе почти на ходу. Вчера из Овсянки переместился в город — осень, а я, вместо того, чтобы летом отдохнуть, сидел не разгибаясь, идет мой роман в „Новом мире“ № 10-12, читал гранки, хотя это и бесполезно, не успевает наша почта свозить туда и обратно к сроку выпуска и сдачи журнала, да и в журнале тоже сидят и работают люди спустя рукава, неделями валяются гранки по столам, недосуг отправить; вычитываю 5-1 том собрания сочинений, пишу предисловие к новому и т. д.

Завтра еду в Енисейск на рыбалку. Недавно с сыном и внуком побывал на стыке рек Кия и Северная, славно потаскал харюзков и внука научил рыбалить, а теперь еду в бригаду промысловиков, которая стоит в устье Кия (наша замечательная речка, и какая по ней чистая тайга, но, кажется, ее отдадут в эксплуатацию американцам, они там уж похозяйничают!), и прирос я к Енисейску, большая какая-то у меня любовь к нему. Хоть трудно, все же восстанавливается, есть уже и монахи-трудяги, есть студенты, которые приезжают сюда, чтобы поработать до начала учебного года — за одни монастырские харчишки вкалывают парни, да если кликнуть клич на всю Русь... Гляжу вот на них и думаю — да не одолеет тьма силы светлые! Так хочется в это верить.

Вот тебе адрес Бондаренко Алексея — г. Енисейск, село Озерное, ул. Ленинградская, 31, кв. 2. А ты уж совсем ярославским огородником стал или тоскуешь по Сибири-то? Да как по ней не тосковать? Это ж чудо, нам открытое и увиденное, я уж не говорю — почувствованное.

У меня с 1993 г. в Новосибирске в новом издательстве „Сибирская книга“ начинает выходить полное собрание сочинений — подготовлено 14 томов, все пойдет, что за жизнь наворочал, и много говна же наворотил!

Надо — так рекламу пришлю. Мой нынешний телефон 43-78-10.

Обнимаю,
Виктор Петрович».

«13 октября 1992 г.

Дорогой Феликс!

Все я, слава Богу, получил. Спасибо! Мне прислали журнал „Природа и охота“ с просьбой написать о Бондаренко „врезку“, что я и сделал, отослав журнал в Енисейск, чтобы подписывались, сам подпишусь скоро. Идет полным ходом подготовка к изданию собрания сочинений в Новосибирске^[106], а в „Молодой гвардии“ издание трех следующих томов законсервировали...

Ездил я на рыбалку в устье Кия... крепко простудился, так долго не выходил из дому, а у нас последние два дня 18–20 градусов, такая благодать!..

Извини, что не написал раньше. Урожай тоже убрали, у нас картошка и овощи уродились хорошо. Зерновые по краю по 17,7 центнеров с га, но южные, самые хлебные районы выгорели. Хлеб у нас уже стоит 26 р. буханка и все остальное очень дорого, жизнь взбаламученная, тревожная.

Молю Господа, чтобы не было еще войны. Тогда пропали.

Обнимаю тебя,
В. Астафьев».

Декабрь 1992 г., на открытке:
«Дорогой Феликс!

С Новым годом тебя, жену и ребятишек! Здоровья! Хлеба! Бога и мир в сердце! Я начал вторую книгу романа [\[107\]](#). Все силы уходят на него. В городе не бываю, ни с кем не общаюсь. Наше издательство давно уже ничего „постороннего“ не издает, а только своих авторов — Дюма, де Сада и прочих. Жизнь в Сибири сделалась очень тяжелая, как и везде: наступила зима, люди и дети замерзают, мрут, и им, конечно, не до книг и не до искусства. Будем молить Бога, чтобы полегче было в наступающем году.

Кланяюсь,
В. Астафьев».

Письмо на открытке:
«20 января 1997.
Дорогой Феликс!

Со всеми прошедшими тебя праздниками. И семейство твое, где все ребята, поди-ко, уже большие. Никакого сценария у меня нет [\[108\]](#). Я сделал заявку, уговорил ребят полететь в тайгу... работал „с голоду“, что-то заказывал, советовал, сам подставлялся в качестве собеседника героя. А герой-то наш во время выборов главы енисейской администрации так показал себя, что подлее и не бывает, и если бы не труд ребят, долгий и упорный, без денег, мы бы этот фильм уничтожили. Выбрать-то нашего „героя“ выбрали, но в нем даже ноги его больше не будет. А фильм хороший, его берут на кинофестиваль в С.-Петербург, может, и

пустят где, и помогут студии, ведь все делалось в долг и на честном слове. Я перед Новым годом упал, сломал ребра, отбил почки и болел до сих пор, но уже начал выходить из дому и писать по мелочам. Спасибо за „Охот. Просторы“.

Твой Виктор Петр.».

«13 марта 1997 г.

Дорогой Феликс!

Получил твоё письмо и отсылаю его Алексею Бондаренко^[109] со своим письмом, авось это его обрадует и стронет с места. Он нонче чуть не помер в тайге — прихватило сердце. Выходил пешком, ладно, здоровяк от природы, так дошел до дому, но долго по больницам валялся.

Альманахи я получил и писал об этом Королеву с благодарностью. Публикация получилась хорошая, сейчас ее хотят повторить многие, про случку, видимо, надоело читать, хотят и про природу^[110]. Ах, как хотелось бы мне вместе с тобой попасть к Завацкому^[111] в заповедник, да только легкие мои совсем избарахлились, вот и сейчас пишу из больницы, где пробуду до конца марта. Сейчас, отправляясь в тайгу, уже боясь быть в тягость людям, в прошлом году осенью на Анвеле (?) получил обострение, возни со мной было мешковато...

Ну, ничего, проживем еще!

Обнимаю тебя,

В. Астафьев».

«25 мая 1999, село Овсянка.

Дорогой Феликс!

Побывал я на реке Кие, угодил под ледоход, сидя в зимовье при впадении Северной в Кию. Ничего, конечно, не поймали. Но ледоход посмотрели от зарождения и до

того, что в избушку пошла спертая вода и в стену уперлись льдины. Чудо! Господи! Еще одаривает он нас, засранцев, чудесами, хоть в природе, тем и спасает нас от окончательного отчаяния.

В Енисейске познакомился с начинающим автором... он охотник-штатник, сейчас в егеря пошел, и не без Божьей искры. Я посылаю коротенькие его рассказы и буду рад, если ты отберешь для „Охотничьих просторов“ иль какого-то сборника, которого составителем будешь.

Я в деревне, в огороде управились. У нас после худой весны, на исходе ее ударила жара... Сейчас цветет черемуха — похолодало. Сегодня первый раз ходил в лес, но все так бедно и бледно, нарвал маленьких стародубов и сон-травы, завтра отвезу на могилу дочери, она любила все эти цветы и папу любила, хотя и не говорила об этом: но отец все шуточки шутил: „отец суров, но справедлив!“ Махнешь бывало рукой... а нынче уж не до шуток. Обнимаю тебя.

В. Астафьев».

«18.09.2000.

Дорогой Феликс!

Я немножко подзадержался с ответом, ибо та женщина, что набирает мои каракули на компьютере, была шибко занята и не могла перепечатать то, что я написал к юбилею альманаха^[112].

Когда-то, еще в городе Чусовом, я страшно завидовал нашему сотруднику в газете, хорошему охотнику, напечатавшемуся в „Охотничьих просторах“, и все мечтал сам там побывать. Уж и не помню, когда моя мечта осуществилась^[113].

Я последние дни досиживаю в деревне, как в городе включают отопление, переберусь поближе к отопительным батареям. В лесу нынче снова не

побывал, совсем плохо ходят ноги. Диабет сраный доканчивает меня, хуже стало со зрением, слухом, но главное, ноги плохо и на малое расстояние ходят.

Я написал-то многовато для юбилейного номера, вы уж выберите, что и сколько нужно. Ладно? Поклон всем охотникам из альманаха, хоть большинство из них зачехлили, как и я, ружья.

Я когда-то, прочитав книгу Булгакова „В Вожегу и обратно“, написал ему большое, проникновенное, как мне казалось, письмо, но написал с курорта „Загорье“, где все придурочное и почта тоже, и чувствует мое сердце, что письмо мое до адресата не дошло. Ты уж скажи ему от меня комплименты. Книжка мне очень понравилась, и вообще он мужик душевный, а такие не могут ничего плохого написать^[114].

Значит, ты осел дома в огороде, как и я. А как же твои собаки, лайки, или, как в Париже, декоративные стали? У Алена Делона, курвы такой, в доме лайки. Это куда мы идем? Куда заворачиваем, один пинжак на троих, в нем и запинжачиваем.

Обнимаю тебя, Поклон твоим домашним.

Твой В. Астафьев».

«30 марта 2001 г.

Дорогой Феликс!

Получил второй том „Заповедников“^[115]. Какое прекрасное обиталище подарил Господь этой неблагодарной, звероподобной свинье, что от рождения своего подрезает корни под собой, похабит землю, которая его кормит, терзает прекрасный лик матери-природы.

Теперь уж и не знает, как убрать за собой говно, как избавиться от надвигающейся гибели это двуногое существо, смевшее называть себя разумным, чтобы погибнуть в безумии. Вот к нам, в такой дивный край,

на берег Великой Реки волокут радиоотходы, уверяя всех, что это спасительное благо для России. Вернуть землю, определиться с крестьянами-кормильцами, которых сами же разорили, не могут уже, так хоть корку из щелей чужого стола выковырнуть... и еще какое-то время посуществовать. И никому из людей нет дела до человека, ввергнутого в беду, так и живут по железному коммунистическому закону — отбери хлеб у ближнего своего, и пусть он умрет сегодня, а я подохну все-таки завтра. Безбожники! Неблагодарные твари с темным рассудком, они все же доканают жизнь на Земле.

Я лежал в больнице и довольно долго, на сей раз как-то совсем противно, со всяческими нехорошими предположениями, которые пока не подтвердились, но чувствую себя все еще хреново, какое-то странное недомогание, меняется давление, из высокого сделалось низким, тянет в сон, вот и сплю почти сутками, ничего не делаю, настроение аховое. Весна вот наступила после могучей зимы, это и радость, что скоро в деревню, может, уберусь и там совсем выплусь, да за работу возьмусь.

В прошлом году из-за дождей и холодов столько понаписал, что все толстые журналы... позаполонил, да и тонких прихватил.

Я не понял, Феликс, куда я должен написать насчет книги отца [\[116\]](#). Комитета по печати нынче нет, власти, ведающие книгоиздательством, где-то есть, но где? В издательства? В „Терру“ я могу написать, там меня издавали и вроде бы положительно ко мне относятся. Но есть конторы и издательства, где мое обращение не только не возымеет никакого действия, но еще и навредит, особенно, если эти конторы и деятели, ведающие ими, красненького цвета.

Напиши, пока на огород не смылся, или в какую-нибудь тайгу не наладился. Нынче все по маковку завалено снегами, ждут потопа вселенского.

Ну, обнимаю тебя и желаю доброго здоровья. Как твои ребятишки? Как собачонки? Горе им в Москве-то.

Твой В. Астафьев».

Это письмо стало последним в обширной переписке с Феликсом Штильмарком. А 9 января 2005 года я приехал в гости к Феликсу Робертовичу: ему хотелось увидеть новые публикации о Викторе Петровиче, хотелось поговорить, а может, и выговориться...

В начале разговора я показал Штильмарку новые книги Астафьева, статьи о нем, журнал «Пульс», целиком посвященный писателю. Смотрел с интересом, комментировал. Увидел затесь «Унижение»...

— Это затесь о глухаре и резиновой глухарке?!

— Да, прочитаете во врезке, что мы вместе были в зоопарке, когда Астафьев пережил это впечатление.

— Хорошо. Но вы мне обещали попытаться объяснить эпитафию, которую написал Астафьев, жесткую и все же несправедливую к жизни вообще и к его творчеству в частности^[117].

— Отчасти согласен с вами. Я много размышлял, вспоминал, сопоставлял взгляды Виктора Петровича с тем, что было сказано им в этой эпитафии, о которой мы спорили в прошлый наш разговор. И вот что надумал. Одна из самых блистательных его затесей-прорицаний, та, где Виктор Петрович пишет о том, что, как надеется он, и умерший человек может слушать музыку. Сказано возвышенно и проникновенно! Вот именно эти слова и я считаю его подлинной эпитафией.

— Пожалуй, это вы тонко подметили. А тот текст... что ж, просто будем знать и помнить о нем, — сказал, помолчав, Штильмарк.

Разговор зашел о музыкальном вечере памяти Астафьева, который состоялся в мае 2004 года в Московском театре «Новая опера» им. Е. В. Колобова. Звучали любимые музыкальные произведения Виктора Петровича, которые до слез потрясли тогда слушателей — творческий коллектив театра оказался на высоте. К этому событию был также приурочен выход книги «Созвучие», в которую были включены все литературные труды Астафьева, связанные с музыкальной темой, а также высказывания Е. Колобова о музыке.

Во время разговора Феликс Робертович с интересом рассматривал альбом со снимками, которые я сделал в Овсянке в дни празднования 80-летия В. П. Астафьева.

Увидев фото со скульптурой «Царь-рыба», заметил:

— Нет, не шедевр.

— Но как памятный знак, — возразил я, — это не вызывает отторжения. Что-то ведь надо было поставить на том месте.

Замечу, что вид со смотровой площадки на Енисей, Овсянку и окружающие окрестности, возможность окинуть их одним взором оставляют незабываемое впечатление. И знак «Царь-рыба», на мой взгляд, вполне вписывается в эту прекрасную панораму...

— Место там, да, красивое... Рвет память прожитым... Меня, да и самого Виктора Петровича, думаю, тайга тянула прежде всего как охотников. Не представляю себе поход в тайгу за «чистыми» впечатлениями, то есть без ружья, топора, котелка... Для общения с тайгой человек должен быть подготовлен и оснащен. Она не терпит слюнтяев. Михаил Пришвин говорил, что природа не любит праздного любования. У тайги, пожалуй, есть некое женское начало — человек должен с ней слиться. И если это происходит гармонично, то и возникает ощущение прекрасного, устанавливается гармония.

Любовь к тайге не может быть платонической. Опять же, говоря словами Пришвина, — природа любит пахаря, рыбака, охотника. Тайга не принимает эстетов.

Как и водится у таежников, от охоты Штильмарк перешел к рыбалке.

— Мои размышления над описаниями Астафьева и личное общение с ним вдруг дали мне несколько неожиданный крен в понимании, откуда идет его увлечение рыбодобычей. Пожалуй, больше самой ловли, азарта, он любил рыбные лакомства — уху, приготовленную на костре, свежеежареную и иначе приготовленную рыбу. Мы знаем многих увлеченных рыбалкой людей, которые к самой пойманной рыбе остаются равнодушны, не едят ее. Виктор Петрович любил не только добывать рыбу, но именно есть. Его уха — это рыба, опущенная в котелок головами вниз, одни лишь хвосты торчат. И вот такой крутой рыбный навар он просто обожал. У Астафьева, выросшего на реке, а потом жившего в Игарке, укоренилась потребность в рыбе с детства. Наверное, для енисейских мужиков это нормальная, естественная потребность. Человек, выросший на большой реке, без рыбы обходиться не может. Люди, выросшие на больших реках, — естественные рыбоеды.

— ...А вот тоска по таежной тропе сердце все время гложет, — продолжил после паузы Штильмарк. — И сейчас, когда рассказываю и вспоминаю, особенно сильно. Потому и в прошлом году, хоть и чувствовал себя неважно, а только пригласили в Енисейск, тотчас согласился, засобиравшись. Хотелось еще раз в тайге надышаться. Думаю, и у Астафьева эта потребность была постоянной. А со стороны она может казаться странной.

Здесь я вспомнил и рассказал Феликсу Робертовичу один случай. Как-то Виктор Петрович мне говорит: опять лечу в Эвенкию. Я ему: вы же только-только

хворали, а тут опять новое испытание для организма... Нет, возражает, там я, наоборот, и отдышусь, и отлежусь, и отъежусь... Это, Юра, как профилакторий, только самый первоклассный, натуральный.

— И все же я считаю, — продолжил Феликс Робертович, — вот эту тягу Астафьева к таежным скитаниям чем-то большим, чем просто отдых, отвлечение от работы. Он там все же находил что-то помимо сюжетов...

Тот разговор об Астафьеве с большим ученым, добрым и обаятельным человеком оказался последним. Через три недели Ф. Р. Штильмарка не стало — сердце не выдержало.

Глава одиннадцатая В СИНИХ СУМЕРКАХ

В 1960 году, будучи слушателем Высших литературных курсов, на одной из встреч в Перми с руководством местного отделения Союза писателей Астафьев решительно заявил, что после учебы в Чусовой не вернется. Ему, мол, даже дорога на электричке от Чусового до Перми и обратно «обрыдла», но главное — нет творческой среды. Тогда же Астафьев всерьез задумался о переезде в Сибирь.

Но, по свидетельству его жены Марии Семеновны, начальство в тот раз «урезонило» Виктора Петровича. Напомнили ему, что здесь он родился как писатель, сумел о себе заявить, и как-то не очень благодарно будет с его стороны, если он уедет в другой город. Было твердо обещано решить квартирный вопрос.

Совсем кстати в ту пору в центре города строился приличный дом. Астафьев вспоминал, как он более года ездил смотреть, как продвигается строительство дома, в котором была обещана квартира. Боялись они с женой, что ее или займут, или передумают давать.

«Спустя восемнадцать лет после войны, — пишет он, — мы получили долгожданную квартиру; и тогда я запомнил навсегда родившуюся в ту пору поговорку, что жизнь советского человека делится на две половины: до получения квартиры и после получения таковой. Квартира сдана нам была без света, без воды, без газа, с бетонными пробками в трубах и вывороченной плиткой в совмещенном туалете...» А меж тем семья к тому времени состояла из пяти человек: Виктор Петрович и Мария Семеновна, дочь Ирина, сын Андрей и племянник Анатолий. Хотя

квартира была и трехкомнатная, особо в ней не развернешься — ведь все в семье уже взрослые.

Так что почти сразу же возник вопрос о приобретении домика в деревне, где бы Астафьев мог уединяться, чтобы его никто не отвлекал от главного дела — творческой работы.

Тут надо сделать небольшое отступление.

При всех сложностях жизни в Перми в послевоенные десятилетия там сложилась довольно благоприятная обстановка для молодых авторов. Это происходило потому, что в областном центре имелось свое издательство, в котором работали отзывчивые люди, считавшие своим долгом помочь начинающим писателям встать на ноги. Не случайно, например, Астафьев называл одной из важнейших за годы жизни на Урале встречу с Борисом Никандровичем Назаровским. Знакомство с ним постепенно переросло в крепкую дружбу.

Этот, по словам Виктора Петровича, «культурный и мужественный» человек, который к тому же мог отстаивать свое мнение, возражать «верхам», к тому времени из идеологического кресла руководителя областной партийной газеты «Звезда» перекочевал на должность главного редактора книжного издательства.

«Нашему брату» (молодым авторам. — Ю. Р.), писал Астафьев в статье «Подводя итоги», вдвойне повезло, ибо на хозяйстве издательства директорствовала Людмила Сергеевна Римская — женщина умная и изворотливая, знавшая толк в людях, любившая литературу и литераторов, особенно молодых, не менее, чем своих родных детей. В пристяжке к ней и оказался «ироничный, тонко воспитанный меломан, эстет, проницательный человек и читатель» Б. Н. Назаровский.

«Не всякого якова он подпускал к себе, не всякому оказывал доверие и, тем более, наделял дружеским

расположением. Я удостоился всего этого, хотя поначалу с трибун посрамлял начальника своего, называл душителем талантов...» Несмотря на это, «старик» проявил к задиристому молодому дарованию «большое отеческое снисхождение» (по оценке самого Астафьева), опекал и помогал его творческому становлению.

Когда встал вопрос о поиске деревенской баньки, которую можно было бы приспособить под домик для работы (да хорошо бы поближе к речке — как же он без природы и без рыбалки?!), писатель обратился за советом к Назаровскому.

Мария Семеновна вспоминает об этом так:

«Борис Никандрович встретился с бывшим мельником, жившим в деревне Быковке и продававшим свой дом вместе с пристройками. Сначала Виктор Петрович с Борисом Никандровичем сходили туда — деревня маленькая, стоит на очень красивом месте, от большой воды с парохода идти километра три, а внизу, около дома, за баней течет говорливая, до слезы прозрачная и студеная вода — зуб ломит, — и харюзки водятся! В угоре — клубника, еще — земляника, малина...

Избушку долго приводили в порядок, и артельно, и поодиночке... Много потребовалось времени, силы, упорства и еще бог знает чего, чтобы привести все в нормальный жилой вид и состояние. В одной „конюшке“, выбеленной, оклеенной, с ровненьким промытым полом, который покрыли двумя половичками, сразу оборудовали кабинет Виктору Петровичу. В другой — столовую с раздвижным круглым столом посередине, над ним висячая лампа, у стен скамейки и табуретки, незастекленное окно затянули марлей. Для всех в семье эта комната стала любимой. После обеда или ужина там подолгу засиживались за разговорами о книгах, рыбалке, охоте...

Под развесистой черемухой, за столиком, вкопанным ножками в землю, пили чай или холодное молоко, или бражку — все шло за милую душу».

По свидетельству Марии Семеновны, они с Виктором Петровичем большую часть года проводили в деревне. Конечно, плохо, что там не было электричества. Иногда работал движок, но переменчивое его напряжение еще хуже утомляло глаза. Работалось там Виктору Петровичу хорошо. С утра, после завтрака, он почти ежедневно, если ничего не мешало, сидел за столом. Мария, сделав дела по дому, усаживалась за машинку, которую устанавливала на кухонном столе, а поскольку почерк у Виктора Петровича далеко не каллиграфический, к тому же и текст правился по нескольку раз, то она сначала читала написанное вслух, и если язык спотыкался, значит, «обчиталась» или не так разобрала правку.

Много из «свеженького» и сам Виктор Петрович читал вслух, с интересом слушали и гости дома, ведь почти каждый наезжий — литератор, рыбак или охотник... Кстати сказать, в речке Быковке водился хариус. Как вспоминал Астафьев, «...я его ударно ловил и там же, в деревушке, начал ударно писать...».

В гости к Астафьевым часто и запросто заходил Назаровский, поскольку он жил в деревеньке, располагавшейся в двух верстах от Быковки. Когда умудренный жизнью литератор и редактор навещал Виктора Петровича, они подолгу беседовали... «Незаметно, без демонстрации обидного превосходства Борис Никандрович образовывал мой читательский, музыкальный и прочий вкус. Он первый мне сказал, прочитав мои „уральские“ рассказы и, естественно, роман, чтоб я не насиловал свой дар, не приспособливал его к „неродной стороне“, пел бы свою родимую Сибирь и сибиряков. Долго живший и работавший в Омске редактором областной газеты, он

смог помочь студенту местного сельхозинститута, начинающему прозаику Сергею Залыгину. Затем вот и мне.

Назаровский, да и я тоже, шибко были огорчены, когда пришлось нам расставаться, переезжать с Урала, всю мне душу истерзавшего. Но связь наша не прерывалась до самой смерти Бориса Никандровича. Когда я написал и опубликовал повесть „Пастух и пастушка“, Борис Никандрович первым откликнулся большим, отеческим письмом, сказавши в нем, что вот он, слава Богу, и дождался, что я начал реализовывать себя на том уровне, какой мне определил Господь».

Когда несколько позже Виктор Петрович навестил в Перми своего старшего друга и подарил ему музыкальную версию повести «Пастух и пастушка», созданную композитором К. Молчановым, Борис Никандрович подарил ему в ответ пластинку с пятой симфонией Шостаковича, которую тот, по его признанию, «увы, никогда не слышал, потому как это произведение раньше почти не исполнялось, да и поныне исполняется редко».

Кстати сказать, в быковском домишке произошло рождение еще одного литератора... Вот как об этом вспоминала Мария Семеновна:

«Как-то раз один писатель привез и оставил рукопись своих рассказов, даже не вычитанную. Вите это не понравилось, мол, неуважение — ни ко мне, ни к труду своему...

Рано утром Виктор Петрович ушел в лес, на охоту. Я управила с делами, напечатала накопившиеся страницы, сварила обед... А потом снова села за машинку и написала некое „Школьное сочинение“... На другой день подладила, подчистила, снова перепечатала и убрала».

Так случилось, что Виктор на охоте простыл, а его постоянно подкарауливала пневмония. Тут подручными

средствами не обойтись, и Астафьевы срочно возвратились в город.

Как-то, когда он уже выбирался из болезни, Мария Семеновна, налепив ему очередную порцию горчичников, предложила послушать рукопись «Школьное сочинение».

«Он послушал — куда деваться-то — болеет, потом спрашивает: „А кто это написал? Совсем неплохо. Ты, что ли? Надо будет предложить для начала в областную газету...“ И немного дней прошло, приходит он домой, кладет мне на стол газету и говорит: „Вот, любуйся! К добру ли, нет ли, но... напечатали!“».

Так состоялся дебют в литературе Марии Семеновны. Позже она переработала текст, и рассказ появился на страницах «Уральского следопыта» под названием «Ночное дежурство». Затем он перерос в повесть «Отец», был издан отдельной книгой в Перми и переиздавался несколько раз.

Потом появились другие произведения Марии Корякиной (она стала печататься под своей девичьей фамилией). Всего на ее счету более двадцати книг.

Заканчивая разговор о Быковке, стоит упомянуть и о том, что Мария Семеновна считает годы в этой уральской деревеньке самыми лучшими и счастливыми: «Много друзей приезжали к нам туда и велись длинные, интересные разговоры. Какие мы тогда были еще молодые и иногда даже до отчаянности веселые. Все это будет долго и светло печалить мою душу. Осталась и живет в сердце надежда, живет любовь, неизменная и неистребимая. А печаль от расставания — так она, печаль, не любит оставлять радость в одиночестве, так было во веки веков, так есть и поныне...»

Однажды Астафьевых пригласили в гости вологодские писатели, которые организовали поездку на теплоходе из Вологды до Великого Устюга. Они

увидели Феррапонтово, Кириллов, Прилуки и другие примечательные места Русского Севера.

Во многих пунктах путешествия состоялись встречи с читателями, почти всякий раз угощали их ароматной, великолепной ухой. Когда вернулись в Вологду, писатели и обкомовское начальство предложили Виктору Петровичу переезжать сюда на жительство. Он тогда поблагодарил и отказался, сославшись на слишком сырой климат.

Но вот пришел день, когда Виктор Петрович и дочь Ирина — сын Андрей уже был в армии — завели всерьез разговор о переезде в Вологду. На том семейном совете все и порешили.

Всего Астафьевы прожили на Урале 17 лет, из них шесть лет, с 1962 по 1968 год, — в Перми.

Напомню, что в 1960-е годы в Вологде работали многие замечательные мастера слова: Александр Яшин, Александр Романов, Василий Белов, Николай Рубцов, Сергей Викулов, Виктор Коротаев... В этом северном городе сложилась благоприятная творческая среда, да и к московским издательствам и журналам он оказывался значительно ближе, чем та же Пермь. При наличии таланта эти два обстоятельства открывали прямую дорогу к успеху и признанию, что вполне устраивало Астафьева, который, как подающий большие надежды прозаик, хотел конечно же печататься не только на периферии, но и в столице.

Итак, переезд состоялся. Первая квартира, в которой поселили Астафьевых, была удобная, в хорошем доме и месте, но она была предоставлена им временно — до завершения строительства нового дома. Конечно, жить, не распаковывая баулы, не очень-то удобно и в хорошей квартире. Поэтому Виктор Петрович отправился назад в Быковку — обрести утраченный

творческий настрой, а Мария Семеновна осталась на хозяйстве. Вот как она описывает это время:

«Хорошо, что через дом располагалась кулинария. Там можно было взять свежие, пышные шаньги, причем, на любой вкус: со сметаной, с яйцом, с творогом. Поражало и обилие свежей рыбы. Я уж не говорю о чудном снетке — вяленой, замечательной на вкус рыбке, ее в Вологде в ту пору ели походя, вместо семечек. Все это очень выручало, однако дела от этого не делались быстрее и удачливее.

Так что и из Вологды приходилось часто наведываться в небольшую, тихую уральскую деревушку Быковку. Жители быстро и охотно приняли нас, как родню, и каждый наш приезд был для них вроде праздника. Они приходили то поодиночке, то один за другим, то ближе к вечеру, так и компанией, приносили кто что: молоко, яички, мед, картошку, капусту, иногда бутылку, заткнутую по старинке бумажной крученой пробкой, мутноватой самогонки, и получалось у нас застолье — это если мы долго не были, а когда жили в Перми и наши приезды были частыми и неспешными, тоже приходили, пили иногда с нами чай, слушали про городскую жизнь, рассказывали о деревенских новостях. Паруня, наша быковская соседка, съездив в поселок Ляды, где показывали кинофильм „Председатель“ и желающих возили посмотреть на свою жизнь со стороны, отмахнулась рукой и сказала, мол, че смотреть про то, че каждый день видим, делаем, переживаем, а по ночам ревматизмом маемся. Лучше бы пол-литру поставили да колбасы за бесплатно, как бы гостимо, вот бы и посидели, и поговорили, может, че и спели... Однажды увидела, что я много наварила овсяного киселя, разлила по тарелкам да чашкам, чтоб остывал, а потом, в обед или в ужин, Виктор Петрович ел, посолив маленько поверху да полив растительным маслом, а я — с

молоком, еще лучше бы со сметаной. Она смотрела, смотрела, подумала о чем-то про себя и заключила: „Ну, вы и жрать здоровы!“

В Быковке я забывала обо всем, наступал отдых, благодать, и я чувствовала, как уходит усталость.

Вечером, как и в прежние годы, ходили гулять, и Виктор, радуясь тишине, природе, покою, много раз вспоминал Бориса Никандровича Назаровского, который нашел эту деревушку, эти радостные, милые сердцу места».

Наконец, строительство дома в Вологде по улице Октябрьской было закончено, и они перебрались в свою квартиру, обустроились, и жизнь на новом месте вроде бы стала налаживаться. Но буквально через несколько месяцев нежданно-негаданно возникло еще одно предложение: поселиться в квартире дома, расположенного на улице Ленинградской, где до недавнего времени жил первый секретарь Вологодского обкома.

«Вечером вместе с Василием Ивановичем Беловым^[118], — вспоминает Мария Семеновна, — мы из вежливости пошли посмотреть, что за квартира? Комнаты огромные, коридор широкий, потолки высокие — начальство в плохих квартирах не живет, это известно давно. Но когда я вошла в кухню, как сказала бы моя мама, с поле велику, — тут уж у меня язык не повернулся отказать: не кухня, а удобный и не обиженный размерами кухонный полигон. Сразу поняла, как удобно будет в этой кухне нашей семье. Так оно и случилось.

Напротив входа в кухню — узкий простенок и по сторонам два окна, слева, возле двери, двойная мойка из нержавеющей стали, и в углу, у стола, он же шкаф — для приготовления пищи, для посуды, — а рядом с ним, к

окну ближе, расположена плита. Другая половина кухни свободна, и мы определили туда журнальный столик и по сторонам два негромоздких кресла. В простенок уперся торцом большой семейный стол.

Так что вот далеко не сразу мы нашли свой вологодский угол, пришлось трижды переезжать в течение полутора лет. Зато у Виктора Петровича был теперь действительно удобный кабинет.

Ирине досталась боковая, квадратная комната с балконом во двор. Гостиная с лепниной на потолке вокруг люстры и с бордюром по потолку вдоль стен — должна быть гостиной. Оставалась еще одна большая комната, в которой поставили две кровати, в углу — небольшой письменный стол и тумбочку для пишущей машинки, а вдоль стены стеллажи для книг.

Однажды я, как говорится, бегу впереди себя с сумками, света в окнах его кабинета нет, лишь тихо льется, звучит прекрасная музыка. Я скинула обувь, пальто, поставила сумки и спешу к нему в кабинет, спрашиваю встревоженно: „Витенька! Тебе плохо?“ — „Нет. Лежу вот, прекрасную музыку слушаю — лютни с органом, а до этого рассматривал названия книг — какое унылое однообразие. Два-три оригинальных, а остальные — примитивные, вторичные... Мало братья-писатели, особенно молодые, думают над названием книги...“ Ну вот, значит, Виктор Петрович с чувством, с толком, с расстановкой расставляет книги, то что-то напевает, то наговаривает сам себе».

Перед самым переездом из Перми в Вологду Виктор Астафьев завершил работу над рукописью рассказов, которую приняло к изданию ведущее в ту пору издательство «Советский писатель». Сборник получил название «Синие сумерки» — по одноименному рассказу. Замысел его возник в Быковке.

Как-то зимним днем после обеда Виктор взял удочки и пошел на рыбалку — хариусов подергать. А Мария Семеновна, сохранившая в памяти этот эпизод, отправилась на лыжную прогулку.

Вернулись они домой, напились чаю и не стали зажигать лампы, наблюдая за надвигающимися сумерками. В тот день им удалось поймать тот момент, когда происходит слияние дня с вечером, перетекание одного светового состояния в другое. За окном самые синие сумерки, в окно скребется яблоневая сухая ветвь...

И вдруг Виктор Петрович без перерывов и сбоев рассказал — от начала до конца — историю, навеянную возникшими чувствами. Это был рассказ о беспредельности человеческой подлости и противостоящей ему доброте, причем борьба между ними не всегда заканчивается в пользу последней; о том, что творимое человеком зло ложится виной на всех нас, ибо мы представляем тех, кто является его носителями.

Тогда обстоятельства не дали ему вовремя сесть за стол и записать пережитое. Спустя некоторое время рассказ он все-таки написал, но писал его долго, мучительно, и текст, по оценке жены, многое утратил от первоначальности — ушло время.

В 1967 году В. П. Астафьев подготовил к изданию рукопись рассказов для издательства «Советский писатель». И хотя первая его столичная книга — «Звездопад» — вышла в «Молодой гвардии» еще в 1962 году, будущее издание представлялось более важным — в творческой среде «Советский писатель» почитался особо, любая изданная в нем книга воспринималась как визитка, открывавшая доступ в круг профессиональных литераторов.

Когда рукопись книги «Синие сумерки» была принята в производство, Виктор Петрович познакомился

с издательским художником Евгением Федоровичем Капустиным. Они буквально с первого взгляда приглянулись друг другу, и возникшая между ними, двумя бывшими фронтовиками, крепкая дружба сохранялась все последующие годы.

Е. Ф. Капустин рассказал мне, как велась работа над изданием «Синих сумерек». Беседа состоялась в квартире Евгения Федоровича и его жены — Юлии Федоровны Смирновой. Она — художник-график, также оформляла многие книги, были среди них и астафьевские произведения.

Томики Астафьева, многие — с дарственными надписями, на отдельной полке. С интересом рассматриваю «Синие сумерки» — первого издания книги в моей библиотеке нет. Автограф на титульном листе: «Жене и Юле Капустиным, милым добрым людям на долгую и сердечную дружбу, с благодарностью. В. Астафьев, г. Москва, ноябрь 68 г.». Мелькают названия знакомых рассказов, большинство из которых давно стали классикой: «Восьмой побег», «На далекой северной вершине», «Ясным ли днем», «Индия», «Старая лошадь», «Сашка Лебедев», «Монах в новых штанах», «Далекая и близкая сказка», «Бабушкин праздник», «Горсть спелых вишен»...

— Вы познакомились в 1968 году? — уточняю я у Евгения Федоровича.

Говорит он тяжело, дышит трудно: одолевают возрастные недуги.

— Нет, годом раньше. Ты посмотри выходные данные. 15 января 1968 года книга сдана в набор, а 24 июня 1968 года — подписана в печать. Вышла в свет осенью того же года. Книжка в ту пору, как правило, не менее года делалась.

— Но ведь вряд ли Виктор Петрович из-за оформления книги приезжал в Москву?

— Конечно, приезжал! Книга ведь в столице должна выйти! «Синие сумерки» — и для меня большая работа. Делал обложку, полосные иллюстрации. Тебя, должно быть, интересуют подробности?

— Естественно!

— Зашел как-то ко мне Витя Петелин, наш редактор, и говорит: «На-ка, почитай. Настоящая рукопись». Прочитал и в восторг пришел. Буду оформлять! Читал с удовольствием и картинки делал с удовольствием. Один из рассказов — «Восьмой побег» с некоей политической подкладкой... Помнишь его? Герой бегал, бегал... Спрятался в кустах. А ему и ветки решеткой видятся. Податься некуда. Мастерски написано.

— А долго вы работали над оформлением рукописи?

— Хотя содержание захватывало и увлекало, заставляло работать без продыха, — ушло полных два месяца. Важно было и самому не оплошать. Познакомились с Астафьевым, когда он приезжал в Москву посмотреть, как идет процесс оформления и редактирования...

— Помнишь, где прежде стоял опекушинский Пушкин? — неожиданно спрашивает меня Евгений Федорович.

— На бульваре...

— Вот-вот. И притом Пушкин тоже смотрел на Тверскую. То есть стоял спиной к бульвару. А на той стороне бульвара, где Литинститут, но значительно ближе к углу Тверской, было кафе — самая близкая и доступная забегаловка к нашему издательству.

— Оно тогда было на Тверской?

— Рядом. За нынешним магазином «Армения», с бульвара надо войти во двор, там стоит доходный дом. Вот в нем, на десятом этаже и находился в ту пору «Советский писатель».

— Я знаю его, он ведь в булгаковский маршрут по Москве вписан. Дом с куполом, с последнего этажа —

отличная панорама на город.

— Да, дом памятный. В его куполе в годы войны зенитный расчет располагался...

— Ну, и как вы себя в рюмочной с Астафьевым вели? Интеллигентно?

— Да, конечно. У Виктора всегда мат был настолько органичным, что вроде и не мат, в разговоре не чувствовалось. Если из его речи выкинуть ненормативную лексику, то астафьевской песни не будет. Рассказчик он великолепный, сам знаешь. И всегда с юморком, всегда с острым, а то и соленым словом...

— Так вы в рюмочной этой гуляли еще до выхода книги?

— Не гуляли — знакомились. С этих посиделок дружба началась. Потом я приезжал к нему в Вологду, в том числе и на Новый год.

— Расскажите об этом.

— Собрались у Астафьевых. Были Вася Белов, Николай Рубцов, другие ребята — полный дом гостей. Помню, как дружки мои поддевали местного партийца. Был там человек, который опекал писателей, причем в самом полезном смысле. Продукты им доставал, всякие путевки и прочее. Но парни горячие, выпили и понеслось: «Ты зачем сюда пришел, стучать?»

Видно, человек безобидный и влюбленный в подопечных своих. Но те закусили удила, все цепляют и цепляют мужика. Думал, драка будет. И Коля вдруг подключился: «Уходи лучше отсюда»...

Слушал я, слушал пьяную хреновину — надоело. Обкомовцу говорю: «Зачем их прощаешь? Дай по шее одному, другому, третьему...» Он в ответ: «Что вы?! Они завтра проснутся, будут милейшие люди...»

Кстати, Коля Рубцов у них дневал и ночевал. Всегда голодный приходил, так Марья его подкармливала.

— Ну а дальше как знакомство развивалось?

— Виделись время от времени, вели переписку. К лету 1970 года Виктор обзавелся уже домиком в вологодской деревне Сибла, и я отправился к нему на своей машине, чтобы посмотреть, как он обустроился на новом месте. Потом побывал еще несколько раз. Однажды, летом 1975 года, при нашей очередной встрече в его доме в Сибле сидим, чаевничаем. Он вдруг как бы между прочим говорит: «Я скучал по тебе. Подарок дорогому другу готовил...» И примолкает, вроде на что другое отвлекается. Так несколько раз. Наконец говорю: «Где подарок? Хватит зубы заговаривать!» Он поднимается из-за стола, идет к печке, что-то берет. Кладет передо мной ключ. Я удивлен: что такое? «Пойдем смотреть подарок», — говорит Виктор.

Оказывается, через дорогу от себя он купил мне деревенский дом. За 150 рублей! Хозяйку звали Евстоля. У меня ее портрет есть.

Осмотрели дом. Стены вроде крепкие, а все остальное — рухлядь. Две комнаты обозначены только, пол — провальный, крыша — худая. Но по деньгам и товар. Решили обмыть покупку.

Я побежал в магазин. Как сейчас помню: на полках пустота, хоть шаром покати, но водка — «Посольская». Пока я бегал, к Виктору заглянул местный начальник — председатель сельсовета. Услышав о приобретении, говорит: «Какое тут застолье. На совещании в Вологде запретили деревенские дома продавать. Но сама бумага пока еще до нас не дошла. Надо вам успеть! Поезжайте в сельсовет и срочно оформляйте куплю-продажу. А потом уже спрыснем дельце». Так и сделали. Успели!

— Так вы стали домовладельцем.

— Не в этом дело. Мы тесней стали общаться с Виктором. Лето он проводил в Сибле, и мы виделись в отпускное время практически ежедневно. Жили на

глазах друг у друга. А какие впечатления остались от часов, проведенных у реки! Рыбалка там мировая.

В разговор вступила Юлия Федоровна:

— Когда мы ездили в Сиблу — расстояние все-таки значительное, 500 километров, — обычно не торопились, ночевали в Ярославле. А на другой день, отдохнув, отправлялись через деревни вдоль реки Кубены. И так там было много брошенных домов: крепких, добротных, но оставленных жителями. Люди уходили: не было работы, возможности жить и выжить.

Так мы и ездили на протяжении ряда лет мимо пустых деревень. А в один год вышло распоряжение местных властей — все брошенные строения уничтожить, разобрать на дрова. Дорога Москва — Архангельск стала вовсе голой, еще более грустной и тяжелой. У Анатолия Заболоцкого есть фотография деревянной сельской церкви, снятой там, по дороге. Тоже сожгли. Кому она мешала?!

— Вы бывали в Сибле в летние месяцы?

— Обычно мы приезжали в Сиблу на Первое мая. Ехали всегда загруженные под завязку. Наши соседи, местные деревенские жители, давали нам уйму поручений в Москве. Ведь кроме столицы и Питера нигде ничего не было. Считалось, что москвичи богатые. Мы могли купить десять пар чулок хозяйке нашей Евстоле. Другой соседке — шерстяную кофточку.

В деревне был единственный мужик — Сергей Федорович. Да с лошастью! Мог дрова привезти из лесу и наколоть, окно поправить и печь сложить. У него была жена Софья, двое сыновей. Один — путный, а другой работал на железной дороге и страшно пил. Мы ключи от избы оставляли Софье. В одну из зим она имела неосторожность дать сыну ключ от нашей избы. И пошло-поехало. Если в прошлые годы у нас все оставалось в порядке и сохранности, то после того, как

там пожил непутевый парень, исчезли практически все нужные в хозяйстве вещи, даже бытовые предметы вроде бритвы Евгения Федоровича. Особенно жалко, что он украл мою любимую старинную игрушку, ее мне бабушка одна подарила. Это были два деревянных ангелочка с крылышками, которыми они махали, если двигать выдвижные палочки. Местная, северная игрушка. Личики розовые, крылышки голубые. Я очень ее любила. Но он умудрился ее сорвать с двери и упереть. Еще пропажа — металлическая дверка от старинной печки с примечательным сюжетом: охотник с ружьем и собакой идет по лесу. Над ними птички. Эту дверку тоже унес. Электрический чайник пережег.

В общем — осквернил наш дом, мы очень обиделись. Романтический флер первых лет жизни среди крестьян — чистых и невинных — спал. Мы, конечно, знали, что живут они тяжело. Со светом, дровами, продуктами — худо. Но видели и другое. Сами они тоже не старались прилагать усилия для выживания, считая, что проще где-то что-то утянуть, что плохо лежит, а потом продать и пропить... И старухи-соседки оказались злобные, недоброжелательные.

— Но вы же для них были дачниками. В теплую пору отдохнули, рыбу половили и уехали. А им-то деваться некуда. Отсюда — зависть, озлобленность, отчаяние.

— Да, это так. Но мы-то ничего в этом укладе изменить не могли, перед ними ни в чем не виноваты. Наоборот, старались как-то помочь. Я уже упоминала о том, что машина всегда была забита вещами для наших односельчан. В общем, охладели мы к этой затее. К тому же Виктор Петрович в 1980 году оттуда уехал, возвратился на родину, в Сибирь. Продали мы свой домишко череповецкому жителю за символическую цену, вырученных денег мне хватило только на одну горную лыжу.

А место там замечательное, очень красивое.

— Виктор Петрович там вел хозяйство?..

— Он развел экзотические посадки. И прежде всего — кедр. Он тосковал по Сибири и привез четыре-пять маленьких кедров. Он любил сад, любил показывать свои посадки. «Видишь? Это сибирский бадан...» Но тот, кстати, плохо приживался, каждую зиму отмерзал. Под лучами весеннего солнца бадан раньше времени выбрасывал довольно мощный сиреневый цветонос, листья были крупные, кожистые. Но потом случались заморозки, и преждевременно развившиеся ростки погибали.

В одной затее есть эпизод со скворечником. Это написано в Сибле с присущей Астафьеву наблюдательностью и юмором. Новое поколение птиц вселялось в старый скворечник, и он раскачивался под их напором. Рассказ о лошадях, где лошади спят, — оттуда же. Он видел эту картину из окна своего сиблянского дома. Над рекой и вокруг нее стелился утром туман. Лошади невесть как туда забрели, встали и заснули.

— А его там навещали другие писатели? — обращаюсь я к Евгению Федоровичу.

— Однажды при нас у него были Юрий Бондарев, Сергей Орлов, Вася Белов... Гостили целый день, спускались к реке... Там мы и встретились. Памятная встреча, душевная. Сразу чувствовалось, общаются близкие люди. Единомышленники.

Орлов ведь тоже откуда-то из этих мест, из-под Великих Лук, вроде.

И снилось мне жаркое лето,
Хлеба в человеческий рост
И я, молодой и веселый,
В кубанке овсяных волос.

Такой вот образ неожиданный... Бондарев тогда только выпустил «Берег». Помните? Любовная история нашего офицера с немкой. Виктор Петрович с Марьей отнеслись к этому скептически — женщин автор не знает...

И все же гости бывали нечасто. Например, от деревни Васи Белова до Сиблы 60 километров. При бездорожье это, скажу тебе, расстояние. Мы ездили в отпуск в Сиблу всегда на машине. От шоссе до деревни — 200 метров. Но они практически непреодолимы — надо было машину тащить трактором. И так же на обратном пути.

Помню, приезжал один немецкий корреспондент. Он снял фильм о русских писателях — Викторе Астафьеве, Василии Белове и Евгении Носове. Астафьева как раз в Сибле у того же знаменитого забора снимал, а Василия Ивановича — в его Тимонихе. Немец недели три жил, материала много набрал.

— Я вас хочу спросить вот о чем: как Виктор Петрович относился к своему отцу в то время? Ведь под конец жизни его оценки изменились. Он стал выставлять Петра Павловича жертвой, рассказывал, как тот жестоко пострадал от советской власти... Между тем у меня есть более ранние записи разговоров: в 1980-е годы Виктор Петрович отца не жаловал. Вот о мачехе, которой доставалось от Петра Павловича, говорил с симпатией...

— По его высказываниям выходило, что это был человек не очень-то приятный... Помню эпизод. Виктору Петровичу не писалось, и он в окно наблюдал за тем, как отец сам перед собой имитировал работу (привычка зэка). Таскал по двору щепку. А потом пришел в избу весь взмокший, измученный, и демонстрирует свою «усталость». Виктор Петрович сделал вид, что погружен в свои думы. Тогда отец ему говорит: «Дай хоть рюмку, видишь, навкалывался так, что пар валит...»

Евгений Федорович берет в руки снимок, на котором Виктор Астафьев стоит, облокотившись на плетень. Снимок замечательный.

— Снимал не я, но я этот снимок придумал. Смотрю, вокруг Виктора кружится один из местных фотографов. Остановил его и говорю: сними, как я тебе покажу. Попросил Виктора стать у плетня, успокоиться, и этот малый, как видишь, сделал отличный кадр.

— Да, снимок великий! А Василий Иванович Белов часто в Сибле бывал?

— Сколько же вы всего прожили в Сибле лет?

— Вот и не скажу.

Юлия Федоровна помогает мужу:

— Думаю, лет семь. Вот сейчас еще эпизод вспомнила. Жил там сельский интеллигент — Илларион. По деревенским меркам — зажиточный. У него дом в два этажа, это редкость для тех мест. Был у него огромный сундук с книгами. Он их читал и относился бережно. Когда почувствовал, что стал совсем плох, позвал Виктора Петровича и при нем открыл заветный свой сундук. Среди множества старых изданий Виктор обнаружил знаменитую дореволюционную книгу Елены Молоховец. На титульном листе была печатка самого автора. Виктор на какой-то праздник позже ее нам подарил.

Кстати, прежде посредине деревни была маслобойня. Она упоминается в одной из затесей. Местный мастер подкармливал голодных ребятишек. Но мы видели только место, на котором она находилась.

Жаль, что лето там короткое. Только земля оттаивала, только покрывалась купавками, этими северными розами, как снова приходили холода. Купавы были интенсивно оранжевого цвета. Сильно отличались от бледно-желтых сибирских.

Дом Виктора стоял на горе. У сына есть фотография девушки-пастуха. Она с палкой стоит у изгороди,

которая спускается к реке. Когда мы весной приезжали, этот спуск был покрыт на удивление крупными купавками. Ступать на этот ковер из цветов казалось кощунственным. Мы шли осторожно, след в след по едва обозначенной тропке, старались не давить цветы.

— Кубень, — поясняет Капустин, — река с перекатами и крутыми поворотами. Ловили в ней рыбу на кузнечика. Он трепыхался и привлекал внимание рыбы.

Кстати сказать, один наш приятель в Сиблу приплыл из Москвы на лодке. Звали его Николай Филиппович. Приплыл, значит, и спрашивает у местных дом Капустиных. Все были поражены. Поверить в это и в самом деле было трудно.

— Вот еще эпизод, смешной и грустный. Как Астафьева на собственный творческий вечер не пустили, — продолжает рассказ Капустин.

— И как же?

— А рожей не вышел, как он сам о себе говорил, — смеется художник.

— Однажды Виктор Петрович приехал в Москву, одетый хоть и тепло, но несколько нелепо. Был он в грубой дубленке и почему-то в резиновые сапоги вырядился. А ведь от них ноги еще больше ломило — они у него всегда побаливали.

Предстоял его авторский вечер. Пошли покупать ботинки. Купили вроде хорошие, как-то повеселели — в предвкушении вечера было у нас обоих прекрасное настроение. Он поехал по издательствам пригласительные раздавать, а я пошел Юлю встретить, чтобы пойти вместе на его выступление. И вот мы уже в фойе зала, а его нет. Вдруг я слышу какую-то ругань, возню на входе. Всмотрелся, там — он. Что же оказалось?

Все билеты, которые у него были, он раздал знакомым, себе не оставил, понадеялся, что автора так

пустят. И документов никаких не захватил. Вот его билетерша и не пускала. Баба оказалась заполошная, требует билет, и все тут. Виктор обиделся, в бутылку полез. Я подхожу и протягиваю билет: «Вот мой билет на двоих, пропустите. Он со мной. Очень ему хочется писателя Астафьева послушать...»

Юлия Федоровна дополняет:

— Еще долго он вспоминал о том случае: «Что на себя ни наденешь, рожа всегда выдает происхождение. На собственный вечер не пустили!»

Евгений Федорович показывает и комментирует снимки с их плаванием по Оби:

— Видишь, станция «Никита», теперь звучит забавно. Но никак с девицей-киллером из ТВ-ящика это место не связано. А это мы с Виктором Петровичем отправляемся в Салехард, идем вверх по Оби.

Вот поселок в окрестностях знаменитого Березова. Оттуда родом капитан рыбнадзорного катера, который нам дали на две недели. Мы пошли удить рыбу, а женщины — в дом капитана. У него был братишка двенадцати лет. Купаясь, тот обнаружил место, где когда-то затонуло суденышко. А вода выбрасывала на отмель предметы из прошлого. Встречались там довольно ценные серебряные и золотые вещи.

Поездка была изумительная, экзотическая. Ханты в чумах. Отличная рыбалка. Вот мы на катере. Виктор увидел стаю уток, сел и стал стрелять. Тридцать уток подбил. Нырки. Они остаются на поверхности. Мы их сачком собрали, и больше не надо было думать в поездке о пропитании.

У меня был хороший спиннинг, но почему-то не ловилось. Бросил леску с куском мяса за борт, а сам пошел в каюту. Возвращаюсь, а моя леска утянута под брезент. Ага, думаю, издеваются, сапог прицепили или еще что. И так это небрежно тяну, а идет трудно.

Наконец вытаскиваю крупную рыбину. Чир! Разрезали его со спины, чуть посолили. Двадцать минут лежал — и готов к употреблению. Ох, и вкусная рыба. Какой же был закусон.

Прошу Евгения Федоровича рассказать о других ярких встречах.

— Коля Рубцов бывал у меня здесь, в этом доме. Приходил с деревянным чемоданчиком, когда приезжал по делам в Москву. Однажды иду по коридору издательства, смотрю, он стоит. Грустный. «Ты чего такой мрачный?» — «Половину стихов из книжки выкинули». — «Покажи». Я прочитал — хорошие лирические стихи. Взял папку с отброшенными стихотворениями и пошел к главному редактору издательства Борису Соловьеву. Стихи Рубцова я тогда отстоял!

Был знаком и с Василием Шукшиным. Меня поразили, помню, сапоги в обтяжку, ножки тоненькие. Он издавал тогда книгу «Я пришел дать вам волю». Встретил его на лестнице. То да сё, покалякали, но беседа не складывается. «Что, — спрашиваю, — редактора заедают?» — «Да вообще книга застряла». Вот те раз.

Пошел по кабинетам. «Что же не издаете такого интересного писателя?» — «Шукшин интересный?! — возражает мне одна наша руководящая дама. — Графоман. Таких к издательству близко подпускать нельзя». Спустя годы та дама первая о Васе книжку накатала. А я пошел дальше по кабинетам, но как-то на этот раз не складывалось. Говорю Васе: потерпи чуток, что-нибудь придумаю.

Буквально в ближайшие после разговора с Шукшиным дни мне звонит начальство — куратор из ЦК, женщина. А я был в тот момент секретарем партийной организации издательства. Звонит по поводу пьяных

дебошей одного из наших заведующих редакцией: «Почему пьет ваш сотрудник, даже хулиганит!» Он кого-то по пьяному делу укусил. Мне вроде нагоняй. Будем исправляться, говорю. После этого она так вежливо меня спрашивает, есть ли у меня какие проблемы.

Вот, отвечаю, есть хорошая книга у Василия Шукшина, но застряла. Она отмолчалась, ни слова не сказала. Но потом позвонила директору: правда ли, что в издательстве есть хорошая книга Шукшина? «Да, мол, правда». — «Так что ж не издаете? Чего же хорошую книгу держите?» Он сразу команду: издать! Рад, что все же нашел я ход, чтобы защитить книгу писателя. Был рад, когда мог помогать ребятам...

— Евгений Федорович, а вы помните, как другую астафьевскую книгу оформляли, «Стародуб»?

— Она в «Советской России» выходила и называлась «Повести». А сосватала меня на эту работу Эльвира Розен, художественный редактор тамошний. Материал мне уже был знакомым, взялся с радостью.

— Как я понял, вы оформили около четырехсот книг. Все храните?

— Нет, конечно, только любимые. Например, «Дубровского» — одну из самых удачных работ. Есть среди них детские: «Похитители бриллиантов» Буссенара, «Семь подземных королей» Волкова...

— А портрет Виктора Астафьева в книжке издательства «Советская Россия» вами сделан?

— Кажется, да. Но надо уточнить у Юли. Мы многое вместе делали, не все можно теперь отделить...

Надеюсь, что истории, которые поведали мне Капустины, помогут читателю лучше постичь человеческие качества Астафьева. Рассказчиками Юлия Федоровна и Евгений Федорович были замечательными и, как истинно интеллигентные люди, не допускали

каких-либо преувеличений или выдумок. В этом легко убедиться, ознакомившись с письмами Астафьева Капустиным. Переписка между ними столь обширна, что, пожалуй, «тянет» на небольшую самостоятельную книжку. Поэтому ниже помещена лишь часть этих писем, которые я отобрал, опираясь лишь на собственный вкус и полагая, что именно они представляют наибольший интерес для широкого круга читателей. По-моему, они не нуждаются в подробных комментариях, поскольку и без них дают богатую пищу для размышлений. Заметим только, что в нынешние годы, когда переписка едва ли не полностью перестала быть средством общения людей, мы уже не оставляем нашим наследникам таких живых бытовых свидетельств нашего существования, какие находим у Астафьева. А помимо прочего встречаем мы в этих посланиях писателя друзьям чудные пейзажные зарисовки, которые придают письмам настоящую художественную ценность.

И еще. Хочется привести здесь слова Астафьева, которые мы найдем в одном из писем: «И хорошо, что придумана бумага, на ней можно сказать все, что хочешь, даже о том, что любишь человека, а то так-то словами мы ведь не посмеем, стеснительны больно!..»

«Май 1968 г., Быковка.

Дорогие Юля и Женя!

Пишу вам из далекой Быковки, где пребываю с 1-го мая и тружусь, как лев (не Толстой, а из джунглей который). Наворотил кучу всякого словесного говна, но из него, кажется, слепляется лепешка — вторая часть „Последнего поклона“, вышло это и для меня несколько неожиданно. Начал-то я с нескольких очерков-рассказов о поездке на родину, о рыбаках и рыбе, а меня понесло, и все несет и несет безостановочно. Напишу один рассказ, а за него цепляется другой. Воскрешаю на

бумаге мертвых, дорогих и горьких людей, бранюсь с живыми. Книжка будет куда как более горькая, чем „Последний поклон“, так, с такими чувствами пришел я к современности, и мысли о ней идут вразрез с установленной моралью. Проклинаю ГЭС, пишу о бедствиях, ею нанесенных, а строителям ее дали досрочно Ленинскую премию!..

Но не это главное, главное, что работается, а сегодня поймал первых четырех харюзков, и совсем хорошо на душе. Так рано я еще никогда не ловил. Здесь вообще весна была очень ранняя, и даже жарко бывало.

Юля и Женя, я пишу с еще той целью, чтоб напомнить о себе, связаться с вами и спросить вас насчет поездки. Как вы? Какое ваше настроение и здоровье? Готовы ли к поездке в назначенный срок?

И куда бы вам хотелось — сюда на Урал, в нашу, в общем-то, чудесную, тихую Быковку, где все благоустроено и на ходу, но рыбалка слабая — только харюзки хитрые, однако Женя сможет ходить на водохранилище — полтора километра, там, говорят, клюет мелкий окунишка, ерш и лещ изредка.

Лететь до Перми — два часа из Домодедова. Извещать нас нужно заранее, чтобы мы могли вас встретить.

Если же Вам хочется все же в вологодские края, в Полинок, то и в этом случае напишите нам по адресу — Пермь-68, ул. Большевистская, дом 190, кв. 15, Порошуновым (для Астафьева).

Мы тогда числа 28-го мая уедем отсюда, и будем ждать вас числа 1-го, 2-го июня к нам, с тем, чтобы сразу же уехать в Полинок, ибо одни, совершенно одни мы сможем там быть дней десять-двенадцать, а потом приедет девочка с бабушкой и, может быть, даже женщина с ребенком, а это уж для нас, от детей

отвыкших эгоистов-интеллигентов, уж испытание (для нас, значит, и для вас!).

Сейчас мы едем в „великий“ город Чусовой, на родные могилки взглянуть, а затем прошвырнемся на станцию Теплая Гора, где живет старый и умный охотник-промысловик, давно меня к себе приглашающий и с которым мне позарез необходимо встретиться (для книги). И вот если б ты, Юля, не откладывая в долгий ящик, написала мне, то на обратном из Чусового пути я б уже знал, как нам спланировать свое время, спланировать надо, ибо работы еще много, а там и поездка в Сибирь уж надвигается.

Очень многое мне хотелось бы вам порассказать, например, о том, как позавчера видел медведя, крадущегося к пасеке, и напугали мы его с Толькой (нашим приемышем), и почитать бы вам чего-нибудь смешное из новой рукописи хотелось бы.

Ну, а пока обнимаю вас обоих крепко и целую.

Если двинетесь в Быковку, можете брать с собой свою изнеженную собаку, ее хоть тут комары поедят маленько, стерву.

Мария кланяется.

Ваш — Виктор.

Извините, что не поздравил с праздником — был очень усталый, в путь двинулся прямо из-за стола и прямо за стол упал...»

Следующее письмо отправлено из Вологды:

«Дорогие Женя и Юля!

Приветствую вас! Женю хоть письменно, раз не сумел устно, благодарю за сапоги, которые вызывают зависть у всех вологжан-охотников и пришлись мне впору. А еще, это уж следом уж за сапогами, благодарю за отлично сделанную книгу! Дай Бог нам делать вместе не последнюю!

У Юли я был последний раз распянувший, глупости, наверное, какие-нибудь болтал. Плохо все помню, на поезд едва успел. А теперь вот расплачиваюсь за разгул и веселье — невыносимо болит дурная, контуженная голова, и решили мы податься в лес. Завтра улетим на неделю в отдаленный Никольский район, где тихо и есть еще охота и рыбалка.

Вы за это время пришлите мне рукопись, бо ее надо править и перепечатывать да подаваться с повестью в другой журнал, бо в „Москве“ мне такое нравоучение прочитали насчет „Правды войны“, что мне и противно сделалось иметь с ними какие-либо дела.

Погода у нас стоит — дрянь, всего меня ломает. Лежу да плюю в потолок и маленько пописываю, ибо много и читать не могу.

Напал на 10-й том Пушкина, читаю его письма — такая прелесть! Вот мужик, так мужик был, воистину гений и жил широко, и мыслил глубоко. У нас все измельчало, и жизнь, и мысли, и литература, мать бы ее растак!

Вернусь через неделю — приезжайте на грибы и бруснику! Мне теперь можно звонить. Поставили телефон на квартиру...

Целую вас обоих — дорогие люди.

Ваш Виктор.

Дочь и жена шлют поклоны.

18 сентября 69 г.».

13 ноября 1969 г., Вологда.

«Дорогие Женя и Юля!

Звонил я вам, звонил в праздник, желая приветствовать голосом, но вы оказались в Гаграх...

Я тоже лишь перед праздниками приехал с Урала. Сидели с бабой моей в деревушке и работали. Мне хорошо работалось, и я кое-что понаписал для души и для печати (для души больше). „Пастушка“ моя

находится в „Новом мире“. Есть телеграмма, что ее читают с интересом и отношение к ней благожелательное, и что скоро будет разговор, а следовательно, мне надо будет ехать в Москву и тогда я вас увижу.

Пока же дни идут тоскливые. Был один раз на рыбалке, наловил на уху и простудил горло. Сейчас погода настолько мерзопакостная, что работать не могу — все мои стариковские кости ноют и болят. Читаю да письма пишу, на большее не способен, даже и бабу, хоть она мадонна будь — все одно не надо. А баричи прежде в наши годы лишь жениться начинали. Исхудал народишко!

Юля, а теперь у меня опять к тебе докука. Есть у меня дочь — студентка пединститута. Она, как всякая современная дитя, ни хрена об себе не думает и не заботится, целиком полагаясь во всяк делах на родителей, за что потом огрызается на них. Так вот эта самая дочь Ирина, студентка пединститута, осталась в зиму без пальто и без обуви. Простыла уже и громко (чтобы я слышал!) сморкается и кашляет в своей комнате. Я ее, конечно, наматерил за легкомысленное отношение к жизни, а она, конечно, сказала: „Ну и что!..“ Дескать, пусть я пропаду, а вам от этого хуже будет. Все верно.

Короче, не поможешь ли ты. Юля, нашему горю? Памятуя, что у тебя какой-то завмаг и кто-то еще знакомый, я и решаюсь попросить тебя об одолжении. Нельзя ли этой дочери моей достать сапожки на невысоком каблуке 37-го размера и посмотреть пальто молодежного покроя с короткошерстным воротником или, в крайности, шубенку какую-ничто.

Деньги у меня есть сейчас, и я в любой день и час могу их перевести.

Мне опять неловко тебя просить, ибо знаю, что ты и без того человек занятой, но стервь-то эту, дочь-то,

жалко тоже.

Ты уж позвони нам и скажи, возможно что-то сделать или невозможно, а если сие мероприятие очень хлопотно, тогда Бог с ним. Пусть греется, как хочет и в чем хочет — впредь умнее сделается.

За сигаретки большое спасибо вам — искурили их в праздник за милую душу.

Приезжайте к нам когда-нибудь. Неча по Абхазиям жариться и петухов ловить — надо Россию смотреть и треску магазинную кушать, с нее говорят... ум прибавляется. Я, правда, не заметил чего-то на русском народе этого — он уж скоко лет треской питается, а все дурнеет и дурнеет умом и пьет беспробудно.

Ну, всего Вам хорошего, милые люди, целую Вас обоих,

Виктор

Привет Вам от Марии и дочери Ирины, студентки пединститута, которая „царьского роду не ходила боса сроду“, а ноне вот сподобилась...»

«18 июля 72 г.

Дорогие мои друзья Женя и Юля!

Так уж получилось, что на пути во Сибирь не смог я вас навестить — из Быкова переехал прямо в Домодедово, и тут же улетел. Сейчас я уже вернулся в Быковку, на Урал, и даже выпался и восстановился немного.

Брат уже совсем плохой. Но самое угнетающее еще и то, что вокруг него все очень плохо. Баба евоная — быдло в прямом смысле, выносить долго ее и все, что вокруг — невозможно. Я и не мог долго вынести...

Единственная отрада в Сибири осталась — это Енисей. И хотя погода в Сибири худая, я все же и порыбалил, и насмотрелся вдосталь — обратно ехал до Енисейска на тихоходном местном судне, и кого оно угнетало, а меня наоборот — радовало. Надышался,

насмотрелся, достал в Красноярске лекарства брату и двинул на Урал. Ведь мне так и не удастся поработать, как следует, дома: все хлопоты да заботы, да всякие пустяки. Только здесь, в глуши лесов, я и могу еще принадлежать себе хоть немного. Уж по работе тоскую больше, чем по любимой женщине! Оную можно объехать, забыть и задавить в себе, а работа наша, называемая графоманией, неизлечима.

Погода здесь стояла до вчерашнего дня жаркая, но вчера была гроза, и потом потянуло холодом и моросью с родины моей — Сибири, и все умиротворилось, земля дышит, рыба стала брать, и я поймал харюзков хорошо.

Сегодня же и работать сел — пишу одну чудную, давно вынашиваемую вещь под названием „Ода русскому огороду“. Мне самому она по душе — это раздумье и печальное о себе, о земле, родившей нас, и о девочке в голубом платье, которая с детства следует за нами так и не встреченная, так и не увиденная, потому что есть она не что иное, как мечта о прекрасном, и мечта — это выдумка и неизлечимая тоска о чем-то опять же прекрасном — блажен, кто умеет выдумывать! Что был бы я, да и все мы без выдумки?!

А где вы? Наверное, уехали куда-нибудь из спаленной зноем Москвы. Дай вам Бог здоровья и радости! Не знаю, что еще написать, еще весь я собранный и душа моя все еще истерзана страданием, которое я испытывал, глядя на умирающего брата и на торжество зла и одичалости вокруг. Сибирь спивается и неуклонно дичает. Даже кержаки начали пить и курить, и сквернословить, и обманывать...

Куда дальше-то?!

Обнимаю и целую вас. До встречи в конце августа. Буду ехать на Украину...

Целую, целую — Виктор».

«7 апреля 1975 г.

Дорогие Юля! Женя!

Вот сейчас, буквально минут пятнадцать тому произошло маленькое чудо — с плеса, на котором мы с Женей рыбачим, унесло льдину, унесло вместе с нашими лунками... чьими-то брошенными мокроступами-самоклеяками, с баночкой из-под политуры, с пустой бутылкой из-под дешевого яблочного вина, которое в большой моде среди нашего народа, здешнего в особенности...

А с вечера я пробовал рыбачить. Прямо против окон дома один здешний родом мужик поймал головля и язя — потчевал меня ухой. Это его лунки были ниже островка, в разлучье, сделанном речкой, на которое ты меня звал, и там он накануне нашего прихода хорошо половил крупную плотву. Вот что значит знать место!..

Ну, а вчера-то ни он, ни я ничего не поймали оттого, что все время драло и тревожило льдину против деревни. Дорожка по льду, которая вела в заречную деревню, оказалась против городьбы и конного двора. Вся льдина въерошилась... берег вспахало и подрыло раскрошенным льдом, и все деревенское плесо вкочь, кругами и пластушинами искромсало, будто грубо сшиты толстыми, белыми швами.

С вечера пошел дождь, проливной. Вообще после твоего отъезда стоял лишь один погожий день. Я взбудоражился, думая, что источники и небесные тверди обрели успокоение, взбудоражил Колю, и мы помчали на Сить, дабы доловить оставшихся после тебя, лютого хыщника, окуней, но только вымокли до нитки под дождем и ветром, вернулись к Коле домой, топили печь, сушились, даже водку для сугрева пили. Я-то, помня о своей бравой голове, выпил маленько водки, но много чая, отчего не мог уснуть до трех часов ночи. А Коля набрался, бабу мою, и без того пуганую, стал пугать по телефону, и утром я с автобусом уехал в

Сиблу, топил печь, досушивался, потом принял снотворное и долго спал, вслушиваясь в свои легкие — воспаление меня, слава Богу, на сей раз миновало, но под правой лопаткой все же тупо болит, напоминая, что с хронической пневмонией особенно шутить не надо.

Маня моя в городе. Она извелась тут, думая об Иринке, и в общем-то и меня изводит своими горестями, заботами и хлопотами, которые часто сама изобретает, а я ей, глядишь, и помогну чего-нибудь совершить под ее напором. Хотели вот порадовать молодых, по доброте душевной на юг послали, а делать это, оказалось, нельзя, Ирина чуть не лишилась дитя первого из-за этого. Сейчас вроде бы все минуло. Да у них, у этих нонешних девок, все чего-то клином входит и выходит, избаловались поди-ко, изнежились или уж век такой хреновый? Не знаю. Я многого уже не понимаю.

Марья моя сулилась сегодня приехать. Вот уже скоро вечер — ее нет. Где она? Что? Не сшибла ли в стремительности своей чего? Не расшиблась ли сама? Она у меня вроде теперешней речки Сиблы, бежит, ворочает все на своем пути, бурлит, полноводится, пытаюсь всем сделать добро, всяк собою обмыть, обласкать, а потом успокоится и недоумевает — это чего же наделала-то? А главное — зачем?

Дождь лил всю ночь. Спал я сносно. Снились мне какие-то покойнички, строем марширующие по улицам иностранного города, и среди них безликие, темные девки в разноцветных косынках и на высоких каблуках. Маршировать им тяжело. Мостовая булыжная, туфли подворачиваются, а они бредут, бредут. Во сне же я и понял, что покойники, да еще молчаливые снятся, в дождь не к лиху, а к успокоению.

Утром едва расхотелся. Истопил печь и сел работать, сделал немного, только беру разгон в новой главе, затем написал несколько писем — писал, писал

— глядь с верхнего плеса пошла льдина, дыбится, ломается, кусты на пути гнет и режет.

Пообедав, я отправился на реку. Потихоньку пошел я по берегу к устью Сиблы, соображая, где потом и как можно будет рыбачить. Пришел к Сибле, она разлилась, затопила кусты, бушует грязная, взъерошенная, издали шумит, словно большой поезд на железной дороге.

Вот я стоял возле устья, смотрел на льдину, по которой мы недавно с тобой ходили, на краю ее сидела ворона, как вдруг мне показалось, что она поплыла — я подумал, что доработался до точки... Вороны — птицы хитрые и храбрые, тоже любят всякие развлечения, сядут, к примеру, на плывущую льдину и катят себе по течению, а как льдина ударится, подлетают вверх и довольно противно закаркают.

Но вот, на той стороне, вскипел белый бурун, донесся шум, треск, что-то ахнуло, сломалось, и я увидел, что вся льдина двинулась, пошла почти незаметно глазу!

А под тем берегом все больше шуму, хрусту, лед все набирал силу, скорость, ворона взлетела, завихлялась... Скоро серая льдина ушла за поворот и голая, темная вода вдруг выдохнула прозрачный пар — это холод, скопившийся подо льдом, поднимался, видимый глазу, и вроде бы даже до зябкости ощущаемой кожей, реки.

А речка, только что быв неживой, покрытой серым и мокрым... закружилась, забурлила, в ней и на ней оказалось так много всего скрытого толщей льда — и бурунчиков, и стрелочек, и каких-то холодноватых, но бойких светлячков, идущих от острова, два обозначилось, и я подумал, что как прекрасна эта живая, трепетная река, пусть немножко холодноватая, темная и жуткая с виду, но тело ее дышит, плоть, переполненная силами, куда-то стремится, чего-то ищет, ждет... Снова я подумал о своей дочери на

сносях, о том, что жизнь, как и чем бы ее ни умирляли, берет свое, все хочет рожать, продолжать себя и нас.

В это время над рекой прошел и ниточкой вытянулся табунок уток, маленький, разбитый в пути охотниками... Табунки испуганно взмыл надо мной и, пока не растворился в сонном и сыром мареве парящей земли, я все его провожал взглядом: отчего-то затрепал в кустах одинокий дрозд; на яру стояла нахохлившаяся пугилица и молча подозрительно смотрела на меня; в поля из деревни слетели скворцы, сели что-то клевать, они с самого утра радостно, несмотря на дождь, пели и трясли остренькими крылами. Отчего-то не видно и не слышно ни одного куличка, ни одной плешечки.

Все же как часто я путаю эту бедную, в чем-то убогую землю с Сибирью и жду от нее того, на что она не способна — вечное заблуждение человека, болеющего ностальгией!..

Я пошел домой, оглянулся, река все дышала чуть растерянная, еще не привыкшая к нагоде, и я вспомнил Шукшина, его „Калину“ и подумал, что вот так, наверное, как он сыграл и есть — выходит арестант из-под конвоя на волю, делает выдох, удаляя из себя спертый, горький воздух неволи и, громко топая, вслушиваясь в вольные шаги, пока еще не веря себе, идет и идет: куда, сам не знает, лишь бы идти, лишь бы слышать свои шаги, дышать своей грудью вольно!..

Да-а, ничего не знаю прекрасней реки, она заставляет жить, думать, куда-то стремиться.

Большая нам с Маней была, Женя, радость, что ты приезжал. Круг близких людей с возрастом сужается, но зато остаются в нем уж самые близкие, а после того как я понял, что „вологодская школа“, эти в общем-то талантливые, но по природе своей убогие люди, на дружбу не способны, а лишь на эрзац ее, видимость, на корешильство, которым я переболел еще в детдоме, и потому не могу судить людей за то, что они болеют

детскими болезнями и умеют жестоко же, по-детски бездумно ранить людей, полагая в то же время, что они необычно добры и щедрЫ душой! — после всего этого круг мне близких людей сделался еще ближе и дороже. И хорошо, что придумана бумага, на ней можно сказать все, что хочешь, даже о том, что любишь человека, а то так-то словами мы ведь не посмеем, стеснительны больно!..

В обмен на радость, доставленную твоим приездом, сразу и расплата — у моего доблестного папы умерла жена, „последняя подруга жизни“, наверное, женщина терпеливая и добрая, коль она столько лет могла его выносить и терпеть, я, к примеру, больше месяца с ним не выдерживал, но теперь вот надо будет ехать за ним, брать к себе, дети его о нем и слышать не хотят, да и сами дети — два сына уже алкашами сделались, дочь замужем в Игарке, но она отца почти не знала, горя приняла только от него, ну, вот мне нести крест, от которого Бог избавил маму в свое время.

Однако ж родителей не выбирают, и старость человеческая равняет всех — путных и непутных она делает беспомощными. Никто не знает, как он кончит свою жизнь, что ждет его впереди...

Вероятно, еще до праздников мне придется уже ехать в Астрахань и на обратном пути просить тебя, Женя, встретить меня с машиной. Ну, будучи в Москве, я зайду иль позвоню, а сейчас берусь топить печь, варить, думать и скоро стану смотреть хоккей по телевизору — большое это мне здесь развлечение и отвлечение от писанины.

А перед окнами уже очистившаяся, в наших местах, река...

Стремень серебриться начинает. Куда-то хочется идти или ехать, чего-то хочется найти, должно быть, счастье, а оно — вот оно счастье-то — вытаявшая трава,

дождинки, сверкающие на ветвях березы и яблони, кошка, подкрадывающаяся к зоркой вороне.

Под горой живая река с мерцалой синью и скрытое, молчаливое, манящее заречье! Неясные, вечные дали! Непонятное вечное беспокойство человека! И человека ли только? Всего живого — от травки до птицы, от капли малой до большой реки — все живое, пока оно живое, куда-то стремится, чего-то хочет!..

Обнимаю и целую Вас, родные мои!

Р. С. В деревне продается изба — подробности еще не знаю, но, может, следующую весну встретим вместе. На берегу этой самой большой и красивой реки.

Ваш Виктор.

Марья не приехала. Перепечатывать письмо некому. Не сумеете прочесть, приеду, сам прочту — оно писалось под настроение...»

Письмо без даты:

«Дорогой Женя!

Мы пробовали звонить тебе, но никак не можем угадать на тебя, и поэтому я пишу да и попутно пошлю заявку, о которой говорил с Карповой.

Итак, ты — домовладелец!

Деньги Евстолии Ивановне мы отдали, справку в колхозе о том, что он, колхоз, не возражает, чтоб она продала дом свой, я взял, и эта справка есть основание для оформления документов в сельсовете. Маня посадила вам картошек маленько, грядку — свеженькие картошки, свои, своими руками выкопанные — это вещь! Посадила редиски, луку маленько, чесноку, морковки, репы, салата, свеклы, укропа, чтоб вы пользовались в удовольствие. Евстолия Ивановна сказала, чтоб вы пользовались дровами, теми, что во хлеву. Илларион Алексеевич, думаю я, за десятку отдаст все пять старых самоваров, да мы еще один — за

так, и будешь ты самоварным королем! Так что дело за тобой.

Кстати, скажи Юле, что я только из-за нее не пошел на открывшуюся в Вологде, чудесную выставку русских самоваров, чтобы сходить с нею вместе и попросить Ирину Александровну потрепаться. Она, Маня говорит, превзошла сама себя на открытии этой самой выставки, говоря о самоварах, подвергла изничтожению нынешний, чайниками пробавляющийся народ, и власти досталось, и опчеству...

Рыба не клюет! Погода мучается, никак не соберется дождь, и она не клюет. Видел я тут одну, и она мне человеческим голосом, пропитым, хриплым молвила: „И не клюну! Хочу Капустина!..“

Я пробую работать, но все кругом цветет и тянет на улицу, а не за стол — противоречия-с!

Дома вроде бы пока все нормально, Только вот об Андрюшке забота, как у него там идут дела? А он, мама родимая, как ему тяжело и трудно — замыкается, не звонит вот, ничего не сообщает.

Сделали мне ограду — лучше, чем в Кремле, и я сейчас разбираю старую — стало просторно и зелено.

Появились комарики. Кусаются. Так что пусть тварь твоя не гавкает. Вологодский комар отучит ее от дурости и Юлии Федоровне начистит все места, которые помягче...

Вот вроде и все. Мысля шевелится вяло, надо излаживать удочки и подаваться на реку. Без лодки нет рыбалки, а лодку мне все еще везут.

Ну, будь здоров! Руководи! Маня допишет, чего я забыл, на машинке, а я обнимаю тебя и целую!

Твой Виктор».

Приписка М. С. Корякиной:

«Женя! Он, Витя, все написал, как надо и что хотелось. Одного не сказал: „Приезжай!“ Я это говорю-повторяю еще и еще раз:

Приезжай! Ждем мы! Ждет дом твой, ждет деревня
Сибла!

Целую — Маня».

Год не указан.

«Дорогие люди — Женя и Юля!

Вы каждый раз мне что-нибудь дарите и дарите, а я
вам ничего, вот и решил послать полезные, по-моему,
для вас обоих камни — они помогут вам искать цвета
обложек книг и форзацев, а еще — кружевце Юле — это
за ее великолепный блокнот.

А я от сволочной погоды или от Москвы разохся —
хуже мне стало, лежу. Сегодня пробовал пойти на
рынок и вернулся — сердце, будто натошак,
трепыхается. Наверное, и в Ленинград не смогу ехать,
хотя друзья фронтовые уже известили, что приглашают
туда.

Был у меня Вася Белов — сигареты и книги я ему
отдал, он очень признателен вам за то и другое. Дома
новостей нет никаких. Собирался порыбалить, но
нездоровье и погода держат дома. Лежу и читаю
„Рыболов-спортсмен“ — тоже ничего!

26 мая,

целую вас обоих — ваш Виктор».

«Дорогие Капустины!

Юля! Женя!

Ну, вот пришла пора поздравить Вас с праздником
уже с нового места, что я и делаю, желая Вам доброго
здоровья, а после много сладкой еды и частого гулянья
по Москве, особенно по ее бульварам, где все запахи ее
приятственны и родны.

Слышу по радио, вижу по теле, что вас там то
заливает, то засыпает, а у нас тут стояла прекрасная
осень и лето было солнцезарное — сухо, чуть морозило
сейчас и леса вокруг уходили в зиму медленно, лист

желтый появился лишь 3-го сентября, а лиственницы по горам все еще желтеют.

Я приехал сюда больной, обострения пневмонии мучили, но потом подлечился и дальше уже жил ничего, но сидел в основном в деревне, не работал и никуда не летал в тайгу, боялся из-за легких, а здесь рыбачат рыбаки — удочками — мелочь и, втихую, сетями крупную рыбу.

Третьего дня мы с Марьей Семеновной отпраздновали 35 лет совместного плавания. Рыбаки привозили прекрасной рыбы — и тайменя, и максуна, и даже кумшу, которая — Бог знает, откуда — в Енисее и взялась. Праздновали в деревне, в своей избе, было хорошо. Много пели песен и не говорили про литературу. Что делается в ней, в литературе, мало знаю, газет не покупаю, по радио слушаю музыку и всю осень копался в огороде, превращая его в лес. Сажены таскал с увалов, посадил несколько калин, есть и два кедра, и береза, и елка, и сосна, и лиственница. Пусть растет мой лес еще в одном месте.

Здесь огромные горы и по ту, и по другую сторону Енисея, есть два трамплина 50 и 100 метров. Который стометровый, к тому есть фуникулер, и, значит, там катаются интеллигенты на лыжах. Я это к тому, что Юлия может никуда и не ездить [за границу]. Когда здесь середина зимы, то, конечно, холодно. А вот ближе к весне и здесь можно кататься. Мы с Марьей Семеновной завтра уезжаем на городскую квартиру. Она, квартира, находится на горах и в лесу, но горы тут такие, что можно голову сломать.

Ну, да когда-нибудь приедете и сами увидите наше житье-бытие. Все бы ладно, но очень тоскуем по внукам; я по Вите, поскольку Женьку почти не видел. А Марья Семеновна и того знает хорошо, так не знаю, сколько здесь вытерпит. Пока что дюжит, не просится.

Ну, если додюжит до съезда (начало декабря), значит, вместе полетим, но, если б не внуки, и на съезд меня бы отсюда и на аркане не вытащили.

Работать я пока не начинал, все устраиваемся, обживаемся, в земле копался. Однако в зиму и работать примусь, тогда еще веселей пойдет житуха.

Вот пока и все. Пришел братишка-охотник (недавно зверюшку добыл), охота про лес поговорить.

Обнимаю, целую Вас! Еще раз будьте здоровы!

Я и Маня.

28 октября 1980 г.

д. Овсянка...»

24 января 1981 г.

«Дорогие Юля! Женя!

Вчера получил две бандероли с „Поклоном“ — две штуки в одной и три — в другой. Спасибо!

Я живу хорошо. Все время было морозно и солнечно, и я впервые за много зим не кисну, нет обострений, соплей и кашля. Тянет работать и работаю, но больше на других, все меня не отпускает текучка, а не одолев почту и чужие рукописи, и я никак не могу свободно заняться своими делами.

Маленько тут прибарахлило сердце, но уже ничего. Я написал большой кусок о Константине Симонове в „Зрячий посох“ и малость надорвался.

Живу один, нигде почти не бываю, ибо в городе свирепствует грипп, да мне и нравится здесь в тишине и уединении — этакая благодать!

Числа 10-15 февраля собираюсь быть в Москве и воссоединюсь там с Марь Семеновной, если ничего не сотрясется еще.

Юля! У меня к тебе большая просьба: когда будешь писать Зое во Львов или разговаривать с нею по телефону, попроси ее купить для меня карту Львовской области, обыкновенную, административную, она мне

нужна для работы, и пусть пошлет по моему адресу, ладно?

А как живете вы? Что нового? Как собака? Тявкает?

Ну, до скорой встречи, мои дорогие.

Целую вас братски.

Ваш Виктор».

«Дорогие Юля и Женя!

Прошел уж вроде бы век, как мы были в Москве, гостили у вас. Лето удивительно длинно рассекает время — все, что было до него, кажется далеко. И хотя лето у нас, как и везде, худое, дождливое, прохладное, однако все же идет быстро. Мы живем в основном в Овсянке, но побывали и в тайге, на юге края, на пустынной еще и малозаселенной реке Амыл, стекающей с Саянского хребта. Проехали 700 верст на своей машине, да там еще поднимались сто верст на лодках тамошнего производства, деревянных, узких, и жили на пасеке несколько дней, но шли дожди и рыба клевала плохо. Я, правда, пытался и в дождь рыбачить, сшибал харюзков на уху, но на каждом водоеме своя рыбалка, пока применишься.

Там хариус берет в основном на мушку, еще лучше, если мушка с крупной мормышкой. А у меня таковой не было, и мушки мои мелкие оказались для тамошнего хариуса, стремительного и хлесткого, однако голов пятьдесят-таки погубил, и несколько харюзков поймал приличных. В последние дни и отпускал мало, а сперва рыбачил наполовину — половина обратно уходила, сбивал и об себя, и удилище жидкое оказалось, половину брал.

Но край так дик еще и тих, что все равно получили большое удовольствие, и для памяти многое сохранилось. Завтра вместе опять, мы с Марьей Семеновной, летим на север, в Туруханский район, на Осиновские пороги, к моему другу детства —

посмотреть, порыбачить... А потом уж ягоды поспеют и грибы, надо тоже поездить.

Я тут на вашу долю купил хорошую книгу, изданную „Энциклопедией“. Называется „Книговедение“ (Энциклопедический словарь), в ней есть и шрифты, и всякое-якое о книге. Вам это нужно, и, если не приобрели, я привезу осенью. До осени не поеду и не полечу никуда — очень трудно летом от нас летать и ездить. Сам я с весны ничего серьезного не делаю, а М. С. стучит на машинке. Все живы и здоровы, как здесь, так и в Вологде, чего и вам желаем. Целуем и обнимаем — я и М. С.

10 июля 1982 г.

Вышла книга Яновского, видели, нет?»

Письмо написано на почтовой болгарской открытке с видами Хисара, курортного местечка в Болгарии:

«Дорогие Юля! Женя!

Не знаю, успею ли из дома, так заранее поздравляю Вас с Новым годом и желаю главного — здоровья!

Мы здесь уже 20 дней. Я сделал операцию, отдолбили мне шишку на ноге, а то уж ходить не мог. Долбили в Пловдиве, и там от одиночества я написал жуткий рассказ, а сейчас работаю над сценарием по „Краже“ и еще очерк доделал о том, как мордуют и грабят Сибирь.

Словом, начал работать вплотную, чему радуюсь и, кажется, не один я. Здесь мы пробудем числа до 8-го декабря, т. е. в Софию выедем и 10-го собираемся улететь, если раньше ничего не сотрясется.

Как вы? Храни вас Бог!

До свидания.

Виктор и Мария Семеновна».

Без даты, на новогодней почтовой открытке:

«Дорогие Юля! Женя!

Ну, вот еще один год убавился из нашей жизни, а горевать или радоваться тому — и не знаешь. Такие времена наступили, что в иной раз вспомнишь библейскую проповедь о Страшном Суде: „и тогда живые станут завидовать мертвым“. Во всяком разе, будучи днями на могиле Ирины, я поймал себя на мысли, лежит вот тихо под белым снегом и не мучается, ничто ее не тревожит.

Но раз Новый год наступает, то хоть здоровья можно пожелать друг другу, уж не богатырского, а хотя бы на сегодня, а завтра, чего Бог даст.

У нас хорошая зима после длинной и прекрасной осени.

Сегодня — 15, солнечно и все буржуи на лыжах в горы, в лес, а наши рабы в очередь с сумками.

Я почти не работаю, замучило высокое давление, начинается уже с утра, с больной головой за стол не сядешь. Кисну. На сердце муторно. Ребятишки растут непослушные, учатся плохо, эгоистичны, совсем не понимают своего сиротского положения.

М. С. сдает совсем. Что с нами и с ними будет, один Господь ведает. Да уж что будет, то и будет. Из Союза писателей я вышел. Ну, их всех к!..

Целую — Виктор».

«Дорогие Юля и Женя!

И мы поздравляем вас с праздником, уже наступившим. Бог даст хоть вам весну и тепло. У нас продолжается зима и сегодня, в ночь на 2-е мая, выпал глубокий снег на с трудом распустившиеся подснежники и зазеленевшую чуть травку. Предчувствие беды и конца света, томящее нас и меня в частности, постоянно и гнетуще, обретает все зрительные уже формы. Не думал я, как и все россияне, что разрушение наше надвигается так скоро и будет столь стремительно. Все казалось где-то за дальней

горою, а оно уже шло, двигалось вокруг нас и в нас самих, но мы всегда умели не замечать гадости и неприятности вокруг себя. В жмурки, как дети, играли, вот и доигрались.

Мне вчера стукнуло 67 лет! Это много, и хотя жизнь пронеслась, как на салазках и все под гору, была она все же ничего, насыщенная всякой всячиной, и приключения в ней были, но была и работа по сердцу, и счастье бывало, и горе, но главное — была природа, походы по лесу, по горам и весям, ночевки и рыбалки на реке, замечательные люди, все было.

Спасибо жизни! Может, она мне позволит и роман закончить, тогда и совсем удовлетворен буду бытием своим, хотя работа тягостна, изнурительна. Воскрешать войну и все, что было на ней и вокруг нее, задача для моего возраста почти непосильная. Но работа над первой книгой идет к концу, одолеть бы вторую и там уж третью, хочешь не хочешь, а делать надо.

Шолохов молодец был, в 26 лет начал свою Великую эпопею, вот она у него и получилась яркая, всесветлая, озорная, страшная, многокровная и полная художественной энергии, а на моей книге лежит мрак и усталость, неизбежные спутники возраста.

Ну, как Бог велит. Сам хотел „дозреть“, подойти ко главной книге, как велели большевики, „во всеоружии“, вот и подошел!

Уметь — мало что умею и кровь остылая, в сердце глушь, тоска и как переусердствую, а иначе работать не умею, сразу тошнота подступает, голова болит и кружится.

Прошлым летом я долго жил в Овсянке вместе с Полькой, чтоб М. С. легче тут было. Наша Поля скучать не даст и всегда грязная, как поросенок, вот и на фото выставила грязную чушку.

Сейчас она или точнее — бабушка заканчивает первый класс и говорит: „На фиг она мне, эта ваша

школа, я играть хочу“. Ну, а как же потом-то? „А я замуж выйду и сразу на пенсию...“ Вот такой хороший план у человека!

Бабушке очень трудно с нею, да никуда не денешься, надо и эту лямку тянуть, пока живы, но что потом с ними будет? Со всеми ими и с наши детьми тоже? Вот породили общество! Никакой уверенности в завтрашнем дне, полное банкротство.

Ну, ладно, чего-то я разлился, а хотел-то всего лишь комментарий к фотке написать.

Бывайте здоровы! Съезд наш все переносят и переносят, значит, увидимся не скоро.

Обнимаю и целую вас обоих — Виктор.

2 мая 1991 г., Красноярск».

К письму приложена открытка с рисунком В. Каневского «Сойка». На нем — пометки Астафьева. К голодному птенцу с открытым клювом по стрелке приписано: «Это Женя», другая стрелка указывает на сойку с бабочкой в клюве и рядом надпись: «Это Юля». На обороте короткий текст: «Женя! Юля! Вот так вот вас изобразил художник и тут уж ни убавить, ни прибавить...

Нежно Вас обоих целую. В.».

«Дорогая Юля! Дорогой Женя!

Вот долеживаю я в больнице положенное, появилось у меня тут свободное время и решил вам маленько „прописать про свою жизнь“, как говорят у нас в деревне.

Жисть как жисть, идет и все в одном направлении. Отрешившись от всяких союзов и борьбы за несчастный народ и Родину посредством пустопорожней болтовни, решил я заняться делом наиболее необходимым этому самому народу и Родине, т. е. своим делом и думаю, что в этом и есть спасение — всякому своим делом

заниматься, а коли сил достает, помочь ближнему своему заниматься этим же.

Закончив „Последний поклон“ — последние главы печатались в № 2-3 „Нового мира“ — все я лето, сидючи в Овсянке, отдал подготовке нового собрания сочинений. Молодое издательство „Сибирская книга“ решило издать меня наиболее полно, и для начала мы наметили 14 томов. Летом я писал предисловие, готовил комментарии к первым 4-м томам, которые должны выйти в 1993 году. Боюсь, что далее этого дело не пойдет, ибо пока мы замысливали издание, пока собирали первые тома, цены на бумагу, оберточные материалы так выросли, что молодому издательству их не выдержать, ведь уже и без того стоимость одного тома определена в 100 рублей, и больше им, наверное, увеличивать нельзя...

Несмотря на это я работаю над „Затесями“, началось печатание 1-й книги моего романа в „Новом мире“ № 10-12, и я набираюсь сил для работы над второй книгой, авось и начну, трудная предстоит работа.

Осенью, в сентябре, был я на рыбалке в промысловой бригаде, ловили точунка, дивную маленькую рыбку. Ну и красную рыбу ловили, попался осетр на 35 килограммов, сожрали его и стерляди поели досыта.

На удочку поймали мало, осень затянулась и рыба не катилась, но зато в августе я вместе с Андрюшкой и Женькой отвел душу, изловив килограммов 20 хариуса и сделав Женьку заядлым рыбаком.

Вот там, на последней рыбалке, я и получил обострение легких и пробовал дома лечиться, но тут подоспела уборка, и я добавил простуды... Но уже ничего, оклемался. Лишь только тяжело со всеми нами, особенно с ребятами, они, гаденыши, чем дальше растут, тем с ними тяжелее, даже со своими ребятами

было вроде полегше, они хоть немного учились и слушались. Эти же, как бараны или свиньи жвачные, ленивые, вредные, поперечные, на каждое слово десять в ответ, а старший — вообще наглым хамом растет, видно в папу удался, Ришка вроде бы всякая была, но не такая же дрянь, а Польша та в прадеда удалась, в моего папу. Во легкий характер! Все ей нипочем, слова от нее отскакивают, одно отличие от прадеда худое, тот был чистюля и в обиходе своем и домашнем обращении, эта же неряха, вральман, лентяйка, но беспечна и весела. Что с нею будет? Да и с ним тоже? Завел уже шмару, дружит с нею в открытую, дома почти не бывает, приходит пожрать, поспать... да иногда бабушке нахамить.

Во, наказание нам на старости лет! Марья едва уже живая, но топчется и с утра и до поздней ночи. Не дай Бог падет, пропали мы все и в первую голову эти беспечные, беды своей не сознающие дети.

У нас стояла теплая, сухая и прекрасная осень и вот разом кончилась — сразу морозы, снег и зима. Может, оно так и лучше.

Вот так и живем. О жизни вообще-то не пишу, она, как и всюду, разбродна, неопределенна и зла. И нет надежды на поправку, и если Господь нас еще раз не простит и не пожалеет, видно, пропадать всем нам, остаткам горького народа русского.

А как вы? Я пробовал вам звонить, но то ли вы были на даче, то ли телефон наш в очередной раз барахлит, ничего у меня не вышло. И написать собирался давно, слава Богу, вот собрался.

Желаю вам обоим сносного здоровья, сносной зимы, покоя в доме и на Земле, хлеба на столе.

Обнимаем, целуем, я и Маня.

Ваш — Виктор.

5 ноября 1992 г., Красноярск».

Следующее письмо относится, очевидно, к 1996 году, так как в нем упоминается очерк «Разговор со старым ружьем», написанный в это время. Текст Астафьева расположен на второй странице, в конце письма М. С. Корякиной Капустиным. Виктор Петрович нарисовал адонис и сделал к цветку такую приписку:

«Женя! Юля!

Не все Вам цветочки рисовать, и я вот нарисовал Вам стародуб-адонис, трава от сердца. Пейте по стакану в день, и хворать перестанете.

Виктор».

Письмо М. С. Корякиной:

«Милые, родные, Юля и Женя!

Ах, как летят дни и ночи — частицы жизни, а значит, и радости, и надежды, которым уж не дано сбыться, чтоб высветлить жизнь — печально! Однако так хочется почувствовать (хотя бы!), что душа еще не совсем состарилась и способна тихо мечтать, надеяться и тем замедлить скоротечность времени...

Я поздравляю вас со всеми грядущими праздниками и неизменно желаю вам много-много сил, которые дают здоровье, чтоб случались не минуты, а часы, дни и вечера — для души, когда можно дать себе волю почитать, посмотреть что-нибудь интересное по ТВ в безделье, чтоб никуда не торопиться, а устроиться поудобней в кресле или на диване, приснять тапочки, смазать кремом натруженные руки, чтоб утишить в них усталость, и, поглаживая то одну, то другую, созерцать...

Я иногда даже помечу для себя, чего надо бы посмотреть или послушать, но часто, оторвавшись от дел, спохвачусь, а паровоз уж ушел...

Еще я желаю вам хорошей, ласковой, теплой весны и лета, успешных дел и чтоб не прошло это золотое время мимо. Будьте хоть немножко, но оптимистичны, иначе как жить? А треп бесконечный политиков да

разных ораторов не переслушать, более того, мы все равно ничего изменить не могли и не сможем. Хотя я, как наркоман, жду „Вести“ — так боюсь войны, уж и не за себя, за ребят. Витя работает в какой-то туристической фирме, дома бывает „находами“ — где-то поблизости от работы снимает комнату, говорит, с Мишкой, а может, с Машкой?.. Но домой приезжает чистый, прибранный, трезвый — и это слава Богу. Поля очень выросла, в каникулы изо дня в день ездила к „своим“ лошадам — далеко, но есть при заводе ипподром, лошади; у нее, послушаю, так то о Барселоне, то о Брыле... — Не из тучи гром! Как и у Жени — сына Татьяны и Андрея: учится в лицее нормально, но... помешан на химии! Иногда подумаю: кто из него выйдет? Ученый, учитель, изобретатель?..

Витя написал новую повесть, я четырежды ее перепечатала, затем размножила на ксероксе, и один экземпляр Витя уже отправил в „Новый мир“ — как обещал. Написал рассказ „Разговор со старым ружьем“ — славный, печальный, светлый и текучий, как ручеек, пока не споткнется на раздражении — ведь и политики, всяких беспорядков в стране!.. Все мы — рабы, в душе бунтующие, — раздражение тут как тут — все это очень мешает жить.

А ту работу, об эпистолярном творчестве Вити, пока (из-за других дел) отложила. Сделала много, но боюсь, что и не сделано много. Ну, будет как будет.

Ну что же? На этом я свое письмо и закончу...

Целуем и обнимаем вас всей семьей, помним и любим.

От Вити привет. Поля тоже передает, но помнит ли она вас — что-то не пойму.

Целуем — я и Витя».

Это письмо от Астафьевых — одно из последних, хранившихся в семейном архиве Капустиных...

Глава двенадцатая ВОЛОГДА. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ

С людьми писательского круга Виктор Астафьев сходилась легко и непринужденно. Дружба со многими из них завязалась на Высших литературных курсах. Особенно тесные отношения сложились у него с прозаиком из Курска Е. И. Носовым. Дружны они были до конца жизни (Носов лишь на несколько месяцев пережил Астафьева). Астафьев считал Носова своим лучшим другом и главным судьей в литературе. «Если мой рассказ или повесть, — писал он, — „показались“ Носову, он признал и принял новую вещь — можешь тогда смело тащить ее в любой журнал, в любое издательство. Нежный, внимательный, добрый человек, он становится совершенно беспощадным, когда дело доходит до творчества, и требует с тебя так же, как и с себя...»

К 50-летию Виктора Петровича, которое широко отмечалось в Вологде, Евгений Иванович посвятил Астафьеву прекрасную статью с оптимистичным названием «До сбудутся наши надежды!». И Астафьев, и его поклонники находились тогда в преддверии рождения того главного, ради чего и появляются в нашем мире большие писатели. Никто не сомневался, что это должно вот-вот свершиться. И действительно — совсем скоро на свет появится «Царь-рыба»...

«Из моего окна, — писал Носов в своей статье, — видятся совсем иные дали, чем у вас там, на Севере. Первая зелень уже нежно и празднично приукрасила сбросившие снежный покров холмы. Они грядками уходят к горизонту, открытые, безлесные, когда-то в старину называвшиеся Диким полем. А над холмами — необозримое степное небо в весеннем сиянии облаков.

Это моя родная курская земля. Здесь покоятся мои предки, здесь останется после меня мое продолжение.

Но уже с давних пор в душе моей приютилась нежность еще к одной земле на другом конце России, которую люблю с тихой и неутолимой радостью. Это — Вологодчина. Люблю за пронесенную через века и испытания русскость, за сдержанное достоинство ее людей, за неброское, застенчивое небо, тишь озер и березовую светлость ее далей. А еще за то, что там живут мои товарищи по перу, дружба с которыми уже давно переросла в единоутробное братство, и это чувство родства, подобно многоцветной радуге, перекинулось между нашими городами и землями. И потому в эти дни я мыслями и сердцем там, у вас, где свершается большое и важное: дорогому другу моему Виктору Петровичу Астафьеву исполняется пятьдесят лет!

О том, что Виктор Астафьев — большой советский писатель, вам, вологжанам, хорошо известно. Известно это и всей стране. О нем знают и за ее пределами, ибо книги Астафьева переводились почти на все важнейшие языки мира. Тем более нет никакой нужды перечислять названия его книг. Скажу только, не опасаясь впасть в субъективность, что, не будь в нашей литературе Астафьева, при всей ее талантливости и разнообразии, она оказалась бы неполной, и эту брешь уже не мог бы заполнить никто другой. Такова особенность его неповторимого, уникального дарования.

Откуда же оно, это дарование? Где его истоки? В каких университетах пестовалось и холилось оно, обретая свою сияющую огранку?

Иногда в печати промелькивают сообщения такого рода: кто-то там *один* на резиновой лодке переплыл океан, кто-то пробыл несколько месяцев в полном *одиночестве* в карстовых пещерах и т. д. Да, видимо, это действительно подвиг, проявление человеческого

духа... Но я не представляю Виктора Астафьева в этой роли одинокого героя. Больше того, совершенно убежден, что Астафьев непременно не вернулся бы из такого эксперимента живым. Нет, это не просто слабость нервов. Это — совершенная неспособность жить без людей.

Несколько дней тому назад мы с Виктором Астафьевым обитали в одной московской гостинице, правда, в разных номерах. И все трое суток его комната была полна народу. Уму непостижимо, откуда только узнают о приезде Астафьева! Студенты, художники, редакторы, писательская братия, просто знакомые и даже полужнакомые... Когда ни заглянешь в его номер — утром ли, днем или поздно ночью — во всякое время там полным-полно. Кто-то ораторствует, кто-то что-то жует, а то и просто спит на койке хозяина. Сам же хозяин, весь закуренный гостями, ни разу почеловечески не поспавший, с валидолом под языком вот уже трое суток стойчески выдерживает это нашествие и на все мои досужие резоны лишь весело отшучивается: „Пусть, пусть ребятишки попомонят!“

Я не знаю другого человека, кроме Астафьева, который вот так легко, запросто и непринужденно сходил бы с людьми. Уже через пять-десять минут после первого знакомства вы ощущаете радостное чувство доверия к нему, хочется говорить и говорить, делиться сокровенным, такое впечатление, будто он давно знает вас, а вы — его.

Есть у дедушки Сабанеева такое наблюдение: дескать, наш обыкновенный речной ерш слывет среди рыбьего народа за редкостного лекаря. Всякий хворый, будь то солидный леж или шалапут-пескаришко, непременно норовит тирануться больным местом о бок ерша, покрытого будто бы чудодейственным бальзамом. С Виктором Петровичем люди ищут встречи по схожим причинам. Есть в нем нечто такое, что исцеляет

душевные раны, смуту и прочие человеческие неурядицы. Нет, он не волхв, не старец-кудесник. Но есть, есть у него к людям особое слово — и в книгах его, и изустно.

Он и сам когда-то нуждался в такой поддержке, в теплоте и отзывчивости и на всю жизнь сохранил в себе эту святую благодарность за людскую доброту. Так уж случилось, что вся его жизнь прошла по миру и зависела только от чужого участия. Раннее сиротство, детский дом в забытой Богом тогдашней Игарке, ФЗУ, фронт, передовая, госпиталья, послевоенная разруха... Как бы мог пройти через все эти жестокие жернова одинокий мальчишка, искалеченный войной юноша? Как — не будь к нему сочувствия со стороны?

Вот в этой-то сыновней благодарности народу и надо видеть истоки его писательского дарования. Там же, среди людей, кончал он и свои университеты, набирался ума-разума, который теперь перерос в глубокую творческую мудрость.

И последнее, что я хотел поведать о своем друге.

Веселый он человек! Шутник и балагур. Любой зал, любую аудиторию заставит смеяться. Но приглядитесь повнимательнее к нему... Смех для него — лишь с годами выработанная защита. Еще стриженным детдомовцем понял, что хуже ему придется, если не научится смеяться над собой, над своими неудачами, сиротскими бедами. И там, под пулями, в промозглом фронтовом окопе, этот астафьевский смех помогал смелее глядеть в глаза...

Итак, Виктору Петровичу — пятьдесят... Для художника — это золотая пора созревшего таланта. Подобно ручейку, когда-то пробившемуся из недр, он теперь обрел спокойствие и силу большой многоводной реки, из которой всякий жаждущий может черпать, не боясь мелководья и оскудения. И мы с волнением будем ожидать новых астафьевских книг в новой его поре.

Да сбудутся наши ожидания и надежды!»

Старостой курса, на котором учились Астафьев и Носов, был поэт, вологжанин С. В. Викулов. В те же самые годы в Литературном институте учились такие, ставшие именитыми, северяне, как вологодский прозаик Василий Белов и поэтесса из Архангельска Ольга Фокина, которая после окончания вуза в 1962 году также поселилась в Вологде.

Слушатели курсов и студенты Литинститута проживали в одном общежитии на улице Добролюбова, что открывало самые широкие возможности для тесного общения, позволяло найти себе друзей, близких по взглядам на жизнь и литературу.

Надо сказать, что в первые послевоенные десятилетия громко заявили о себе сразу несколько литераторов, родившихся на Русском Севере. Здесь следует прежде всего отметить поэтов Александра Яшина, Сергея Орлова, Сергея Викулова, Александра Романова, Николая Рубцова, Виктора Коротаева, Сергея Чухина.

Не будем забывать, что и Василий Белов дебютировал в литературе как поэт: в 1961 году он выпустил свой первый (и единственный) сборник стихов «Деревенька моя лесная». Но подлинную славу ему, да и всему почвенническому направлению в русской литературе, принесли его повесть «Привычное дело» (1966) и цикл «Плотницкие рассказы» (1968). Пожалуй, из полемики вокруг «Привычного дела» и возникло представление о новом течении в советской литературе, которое представляли писатели-деревенщики.

Сергей Васильевич Викулов после окончания Высших литературных курсов в 1961 году возглавил Вологодскую писательскую организацию. И можно с большой долей вероятности предположить (он не

опровергал, правда, и не подтверждал этого), что именно ему принадлежала идея пригласить в Вологду своего бывшего сокурсника Виктора Астафьева — для укрепления своей небольшой, но сильной писательской организации, объединившей столь талантливых единомышленников. Идея с переездом возникла еще в середине 1960-х годов, но получила развитие несколько позднее.

В 1967 году Викулова приглашают на работу заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия». А уже в августе 1968-го его утверждают главным редактором «Нашего современника», тогда еще довольно бесцветного, ничем особенно не проявившего себя среди писателей и читателей журнала. Именно Сергею Васильевичу удалось объединить вокруг него лучшие перья России. На страницах журнала появился целый сонм ярких имен — Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Владимир Крупин, Иван Акулов, Василий Юровских, Виктор Лихоносов, Георгий Семенов...

Заметим, что ряд писателей, к примеру, Федор Абрамов, Василий Белов, Виктор Астафьев, которых критики причисляли к представителям деревенской прозы, сами это понятие либо вовсе отрицали, либо воспринимали его с большими оговорками. Однако оно не только прижилось, но и стало объективным отражением важнейшей литературно-исторической линии послевоенной русской советской литературы, которую справедливо называют еще и патриотической.

При этом роль «Нашего современника» нельзя пытаться уложить лишь в рамки почвеннического направления — она гораздо шире и важнее. По сути, это был московский журнал для авторов с периферии, который давал шанс литераторам из глубины России заявить о себе в столице. И многие хорошие писатели эту возможность смогли использовать. Можно

упомянуть здесь и Ивана Васильева, и Бориса Екимова, и многих других известных ныне литераторов.

С приходом Викулова «Наш современник» обрел свое лицо, и за два-три года его тираж увеличился с 11 до 335 тысяч экземпляров.

В течение четверти века Сергей Васильевич оставался во главе журнала, и его роль как идеолога издания и организатора редакционного процесса исключительна. Свою творческую концепцию он наиболее целостно изложил в книге «На русском направлении», которая вышла в 2002 году.

Незадолго до его кончины у нас состоялся продолжительный разговор. Встретил меня Сергей Васильевич в своей квартире. Несмотря на то, что разменял Викулов уже девятый десяток, был он бодр, откровенен, рассказал много любопытного и поучительного. Только вот, к сожалению, об Астафьеве ничего из ряда вон выходящего вспомнить не смог, а может быть, и не захотел. Когда я ему рассказал о том, что Виктор Петрович много и охотно говорил о «Нашем современнике», о своей работе в редакции, чтении рукописей и участии в заседаниях редколлегии, на лице Сергея Васильевича отразилось то ли недоверие, то ли недоумение. Ответил односложно: у Астафьева не было и не могло быть никакого влияния на политику журнала. Да, два-три раза в год он появлялся в редакции, сидел на заседаниях, получал какие-то рукописи на отзыв, но все это лишь эпизодические моменты.

Я поинтересовался: нельзя ли почитать стенограммы редколлегий, где они хранятся?

Этот вопрос удивил и даже развеселил собеседника.

— Их и не вел никто. Не видели в том надобности. Что-то для себя записывал в свою большую тетрадь Геннадий Гусев, но, по-моему, он сам туда впоследствии никогда не заглядывал. Если б в ней содержалось что-

то ценное, наверняка давно бы опубликовал. Может, какие-то интересующие тебя эпизоды найдешь в книжке, которую я тебе подарил («На русском направлении». — Ю. Р.).

Хочу еще раз заметить, что ко мне на той встрече Викулов отнесся открыто и благожелательно. Но... Судя по всему, и в самом деле ничего яркого, связанного с членством Астафьева в редколлегии, ему не запомнилось. Очевидно, именитые писатели в его журнале, как и во многих других редакциях, время от времени выполняли роль рецензентов и не оказывали заметного влияния на издательский процесс, связанный с вечными нервотрепками, выволочками в ЦК, выговорами и прочими не очень приятными вещами, вызывающими головную боль в основном у главного редактора и его заместителей. Впрочем, это лишь предположение.

Когда я уже прощался с хозяином квартиры после теплой встречи с чаепитием, Сергей Васильевич вдруг приостановил меня в прихожей:

— Ты не спросил самого главного! — Увидев мой недоуменный взгляд, продолжил: — Я тебя встретил на остановке. Мы прогулялись, потом — несколько часов напряженно говорили, а я все как огурчик! Сейчас тебя провожу и еще пойду в магазин. Видишь, силенки есть! Это потому, что я каждое утро делаю зарядку. И это самая большая истина, которой хочу с тобой поделиться на прощание. Конечно, вместе с пожеланием удачи в твоём исследовательском поиске...

...Прозаик Юрий Нагибин, «доставшийся» Викулову «по наследству» от прежнего состава редакции, на страницах своего «Дневника» довольно язвительно упоминает о русском духе, воцарившемся в редакции «Нашего современника» при Викулове. Впрочем, талантливый и тонкий человек, он отдает должное и Сергею Васильевичу, признав, что журнал стал

«средоточием прекрасной прозы, преимущественно деревенской», а «умный и гибкий редактор» вывел издание в «первачи», не отказывался от хорошей прозы и на другие темы, «что избавляло журнал от зашоренности»... Не случайно там «в каждом номере было два-три хороших рассказа».

С этим суждением трудно не согласиться...

Когда в феврале 1969 года Астафьевы приехали в Вологду уже на постоянное проживание, их встречала на вокзале едва ли не вся писательская организация. Этим своим поступком вологжане демонстрировали, что встречают они единомышленников и безоговорочно принимают их в свою писательскую семью.

Среди встречающих были практически все давно знакомые люди, так что ни у Виктора Петровича, ни у его жены никаких затруднений или неловкости не возникло. Впрочем, был человек, которого Мария Семеновна еще не знала. По ее воспоминаниям, представился ей он сам:

— А я вот Николай Рубцов. Все наши договорились, чтобы встретить вас полным составом писательской организации. Ну, значит, и я пошел, хоть и не знаком с вами.

В ответ Мария Семеновна улыбнулась и сказала:

— По-моему, вы очень хорошо сделали, вот теперь мы и познакомились. Надеюсь, что мы подружимся.

Так оно и случилось. Рубцов и Астафьевы очень быстро сошлись. (О дружбе с поэтом Мария Семеновна рассказала в очерке «Душа хранит»).

Виктор Петрович хорошо знал и любил поэзию, а с Рубцовым познакомился еще в общежитии Литинститута, куда, бывая в Москве, забегал, если негде было заночевать. Уже тогда в Рубцове виделся большой поэт.

На другой день после приезда Астафьевых в Вологду друзья-писатели повели их к Софийскому собору — одному из шедевров русской архитектуры, который строился еще во времена Ивана Грозного. Глядя на древнее рукотворное чудо, тихо переговаривались. Вот как описывает этот день Мария Семеновна:

«На реке народу видимо-невидимо — люди праздновали масляную неделю: взрослые и ребятишки катались на санках, на фанерках с не очень крутых берегов; другие скользили на лыжах, третьи играли в снежки. Шум, хохот...

„Мы в детстве тоже вот так катались...“ — вдруг заговорил подошедший Николай, заметив, с каким радостным изумлением наблюдаем мы за весельем яркого многолюдья. Но отчего-то не про детство, не про зимние проказы стал он рассказывать, а про то, как он любит летом провожать пароходы. „Сяду на зеленый в одуванчиках берег, закурю, задумаюсь и жду гудка пароходного, не сравнимого ни с каким другим, смотрю, смотрю... А пароход белый-белый! А берега зеленые-зеленые!.. И сделается охота побежать по траве босиком...“».

Вечером того же дня вся писательская братия собралась, чтобы уже честь по чести отметить переезд, «прописать» Астафьевых в Вологде. Главное блюдо на столе — шаньги! С картошкой, с творогом, со сметаной — на любой вкус! Каждая с тарелку величиной!

«Вечер прошел радостно, ярко, а потом поэты читали свои стихи. А Николай Рубцов их пел. Он почти весь вечер играл на гармошке. А еще он пел свои стихи, подладив под них музыку... Сочетание необычное, великолепное и впечатление осталось незабываемое, — вспоминала тот вечер Мария Семеновна. — ...Устроив гармошку на узеньких коленях, чудно переплетя ноги — он их действительно как-то по-чудному переплетал, как

бы обвивал одной ногой другую! — прошелся по клавишам, посмотрел в пространство, мимо или сквозь сидящих за столом и, отвернувшись в пол-оборота, запел:

Меж болотных стволов
красовался восток огнеликий...

Слова-то какие! Шесть слов — а перед глазами целая картина — видение природы!

Вот наступит октябрь —
и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные клики
Над моим чердаком, над болотом, забытым
вдали...

Рубцов откинул голову, веки почти смежены, лишь бритвенно сверкают глубоко в прищуре глаза его, мглисто-темные, остролучистые, брови горестно сдвинуты, на шее напряглась и пульсирует, бьется крутая бугристая жилка, голос уж вроде на пределе, в нем тоска и боль, тревога и сожаление, ожидание и отрешенность.

Широко по Руси предназначенный срок
увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает
рыданье.
И высокий полет этих гордых, прославленных
птиц...

Смолк, расслабил руки, склонил голову. Притихло застолье. Некоторые запokaшливали, за сигаретами потянулись...

— Коля! Что ты с нами делаешь?! — восклицает поэт Александр Романов».

Теперь, когда Астафьевы жили с Рубцовым в одном городе, их общение стало почти повседневным. В письмах Марии Семеновны одной из своих подруг тех лет есть слова о том, что она очень любит стихи Рубцова. И выражает надежду, что ее уральская подруга получит удовольствие от чтения его стихов: «Посылаю один из сборников Н. Рубцова — это последний из вышедших. Позднее, как разделаюсь с делами, то соберу несколько сборников — всех вологодских поэтов и пошлю вам — чтобы имели представление о творчестве их». Эти строки написаны в апреле 1970 года.

Мария Семеновна сохранила в памяти наиболее яркие страницы их общения с Рубцовым:

«На второй или третий день после майских праздников, перед обедом пришел к нам Николай Михайлович, постриженный, в голубой шелковой рубашке, смущенно-улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбается загадочно, радостно, рассказывает. С ним пришла женщина — светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная... Мы как раз пили чай и пригласили их к столу. Войдя на кухню, Николай торжественно поставил на стол деревянную маленькую кадушечку, разрисованную яркими цветами... В ней были крашеные разноцветные яички.

— Поздравляем вас с Пасхой! — весело воскликнул Николай и продолжил:

— Христос воскрес!.. А можно похристосоваться-то?

Всем сделалось весело. Сели за стол. Разделили на части одно расписное яйцо, остальные так и оставили в кадушечке — очень уж красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гета, и указал на женщину...

Мне тоже захотелось сделать ей приятное, и я спросила, есть ли у нее дети, чтоб послать им гостинцы. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Колю взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть — девочка.

Коля перестал есть и, подумав, серьезно сказал:

— У этой женщины живет моя дочь... Лена...

После пели песни. Николай заливается. Мы подтягиваем. А Гета, чуть откинувшись на спинку дивана, полуприкрыла глаза и все смотрит, смотрит на него. Что свершалось в ее сердце, о чем думала, что переживала она? Мне казалось, она вот-вот заплачет, и все будет именно так, как он когда-то написал в одном из своих стихотворений: „Слезам она заливалась, а он соловьем заливался...“, или поднимется и уйдет — навсегда. И хотелось сказать, чтоб перестали они терзать ее такими песнями, чтоб пели о другом или разговаривали бы...

А потом они все отправились на улицу, и вдруг Рубцов стал громко рассказывать о том, что недавно оказался у одних знакомых и увидел у них прибитую сверху к форточке прозрачную пленку, разрезанную на узенькие ленточки, которые все время трепещут, пошевеливаются... и как бы ветер слышится! И он спросил: „Вы тоже ветер делаете?“ Они так удивились!

И ему пришлось объяснять, как он у себя в квартирке делает ветер: ставит в форточку пустую бутылку и затем слушает... „В самом деле, как настоящий ветер тихонько завывает-посвистывает...“».

Такие же приятные впечатления остались у Марии Семеновны от празднования у них новоселья. Николай

был в ударе, весь вечер играл на гармошке и очень много читал стихов, особенно Тютчева.

А на другой день, под вечер, он снова пришел и со смущенной улыбкой сказал: «Вчера мне вовсе не хотелось уходить, да отдыхать вам надо было... Вот пришел опять...» Вскоре он повел разговор о Гоголе, да так интересно, с юмором, с удивленной радостью, наизусть цитируя отрывки и реплики из «Мертвых душ». Николаю очень нравилось, что его друзья так счастливы, слушая его. Прощаясь, он пообещал им в другой раз повеселить их рассказами из студенческой, литинститутской жизни.

«Вообще-то, что он часто, чаще, чем другие, заходил к нам, разговаривал, читал стихи, с улыбкой говорил, как у нас хорошо и уютно, было с его стороны вроде опеки над нами, недавно приехавшими в Вологду... Он чувствовал, что кому-то из нас может быть одиноко и тоскливо на новом месте, и старался как бы скрасить нашу жизнь, отвлекал. Когда разговор зашел о безграничности поэзии, Рубцов утверждал, что у каждого, даже самого посредственного поэта обязательно есть стихи, много или мало, пусть хоть одно, — мудрые, пророческие, всегда остающиеся современными, и что все поэты, знают они это или нет, хотят того или не хотят, — пророки. И тут же, как пример, приводил своего любимого Тютчева, который писал сто лет назад, — и уже о нас, о жизни, о человеке, о судьбе его, писал так, что читаешь сейчас — и душа захватывается от восторга, глубины и высочайшего мастерства...

Рубцов читал стихи медленно, членораздельно, как бы подчеркивал весь глубокий смысл, вложенный поэтом в каждое слово. Вот он расхаживает по кухне и то вытягивает руку, то поднимает ее, согнутую в локте, поводит ею то резко, то плавно... Внезапно остановился и, задумавшись, заговорил после некоторого молчания

уже тише о том, что о любви и о том, как умели люди любить... и умеют, — поправился он, — писать трудно, а чтобы лучше, — наверное, и невозможно...

И тут же добавил с грустью:

И ничего в природе нет,
Чего б любовью не дышало...

В другой раз Рубцов поет уже не про журавлей, а о земном, о человечески сокровенном:

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут тихо поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока...

И сразу непогода, холодок вселяется в нутро — так зримо, так явственно предстает картина надвигающейся осени и в природе, и в душе, и предчувствие: вот-вот разразится беда, горе, трагедия между людьми, любящими и страдающими. И поет он сейчас совсем не так, как пел про журавлей. Горестно поводит головой из стороны в сторону, не поднимая глаз, будто не решается, не хочет спугнуть видение-воспоминание, будто вслушивается в прошедшее-минувшее, думает, печалится...»

Но Рубцов запомнился Астафьевым не только лиричным и открытым. Иногда он бывал мрачным и раздраженным — когда выпивал и в часы похмелья. Покачиваясь на стуле, он начинал что-то бессвязно говорить о смысле жизни поэта, терял нить, а от этого еще более озлоблялся. Тут в нем проявлялось «абсолютное» безумие.

«Я смотрела на него, совсем другого Колю — неухоженного, нетерпимого, и уже вроде начинала сомневаться, один ли и тот же человек... тот ли, кто написал много прекрасных стихов? Этот ведь человек, изможденный выпивкой, — косноязычный, и бормочет нечто-то совсем несуразное...

Поэт жил сложной, иногда казалось, невыносимо беспокойной жизнью, и то легко, то мучительно создавал стихи, то пил, то болел, то страдал, умел радоваться природе, приобретал и терял друзей. У него, как, наверное, и у многих поэтов, когда в творчестве раскрывалась душа, — обнажались беспокойство и муки, поступки и слабости, ее переполнявшие».

По раз и навсегда заведенному правилу Астафьев отдавал работе за письменным столом первую половину дня. До обеда его никто не мог беспокоить, даже жена и дети. Естественно, что и дома в эти часы никого не принимали. Впрочем, со временем возникло одно исключение. К тому времени Астафьевы уже обжились в Вологде и перебрались в просторную квартиру на Ленинградской улице, где у Виктора Петровича появился наконец-то удобный рабочий кабинет. Ну а просторная кухня стала еще и своего рода клубом. Рубцов заглядывал частенько. Мария Семеновна поила его чаем, кормила, поддерживала поэта не только житейскими советами, но и могла починить штаны, выстирать и погладить рубашку.

Виктор Петрович бывал всегда рад, когда, выходя к обеду после своей утренней писательской смены, заставал в доме Рубцова.

— О, Коля, привет! Молодец, что пришел, сейчас обедать будем.

Наверное, эти семейные обеды грели душу одинокого поэта.

Однажды он пробыл у Астафьевых три дня подряд. Пришел, сказал, что плохо себя чувствует, сердце и голова болят... Дали ему лекарство, хотели накормить, а он попросил выпить. Виктор Петрович пододвинул ему стакан с чаем и сказал, что насчет выпивки не выйдет, мол, и так весь больной, здоровье не богатырское, так и погибнуть недолго.

— Ну и что?! Ну и погибну! — с вызовом и злорадной усмешкой воскликнул Коля. — И погибну! И умру! И похоронят меня...

Размышляя над судьбой Николая, одновременно яркой и мучительной, Виктор Петрович вспоминает этот эпизод с глубоким состраданием. Он ведь безмерно любил жизнь, ему тоже хотелось радоваться, веселиться, шутить, любить. Он горячо любил свой край, любил его маленькие и уютные Тотьму, Николу, Грязовец... Любил их восторженно и трепетно, а тосковал скорбя, молча, мечтая о тишине, как бы предчувствуя скорую с ней разлуку, скорую смерть, обреченно и спокойно относясь к своей гибели. «Как поэта, — пишет Астафьев, — мне думается, его томила великая, необъяснимая скорбь, и потому в стихах его, чем дальше и совершенней становилось его мастерство, появляется все больше печальных раздумий о судьбах русского народа, все чаще встречаются видения: церкви, могилы и кресты.

Очень правильно кем-то сказано, что скорбь человека выражается не в том, что он перестает смеяться. Настоящая, глубокая скорбь растет внутри человека, становится частью его, она пронизывает его мысли и его радость и никогда не утихает... Человек, на долю которого выпала большая скорбь, должен обладать большой, соразмерной ей внутренней силой, иначе скорбь его сломит...»

Выйдя как-то в дружеском кругу за рамки общепринятого, что нередко случалось с ним, он так

объяснял свое поведение в одной из сохранившихся записок: «Н.! Я понимаю, что мало извиниться перед тобой (мне все рассказала Анастасия Александровна). Это говорил не я. Это говорило мое абсолютное безумие, поэтому не придавай абсолютно никакого значения дурости. По-прежнему Н.».

И все же трагическая развязка, которая неосознанно предчувствовалась вологодскими друзьями Рубцова, буквально их всех потрясла. Погиб поэт 19 января 1971 года.

Вспоминает Мария Семеновна:

«Обычное зимнее утро, в меру морозное. Я вышла из дома и направилась на почту. Там меня знали. Бывало, увидят в очереди, подойдут, кто свободен, примут мои бандероли или оставят, чтоб после оформить.

В этот раз мне почему-то сказали: „Подождите немного. Мы только вот этих отпустим...“ Когда народу не осталось, одна из работниц спросила: „Вы знаете Рубцова?“ А сама таращит на меня непривычно неулыбчивые глаза.

„Конечно!“

„Он живет в шестьдесят пятой квартире?“ — допытывалась другая.

„Так сегодня ночью его убили...“

В первый момент меня ошеломила эта ужасная весть, затем возникла спасительная мысль — ошибка!»

Но это была не ошибка.

Она поспешила в дом Рубцова. Прошла один лестничный марш, другой... Соседки по площадке, слышав шаги, открыли двери из своих квартир:

— Вам кого?

— Николая Рубцова.

— А его только что увезли... в морг...

Одна из женщин принесла в кружке воды, рассказала о случившемся.

Вернулась домой, рыдая. Виктор Петрович услышал плач, всполошился: что случилось?

— Колю Рубцова убили...

Отойдя от шока, Виктор Петрович стал звонить друзьям...

Прощание с поэтом прошло в вологодском Доме художника. Выступил Астафьев:

«Друзья мои! Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле...

Здесь сегодня, я думаю, собрались истинные друзья покойного Николая Михайловича Рубцова и разделяют всю боль и горечь утраты.

У Рубцова судьба была трудна и горька. Это отразилось в стихах, полных печали и раздумий о судьбах русского народа. В этих щемящих строках рождалась высокая поэзия. Она будила в нас мысль, заставляла думать...

...В его таланте явилось для нас что-то неожиданное, но большое и важное. Мы навсегда запоем его чистую, пусть и недопетую песню».

Похоронили поэта на Пошехонском кладбище. Возвратились домой с поминок уже совсем под ночь. Взяли к себе ночевать поэта Бориса Примерова, который приехал из Москвы. Разошлись по разным углам, спали и не спали. В шестом часу утра пришли несколько писателей, принесли с собой бутылку. Стали снова поминать.

То печальное утро описывает Мария Семеновна:

«Расположились в кухне. Кто пил чай, кто водку, кто сидел просто так, говорили о Коле, утверждали, что талант просто так не дается, непременно с возмездием... Крест тяжкий и смерть трагическую,

преждевременную судьба уготовила и Николаю Рубцову. Говорили о том, как жалко его...

Борис Примеров, тоже замечательный русский поэт, помещивал ложечкой чай в стакане, слушал и молчал, а потом заговорил:

— Я много думал, и вчера, и нынче ночью... Когда вчера сидел на поминках Коли, в том большом зале и слушал... Все говорили: „Друг... друг... друг...“ И мне все казалось, будто я не на поминках у Коли, а в общежитии Литинститута, где запросто называют другом и запросто предают... Думал о безвременной кончине Коли. Думал о том, что душить, давить — свойственно зверю, животному... Думал и о том: почему, как, когда оторвался человек от животного, возвысился над ним? Причиной тому, наверное, все-таки чувство, построенное на высочайшем из наслаждений — любви, и человек сделал из него святость... И вот душе нужно стало тело, прекрасное, дающее наслаждение и силу, чтоб душа могла на него опираться, жить им... Смотрите, что получается: „Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани...“ — Свято! Прекрасно!.. Коле недоставало тела могучего, и прекрасного, на которое могла бы опереться его душа...

После смерти Николая Рубцова мы уже не собирались так, как это бывало при нем, погулять, попеть, поговорить, потому что каждый в душе казнился, что не сделал чего-то главного, чтобы уберечь поэта от гибели!.. Смерть его всех нас разъединила...»

Когда не стало среди вологодских писателей Николая Рубцова, то вместе с горькой растерянностью и болью утраты все вдруг почувствовали, что именно он, неприкаянный поэт, всех объединял. Плохо без него стало. Необъяснимую вину, тяжесть в душе и сердце переживал каждый, и каждый из писателей корил себя.

Когда встречались в Союзе писателей или у кого дома, разговоры вольно или невольно сводились к горю. Бывало, кто-то вдруг обвинит другого: ты, мол, с ним больше и чаще пил, а беду отвести не смог, не захотел...

И стали потихоньку разъезжаться, кто куда. Василий Белов уехал к себе в Тимонику, Виктор Коротаев и Александр Романов тоже засели по деревням.

Астафьевы поехали на Урал, в Быковку.

Первый после возвращения вечер.

«Вышли мы, — пишет Мария Семеновна, — погулять в лес, зимний, чистый. Морозец градусов восемь-десять, кругом ни души! Небо в звездах и месяц... И тишь кругом! И бело! Сразу вспомнилось, как Коля рассказывал, что видел во сне свою маму: „Дом. Крыльцо. На крыльце белый-белый снег — и на нем стоит мама!..“

Виктор Петрович воскликнул горестно:

— Ох ты, Коля, Коля! Что же ты с собою сделал, когда такая красота на земле!.. Ширь кругом какая! Коля, что же ты наделал?! Как нам теперь всем быть с тем грузом, что ты нам оставил?!»

Вернувшись домой, Виктор Петрович и Мария Семеновна долго читали друг другу стихи Рубцова, удивлялись его прозорливости, вдруг открывшейся им, и тосковали, мучились.

В один из последующих дней пришел в гости Борис Никандрович Назаровский, и снова поминали Рубцова. Астафьев рассказывал своему старшему другу о том художественном чуде, чистом и удивительном таланте, что посетил наш мир. Из рук в руки переходили сборники Рубцова — «Душа хранит» и «Звезда полей».

В письмах Марии Семеновны того времени отражается подавленное состояние семьи Астафьевых после кончины Рубцова. Вот фрагмент одного из них,

написанного в апреле 1971 года: «Господи! Как я давно вам не писала, подумать страшно... Как все началось с гибели Коли Рубцова, так и идет наперекосяк. Уж более трех месяцев лежит он, холодный, успокоенный, ко всему земному безучастный. И женщину, любившую и погубившую его, осудили...

Все свершилось. Только никому не стало легче, и все не верится, что Коля никогда больше не придет, не будет читать стихи, не будет играть на гармошке и петь. Не верится, что он умер, а кажется, что он бродит где-то по чужим дворам пьяненький, неприятный...»

В 1975–1976 годах при редакции ленинградского журнала «Аврора» стараниями его главного редактора Владимира Торопыгина и заведующего отделом поэзии Александра Шевелева возникла студия начинающих авторов. Она продолжила традиции, наработанные в стенах Клуба молодого литератора при Ленинградской писательской организации. Поскольку оба руководителя были поэтами, то, естественно, больше внимания уделялось начинающим стихотворцам. Ядро объединения составили Анатолий Белов, Владимир Головяшкин, Валентин Голубев, Наталия Гранцева, Григорий Калюжный, Александр Милях, Андрей Романов, Владимир Шалыт. Но были в составе группы начинающих литераторов прозаики, критики, журналисты.

На встречи в «Авроре» приходили Виктор Конецкий и Федор Абрамов, Борис Бурсов и Вадим Шефнер, Евгений Евтушенко и Владимир Высоцкий... Помимо этого в редакции существовала целая программа вечеров на городских площадках, поездок по области и за ее пределы. В ее рамках в апреле 1976 года вместе с поэтами Владимиром Головяшкиным и Анатолием Беловым я оказался на семинаре молодых литераторов в Вологде. Помню, прямо с вокзала мы отправились в

редакцию «Вологодского комсомольца». Там я напросился на семинар прозаиков, где надеялся увидеть Василия Белова и Виктора Астафьева.

Оказалось, что Василий Белов не участвует в семинаре. Вместе с Астафьевым творчество молодых авторов обсуждали поэт Виктор Коротаев и приехавший из столицы прозаик Семен Шуртаков. В перерыве семинара все пошли обедать, и меня вместе с моими друзьями Головяшкиным и Беловым посадили за один стол с Виктором Петровичем Астафьевым. Мы делились первыми вологодскими впечатлениями, а Володя и Анатолий сказали, что завтра им предстоит выступать в городской библиотеке с чтением стихов. Поэтический вечер прошел успешно. Все руководители семинара, в том числе и Астафьев, сидели в зале и слушали молодых.

В дни работы семинара мы познакомились с поэтом Сергеем Чухиным и прозаиком, редактором газеты «Вологодский комсомолец» В. Шириковым. Переговорили о многом, коснулись и недавнего трагического эпизода в Вологде — гибели Николая Рубцова.

Вечером в день окончания творческой встречи я провожал моих товарищей в Ленинград. На вокзале мы встретили наших старших коллег, вологодских писателей, и Семена Шуртакова, который возвращался в Москву.

Тут мы снова перекинулись парой фраз с Виктором Петровичем. Узнав, что я остаюсь в Вологде еще на два дня, чтобы съездить в Ферапонтово, побывать в вологодских музеях, Виктор Петрович сказал:

— Ты, чтобы не отощать совсем, приходи-ка ко мне на обед.

Так через день я оказался в квартире Астафьевых на Ленинградской улице. Приняли меня душевно. Мария

Семеновна накормила вкуснейшим борщом, а Виктор Петрович показал свою библиотеку, в которой меня поразило изобилие книг из серии «ЖЗЛ». Естественно, мой живой интерес вызвал кабинет любимого писателя.

В тот памятный день я получил в подарок первую книгу из рук автора с памятным автографом. А потом наши встречи стали регулярными — случались они в Ленинграде и Москве, Красноярске и Овсянке, Хисаре и Новгороде...

В моем личном архиве сохранилась школьная тетрадка, в которой я вел записи о своей поездке весной 1976 года в Вологду. По-моему, они могут представлять интерес и для читателя.

На первой странице тетради — вырезка из газеты с цитатой из предисловия Астафьева к сборнику начинающего прозаика Вячеслава Сукачева: «И помнить, всегда помнить: кто высоко запеваёт, вынужден петь ещё выше, и никаких поблажек писателю нет. Сорвёшь голос — пеняй на себя; захочешь поберечься, петь вполголоса — дольше проживёшь, но уж только сам для себя и жить, и петь будёшь. Однако в литературе жизнь „для себя“ равносильна смерти, с каждым днём у писателя растёт груз прожитых лет за плечами, гложет его неудовлетворённость сделанным, печаль и сожаление о чём-то неведомом подступает всё ближе и ближе — нет „отпуска“ в этой работе и не будет его уже до самой смерти».

04.04.1976. Федор Абрамов в разговоре:

«У них закон правит человеком, у нас человек правит законом, отсюда — беззаконие. Мои мнения более чем спорны, потому что они близки к правде жизни. Этого боятся. Ведь они не хотят знать правды. И тут на помощь приходят границы, которые всех устраивают. Почему Гранин в фаворе? Потому что он

говорит на языке полуправды. А это именно то, что власти нужно».

Еще одно суждение Ф. А. Абрамова:

«Судьба одного, пусть даже самого яркого писателя, не может быть мерилom для оценки творчества других».

Пожалуй, главная мысль творчества Федора Абрамова сформулирована им еще в первом романе, вынесена в его заголовок — Братья и Сестры. Вот смысл и точка отсчета, вот то, ради чего работает автор. Вот о чем он кричит. Это ли не идея огромной важности?!

07.04.1976. В Вологде. Идет семинар прозаиков Вологодчины. В обед познакомился с В. П. Астафьевым. Сидели за обедом рядом, ели селедку из одной тарелки. После обеда присутствовал на семинаре. При мне обсудили троих человек...

Виктор Коротаев:

«Русской литературе всегда была свойственна целомудренность. Попытки писать, как Мопассан или Хемингуэй, беспочвенны. Это, по сути своей, попытки разрушить национальный характер. Они-то ведь не хотят плясать русского, так и мне с моим пузом, — Коротаев похлопал себя по брюшку, — не исполнить, к примеру, танец живота.

...Я — мужик, многое знающий, ко многому привыкший, — испытывал неловкость, когда читал эти сексуальные откровения.

...Стремление добиться признания и успеха, власти и любви для себя — это стимулы западного героя литературы».

Семен Шуртаков (обсуждая одного из авторов. — Ю. Р.):

«Я вижу в этих рассказах несколько иное. Главная беда — отсутствие собственной позиции автора. У меня такое впечатление, что он, автор, сам не понимает, зачем взялся за перо.

Позиция, как магнит, помогает автору собрать весь материал и сцепить. Не могу не согласиться и с Коротяевым. Мы пишем на русском языке и должны продолжать традиции родной литературы.

Мне кажется, начинающему автору не стоит сразу замахиваться на повесть, роман. Тем большая ошибка — из рассказа уже опубликованного делать повесть.

Помню, Паустовский говорил: надо пройти школу рассказа. Пытайтесь на этом пяточке работать, сжимайте текст.

Мне еще хочется коснуться такого понятия, как авторская позиция. Для русского писателя всегда было характерным обращение к главным проблемам, стоящим перед народом. Карамазов у Достоевского говорит: мне не нужен миллион, мне надо мысль разрешить. Герои русской классики ломают головы над проблемами высокими: как устроить человеческое общество, чтобы оно было справедливым.

Теперь о самих рассказах. Мы не зря вас расспрашиваем, кто кем работает, где родился. В данном случае мне ясно: у молодого автора беды идут от его профессии. Да, газета много дает начинающему — расширяет кругозор, дисциплинирует... Но и издержки — серьезные. Газетный стиль — бойкий, но он построен на языковых штампах. И — что страшней — газета приучает к штампам психологическим. Работа в газете приучает к быстроте, а это не самый лучший путь к постижению истины.

Очень важно усвоить еще одну истину. Начало вещи во многом предопределяет ее судьбу. Удачное начало располагает читателя, невыразительное — настораживает.

Первая фраза, первый абзац — требуют особого внимания. Известно, сколько труда положил Горький, начиная „Городок Окуров“. Почему мы так беззаботно начинаем свои вещи?!

Леонид Леонов говорил как-то: есть определенный лимит читательского внимания. Для примера его можно определить в денежном выражении. Рубль, скажем. Плохо, если читатель уже на первых страницах истратит полтинник. А это происходит оттого, что внимания ваше произведение требует много, а отдача в удовольствии чтения — маленькая, или вовсе ее нет.

Надо учиться читать свои вещи отстраненным глазом. Чужим! Не самовлюбленным авторским, а читательским!»

Виктор Астафьев:

«Возраст, ваш возраст должен вам диктовать и темп работы. Как тридцать подсказывает, тут тревожно делается мужику. Надо резко решать свою судьбу. Дальше отступать некуда.

Мне нравится, как сработаны эти вещи. Автор знает и чувствует язык, умеет им пользоваться. Но! Этого мало. На местном материале, только на фиксации языковой стихии всю жизнь не продержишься. Как осторожно ни ступай, поляну вытопчешь. А дальше что?

Надо уметь приподняться над местным материалом. Увидеть в частном, местном материале общие проблемы. Это надо хорошо понимать, потому что школьный период наша советская литература прошла, нужен профессиональный подход к явлениям жизни.

Но в то же время надо ответить на этот постоянный, тревожащий душу автора вопрос: как писать об уходящей деревне?

Здесь много проблем.

Одна из основополагающих причин кроется вот в чем. Деревня — живой организм, со своей историей, преданиями. В ней — свои умники и дурачки, герои и чудаки. В ней много еще предрассудков. Именно эта совокупность и давала то единство, тот естественный, жизнеспособный организм, которым всегда была русская деревня.

После войны этот организм распался.

На протяжении многих лет на деревню существовал один взгляд — как на производственную единицу, где добывают мясо, молоко, хлеб. Все, что было, деятельного и живого, стремилось всеми правдами и неправдами вырваться из деревни. И до сих пор деревенская арифметика нас подводит. Если из двадцати выпускников сельской школы уехали десять человек, это вовсе не означает, что осталась половина. Потому что ушли лучшие: самые умные, деловые, активные. Остались — „дурачки“, не способные к деятельной жизни.

Только теперь мы заговорили о Нечерноземье. А что такое Нечерноземье?! Это русская деревня со всеми ее горестями и проблемами, это — наша Родина.

Задача писателя — не фотографичность. Не снимок с натуры, а глубинное, всестороннее исследование жизни сегодняшней деревни.

Культура на селе слабая, сельский житель начинает дичать. Это я замечаю по своим односельчанам. Когда это было, чтобы русский человек не радовался гостю?! Теперь — частое явление. Российская баба, очевидная, компанейская, запирается одна в пустом доме и не хочет пускать к себе квартирантов ни на постой, ни даже на ночлег. Ей, видишь ли, хлопотать неохота.

Вот у меня соседка — старенькая, изработанная старушонка Анна. Она еще ничего: ее любопытство спасает. Только кто ко мне на двор, смотрю, шестерит ко мне, клюкву несет.

Пустеет дом. Дееспособных людей в деревне остались единицы. Лучшее, молодое — продолжает уходить.

Да, у автора наблюдательный глаз, он хорошо слышит речь. Но рассказ очень смутный по мысли. В книге так не может быть.

Мало — увидеть. Читатель вправе спросить: а зачем ему показывают все это? Зачем свели его с этими людьми? Одно дело — вы познакомились случайно, допустим, в дороге, в поезде. Верно, попутчиков человек не выбирает, тут командует его величество случай...

...Но ведь книгу читатель специально берет... Об этом надо думать.

...Развитие таланта — чтением и, главным образом, — думанием».

Дальше Астафьев в нескольких словах говорит о прозе следующего автора:

— Ругать можно, но советовать уже трудно...

Конечно, во время наших первых встреч с Астафьевым разговор не раз заходил о Николае Рубцове. Чувствуя мою заинтересованность, Виктор Петрович прислал мне как-то вместе с одной из своих книг машинописную копию небольшой своей заметки о нем.

«Вскоре после Нового, 1971 года, в канун крещенских морозов в Вологде оборвалась жизнь печального и чистого, как утренняя росинка, поэта Николая Рубцова. Его убила женщина, к которой он был болезненно и странно привязан, и когда она совершала злодейство, он, парень не робкого десятка, бывший детдомовец и моряк, не оказывая никакого сопротивления, все повторял: „А я люблю тебя!..“

Это пишется для того, чтобы отмести всякие слухи и наветы от чистого и теперь уже покойного поэта, убрать всю шелуху и мусор с памяти его.

В день сороковин мы, друзья и земляки поэта, старавшиеся оградить его от беды, но, наверное, все-таки далеко не все сделавшие для этого, собрались на кладбище. Под дощатой пирамидкой глубоко и тихо спал поэт, который так пронзительно умел любить свою

землю и высоко петь о ней, а вот своей жизнью совсем не дорожил, сжигал ее на скоротечном, чадно дымящем костре, и дивоваться только приходится, как этот чад не коптил на его глубокие мысли, на тонко чувствующую душу и умную светлую голову.

Кладбище, где он лежит, новое — здесь еще недавно был пустырь, нет здесь зелени и деревья еще не выросли, на крестах сидят нахохленные вороны.

Возле стандартных пирамидок позванивают железными листьями стандартные венки, а кругом переливаются, горят голубые снега и светит чуть уже подобревшее, на весну повернувшее солнце. И не верится. Не хочется верить, что нет его с нами и никогда уже не будет, и мы не услышим его прекрасную, до половины только спетую песню. И хочется спросить словами рядом стоящего Васи Белова, верного Колиного друга, сына этой снежно-мерцающей земли (он так горько и покинуто плакал над ранней могилой поэта): „Коля, ты где есть-то?..“

Разговоры о том, что поэты уходят, а стихи их остаются — мало утешают. Настоящего поэта никто не сможет заменить на земле. Песню, которую не допел Николай Рубцов, никто уже не споет. Он унес свои песни с собой. Холодный и безмолвный лежит он с остановившимися песнями в земле, в непостижимой от нас дали.

Сердца наши болят и сочатся слезами.

Поэт не нажил и не оставил после себя никакого имущества. В столе его были стихи...»

[Виктор Астафьев].

Много лет спустя у меня возникла возможность в разговоре с Виктором Астафьевым вернуться к теме Николая Рубцова.

— Все-таки, Виктор Петрович, вы давно обещали разговор о поэзии Рубцова. Да и просто почитать его

стихи...

— Ну и задачи ты ставишь. Не соскучишься...

— Уже двадцать лет нет с нами Рубцова. Кстати, и Сергею (один из участников нашей беседы, по профессии актер и режиссер. — Ю. Р.), задумавшему литкомпозицию по его стихам, могут оказаться полезными ваши суждения.

— Мне как-то позвонили, и просят написать о Николае хоть пару страниц...

— Вы уже писали на эту тему...

— Нет, не писал.

— Вы же как-то присылали мне небольшой текст.

— А... забыл уже об этом. Ты, Сережа, знаешь, книжка была в Вологде. В ней и Мария Семеновна участвовала. Целый том воспоминаний. Книжке уж лет семь, наверное...

— Я готовлю моноспектакль от лица Николая Рубцова, — поясняет свои планы Сергей. — Он, как понимаю, закрытый человек был...

— Это смотря к кому, как и когда... — возражает Астафьев. Потом начинает вспоминать: — Он часто говорил мне о своем замысле написать поэму о своей маме. Это мечта каждого человека, рано потерявшего мать, написать об этой утрате нечто проникновенное. Но для большинства подобное намерение кончается одним только желанием. И Николай тоже вот не успел написать. Он мне говорил: «Знаешь, как хочу это сделать? Изобразить последнюю встречу. Она стоит на крыльце, прощаемся. Крыльцо завалено слоем пушистого снега. А потом ее следы теряются вдали... Вот весь материал, которым хочу воспользоваться».

Я говорю: «Коля, тебе этого впечатления вполне достаточно. Пожалуйста, напиши, как вот сейчас рассказывал...» Время приходит, он снова с тоской говорит о своем поэтическом замысле. Мучило его это воспоминание крепко.

— Это очень важно, у меня в спектакле тема матери
— основная, — говорит Сергей, затем начинает читать:

Вот он и кончился, покой.
Сметая снег, завывла вьюга,
Завыли волки за рекой,
Во мраке луга.

Сижу среди своих стихов,
Бумаг ихлама,
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.

Там поле, небо и стога,
Хочу туда — о, километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры.

Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!

Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь, —
Ночные ветры?..

Сергей с тревогой смотрит на Виктора Петровича.
Тот отвечает, не церемонясь:

— Очень плохо ты читаешь Рубцова! Зачем акценты?
Ты играешь, а он не играл. Ты интимничаешь, а он,

наоборот, кричал. Но не крича. У него получалось завораживающе.

— Он — не актер. У меня обращение ко всем людям, к залу...

Виктор Петрович не слушает аргументов. Погрузился в воспоминание.

— Как он выбрасывал из себя: «Я буду скакать!..» Особенное нечто звучало, получалось проникновенно, удивительно.

А «Поезд», любимое свое стихотворение, как читал! «Поезд мчался (пауза) с грохотом (пауза) и воем...» Читал, как ребенок, будто ошибаясь в ритме... Он интонационно поднимал... Ему страшно за этот поезд... Оптимизм финала возникает из восторженного удивления тем, что в поезде столько народа. Вроде сама вагонная толкотня, суeta обеспечивает мажорный аккорд финала: «И какое (!) может быть крушение, если столько в поезде народу...» То есть из человеческого живого переплетения возникает не давка и неуверенность, а тепло, восторг, утверждение жизни.

— Смотря в какой ситуации, — вставляет Сергей.

— Я говорю про конкретное стихотворение, причем по тексту с довольно тревожным содержанием. А он его подавал восторженно, утвердительно.

И какое (!) может быть крушение,
Если столько (!) в поезде народу!

Коля это со счастливыми, сияющими глазами читал, он радовался движению своего поезда. И пел так же. У него голосишка не хватало... Он его подпитывал пафосом. Ребячливым, но поэтическим. И это не плакатный нажим.

Если на рыбалке накатывало, он нам и на берегу читал. Эх, слишком все живо во мне, потому трудно

воспринимать интерпретацию. Песни вот на его строки не получаются вовсе.

Его орать не надо и шептать нельзя. Сам Коля покричать любил, но как-то у него ладно, поэтично выходило...

Как начинаете его «играть», поэзия свою глубину теряет. Она ведь и так очень наивная в основе своей. Вся идет из стыка его характера, глубочайшего дитя-философа, рано познавшего страдания... и жуткого хулигана, грубияна, даже хама, можно и так, увь, сказать. Вот на стыке этих полюсов — ищи, улавливай.

— Значит, он кричал на весь вагон по поводу...

— Это не крик вовсе, не то, что вы понимаете под криком. Это какое-то восторженное восклицание от удивления перед окружающим миром, перед тем, что вот сочинился стишок. Реакция дитя, понимаешь? Мне не объяснить буквально, но какое это было счастье — его самого слушать.

— Я слышал его, — бросает Сергей.

— Ты слышал, наверное, запись, которую он сделал в пьяном виде. Это совсем не то.

— Разные записи слышал. Но это не важно. Я более скажу: поэты и писатели свои произведения хреново читают.

— Что ты?! Лучше всех читают.

— Неправда это...

— Чудак! Поверь моему сорокалетнему опыту. Вася Белов, не четко зачастую выговаривающий слова, читает свое лучше самого лучшего артиста. Всегда! И я, грешный, знаю про себя, что лучше меня мое никто не прочитает. Мария тебе моя подтвердит: лучше меня мои тексты никто не читает... И повторяю еще — Вася Белов, не выговаривающий пол-алфавита русского... себя читает прекрасно. Но еще Вася лучше всех читает «Осенние этюды» Коли Рубцова. Это одно из любимых у него стихотворений. При всем Васином бормотании это

производило ошеломляющее и подлинно художественное впечатление.

— А часто такое чтение случалось? — вступаю в разговор, чтобы смягчить полемику между Виктором Петровичем и Сергеем.

— Мы жили в Вологде очень интенсивно. Частенько в память о Николае Михайловиче сходились как бы на помин. Но не за рюмкой только. Читали его стихи. Каждый — свое заветное. Иногда за рамки выходили — два стихотворения читали. Я обязательно — «Вечерние стихи», которые люблю... Витя Коротаев порой брался даже за фрагменты поэмы про разбойника Лялю. Труднейший текст! Саша Романов — стихотворение «Тихая моя родина». Потом еще кто-то затевался. А Вася прежде всего — «Осенние этюды». Как прекрасно он это читает! Восторг, упоение! Вася и себя прекрасно читает, если захочет, чего он желает, увы, редко.

Это вам, актерам, кажется, что мы плохо читаем, — снова обращается Астафьев к Сергею. — Нет, лучше автора — никто не прочтет. Вы — артисты — для себя начинаете наворачивать, привносите себя, стараетесь текст играть... Понимаю, зарабатываете свой хлеб.

Прозаические тексты вообще не стоит играть! Эти буквы, составленные подряд, нельзя вырывать из контекста, акцентировать на чем-то...

— Но этого требует драматургия!..

— Ты, милый мой, такие истины мне толкуешь. Что же, по-твоему, я сегодня из-под стола вылез, не понимаю, о чем говорю?! Драматургия! — Астафьев усмехнулся, помолчал. — У нас в Сибири сейчас говорится зачастую одно слово: «ну». Целый день с сибиряком можно просидеть, он будет бубнить в ответ только «ну». Этим звуком он тебе объяснит себя, ситуацию, про жизнь расскажет.

О чем ты со мной толкуешь? О языке, с которым я работаю всю жизнь. Я немножко подальше нахожусь от

этих понятий банальных, и мнений, и требований так называемой драматургии, понимаешь? Автор, читая свой текст, сразу улавливает пробелы, то, что он не сумел выразить. На лист бумаги попадает только отблеск, тысячный отзвук того, что в душе автора звучало. Слава богу, если эти отблески упали пусть и не все, но не в неискаженном виде. И он, автор, подсознательно — в голосе или в интонации своего чтения — доносит то частично недописанное, с чем не совладал как мастер. То есть он всегда выговаривается — при чтении — обогащенным текстом.

— Да, прозаик не чтец, — продолжает Астафьев. — Он может изжевать половину предложения, ничего и не поймешь тогда у него. Но где надо он или сделает остановку, или прибавит — голос, жест, интонацию. Это-то и будет главное в тексте и чтении. Понимаешь? Никаких артистических придыханий. Чем плох провинциальный актер? Слаб, плох всегда одним был — закатывал глаза, форсировал голос, бегал по сцене, кричал и тем искажал даже великую драматургию. А автор как раз доносит таинство недосозданного в полной мере замысла, подсознание, которое почти никогда не удастся с желаемой полнотой выразить на бумаге. Важно понимать это.

— Виктор Петрович, в данном случае у Сергея, как я его понял, поэзия Рубцова является материалом для собственного прочтения... Он реализует свои актерские способности с помощью стихов и судьбы Рубцова. Разве этого нельзя делать? — защищаю я режиссера.

— Мне такое действо не интересно, и это мало имеет отношения к творческому образу, к поэзии Рубцова или кого-то другого. Я вот вам хочу напомнить еще об одной трагической судьбе. Это почти одновременно погибший и забытый совершенно поэт Алексей Прасолов. Коля бы на меня рассердился за

сближение с ним. Слышу рубцовское неодобрение: «Но-но-но!»

Однако, на мой взгляд, Прасолов философски более углубленный поэт. В чем-то даже талантливей, чего там говорить. Коля — нежный, изобразительный, народный, из души в душу. Тот же немножко дальше находится от читателя. Требует большего внимания, работы ума и воображения. Его читать трудновато. А сам Алеша читал прекрасно. Выпьет — и пошел. Лысенький, красненький, лоб у него сразу творчески розовеет. Как он читал прекрасно! Артистически. Точно, четко, художественно. Потому что там только мысль работает. Там не встретишь чистой изобразительности вроде: «... лошадь белая в поле черном вскинет голову и заржет...» У Алеши такого нет вообще. Все внутри, в душе поэта. Даже не знаю, с кем его сравнить. Жалко, что вот погибли оба рано. Интересно представить, как бы переплелись в русской поэзии их пути-дороги. Они бы обязательно соприкоснулись.

— А можно ли говорить, что Рубцов все же успел себя выразить? — спрашиваю я у Астафьева.

— В какой-то степени, но едва ли даже на четверть. Зная глубину таланта Колиного, это все, им написанное, пока внешнее. На внешнее-то и покупаются все ценители прекрасного... Мы не доросли до многих пониманий... Извини меня, но мы не доросли еще до Гоголя!..

Вот читают рубцовское «...Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...». Не так, не так читают. Он пел с восторженным напряжением: «Я бу-у-ду (!) скакать по холмам... задремавшей (!) Отчизны». Я пытался перенять что-то из его манеры, ведь цену его стихам мы сразу понимали. Чего-то там попробовал читать при нем, а он мне: «Иди на х... Плохо читаешь!»

— Да-да, — с горечью тянет Астафьев, — этого чуда уже никто и никогда не повторит.

Так что запомните, ребята, авторы не мешают своим произведениям, не портят их собственным чтением. Очередное заблуждение и насчет характера автора, и насчет чтения... Не торопитесь, прислушайтесь.

— Меня этим не убедишь, — сопротивляется Сергей. — Я еще не слышал, чтобы автор читал хорошо, потому что...

— Лучше всех, поверь! Я сорок лет в литературе работаю, переслушал сотни текстов в авторском исполнении.

— Ну, это в застолье так кажется...

— Писатель создает и читает свои произведения только за столом. Это и есть самое главное. На сцене — фиглярство, игра. А тут — истинный автор. Как раз и Колю слушал в последний раз за столом, были вместе на выступлении в библиотеке. Так случилось, что он одеколоном тройным облился. Резкий запах пота с одеколоном. Этой душной, острой смеси, вызванной к жизни его нелепостью, волнением и возбуждением от выступления, никогда не забуду. Коля прочитал, начались расспросы: «Николай Михайлович, как вы пишете стихи?» Отвечает: «Очень просто: беру бумагу, пишу „Н. Рубцов“ и столбиком записываю». Это так было, потому что он слагал произведение полностью внутри себя.

— А вот вы упоминали случай на рыбалке, расскажите...

— Да, на той рыбалке родилось и погибло прекрасное стихотворение... Вышли мы втроем: он, Коротаев и я. Мы с Витей сразу к воде, а Коля пошел бродить. Часа три отсутствовал. Подходит. «Ну, где твой улов, брат?» — шутя подначиваем его с Коротаевым. «Вот, пожалуйста». — И читает новые стихи. Я шел на рыбалку с похмелья, так оно вмиг выветрилось. Витька Коротаев был в то утро удачлив,

но о добыче тут же забыл, набросился на Колю: где, когда написал?! Да, вот к церкви ходил... В пути и написалось. Мы обрадовались поэтической удаче друга, а более всего — он сам. Но не усекли, записал ли он его? А потом ни в бумагах, ни в блокнотах не нашли этого теперь уже ясно утраченного шедевра.

— Как же вы не сообразили записать?

— Задним умом все крепки. А там, что его допрашивать будешь: записал, нет? Кроме того, я уже говорил, — он записывал только полностью готовое стихотворение. Как тут вмещаешься? Творческий процесс.

— А оно как-то связано было с посещением церкви?

— Совершенно не имело отношения к церкви, сугубо лирическое. Я боюсь упрощений в нашем разговоре. Тех упрощений, которые уже произошли в музыке. Ведь в Есенина, на мой взгляд, композиторы наши попали только дважды: это «Письмо матери» и «За окошком месяц». Больше по-настоящему музыкой в Есенина никто не попал, даже Георгий Васильевич Свиридов. Все-таки он сделал на поэзии Есенина академическое произведение. Это его право автора. Он, конечно, прекрасно чувствует явления природы, в музыке присутствует пурга, помнишь? Но то, что он сделал по Есенину, все же с литературой имеет соприкосновение лишь косвенное.

А у Есенина — глубины, и какие! Опять соприкосновение с подсознанием. Гений — богатство подсознания, подлинное творчество, это задействованное подсознание. На сцене вы воздействуете на сознание, причем зрительское, то есть усредненное. В этом ограниченность сцены. Театральный работник вынужден подделываться к условиям. И об этом я сужу на собственном опыте. Два раза тырнулся в театр и наелся, всякие дела с ним прекратил.

— А почему?

— Автор вынужденно свой текст упрощает, подделываясь под «законы» театра, где главный критерий — занимательность для усредненного зрителя. В театре так умордуют, что потом не вспомнить, через какую букву «корову» писать...

В прозе какой-никакой — ты хозяин. А в театре давит форма. «Мастера сцены» убедили всех, что драма — высшая планка. Отнюдь нет! Высший уровень русской литературы — это рассказ. Не повесть, не роман даже, а рассказ. Вот тут проверь себя, свое умение. Да, платят дешево, а писать ой как трудно. Попробуют хитрицы-мудрецы, и — фьюить, в драматургию, сами себя перелагать на сцену.

Но это я не о твоих, Серега, опусах. Дай бог тебе успеха. И чтобы зрители чаще обращались к Есенину, желали бы узнавать и почувствовать Рубцова. Дай бог! Я говорю о других вещах.

— А Есенина уже обсопливили так, что...

— О том и говорю. Сколько лет прошло, а разве мы творчество Есенина осознали? Во страна!«...Какого ж я рожна орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна, и сам я здесь ни капельки не нужен». Трагическое пророчество.

Тайна того же Рубцова остается неразгаданной.«...Сапоги мои скрип да скрип под осиною...» Ну о чем это? Или стихи про грибы... А вот мелодия, ритм вроде простецкого стихотворения заворачивает душу, беспокоит...

Но Рубцов, он удивительный. У него такие, казалось бы, минимальные средства художественные... Ненавязчивое владение метафорой... Она не выпирает, не напрашивается, она живая и естественная. Вроде архаичные формы, а это вот — классичность настоящая...

Разговор наш о Рубцове подошел к концу, и мне вспомнилась запавшая в душу фраза Астафьева, произнесенная им на сороковой день после смерти поэта:

— Песню, которую не допел Николай Рубцов, никто уже не споет...

Глава тринадцатая

НЕДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Что бы ни говорилось, десять лет прожитые Виктором Астафьевым в Вологде стали для него исключительно плодотворными. Его имя приобрело всесоюзную известность, он снискал признание и любовь миллионов читателей. Большинству из них импонировала правдивая основа и жизненность его произведений, нарастающая острота постановки животрепещущих вопросов в творчестве писателя. Больные проблемы, которых он касался, взрывали лирическую основу его прозы, свойственную ранним рассказам и повестям. В полной мере это можно было прочувствовать в «Царь-рыбе».

Драматизм и накал следовавших за этим повествованием новых произведений свидетельствовали о сложной, скрытой от посторонних глаз напряженной творческой работе, которой был одержим писатель. Говорят, людей талантливых ведет по жизни свой «внутренний голос», подсказывающий им правильный выбор в той или иной сложной ситуации. Он же нередко, на пути к какой-то неведомой для окружающих цели, побуждает человека к странным, иррациональным действиям. Речь здесь идет не о мистике, а о склонности людей творческого труда больше полагаться на интуицию и предчувствия, нежели на логическое мышление. К ним, безусловно, относится и Виктор Астафьев, поступки которого порой выглядели необъяснимыми.

Казалось бы, вот он перебрался из Чусового в Пермь, обустроился в новой квартире, получил признание городских властей и писательской общественности, обжил домишко в Быковке, где ему

так славно работалось. И вдруг без какой бы то ни было видимой причины он принимает решение переехать в Вологду. Власть и коллеги по цеху обижены, жена в растерянности, но он непреклонен, он уже все решил. Тактичная и умная Мария Семеновна мужу не перечит, не только соглашается на этот переезд, но еще и находит силы, чтобы поддержать намерение Виктора Петровича, предварительно убедив и себя в целесообразности такого шага.

Еще один необъяснимый и неожиданный поворот прервал налаженную жизнь семьи Астафьевых в Вологде. Как это произошло, Мария Семеновна описывает в «Знаках жизни».

В тот памятный день у вологодских писателей проходило отчетно-выборное собрание. Заслушали доклад, выступления в прениях, новым членам организации, и ей в том числе, выдали писательские билеты. После поздравлений собрание покатило дальше. Началось выдвижение кандидатур в руководящие органы Вологодской писательской организации. Естественно, что в числе других ведущих литераторов предложили избрать в правление и Виктора Петровича. Вдруг он попросил слово и сообщил своим коллегам о том, что в ближайшие дни он намерен уехать на новое место жительства, в Красноярск, а поэтому избирать его никуда не следует. Все в зале удивлены, Мария Семеновна — в шоке.

Виктор Петрович поступил именно так, как и сказал. Впрочем, не в его привычках было менять какое-либо решение. Жене пришлось не только в очередной раз смириться с обстоятельствами, но и, отложив хозяйственные хлопоты в Вологде, связанные с переездом, поторопиться следом за неожиданно уехавшим супругом, ибо вскоре после возвращения в родные края он серьезно заболел.

Помню, когда я узнал о переезде Астафьевых в Красноярск, то был настолько удивлен, что не удержался и спросил Виктора Петровича о том, чем было это вызвано. Ответил он спокойно, видно было, что решение принималось не вдруг:

— Тут не только тоска по родным местам. Я начал забывать язык своих земляков, односельчан-гробовозов...

Аргумент для писателя — более чем веский, но только спустя годы я окончательно убедился, что Виктор Петрович поступил совершенно правильно, хотя переезд и доставил тогда его семье массу переживаний. Перемена мест Астафьева, которая случалась в его жизни несколько раз, диктовалась прежде всего чисто профессиональными потребностями. Время от времени ему просто необходимо было вырываться из старого, становившегося тесным круга отношений, менять «приевшуюся» обстановку, чтобы раздвинуть сужавшиеся горизонты, яснее видеть творческие перспективы.

Астафьевы поселились в знаменитом красноярском Академгородке, расположенном на западной окраине города. Отсюда, с высокого берега, открывается прекрасный вид на Енисей и раскинувшуюся вдали родную Овсянку. Кстати, и в самой деревне Виктору Петровичу удалось купить избушку, буквально в нескольких шагах от дома его детства.

В моей библиотеке сохранились несколько книг и журналов 1980-х годов с произведениями Астафьева, которые были написаны им уже в Сибири. Прежде всего это журнальный вариант «Печального детектива» (Октябрь. 1986. № 1). В памятном автографе Виктора Петровича значится: «...мой первый роман... Виктор Астафьев. 31 января 1986 г.». Он называет «Печальный детектив» первым своим романом, как бы «забывая» о

существовании раннего своего произведения 1956 года — «Тают снега».

На титуле сборника «Жизнь прожить» (М., 1986), включающего первое книжное издание «Печального детектива» и другие произведения, созданные в Сибири, Астафьев пишет: «Юре Ростовцеву — книжку целиком уже написанную в Сибири, со странным романом, который в русской литературе, где есть „Мертвые души“, „Капитанская дочка“, „Герой нашего времени“, „Очарованный странник“ и множество других шедевров, должен был проскользнуть стеснительно, бочком на полку, уставленную современной убогой литературой, а он начал задевать, локтями толкаться и привлекать к себе несоответствующее его уровню внимание. Странная жизнь и загадочный читатель! В. Астафьев. 26 марта 1987 г. Красноярск».

«Печальный детектив» довольно оперативно перевели и издали во многих странах Запада. Вышел он и в Дании. Бросалась в глаза обложка книги: на фоне провинциального городского пейзажа и местных жителей — большая отвратительная крыса. Художественное оформление этого издания датчане конечно же с автором не согласовывали. Виктор Петрович подарил мне его с такой надписью: «Юре Ростовцеву — книгу со зловещей крысой на обложке, надеясь и веря, что она еще не скоро съест разгильдяя и преступника под названием человек. В. Астафьев. 12 декабря 1988 г. Москва».

Глядя на эту обложку, я часто гадаю: уловили или нет замысел и настроения русского писателя датские издатели?

Интересно все же получается. Пока писатель жил вдалеке от родной стороны, по которой сильно тосковал, он создавал светлые и возвышенные картины деревенского быта, пускай и многотрудного. Он ведь буквально поэтизировал родную Овсянку и ее жителей

на страницах «Последнего поклона», над которым работал 30 лет, в «Оде русскому огороду» и других своих произведениях. Воспев столь ярко и красочно свое деревенское детство, писатель в глазах читателя стал тончайшим и нежнейшим лириком.

Однако время шло, и уже в новых главах «Последнего поклона» идиллия уступает место конфликтности и горю, а герои, обреченные на одиночество, часто проявляют жесткость и даже агрессию, преступное равнодушие. В «Печальном детективе» эти мотивы современной жизни, воспринимавшиеся прежде как нависшие над нами угрозы, достигают своего апофеоза. Своеобразие русской души, характера русского человека, в котором причудливо переплелись добро и зло, причем зло все чаще торжествует в человеческих отношениях, выглядят в этом произведении отнюдь не загадочно, как об этом ранее было принято говорить в нашей литературе. У Астафьева это своеобразие нередко оборачивается своими самыми темными сторонами, поступками жестокими и отвратительными: то четверо мерзавцев насилуют пожилую женщину, то «молодец, двадцати двух лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек»...

Начало 1980-х годов — тревожная, неустойчивая пора нашего общества. Понимание необходимости кардинальных перемен витает в воздухе. Виктор Петрович пишет «Печальный детектив» в предощущении грядущих изменений. Он показывает читателю срез жизни, в котором погрязло общество, и перед глазами у нас предстает совсем другой Астафьев. Честно скажу, я был и поражен, и удручен прочитанным в начале 1986 года новым произведением Виктора Петровича. В общении он оставался прежним, а вот то,

что было заключено в журнальной книжке, не укладывалось в сознании.

Герой романа — один из жителей города Вейска, в недалеком прошлом — милиционер, сорокалетний Леонид Сошнин. Во время задержания преступника он был ранен, вышел на пенсию и теперь пробует писать прозу. Сошнин — персонаж, представляющий для Астафьева в известном смысле героя своего времени.

У вейских милиционеров работы по горло. Происшествие за происшествием, одно страшнее другого. Причем молодые отморозки не боятся возмездия, не скрываются от кары, до какого-то момента им все «до лампочки», в их головах даже и мысли нет о том, что вслед за преступлением следует наказание. Многие поражают Сошнина. Например, во время погони за убийцей по горячим следам выясняется, что «молодец-мясник ни убегать, ни прятаться и не собирался: стоит себе у кинотеатра „Октябрь“ и лижет мороженое — охлаждается после горячей работы». Когда преступника спросили: «За что ты убил людей, змееныш?» — он с беспечной улыбкой ответил: «А хари не понравились!»

Таких людей порождает среда обитания, тот жизненный пласт, который образуют отнюдь не одни закоренелые урки, а люди совсем обычные, живущие по тем же правилам и законам, что и большинство населения.

«Отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу — инвалиду войны и труда?» — вопрос, как говорится, чисто риторический, в нем содержится и ответ. Готовы наши люди «последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть соквартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за

свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату...

Вольно, куражливо, удобно живется преступнику среди такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется».

Есть в произведении Астафьева и другие эпизоды, в которых проявляется необъяснимая, ничем не оправданная жестокость. Среди них — драка Сошнина на лестничной площадке с тремя распустившимися мерзавцами. Леонид, даже став инвалидом, смог за себя постоять, наказал шпану, может быть, единственным понятным для негодеев способом — «испортил» их хари. Око за око, зуб за зуб.

После драки Сошнин «стал мыть руки под краном и ровно бы задремал над раковиной. Чувство усталой, безысходной тоски навалилось на него — с ним всегда так, с детства: при обиде, несправедливости, после вспышки ярости, душевного потрясения, не боль, не возмущение, а пронзительная, все подавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямля, да еще бабами воспитанный. Ему бы не в милиции трудиться, а, как матери и тетке, в конторе сидеть, квитанции подшивать и накладные выписывать, если уж в милиции, то на месте дяди Паши — территорию мести.

А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и людей, его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные вся милиция, полиция, таможенники и прочая, прочая существуют человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже просто опасно для жизни, лишено всякого здравого смысла. А между тем чудовищное оружие достигло катастрофического количества, и военная людь во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение и тех, что надели

военную форму, военный мундир, было, как и у всех людей, — рожать, пахать, сеять, жать, создавать. Однако выродок ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила — только созидаящая, творящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, охраняет, чтоб их не украли, да еще и книжечки пишет, — давно потеряла право называться силой созидательной, как и культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злочных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах...».

Впрочем, эти размышления Сошнина порождают только вопросы, на которые писатель не дает ответов.

Леониду противостоят не только преступники, но и равнодушные, потерявшие себя люди. Таковы редакторша из издательства Октябрина Сыроквасова и утратившая человеческий облик бомжиха Урна. При этом каждая из них по-своему заглушила в себе женское начало. Что с того, что Октябрина от разных заезжих творческих личностей прижила троих сыновей?! Она ими не интересуется, оправдывая себя тем, что буквально «горит» на работе, хотя, как мы узнаем из романа, к авторам относится пренебрежительно, не помогает, а всего лишь отчитывает и поучает их.

В этом образе Астафьев вылил всю свою нелюбовь к редакторско-цензорской деятельности, ставшей непреодолимой стеной для многих талантливых авторов. Невежественная Сыроквасова олицетворяет редакторскую армию, «потоптавшуюся» на рукописях Астафьева. Она убеждена, что, если человек — милиционер, он и писать должен на милицейские темы. В беседе с ней Леонид пытается что-то пояснить,

рассказать о своем понимании человеческих проблем, времени, но у «знатока» литературного процесса — свой, примитивный взгляд на окружающую действительность, на то, что волнует Сошнина. Их отношения выходят за рамки «автор — редактор», приобретают более широкий смысл. В них мы видим форму проявления глубокого и неразрешимого конфликта между интеллигенцией и народом, их полного взаимонепонимания. Любая выстраданная в народе мысль не находит выхода, тонет в пустоте, окружающей людей типа Сыроквасовой. Рукопись Сошнина даже не читается. Она изначально, «по умолчанию», не интересует тех, кто, по роду своих занятий, обязан хотя бы отслеживать новые веяния в жизни, пульс времени. Здесь мы сталкиваемся с темой, сформулированной давно и лаконично классиком совсем иного жанра: страшно далеки они от народа.

Неблагополучие жизни кочует со страницы на страницу. И у самого Леонида судьба неустроенная: мы знаем, что от него ушла жена... А между тем человек он вроде бы хороший и надежный. Что же не устраивает молодую женщину, наверное, выходявшую замуж по любви, заставляет бросить мужа, оставить дочь без отца? Может, Леониду стоит и впрямь прислушаться к совету тестя, который по-мужицки ясно выразился в адрес своей дочери и нерешительного зятя:

«Дошел до нас слух, вы опять с женою в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть — ниче не придумаешь». Перед нами — немудреные размышления Маркела Тихоновича, простого и не очень-то образованного человека. Но высказывает он их для того, чтобы как бы случайно, ненароком предложить свой обдуманый, но, увы, не очень подходящий Сошнину рецепт: «Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? Не до самой смерти — чтоб прочувствовала...»

Совет, конечно, не самый «педагогичный», но, возможно, умудренный жизнью, воспитанный на старых традициях человек лучше понимает, как разрешить конфликт. Бесплодные размышления на тему: «Кто прав, а кто виноват?» мало помогают в таких случаях. Может, подсказанный Маркелом Тихоновичем путь к примирению все же куда лучше холодной интеллигентской рассудочности, за которой кроется безволие и бездействие, ведущие к гибели семьи...

Конечно, в романе не один только Сошнин является носителем положительного начала. Писатель относится доброжелательно и к тетя Лине, и к тете Гране, и даже к бабке Тутышихе. Вызывает уважение писателя и целый ряд представителей сильного пола — люди старшего поколения, особенно те, кто побывал на войне, — Лавря-казак, дядя Паша, тот же Маркел Тихонович, а также милицейский начальник Сошнина — Алексей Демидович Ахлюстин. Но вот вопрос: определяют ли эти персонажи лицо Вейска, могут ли они влиять на окружающую их действительность? И насколько прав Ахлюстин в своей теории, по которой делит людей на две части — правонарушителей и законопослушных граждан. Взаимодействуя и вступая в столкновение, они, по его мнению, определяют судьбы каждого человека и мира в целом.

Концепция милиционера-философа, откровенно говоря, выглядит довольно мрачно. Впрочем, со временем мы убедились, что роман с его акцентом на темных сторонах бытия оказался вполне адекватным действительности и во многом предвосхитил то, что вскоре так выпукло проявилось в нашей жизни. Сейчас уже никто не сомневается, что граница, разделяющая современное общество на преступников и пострадавших, воров и обворованных, становится все более зримой. Герои Астафьева, погруженные, в силу своей профессиональной деятельности, в мир

криминала, помогли только лучше рассмотреть то, что возникло раньше и скрывалось в прежние годы под покровом мнимого благополучия.

Изнанка жизни, с которой Сошнин на протяжении многих лет постоянно сталкивался при исполнении служебного долга, не очерстила его, а наплатила тревогой и болью. Она не дает ему успокоения даже на заслуженной пенсии, которая, конечно, никак не способна компенсировать телесные и душевные раны.

Писатель завершает повествование на мажорной ноте: к Леониду возвращаются жена и дочь, возрождается надежда на восстановление семьи. Однако, даже сопереживая своему герою, Астафьев не дает конфликту окончательного разрешения. Да и о Лерке, жене Сошнина, нам уже известно слишком много всяко-разного, что не позволяет испытывать особого оптимизма. И мы традиционно, вместе с героем романа, полагаемся на старую формулу — семья ради ребенка. Сошнин должен защитить свою дочь от этой тревожной и не до конца понятой им жизни. И никто не сделает это без него, ибо связи времен, обеспечивающие устойчивость человеческого бытия, оказались разорванными.

«Порвались они, воистину порвались, изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловещий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем и, может быть, уже не нам, а Светке, ее поколению, наверное, самому трагическому за все земные сроки...» — таковы невеселые размышления главного героя романа.

«Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сошнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочери и забылся в каком-то сладком горе, в воскрешающей, животворящей печали, и, когда очнулся, почувствовал на лице мокро, и не устыдился

слез, не презирал себя за слабость, даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело.

Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, закатившую голову ему под мышку.

Муж и жена. Мужчина и женщина. Сошлись. Живут. Хлеб жуют. Нужду и болезни преодолевают. Детей, а нынче вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастят, себя и его замают. Плутавшие по земле, среди множества себе подобных, он и она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни. Муж с женою. Женщина с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга... соединились, вот чтоб стать родней родни, пережив родителей, самим испытать родительскую долю, продолжая себя и их.

Не самец и самка, по велению природы совокупляющиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенные для того, чтоб помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться, из сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть хорошее. От родителей-то они были переданы друг дружке всяк со своей жизнью, привычками и характерами — и вот из разнородного сырья нужно создать строительный материал, слепить ячейку во многовековом здании под названием Семья, как бы вновь народиться на свет и, вместе дойдя до могилы, оторвать себя друг от дружки с неповторимым, никому не ведомым страданием и болью.

Экая великая загадка! На постижение ее убуханы тысячелетия, но, так же как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья... вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолеваеть добро, земля

разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именующий себя людьми.

Но в современном торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде, жена опять же хорошего, лучше бы — очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самое святое на земле — семейные узы, измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растворенной во всех хороших женах, надо полагать, ведают, что и хороший муж распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить бы в мешок и утопить. Просто! Вот как бы до нее, до простоты той, доскрестись на утлом семейном корабле, шибко разохшемся, побитом житейскими бурями, потерявшем надежную плавучесть...

Над письменным столом... прибита полочка для учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. Ныне на полочке, шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборники стихов и песен. Среди них зеленым светофорным светом горит обложка книги „Пословицы русского народа“. Молодой литератор и уже испытанный в семейных делах муж открыл толстую книгу на середине. Раздел: „Муж — жена“ занимал двенадцать широченных книжных страниц — молодая русская нация к прошлому веку накопила уже изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве.

„Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи“. „Разумно, очень разумно и дельно!“ — ухмыльнулся мыслитель из железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота зубоскалить: „Смерть да жена — Богом суждена“, „Женитьба есть, а разженитьбы нет“, „С кем венчаться, с тем и кончаться“, „Птица крыльями сильна, жена мужем красна“, „За мужа завалюсь — никого не боюсь“.

„Ага! Как же! — не согласился на сей раз с народной мудростью Леонид. — Познакомить бы вас с современной женщиной!“...

И без словаря одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит, порешил он. „Семьи рушатся и бабы с мужиками расходятся отчего? — вопрошала бабка Тутышиха, сама себе давая ответ: — А оттого, что сплят врозь. Дитев и друг дружку не видят неделями — чем им скрепляться? Мы, бывало, с Адамом поцапаемся, когда и подеремся — но муж с женою хотя и бранятся, да под одну шубу ложатся!..“

...Рассвет сырым, снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно, когда насладившийся покоем, среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему неведомой уверенности в своих возможностях и силах, без раздражения и тоски в сердце Сошнин прилепился к столу, придерживая его расхлябанное тело руками, чтоб не скрипел и не кричал, потянулся к давней и тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею с железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним».

Таков финал романа. И получается, что профессиональному детективу предстоит раз и навсегда размотать запутанный узел собственной семейной драмы. Незаметным образом писатель в своем произведении перевел стрелки, и из «криминального чтива» вырос роман семейный.

И это не случайно, ибо в страшных эпизодах первых глав романа фигурируют те, кто потерял свой человеческий облик, потому что был лишен семейного тепла и заботы близких. Почему так происходит в современном мире? По мнению Астафьева, ответ прост и его знает каждая простая бабка. Все идет от того, что мать перестает быть матерью своим детям, отец перестает быть отцом и защитником своей семьи. А

чтобы не забыть о своем человеческом предназначении, человек должен жить в семье и интересами семьи.

Смысл самого понятия «детектив» у Астафьева далек от традиционного нашего представления о нем, хотя и выглядит криминальная составляющая романа довольно внушительно. Правда, порой кажется она чрезмерной, самодовлеющей, перенасыщающей произведение криминальными сценами, и тогда мы вынуждены говорить о том, что автор сгущает краски.

Многие литературные критики считают, что некоторые отрицательные персонажи у Астафьева недостаточно проработаны и убедительны, прописаны слишком схематично. Может быть, дело здесь просто в том, что все они призваны лишь оттенить вопросы, волнующие писателя. Ведь слово «детектив» в названии романа указывает нам не столько на принадлежность произведения к милицейской тематике, сколько к тем проблемам, которые человек, ищущий единства с окружающим миром, стремящийся его понять и быть понятым сам, должен постигнуть через личный опыт, работу собственной души.

Когда в девятом номере «Нового мира» за 1989 год появился рассказ «Людочка», то можно было посчитать, что он примыкает к криминальной составляющей романа «Печальный детектив». Но сущность рассказа, пожалуй, уточняющая — в нем видна попытка дать ответы на те вопросы, которые возникали у людей по ходу чтения романа и оставались неразрешенными. Главный из них: как противостоять злу и возможно ли это в принципе?

Рассказ «Людочка» представляет читателю еще одну трагическую историю, еще одну сломанную молодую жизнь. Сам по себе сюжет довольно прост. Девушка родилась и выросла в «неперспективной» деревне. Родители ее — колхозники. Отец много пил и

рано ушел из жизни. Мать одолевали свои, женские заботы, но, наконец, она встретила человека, с которым пытается воссоздать семью. А своей дочери после десятилетки, которую та «домаяла», посоветовала перебраться в город. Людочка так и сделала. Сама она ничего не ищет, довольствуется тем, что предлагает судьба. Устроилась в парикмахерской при вокзале, на который приехала, в ученицы, жить стала у Гавриловны, работавшей мастером женского зала. Учение на мастера у нее шло трудно, однако она была покладистая и прижилась у Гавриловны, взяв на себя всю домашнюю работу. Постепенно она привыкла к новому укладу жизни.

В городе над ней надругался бандит Стрекач. На другой день, немного придя в себя, Людочка поехала к матери в деревню. Умудренная житейским опытом мать сразу поняла, что с Людочкой случилась беда, но «не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, — пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой иль Богом определены».

Отчего-то Людочке вспомнился отчим, который «трудно, однако азартно вращался в хозяйство», много работал, помогал матери. Его можно было бы назвать нелюдимым, но Людочка еще в детстве почувствовала, что он какой-то особенный: крепкий и основательный. Слово «надежный» ей в голову не пришло, но оно подразумевалось.

Центр происходящих в рассказе событий — городской парк, производящий отталкивающее впечатление. Главной его достопримечательностью является канава, которую вырыли при прокладке

канализационной трубы. Трубу положили, а вот канаву зарыть забыли. Это место, по воле и замыслу автора, приобретает зловещий характер, здесь и разворачиваются главные действия рассказа.

«Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной, и поверху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями по вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенью роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья... Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят,дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую... Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток...»

Даже те робкие попытки, что делались по благоустройству парка, — здесь пытались сажать елочки и сосны, — пресекались самими жителями. Елки вырубали к празднику, а остальную растительность затапывали, обламывали, портили...

Люди свыклись с этой неприглядной картиной. Привыкли они к тому, что даже и в таких условиях

работает танцплощадка и проводятся другие мероприятия, а по темным углам и вблизи канавы снует шпана и уголовники. Вот и Людочка спокойно ходила по этому гиблому месту, пока не случилась беда. В свой последний вечер она снова пришла сюда, рассчитывая встретить насильника и поквитаться с ним, для чего и бритву приготовила. Но встретила только банду подонков из его свиты, которые, уверенные в своей пугающей людей силе и безнаказанности, стали делать ей непристойные предложения. От унижения и безысходности Людочка накладывает на себя руки.

По ходу рассказа читатель уже догадывается, что возмездие придет, что будет оно неотвратимым и ужасным. Но Стрекач со своими подонками пока не знают об этом и не сильно горюют по девчонке, доведенной ими до самоубийства.

На поминках «мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась...

Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубашу, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: „Я пойду покурю“ — и, накинув на себя болоньевую куртку с вязанным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки эппэвэрзэ и двинулся по направлению к парку.

Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека — Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу.

Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубаше, с браслетами, часами и кольцами на руках, с крестиком

на шее. Отчим Людочки в куртке с вязаным воротником, словно пробитый по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.

— Че те, мужик?

— Поглядеть вот на тебя пришел.

— Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.

— Так, значит, это ты и есть пахан Стрекач?

— Допустим! Штаны спустим...

— Ишь ты! Еще и поэт! Прибауточник! — Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. — Эт-то хоть не погань, обсосок! Бога-то хоть не лапайте, людям оставьте!

— Ты... ты... фраер!.. Да я те... я те обрезанье сделаю. По-арапски! — Стрекач сунул руку в карман.

Вся компания вэпэвэрзэшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух, кровавое начнется дело.

— Э-э, да ты еще и ножиком балуешься?! — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо-молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.

Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пнуть мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и, как персидскую царевну, швырнул в поганые воды сточной канавы...».

Шестерки Стрекача попытались заступить мужику дорогу. «Он уперся в них взглядом. Парни-вэпэвэрзэшники почувствовали себя под этим взглядом

мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет! Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, позвериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его, в том месте, где, от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости не знающее бешенство...

Пакостные, мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рискованные предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, — житуха ох какая нефартовая, ох какая суровая, и, пожалуй что, пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому дело движется, когда совсем деться некуда будет, что ж, тогда „здрасьте!“, тогда под крыло такого вот пахана...

Парни занялись спешным делом: трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего Стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся — вызывать „скорую“, кто-то — в старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном „художестве“ сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напастей жившие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и возвращенного».

Отчим Людочки не сразу вернулся домой. На окраине парка, по закоренелой привычке жить настороже, все видеть, все слышать, он заметил на сучке, нависшем над тропой, обрезок пестренькой веревочки. Здесь девушка повесилась. «Какая-то прежняя, до конца им самим не познанная злая сила высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отломился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее, йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя, молвил:

— Что же ты не обломился когда надо? — И с внезапным неистовством, со все еще не остывшим бешенством искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, исподлобья наблюдая, как по исковерканному, кочковатому парку, ковыляясь, ощупью пробиралась к канаве машина „скорой

помощи“. Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое — текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки».

Начиная рассказ, Астафьев говорит, что историю он эту слышал давно, сам никогда погибшую девушку не видел и даже имени ее не знает, но почему-то втемяшилось в голову, что звали ее Людочкой. «Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте?»

Не называет автор имени и отчима Людочки. Даже ее мать никогда не называет его по имени, говоря об отчине «сам»: «Мать Людочки всегда чуяла в „самом“ затаенную, ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней». Лишь в последнюю встречу с дочкой она упомянула о трудной юности отчима, которую он провел в лагерях, и вот только теперь, на склоне лет, отводит душу в работе на земле.

Трудно сказать, чем притягивал к себе Людочку этот странный, молчаливый человек. Как-то она подумала об отчине: вот он, небось, из таких, из сильных. Из тех закованных в цепи героев, которые выживали в тюрьмах-одиночках. Эти люди «были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание...».

Безымянный отчим Людочки преображается под пером Астафьева в некую неведомую еще силу, в

нерасколдованного пока сказочного богатыря, хранителя силы, духа и справедливости, народной сущности, несущей всесокрушимое возмездие.

Рассказ «Людочка» продолжает одну из основных тем «Печального детектива». Однако он не только показывает губительную силу зла, перед которой люди не могут найти себе спасение и защиту, но и прямо отвечает на многие вопросы, над которыми ломает голову Леонид Сошнин. На один лишь — самый главный из них — нет ответа: дан ли русскому человеку иной способ борьбы со злом, нежели месть, или он и впредь должен полагаться на силу и мужество героев-одиночек, действующих по принципу: «Око за око, зуб за зуб»? Но, увы, все меньше их остается среди нас — губят себя русские мужики пьянством, перекладывая на женские плечи свои обязанности воина-защитника, оберегающего свой кров и семью.

Кто же еще сможет вершить возмездие, без которого не одолеть злую силу? Неужели на это способна теперь только женщина-мать, а мужик «и помнить забыл, что у него ружье... за шкафом висит, а в шкафу два патрона с картечью уж который год, как часы, тикают». Эта цитата уже из произведения другого крупного русского писателя — Валентина Распутина, из его повести «Мать Ивана, дочь Ивана». Тема противостояния добра и зла спустя несколько лет после опубликования «Печального детектива» и «Людочки» у него представлена, пожалуй, в еще более обостренном и трагическом художественном решении: орудие возмездия берет в руки женщина, не полагаясь на то, что кто-то другой сможет швырнуть исчадие зла в поганые воды сточной канавы...

Глава четырнадцатая ПОДВОДЯ ИТОГИ

Можно утверждать, что большинство произведений Астафьева рождались в атмосфере воспоминаний, личных впечатлений. Но в разные периоды творчества отношение к прошлому автора меняется. Меняются и его взгляды на войну. В этом нетрудно убедиться, если сравнить его произведения, написанные в ранние годы творчества и в более позднее время. Для примера можно сопоставить повесть «Пастух и пастушка» (1971) и роман «Прокляты и убиты» (1992–1994).

На повести — самом больном и любимом произведении Астафьева — мы уже останавливались. Что же касается романа... Ничто из ранее созданного, включая произведения автобиографического характера, не дает нам возможность прочувствовать всю глубину душевной боли автора, которую так и не смог перетерпеть он за долгие годы жизни и писательской работы.

Говорят, что один известный писатель, прочитав его, воскликнул: «Как не хочется, чтобы это было правдой!» Однако правда — это такая вещь, которая существует независимо от нас, хотим мы этого или нет. Не влияют на нее и наши представления о ней.

Сам Астафьев как-то заявил: «Я не был на той войне, что описана в сотнях романов и повестей... К тому, что написано о войне, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне... Полуправда нас измучила...»

И еще: «Когда-то я подхватил и с энтузиазмом повторял слова Константина Симонова: „Всю правду о войне знает только народ“. Увы, теперь я знаю, что всю правду о войне знает только Бог. Народ наш в

большинстве своем не знал ее и, возможно, знать не хочет — слишком страшна она и отвратительна, слишком для усталых русских людей, прежде всего истинных вояк, правда эта неподъемна. Многие сгорят во времени и развеется пеплом в мироздании из того, что хранит усталая да уже и изнемогшая от тяжелого груза российская память и история.

Но какая-то часть истории еще жива, и она болит в сердцах старых людей, бросает их память в огонь прошедшей войны, где сгорела наша молодость, здоровье, пропали лучшие годы...»

Страшна и отвратительна картина войны, созданная Астафьевым в романе «Прокляты и убиты». Сказать, что события в ней выписаны в самых жестких тонах — значит ничего не сказать. Война предстает перед нами в таких ужасных и беспощадных подробностях, словно многое из того, что мы слышали и знали о ней, вывернуто наизнанку. Чертова яма — это карантинный лагерь с нечеловеческими условиями быта запасного стрелкового полка, находящегося под Новосибирском, у станции Бердск. В землянках, в которых размещены новобранцы, — теснота, драки, пьянки, воровство, вонь, вши. Тон здесь задают блатняки — бывшие урки. Вот с такой Чертовой ямы для героев Астафьева начинается война. Последняя справедливость, которая им уготована в ближайшем будущем, — равенство перед смертью. В тяжелой атмосфере животной жизни людей возникает лишь одна отдушина — они попадают на уборку зерна. Это хоть на время высвобождает солдат из «казармы вонючей, темной, почти уже сгнившей, могилой отдающей». Но приходит время, и людей отправляют в огненное пекло — на войну.

Фронту посвящена вторая книга романа — «Плацдарм». Мы становимся свидетелями событий 1943 года, среди которых центральное место отводится кровопролитной битве за Днепр. На противоположном

берегу — враг, за спиной — «надзорное войско, умытое, сытое, дни и ночи бдящее, всех подозревающее». Во время переправы безжалостно загублены тысячи жизней. «Река кипела, полная гибнущих людей. Неумеющие плавать цеплялись за тех, кто умел, и утаскивали их под воду, переворачивали шаткие плотники, сделанные из сырого дерева. Тех, кто возвращался на левый берег, к своим, встречали доблестные бойцы заградотряда, расстреливали людей, сталкивали обратно в реку». Перед нами проходят все новые эпизоды страшного сражения, которые поражают воображение своей кровавой обыденностью. Что же в итоге? «На правом берегу реки хоронили павших бойцов, стаскивали бесчисленные трупы в огромную яму. На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии». Хоронили его в роскошном позолоченном гробу...

У неискушенного человека, воспитанного на произведениях о войне, опубликованных в нашей стране задолго до 90-х годов прошлого века, возникает замешательство. Стремясь развеять сомнения, он задает законный вопрос: что, разве не было раньше правдивой военной литературы? Разве можно занести в разряд «полуправды о войне» прозу К. Симонова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Богомолова, А. Ананьева, наконец, таких близких к Астафьеву людей, как К. Воробьев и В. Быков?

Подобные вопросы, словно волнорезы, разводят многочисленных почитателей творчества Астафьева по разные стороны. Их противоречивые настроения отразила и литературная критика.

«За что прокляты?» — вопрошал в своей статье в «Литературной газете» Лев Аннинский практически сразу же после публикации в «Новом мире» первой книги романа — «Чертова яма».

Павел Басинский, например, считает, что писатель имел право на такой свой поздний взгляд на войну. Правда, кем прокляты герои романа — остается и для него загадкой. «Но то, что в конце жизни Астафьев как-то ожесточился, как-то принципиально отказался от присущей ему прежде светлой доброты взгляда и стал искать какой-то последней жесткой правды, — очевидно». И опять добавляет: он один из немногих, кто имел на это право.

«Чертова яма — это и есть наша страна в прошлом», — считают одни. Другие иронизируют, считая, что Астафьев — «подзадержавшийся свидетель обвинения», «живописующий и проклинаящий полвека спустя».

Но ведь давно подмечено: сколько читателей — столько и мнений.

Роман «Прокляты и убиты» — пожалуй, самое тяжелое произведение из тех, что оставил нам Виктор Петрович. Причем его не только трудно читать — оно требует от читателя, которому автор не дает пощады, огромных эмоциональных затрат, тяжким грузом ложится на сердце. Тяжела та правда, какую отстаивает Астафьев, полагающий, что наша история такова, что без душевной боли ее не постигнешь.

Литературный критик и близкий друг автора Валентин Курбатов, который часто бывал в Овсянке в годы создания романа, считает, что писатель неимоверно устал от перенапряжения духовных сил во время работы над романом. Ему, на мой взгляд, принадлежит наиболее точная и глубокая оценка книги Астафьева, если вообще так можно говорить об отношении критики к этому произведению. Содержится она в речи Курбатова, произнесенной на вручении весной 2009 года премии имени А. Солженицына, которой был посмертно удостоен В. Астафьев за роман «Прокляты и убиты».

Вот что он, в частности, сказал:

«Не было за последние годы художника более беспокойного, чем Виктор Астафьев. Похвалы ему были вызывающи, укоры слишком запальчивы. Словно обе стороны промахивались — и обнимали не того, и не на того гневались. Да так оно и было, потому что спорили друг с другом одинаково злые, из одного корня проросшие идеи, не хотевшие знать своего родства... И я не буду говорить обо всем творчестве Виктора Астафьева, а скажу только об этой самой мучительной в русской литературе книге „Прокляты и убиты“.

Это вначале казалось, что можно загородиться миром, утешать душу, избыть войну. Но Виктор Петрович впервые сказал нестерпимое, что с войны вообще нельзя вернуться.

Одного его вопроса довольно, чтобы измучиться: „Как это так и почему тянется и тянется по истории, и не только российской, эта вечная тема: посылают себе подобных на убой. Ведь это выходит брат брата во Христе предает, брат брата убивает?...Боже милостивый! Зачем ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтобы он мог дивиться плодам безумия своего?..“ Вот тут и видно, что принес Астафьев в военную тему и почему его роман встретил общее сопротивление.

Воевавшие люди в большинстве приняли книгу как вызов, даже как оскорбление. Словно Астафьев что-то самое значительное, самое опорное, самое несомненное отнял. И с кем бы в те дни, да и сейчас, об Астафьеве не заговорил — этого болезненного угла не обойти. И смерть художника переменяла тут мало. Притворяться, что он стоит в общем ряду ветеранов ни его сверстники не дадут, ни сам он оттуда не позволит.

...Проблема была слишком высока и не могла быть решена волей одного даже великого художника... Она

могла быть непротиворечиво поставлена, когда бы строилась на безусловной вере, на евангельской правде, которая „не от мира сего“. Но у писателя солдатское, намаянное по окопам сердце, и он еще слишком дитя своего безверного века и от земли не оторвется. Не зря и сама земля в романе измучена, как не была еще ни в одной книге.

Прозаик хотел судить мир Божьим судом, перед которым войне нет оправдания. Да и не хотел, а само сердце, генетика русская просила христианской оценки войны. А видел мучающихся во вшах и невыносимом труде товарищей и жалел их, и не смел судить. Вечность и евангельская правда, дыхание которой почувствовал еще из полубоготического сознания художника, когда взялся за роман, столкнулась со слишком человеческой историей, и оказалось, что их примирить невозможно. Потому что в вечности человек живет перед Богом, а историю делают перед человеком на коротких полях расчета. Для человека, для страны победа может быть высокой, быть исторической гордостью на века, но как когда-то Лев Николаевич [Толстой], так и Астафьев уже не о человеке и не о стране говорил, а о человечестве. О том общем организме мира, который судим не историей, а Богом, где начинается новый язык и новое небо.

В этом действительно был вызов и самому себе, своему воевавшему и победившему Витьке Потылицыну, и своим живым и мертвым товарищам. И вызов не побежденного, не Ремарка и Белля, а вызов победителя, да еще сделанный в час, когда хватает мерзавцев, готовых все подвергнуть ревизии, чтобы стереть Россию с карты мира...

Я думаю, когда это будет осознано в великой глубине по-настоящему проснувшегося русского христианского сердца, когда мы воскреснем из нынешней дробы в живое тело, читатель простит

писателю кажущуюся несправедливость опережающей историческое время правды...»

Говоря о романе «Прокляты и убиты», я бы не стал утверждать, что он открывает принципиально новое направление в военной прозе. Да, он рушит многие сакраментальные устои, существовавшие ранее в литературе. Но сама по себе литературная традиция жесткого реализма, глубинной, народной правды о войне существует уже давно. И лучшие произведения о войне всегда находили отклик в душе Астафьева.

Вот, например, Виктор Петрович в письме Валентину Курбатову (ноябрь 1974 года) делится своими впечатлениями от повести Валентина Распутина «Живи и помни»:

«Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев... И вот что страшно: привыкшее к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы... общество, неустойчивое, склизкое, все время как бы пытающееся заняться фигурным катанием на самодельных коньках... оно, это общество, вместе со своими „мыслителями“ не готово к такого рода литературе. Война — понятно; победили — ясно; хорошие и плохие люди были — определено; хороших больше, чем плохих — неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить — как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми? Что, наконец, такое война, да еще современная? И самое главное, что такое хороший и плохой человек? Немец, убивающий русского — плохой; русский, убивающий немца — хороший. Это в какой-то момент помогало духовному нашему возвышению, поднимало над смертью и нуждой, но и приучало к упрощенному

восприятию действительности, создавало удобную схему...

Ой, дадут они Вале Распутину за повесть! Он не просто палец, а всю руку до локтя запустил в болячку, которая была когда-то раной, но сверху чуть зарубцевалась, а под рубцом гной, осколки, госпитальные нитки и закаменевшие слезы...»

Особая тема — влияние на творчество Астафьева Константина Воробьева. Вспомним, например, его повесть «Убиты под Москвой». Перекликаются уже сами названия (у Астафьева — «Прокляты и убиты»), смысл, заложенный в них, а ведь два произведения — Воробьева и Астафьева — разделяет три десятилетия: повесть «Убиты под Москвой» была впервые опубликована в «Новом мире» в 1963 году.

Вот что, например, писал об этой книге Евгений Носов: «Открытие, что Константин Воробьев мой земляк (оба они родились на курской земле. — Ю. Р.), пришло не сразу, исподволь, через его книги. Впервые я прочитал его более десяти лет назад, когда он был уже зрелым мастером. Это была повесть „Убиты под Москвой“. В общем потоке тогдашней литературы о войне она остановила меня, как останавливает в картинной галерее, повергает в волнующее смятение, скажем, суриковское полотно „Утро стрелецкой казни“. Повесть эта, будучи воистину оптимистической трагедией, поразила меня, как и все его последующие произведения, остротой и дерзкой смелостью письма, предельно обнаженным драматизмом, от которого буквально холодело сердце, каким-то особенным крутым замесом сюжета, человеческих судеб и характеров, своеобразием самой техники раскованного, энергичного мазка. Уже тогда я понял, что имею дело с писателем, обладающим недюжинной натурой и непростой личной судьбой».

Влияние Воробьева на творчества Астафьева — очевидно. И не только потому, что между ними возникли дружеские отношения — само по себе это еще ничего не значит. Куда важнее, что в 1965 году он вступился за писателя-фронтовика, за которого основательно взялся одиозный литературный критик Гр. Бровман, и опубликовал в его защиту статью в газете «Литература и жизнь» (позднее — «Литературная Россия»), Статья небольшая, поэтому приведу ее с незначительными сокращениями:

«Бывает так: читаешь рассказ или повесть, и все время чудится тебе человек, который по лености или недомыслию не запасся на ночь дровами. И сидит он, бедный, один в ненастную ночь, скучно коротает ее при чуть теплящемся огоньке — как уж совсем замирать огонек начнет, он палочку подбросит, потом еще, потом еще...

А есть писатели другого склада. Они, не жалея, валят в костер весь свой запас, всю свою энергию... Чтоб горело. Чтоб ярко было!

Вот за это яркое, порой стихийное горение мне нравится писатель Константин Воробьев, человек самобытного таланта.

Критикой К. Воробьев совсем не избалован. Более того, две его повести: „Крик“ и „Убиты под Москвой“, напечатанные — одна в „Неве“, а другая — в „Новом мире“, — как только появились, были раскритикованы...

Итак „Убиты под Москвой“. Кто? Рота.

И не просто рота, а рота кремлевских курсантов. И оттого, что она не просто рота, трагедия ее по-особому страшная, и хочется кричать от боли. В иных местах, читая повесть, хочется загородить собою этих молодых ребят... идущих на позиции с парадным, шапкозакидательским настроением.

Курсанты окапываются, ждут боя, фашистов, а дожидаются... отступающих наших солдат,

растерзанных страхом. Курсанты стали презирать, ненавидеть за трусость этих солдат, особенно их генерала.

А к вечеру капитан Рюмин, командир курсантской роты, выясняет, что они уже окружены, их уже обошли и окапывались они зря... Им просто-напросто надо выходить из окружения и пробиваться к своим.

Чтобы не убить веру в свою силу у этих парней... капитан Рюмин решает дать им возможность „не просто так“ отступить, а с победой.

Курсанты ночью атакуют впереди лежащее село, занятое гитлеровцами, которые до того „охамели, — как говорит лейтенант Гуляев, — что спят в кальсонах“.

И вот ночной бой, жестокий, сокрушительный.

Потом, после боя, лейтенант Алексей сходит посмотреть на застреленного и додушенного им врага.

„Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе, ‘по-живому’ прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцей побежал со двора“.

Так о бое может писать человек, только сам хлебнувший окопной жизни, горя, крови и слез...

Воробьев начал войну рядовым необстрелянным бойцом, каких и описал в повести „Убиты под Москвой“, закончил ее командиром отдельной партизанской группы в Литве, изведав унижение и боль окруженца, а после — и долгожданную, выстраданную радость победы.

А что касаясь натурализма, то я могу, как бывший окопник, сказать, что не знаю ничего страшнее и натуралистичнее войны, где люди убивают людей...

Вернусь к повести, хотя, откровенно говоря, мне бы хотелось кончить читать повесть и говорить о ней на том месте, когда наши „долбанули“ фашистов, и затопать бы ногами, как до войны в темном зале кино, и закричать от восторга, видя, как краснозвездные танки гонятся за толпой врагов...

Но это там, в довоенном кино. А здесь немецкие самолеты наутро загнали дерзкую роту курсантов в сосновую рощу и завалили бомбами. Курсантов просто уничтожили, их закопали, сожгли заживо вместе с лесом.

Повесть „Убиты под Москвой“ не прочтешь просто так, на сон грядущий, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки, хочется единственного: чтоб никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бесславного судорожного боя, в нелепом одиночестве под Москвой...

Константин Воробьев силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный простор, а языку, кстати говоря, отличному, богатейшему оттенками и красками русскому языку, — полное дыхание, как на ветру, напоенному запахами родной ему курской земли, русских полей и садов.

И тогда огонь, зажженный им, горит во всю мочь, яростно и ярко».

Воспоминания Виктора Астафьева о Константине Воробьеве и связанном с ним нелегком процессе становления новой военной прозы содержатся в его статье «И все цветы живые», написанной в 1983 году. Приведу некоторые выдержки из нее:

«Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и неширокое, но стойкое, приобрело уже

заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе „противника“. Об этом непростом и нелегком становлении тогдашней молодой литературы даже нынешняя, вроде бы все знающая критика помалкивает, а стоило бы ей вместо того, чтобы перемалывать молотое, хвалить хвалимое, поинтересоваться архивами хотя бы того же Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий — удивительные бы документы они для себя открыли!

Но чем периферийщиков больше игнорировали, оттирали и унижали, тем они жадней и привязчивей следили друг за другом и, прежде чем пожать руку собрата по войне, зачастую уже досконально знали его творчество, вступали в переписку, поддерживали, как могли, иногда и печатно. Но и требовали друг от друга будь здоров...»

Непосредственно о Воробьеве:

«Есть писатели, напоминающие мне старательного и умного пахаря, который встает до зари и без шума, гама, показной активности... делает свою трудную работу...

Но... и поныне случается, что судьба такого вот скромного труженика... в литературе проходит незамеченной... Укорный пример... — судьба писателя Константина Воробьева... Упомянешь его на встрече, назовешь в числе выдающихся... — недоумевают читатели,жимают плечами или изумленно спросят: „Да уж не тот ли это Воробьев, что написал ‘Убиты под Москвой’, ‘Крик’...“ — „Тот, тот!“ — скажешь, и непременно последует: „Это ж замечательные вещи!“».

«Как нуждался Константин Воробьев в участии и поддержке. Как трудно пробивался в печать. Всю жизнь

трудно, с нервотрепкой, доходя порой до отчаяния и душевной депрессии».

«Он долго и трудно шел в литературу, его рукописи громили московские рецензенты... громили беспощадно, изничтожающе... за „искажение положительного образа“, за „пацифизм“, за „дегероизацию“... В особенности досталось за „окопную правду“, за „натуралистическое“ изображение войны и за искажение „образа советского воина“...

Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне».

Стоп! Мы уже цитировали в начале этой главы что-то подобное: «Я был на совершенно другой войне...» Те же слова, те же мысли, но высказанные гораздо позднее, в собственных комментариях к роману «Прокляты и убиты». Так что идея создания произведений о «другой войне» для Астафьева, как видим, не нова. Подтверждает это и его переписка с Константином Воробьевым, которая завязалась в конце 1963 года. Прочитав в журнале «Молодая гвардия» повесть «Алексей, сын Алексея», Виктор Петрович послал автору письмо через редакцию, пометив на конверте: «Переслать лично Воробьеву Константину». В последующих письмах отражены невеселые, порой — ужасающие, подробности трагической судьбы Константина Дмитриевича — талантливого русского писателя.

12 декабря 1963 г., отправлено из Перми.

«Дорогой Константин!

(Извините, не знаю вашего отчества, а в справочник заглянуть не могу, пишу из больницы.)

Сегодня я залпом прочел вашу повесть „Алексей, сын Алексея“ — это вторая вещь, которую читал у Вас. Первую прочел „Каплю крови“ (Астафьев перепутал

авторство, повесть написана однофамильцем адресата — Евгением Воробьевым. — Ю. Р.), и надо сказать, за это время Вы так выросли, что диво дивное!

Я радовался Вашей густой добротной прозе, Вашему языку и получил истинное наслаждение от Вашей повести.

Жму Вашу руку и радуюсь Вашей удаче. Радуюсь за нашу землю, которая, несмотря ни на что, рождает и рождает хороших писателей: то Абрамова выдаст, то Солженицына, то Конецкого (я читал у него недавно рукопись новой повести — ну небо и земля по сравнению с прошлыми вещами!).

Дай Вам Бог здоровья и еще многих удач, а главное — здоровья. У меня вот неважно с ним, так я и пишу с трудом, и читаю слишком мало для пишущего человека.

Но и то карабкаюсь потихоньку и каждый раз, как прочту такую вещь, как Ваша, хочется работать лучше и больше. Спасибо и за это. Авось к осени Вы встретитесь и с моей повестью на страницах этого же или другого журнала.

А пока всего Вам наилучшего.

Вы курянин, что ли?

В Курске у меня знакомый писатель живет — Женя Носов, тоже отличный прозаик.

Жму руку еще раз.

Извините, если неразборчиво — пишу на колене.

С приветом В. Астафьев».

Ответ К. Воробьева, отправлено из Вильнюса (место жительства писателя):

«Дорогой Виктор Петрович!

Только что вернулся домой (ремонтировался в Кисловодске) и нашел ваше письмо, — прямо-таки новогодний мешок с подарками! Спасибо вам за теплое слово. Черт знает, отчего это, но мы ведь редко балуем

себя, т. е. друг друга, словом привет и одобрения. А как это нужно.

Между прочим, я не писал повести „Капля крови“. Это, очевидно, кто-то другой написал. Но, судя по тому, что она Вам не понравилась, — я не сожалею о том, что не являюсь ее автором.

К великому своему стыду должен признаться, что ничегошеньки не читал Вашего. Когда я об этом сказал Александру Евсеевичу Рекемчуку, он с великим сожалением и осуждением молча посмотрел на меня и вздохнул.

Виктор Петрович! Давайте-ка так: вскорости у меня выходит в „Сов. России“ сборник повестей и рассказов. Я его сразу же пришлю Вам, а Вы постарайтесь, пожалуйста, выслать мне что-нибудь свое. Ладно?

Потом: а почему Вы изволите хворать и лежать в больнице? Что с Вами? Сердце? Поезжайте в Кисловодск. Это же здорово — нарзанные ванны, циркулярный душ и черте что еще там, после которого вы способны лишь произносить междометия там, где до этого истерично взвизгивали в гневе иль обиде. Ничем Вас после нарзанных ванн не пронять. Никому и ничем! А писать после них хочется, так что дуйте в Кисловодск.

Итак, еще раз сердечное спасибо за человеческое слово. Крепко Вас обнимаю, желаю Вам крепости в костях и мышцах и чувства русского в сердце. Пишите и шлите творения.

15.01.64.

Ваш К. Воробьев».

Письмо Астафьева без даты:

«Дорогой Константин Дмитриевич!

Рад, что слова моего привет и радости по поводу Вашей доброй повести дошли до Вас. Я тоже знаю, как они необходимы и как поддерживают творческий тонус. К сожалению, россияне народ на ласку скупой, а

писатели охотней говорят гадости друг о друге, чем что-то доброе. Особенно заражены этим столичные витии. Не будем подражать им ни в этом, ни в чем другом, кроме, разве, пробойности. В этом, многие из них, — горазды, а наши областники в большинстве — лохи и оттого носят последние штаны и едят хлеб с квасом, в прямом и переносном смысле!

„Каплю“, действительно, написали не Вы, а Евгений Воробьев. Я, когда вернулся из больницы, — разгляделся. А „Убиты под Москвой“ и „Крик“ — писали Вы? Я о них знаю только по критике, ибо вижу, в основном, те журналы, которые выписываю. „Неву“ и „Новый мир“ — вижу от случая к случаю.

К сожалению, я не могу Вам послать своей основной книги — сборника повестей и рассказов „Звездопад“, вышедшего в „Молодой гвардии“ в 1962-м году. Нету меня этой книги. Один экземпляр остался, бо незапасливый дурак. Думал, года три книгу продавать будут, а она взяла и разошлась. Посылаю Вам книжку, собранную из рассказов, написанных на протяжении десяти лет. Не судите ее строго, там есть вещи совсем наивные. Я учился и учусь писать на таких вот малютках, набиваю руку, что называется.

Спросите в библиотеке „Звездопад“ — более или менее все лучшее, что мне удалось написать, — собрано в ней. Скоро выйдет в Перми сборник рассказов и приложением к „Огоньку“ — книжечка. Будет это в марте, и я Вам охотно перешлю их, и буду ждать Вашу книгу. Мне хочется побольше знать о Вас.

Во 2-м томе нового журнала „Наш современник“ пойдет мой военный рассказ (если Лит^[119] его не зарежет!). Это рассказ, над которым я бился несколько лет. Посмотрите его, если будет время, и черкните мне, если так же будет время, ибо вещь эта, для меня, очень важная. Я работаю над большой повестью уже

несколько лет. Она называется „Кража“ и повествует о том, как у людей, у маленьких, украли детство и научили за это кричать „Спасибо любимому...“. Так вот рассказ „Два солдата“, о котором я Вам пишу, это разведка к повести. Он тоже о человеке, у которого украли детство, а душу — не смогли.

Ну, я чего-то расписался. Хотел коротенько. Из больницы я вышел. Начинаю помаленьку работать. Тоже собрал большой сборник рассказов в „Советскую Россию“. Редактор у меня О. В. Трунова. А у Вас кто? Может, она же? Желаю Вам хорошей работы. И крепко жму руку. Жду книгу и вестей.

Ваш В. Астафьев.

Поищите в 1-м номере „Знамени“ рассказ моего друга-сибиряка В. Сапожникова „Сивка-Бурка“. Это первая его вещь в центральной печати».

Ответ Воробьева:

«Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за хорошее письмо и книгу. Прочел пока только один рассказ „Старая лошадь“. Вещь сильная, впечатляющая, — вы человек богатый и щедрый сердцем. И очень русский Вы, что в наше окаянное время — великое достояние! Мне известно, что жить и писать с этим чрезвычайно трудно, но вы ведь знаете, что иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Черт с ними, с этой бандой верхушествовавших в нашей литературе, всегда певших аллилуйю тому, кому надо было петь анафему, продававшихся оптом и в розницу за мишуру. Мы нищи хлебом, но зато „в моем сердце лежит сокровище, и ключ поручен только мне“, как сказал Блок. Это чувство радости за свою неистраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?

„Звездопад“ разыщу. Загляну и в „Знамя“ и напишу Вам о рассказе друга.

„Убиты под Москвой“ мои. И „Крик“ мой. Они входят в сборник. Я жду его денно и ночью, ибо одолели меня кредиторы, гоняются с палками уже. Я недавно написал повесть „Почем в Ракитном радости“. Это об обворованном детстве и юности чистого мальчика. Писал долго, мучительно и радостно. Журналы не взяли. Послать сейчас Вам свои книжки не могу: нету их. У меня когда-то вышли сборники рассказов „Подснежник“, „Седой тополь“ и „Гуси-лебеди“. А еще раньше в „Сов. России“ вышла моя повесть „Одним дыханием“ — вещь суетная, слабая, отвратная, ибо „хоть маленькая, да семья“...

Не знаю, как вы, а я пишу очень нудно и медленно. А тут еще чужбина, не свое, русское. Хотя леса тут — диво! И множество прекраснейших озер. О встрече в таком лесу я как-то написал рассказец. Он у меня под рукой, и я посылаю его Вам: этим хочу сказать, что мне не чужда Ваша преданность лесному бродяжничеству.

Ну, вот и отвел душу, как говорят. Давайте не терять связи. Мне кажется, что у нас есть, о чем пореветь в жилетку друг другу.

Шлю Вам искренний привет.

Ваш К. Воробьев.

28.01.64».

Астафьев — Воробьеву. 10 марта 1964 г.:

«Дорогой Константин!

Сегодня ночью я прочел твою повесть „Убиты под Москвой“. Прочел, побуждаемый руганью критиков, и надо сказать, что на сей раз критика „мал-мал ошибался, вместо ура — караул кричал“. Они тебя обвиняют в пацифизме, так вот считай, что они, хотя и по дурости, — сказали тебе комплимент. Все идет от незнания слова. Многие критики не знают русского языка (не родной он им), а уж иностранное узнать и вовсе им неохота, лень; вот они и бранятся словом

„пацифист“, а браниться им нельзя, как нельзя было браниться в свое время словом „байронист“, о чем Федор Михайлович и толковал, в свое время же, революционерствующему Плеханову, этакому молоденькому ниспровергателю строев и понятий утвердившихся. Говорят, Плеханов очень потом краснел, когда отчитал его Достоевский, а наши-то уж и не знают, что краснеть можно. В штаны накласть, если прикрикнут — это умеют, а краснеть — краски нема, всю на лозунги извели.

В общем, меня ругали тоже пацифистом, а я взнялся на трибуну и поблагодарил за это, сказав, что „ненавижу смерть в любом проявлении, отрицаю войну в любом виде, и пока живу буду на том стоять, и называйте это каким хотите словом — иностранным — пацифист, или русским — жизнелюб“. Меня называли после этого „политически недоразвитым“ и на том успокоились. То же будет и с тобой. Мне только жаль, что русаков талантливых клюют кривоклювые стервятники вроде Бровмана, и они же возносят до небес, выключают совершенно из сферы критической таких средних писателей, как Айтматов, и где-то судят о нашей литературе по таким „эталонам“, а „эталон-то“ серый, как пиджак. Я написал однажды об этом в „Лит. Газету“ и там перечислял тех, кого критика упорно „не замечает“, тратя время на Айтматова и иже с ним. „Литературка“ ответила, что да, де, бывает, но, мол, повесть „Алексей, сын Алексея“ как раз заметили и скоро дадим рецензию, а ее вот нету, и будет ли?

Был я недавно в Москве. Наслушался и наговорился. Многих писак спрашивал о тебе: „Читал?“ и почти все отвечали: „Нет!“ Вот так и живем. На нас идут сомкнутым строем, а мы, — как это у тебя в повести-то? — отвечаем „раздерганной ружейной пальбой“. Вот именно — „раздерганной!“. Разговаривал я с Михаилом Николаевичем Алексеевым — это хороший, порядочный

человек и очень русский прозаик. А ведь ты, небось, не читал его романа „Вишневый омут“? Он непременно прочтет твоего „Алексея“ и еще кое-кто прочтет, и я думаю со временем дадут по зубам Бровманам разным, а то они ведь долбят тебя, пользуются безнаказанностью. Это они любят — лежачего бить, суки.

Ну, а ты клади на это с прибором.

Пишешь ты, голова, до завидного хорошо. Пишешь профессионально и чудишь кое-где не от скудости, а от щедрости таланта. Половина (вторая) повести этой проходит, как бы в бреду. Наверное, так и надо.

Я помню польский фильм „Сегодня ночью погибнет город“. Он без начала и конца, в нем нет главного действия и главного героя, в нем много вовсе не связанных между собой эпизодов. Его снимал (в это верится) человек, который и сам погибал под бомбежкой. И иначе этот фильм не мог быть снятым. Так и у тебя, когда бьют сверху и снизу, все происходит, как во сне, как в бреду; бывало в штаны насышь и потом удивляешься, кто это тебе наделал сдуру?

И лица стерты, и события, и реальность вверх ногами, все сделано точно. Мне лишь показалась повесть недописанной, скомканной после того, как они (курсанты) расхуячили деревню, и как (потрясающий эпизод) солдат вел на штыке немца и кричал: „отдай, проститутка!“. И слова в конце повести точны, просты и потрясающи: „стерва... худая...“

Костя! Пришли скорее свою книгу повестей и рассказов, я чего-нибудь напишу о ней. Очень тебя полюбил, окаянного. И потому пишу тебе на „ты“. Чего величаться-то? Ты всего лишь на 5 лет старше меня и фронтовик тоже. Свой брат — славянин. Жаль, что ты живешь оторванно от России. У вас там побогаче, конечно, и все же неродное. У меня в Прибалтике, в Латвии, выходит книжка на латышском языке. Скоро (с

19-го марта) я буду уже в Ессентуках. Еду лечиться. Приложением к „Огоньку“ вот-вот выйдет моя книжечка, и я тебе ее пришлю. Письмо твое и рассказ „Первое письмо“ получил давно, откуда и узнал твою биографию.

Ну, будь здоров, дорогой!

Крепко обнимаю — Виктор».

Ответ Воробьева:

«Дорогой мой Виктор!

Это письмо не застанет, наверно, тебя, но не написать его было нельзя — Господи, как хорошо, что на земле моей сохранились люди, как ты, как Твардовский, Пастернак, Юрка Нагибин, Виктор Некрасов — и имя нам — легион! Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять? Отчего мы, несмотря на трехсотлетнее ярмо татар, розги Салтычихи, лагеря Берии и Сталина — сохранили живой, честный ум и веселый смех?

Нет, живы мы — столбовые русские смерды и дворяне, и никому, никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый — гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить.

Я крепко, по-братски, обнимаю тебя, радуюсь тому, что нашел тебя, верю в то, что все мы — в рассеянии сущие — пойдем, наконец, что друг без друга, без локтя и слова — нельзя.

Твой К. Воробьев.

15.03.64».

Воробьев — Астафьеву:

«Дорогой Виктор, привет тебе и целование!

Надеюсь, ты жив-здоров и Ессентуки пошли тебе на пользу телесную.

Вот и дождался я своих „Аистов“. Посылаю тебе их. Жаль, что „Убиты под Москвой“ ты читал в журнале, там до черта было купюр, в сборнике же это полнее. Я ведь писал их как продолжение „Алексея“.

Хотелось бы услышать твое мнение о „Ракитном“, „Крике“, „Ермаке“, „Синели“.

На днях в киоске купил твоего „Розового коня“. Тебе не кажется, что мы с тобой одним миром мазаны? Нет, не только по судьбе-кручине, а по восприятию сердцем мира Божьего? Вот то-то и оно-то!

Слушай-ка, у меня есть два рассказа о войне — „пронзительные“, по печатному листу. Что надо для того, чтобы устроить их в библиотечку „Огонька“? Разъясни. В этих делах я олух и дурак.

Мне что-то сейчас не работается: наверно, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов за своих „Аистов“. Сволочи, вышибают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого! Казалось бы, ну а вот поди ж ты! Это, наверно, оттого, что нету пятачка, аренки, где я мог бы стать в позицию с кулаками...

Как твои творческие дела? Что ты пишешь сейчас? Как твои материальные дела?

Не молчи. Пиши мне. Не забывай о в рассеянии сущих.

Крепко обнимаю тебя.

Твой К. Воробьев.

22.05.64».

Астафьев — из Перми, 3 ноября 1964 г.:

«Дорогой Костя!

Так уж получилось, что я тебе давно не писал. Хотелось книгу твою дочитать и куда-нибудь написать о ней. Но на мое предложение написать об „Аистах“ „Лит. Россия“ не откликнулась. Не до нас ей. И вот я маленько

черкнул в нашу областную, молодежную газету. Надо бы написать побольше, поёмче, но куда?

Сообщаю попутно, что в № 12 журнала „Урал“ на твою книгу идет большая, добрая рецензия. Кроме того, все мои друзья-уральцы знакомы или знакомятся с твоей книгой по моему совету, и почти все они рады встрече с твоей книгой, и есть такие в письмах лестные выражения о тебе, что ну да пойди! Когда-нибудь их я тебе покажу. Думаю, что на съезде писателей мы сподобимся встретиться и познакомиться.

Я только что закончил повесть. Устал. Но отдыхать некогда. Было плохо с финансами — закабалился и получил аванс под киносценарий для Свердловской киностудии. Срок — 15 декабря.

Что ты нового пишешь?

А насчет „Радостей в Ракитном“ Нагибин был прав. Поднаплел ты там, брат. Это, пожалуй, самая твоя значительная, и, как ни странно, самая сумбурная и уязвимая вещь. В ней хорошее с плохим соседствуют, как каша с маслом, вперемежку.

С праздником тебя и семью!

Жму руку. Виктор».

Воробьев — Астафьеву:

«Виктор, привет, дорогой!

Спасибо за теплое слово. Кстати, а где Нагибин писал обо мне? Не читал. А вообще-то — пошли они, эти критики-хулители, на хрен. Но Ю. Нагибин — человек чертовски одаренный и умный. Этот парень мне нравится. Он может. Ему бы только поскорее постареть. Уж очень любит нравиться женщинам, а это гибель!

Рад за тебя. Значит, своротил, говоришь, повесть? Вот же счастливец! А я сижу в деревне (снял баньку) и пишу свою главную книгу. Мы ведь всегда пишем главную, а она, как правило, не получается, Сажу-сажу,

а потом как вдарюсь куда-либо на озеро и как нарыбачусь до одури, и опять в баню.

Я не понял тебя насчет „Ракитного“. Чего ты брюзжишь, она же честная штука.

Витек, осточертела чужбина! Хочу в Русь, криком кричу — хочу домой! Рязанцы (там Н. Шундик, Солженицын, Абрамов и еще двое) советуют к ним, а квартиры нету. Буду пробовать обменять.

Между прочим, ведь меня, наверно, не пошлют литовцы на съезд. Может, надо через журнал или издательство какое-нибудь? Черте что, брат. Нет, пора удирать, пора. О чем твоя повесть? Война? Мир? Ты хороший писатель. У тебя несметная куча дара божьего, и сердце у тебя большое, зрячее и доброе. Только ты (сужу по рассказам „След человека“) иногда бываешь многословен, будто не доверяешь читателю, рассусоливаешь, не оставляешь места для подтекстового чтения. Это у тебя от обилия чувства. Ты как жеребенок на весеннем ромашковом лугу — вырвался и заиграл. Скупее давай, скупее. Но я ведь не читал твоих больших вещей — здесь нету их. Может, прислал бы, если есть? А то нехорошо не знать друг друга. Да и подработать надо на тебе. Может, „Молодая гвардия“ захочет рецензию. Она поддерживает мне штаны тем, что изредка присылает рукописи читать. Дерьмо несусветное, приходится ругаться и поучать, а это противно.

Пиши, не молчи годами.

Обнимаю. К. Воробьев.

7. XI.64».

От Астафьева на почтовой карточке, отправлена 15 апреля 1965 г.:

«Дорогой мой Костя!

С весной Победы!

Живи долго, солдат!

Пиши много и будь также умен и тверд пером, как начал. Да не соблазнит тебя — русского бойца — работа на литературной кухне, поближе к каше, да будешь ты всегда в бою и на передовой! И я, кривой, не строевой, тоже буду двигаться за тобою на позиции!

Обнимаю — Виктор».

Воробьев — Астафьеву:

«Вить, здорово!

Всего на два дня позже тебя я приехал в Москву, — ребята из „Сов. России“ сказали, что ты был. Жалко, что не встретились! Видался с Чивилихиным, он шел с Сякиным водку пить, звали меня, а я чуть живой был от канунного заседания и не мог пойти.

Что твой геморрой? Цветет или пропал? Выреж его к чертям, ты ж молодой и талантливый. Чивилихин рассказал мне, как он назвал твою прозу чистой слезой, а я вдруг взял и пустил сам слезу. Ну, посуди сам, к чему тебе геморрой? Пускай он втачивается Бабаевскому!

Друг мой, брат мой, надо сдавать командировку, а она не отмечена. Можешь это? Попытайся. Но в любом случае верни бумажку, а то я пропаду.

Написал повесть, отдал в „Н. мир“. Советуют кое-что убрать. Очень хочу, чтобы ты прочитал. Она всего 160 стр. А писал около двух лет. И денег нету.

Не молчи подолгу.

Обнимаю и целую. К. Воробьев.

10.07.65».

От Астафьева на почтовой карточке, без даты:

«Дорогой Костя!

С праздником!

Был в твоих краях курских. Город очень хороший, хотя и провинциально-глухой, но местность вокруг —

сила! Переезжай-ка ты на Родину. Там Женька Носов живет. Хороший человек и писатель. Будете друзьями. Твой — Виктор».

Воробьев — Астафьеву:

«Вить, здравствуй!

Слушай-ка, ты, песенная душа! Ты не мог, черт тебя заласкай, писать как-нибудь „побрежнее“? Два часа надо, чтобы расшифровать твою открытку! Как присной памяти академик Иван Кобков пишешь. А как же тебя печатают машинистки, а?

Я тоже тебя поздравляю с осенним праздником. Желаю тебе удачной книги, килограмм денег и всего, что нам всем нужно.

Что ты делал в моих Курсках? А Носов кто? Я не читал его. Ох, хочу на родину! Я ведь чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда — купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200–300. Иначе ни хрена не получается. Я уже прощупывал почву насчет Курска. Но мне сказали, что тамошний секретарь обкома терпеть не может писателей, и рассчитывать на жилье там нельзя.

Читал объяву на твою повесть в „Новом мире“. Я тоже отдал туда первую часть романа. Вроде бы взяли, т. е. заключили договор и прислали авансец, но сказали, что штука трудная и надо еще „делать“. А я и так „делал“ ее два года!

Вот такие они дела, душа моя!

Шлю тебе братский привет, обнимаю и целую. Поклон семейству.

Твой К. Воробьев.

7. XI.65».

Астафьев — Воробьеву, без даты:

«Дорогой мой Костиньтин!

Я сижу в деревне и правлю повесть для „Нового мира“, хотя совершенно уверен, что она там не пройдет сейчас. „В принципе“ мне сказали „за“, но насчет „проходимости“ (этот термин я услышал в этом журнале!) они очень беспокоятся. И вообще у меня впечатление такое, что они так приуныли, так затырканы, что хотели бы уж „исправиться“, потрафить, но кому и как, не знают только.

На повесть я делаю последний наскок, а потом мне предстоит работать в редакции самой. И там уж я ее брошу в стол или чего с ней будет, только бы мне избавиться от нее. Связан по рукам и ногам. Начался пятый год, как я мучаюсь с нею.

Там, в деревне моей, не токмо почты, но и электричества-то нет, но ты не беспокойся. Жена завтра едет в город и отметит в Союзе твою командировку. Не такое уж это сложное дело.

Повесть свою ты мог мне посылать безо всякого спросу. Знаешь, что я всегда прочту тебя больше, чем с радостью. И вообще в отношениях со мной проявляй как можно меньше церемонности. Я считаю, что мы люди свои. В доказательство этого хочу вот что тебе предложить, если соскучился по настоящей России, и — по мне тоже! Осенью (в конце сентября, начате октября) приезжай ко мне. Я заберу тебя в деревню, и ты будешь спать на русской печке, ходить по русским лесам и полям со мною, слушать мои русские матюки, стрелять из ружья и дышать белым светом. Возможно, что к этой поре подъедет твой земляк и очень хороший парень (что если все курские хорошие!) Женька Носов. Тогда уж натреплемся от души.

Ты же писал роман? Как оказалась повесть? Неужто сразу две вещи крупные ведешь? Башня ведь лопнет!

Написал ты до хрена. Денег у тебя скоро будет достаточно, чтоб купить самолетный билет. До нас он

стоит тридцать с чем-то рублей. Здесь я тебя прокормлю картошкой, дичью и рыбой. Аминь!

Обнимаю тебя крепко и желаю всего, чего хочешь. Привет твоим домашним. Виктор».

Воробьев — Астафьеву:

«Привет тебе, дружище!

Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то, чтобы не понимал сути этой брани, не ведал истины за брехней, но сердце-то незащищенное! Вот дело какое.

Уже вот полгода, как я служу в газете. За это время не написал ни строчки. Да и не берут меня, не хотят. Вертают без отписок даже, просто с обратной почтой. Это раздражает, зовет к отпору, ожесточает душу, а с таким настроением писать трудно. Плохо то, что травят меня бровманы да гринберги разные — и замать. Всю жизнь они!

Но все [же] караван должен идти своей дорогой. У меня второй месяц лежит в больнице жена, болен сын, а сам я тоже дошел до ручки. Но зреет замысел новой повести, и я напишу ее, если даже весь мир заселят одни черти.

Как ты? Прислал бы „Сиб. Огни“ со своей вещью.

Желаю тебе в новом году мира, здоровья и благополучия.

Не забывай.

Обнимаю,

твой К. Воробьев.

28.02.66».

Астафьев — Воробьеву, письмо на открытке, послано 28 апреля 1966 г.:

«Дорогой Костенька!

С праздником весны и Победы тебя!

Будь здоров и пусть тебе хорошо пишется, да минет тебя безденежье!

Ты мечтал перебраться в Россию?

Если захочешь в Пермь, милости просим. Издательство есть, но ему нечего печатать — недостает писателей. Везде — лишка, а у нас — недостает. Квартину можно выхлопотать, если захочешь. Но сам город после Вильнюса тебе покажется городком Окуровым. Если надумаешь в Россию — приезжай, посмотри — я с конца июля буду дома все время.

Привет семейству!

Твой Виктор».

Ответ Воробьева:

«Витек, привет тебе и всяческий почет!

Спасибо, брат мой, за праздничную открытку с хорошими словесами. Она как раз пришлась вовремя: я просматривал „Огонек“, а там тиснут отрывок из будущего романа Закруткина — ты, может, помнишь его на съезде российских словесников? Он, бедолага, явился туда в шинели, полковничьей папаше, в гимнастерке, галифе и сапогах, так сказать, классический костюм времен военного коммунизма, одеяние сталинской страды. Так вот и отрывок из его стряпни под стать его одежде: не от ума. Читать это больно и мерзопакостно, ибо там какое-то бездумное глумление над российской бедой и болью.

А впрочем, пошел он к такой матери, холодный дурак! Эпигон прискорбных душой.

Как твои дела? Слыхал, будто ты забрал из „Нового мира“ свою повесть? У меня там тоже лежит повесть. Вот уже с год. И аванс давно прожит, а рукопись лежит и лежит. А ты говоришь — купаться! Вот оттого оно и безденежье и безработица за столом, ибо выпадает ручка и сохнут и вянут чернила. О чем твоя „Кража“? Хотелось бы почитать. И хотелось, что бы ты тоже прочел мою рукопись.

Насчет переезда мне обещал помочь сам, вишь, Леонид Сергеевич Соболев. Сказал, чтобы я наметил пункт. Может, ахнуть в Воронеж, а? Ты не знаешь, что там и кто там?

Привет семье.

Обнимаю. Твой К. Воробьев.

6.5.66».

Астафьев — Воробьеву. Письмо отправлено 12 июня 1966 г.:

«Дорогой Костя!

„Жизнь наша коротка и обосрана, как детская рубашка“, — слова это не мои, а одного радиста из нашего взвода и оттого я их закавычил. Слова эти классические и бессмертные! Так и эта короткая жизнь проходит в какой-то суете — был в Новосибирске, готовил „Кражу“ для 8–9 номеров „Сиб. Огней“. Работа была адская и еще цензура впереди. Ох, б..., и время нам выпало жить и писать! Только мы и можем — ишпанцы давно бы удавились или на быка бросились, аглицкие — потопились бы все в Темзе. А мы дюжим! Во народ!

После Новосибирска был в Кемерово, на семинаре. Тоже работа! Больше не поеду ни на какие семинары.

Там вспоминали тебя с одной нашей общей знакомой. Наверное, старик, твоей повести еще долго лежать в „Н. мире“. Обстановка там тяжелая. Подумай, как тебе быть. Поговори с ними. Они — мужики хорошие, даже слишком хорошие для нашего времени, и от того их анафеме предают.

Как, если?! Выйдет журнал с повестью, я тебе вышлю. Почтой.

А ты мне, если есть экземпляр, — пришли рукопись своей повести. В конце этого месяца я поеду в Сибирь, на родину — отдохнуть. Мне выплатили в журнале 60

процентов, и я сейчас при деньгах. Устал страшно — голова гудит. Надо отдохнуть, а то хватит кондрашка.

Закруткин был говно и остался говном — не стоит расстраиваться. Я уж давно эту хевру не читаю. Они все делают для того, чтобы упрятать окопную правду и утвердить правду маршальскую о войне. Слишком страшна наша, солдатская правда, и ее боятся обнаружить.

Гляди, как на Василя Быкова навалились, а ведь он только чуть плащ-палатку приподнял, чуть выше колени, и уже завопили, заорали: „Ату его!!“ Но мы перегрызем это железо. Попомни мое слово — перегрызем. И не такое перегрызали. Правду спрятать не удастся, — как бы этого не желалось перекормленным славою и почестями, беспардонным и в грош человека не ставящим, — генералам.

Насчет Воронежа. Там есть Юра Гончаров — настоящий писатель, остро мыслящий человек, написавший о войне очень сильную и честную повесть „Неудача“. Хорош там зав. отделом прозы в издательстве. Настоящий мужик. Есть два очень сильных поэта — Прасолов и Поляков, и больше я, старичок, ничего не знаю. Никогда в Воронеже не бывал. Сам я тоже подумываю умотать на родину, в Сибирь. Если не подъедут в Пермь интересные, настоящие писатели, я уеду из этого тихого, цивелого болота, где много членов Союза и нет писателей, с которыми можно было бы словом перемолвиться. Устроен я здесь хорошо. У меня отличная изба в деревне, где мне здорово работается... Издательству нашему нечего печатать. Здесь бы ты всегда был с деньгами, но всем не выберешь — одно хорошо, другое — плохо.

Обнимаю тебя, брат. Пиши.

Твой Виктор».

Воробьев — Астафьеву, год не указан:

«Вить, здравствуй!

Да, конечно: выдюжим, но дело в том, что иссыхает душа, выпадает из рук карандаш, вянут замыслы. И — жрать нечего. Я прямо-таки обнищал. Нужно бы на службы, но куда? В газету — грех, я там был. Газета — это вроде дикунов в банке. Знаешь, что такое дикуны? Ну, черви такие, опарыши. Их пользуют на рыбалке, будь они прокляты.

Посылаю верстку повести. Это еще, как говорится, курочка в гнезде. Цензура еще не нюхала; надежд, что она выйдет, — очень мало.

А надо бы выдюжить! Ох, как надо! Но вот я иногда иду по улице и думаю: не дай Бог упасть и окачуриться, ибо сраму не оберешься (мертвый-то!). На мне ветхие кальсоны какого-то блядски-розового цвета, а вместо носков — женские чулки: я постепенно отрываю то, что протирается в ботинке, и все опускаю и опускаю их ниже, с колен. А ты говоришь — купаться!

Прочти „Момича“ и верни.

Обнимаю крепко,

твой К. Воробьев.

18/6.

Р. С. Я посылал эту верстку в „Неву“, думал, что это их — верстка ведь! — не устроит, но пакет вернулся на четвертый день. На полях „Нева“ наделала галочек — дескать, знай наших.

Вот же каналы!»

Астафьев — Воробьеву (без даты):

«Костя!

Получил я твою верстку в день отъезда в Сибирь. Читал дорогой и вот пишу из Новосибирска. Оставался здесь из-за „Кражи“, которая, если цензура не зарежет, пойдет в 8–9 номерах „Сиб. Огней“. Долизывал верстку, а она — меня.

Ночью еду дальше, на родину, в Красноярск. Повесть твоя мне понравилась, как и большинство из того, что ты пишешь. Но... (Ох уж эти но!) мне сдается, что тема эта касается тобою в „Почем радости...“ и продолжается в „Алексее...“, там решалась сильнее и объемней. Что-то чуть-чуть затупилось. Наверное, сказалась твоя нужда и душевная угнетенность. Меньше стало озорства твоего, смаку и воздуха. Усталость какая-то на прозе лежит. Хотя тетка твоя изумительна, очень сильно сделана, и Момич силен, но приглушен в конце.

Я тебя понимаю, что иначе и нельзя было, но и ты меня, читателя, да еще влюбленного в тебя, тоже пойми.

Не ходи ты в бабьих чулках! Не надо! Переезжай в Россию, в Пермь, наконец! И будешь сыт и пьян, и так далее. Подумай!

Спешу на вокзал, и чтоб не задерживать верстку, закругляюсь. Обнимаю тебя. Держись!

Твой Виктор.

А человек, который делал пометки на верстке, — мудак, коли он не знает слов „рясно“, „омшаник“ и т. д.».

Письмо Астафьева на поздравительной открытке. Отправлено 23 декабря 1966 г.:

«Дорогой Костя!

Шлю тебе сердечные поздравления с Новым годом, желаю, чтоб сердце твое в новом году подвергалось меньшим нагрузкам и надсадам, чем в прошедшем.

Слышал, что дела твои очень плохи, и в „России“ и в „Неве“. Но что делать, дорогой? Все честные писатели живут очень тяжело и хотя утешения эти — ноль, и ими никого не утешить, все же мне хотелось бы приободрить тебя. Знаю ведь, все равно не сможешь иначе писать, такая была жизнь твоя и такую ты ее

знаешь и такую вынес. Оставаться верным писателем жизненной правде — это нелегкая доля, и она выпала тебе. В литературе всегда были красавчики и бедолаги, но потом красавчиков смешивали с говном, и от них, кроме вони, ничего не оставалось, а страдальцы выживали и ими гордились. Думаю, тоже будет и с тобою. Вот только как тебе помочь — не знаю. Может, ты все-таки переедешь в Пермь? У тебя в Вильнюсе квартира — Пермь на Вильнюс всегда охотно сменяют обыватели, жаждущие дохнуть Европой. Тут тебя будут издавать и жить тебе легче будет. Подумай, старина.

Крепко тебя обнимаю и желаю не падать духом насколько это возможно.

Всегда твой — В. Астафьев».

Астафьев — Воробьеву, написано вероятнее всего в 1967 году:

«Дорогой Костя!

Сидел я тут как заклятый и трудился, а для чего и сам не знаю? Наверное, сделался уже графоманом и не могу ни дня прожить без дела. Сразу чувствую какую-то пустоту и раздражительность нападает, если бездельничаю. Готовил „Кражу“ и новую повестушку для отдельного издания. Торопили в издательстве „Молодая гвардия“, а как послал рукопись, так примолкли. Видимо, ждать будут, когда пройдет юбилей. Сейчас все ждут, не дождутся, чтоб он скорее проходил. А пока... режут и режут все подряд. Даже Бабаевского роман под запал зарезали!

Журналов с „Кражей“ у меня нету, а то бы выслал. Ну, авось книжка когда-нибудь, может, появится. Книжку уж вышлю. Там, может, пополнее и почище напечатают.

Все ребята, с кем переписываюсь, повесили носы. У всех на душе худо. Все уж отчаялись и ни на что больше не надеются.

А твое письмо меня повергло в полную меланхолию. Из всех нас твоя судьба получилась самая тяжелая и не видать тебе скрёсу, как говорят у нас в Сибири. Вчера прочел в „России“ о том, как обрадовались и гордятся людишки, что твою книгу вытряхнули, проявив „бдительность“. Вот ведь чертовщина какая! Наряду с твоими выходили книжки не менее правдивые и жестокие, а попал на мушку ты и теперь долго за тобой будут следить, пристально и неусыпно.

Очень сочувствую я тебе. Знаю, каково-то тебе сейчас работать в газетке. Мне иногда снится страшный сон, как я служу в солдатах или работаю в газете. В холодном поту просыпаюсь. А как твои домашние? Поправились хоть?

Ты, Костя, главное — пиши. Это единственный совет, который я могу тебе дать. Все же писанина приносит какую-то разрядку и хотя бы душевное, пусть и недолгое, удовлетворение. А так, что тебе говорить. Не маленький — знаешь, что Платонов с голоду подох, что Булгаков втуне пребывал и скончался, а сейчас и того, и другого в классики произвели. Утешение, конечно, слабое, но все же...

...Я надеюсь все же на лучшую долю. Думаю, со временем найдется тебе место. Главное, что тебя любят и знают порядочные писатели и многие ребята наши. Я вот поговорю с моим редактором в „Совписе“ относительно тебя. Парень он дерзкий и нашего брата привечает, аж из кожи лезет. И многое уже сделал для периферийщиков. Поеду вот через несколько дней в Москву и поговорю с ним. А потом напишу тебе, что и как.

Не падай, брат, духом. Наше дело правое...

Обнимаю тебя, дорогой Костя! Держись, старина! Такая наша доля, такой наш век. Сами его придумали, сами создали, сами и хлебаем, расхлебываемся.

Твоим домашним низкие поклоны.

Твой Виктор.
7 февраля».

Астафьев — на почтовой карточке. Отправлено из
Перми 23 декабря 1967 г.:

«Дорогой Костя!

Поздравляю тебя с Новым годом! От всего сердца
желаю, чтоб он у тебя полегче предыдущего был.
Свяжись с издательством „Советский писатель“, с
редактором Петелиным Виктором Васильевичем. Я
говорил ему о тебе. Он хотел бы издать твою книгу.

Твой — Виктор».

Ответное поздравление К. Воробьева:

«Дружище, привет тебе и целование.

Поздравляю тебя и семью твою с Новым годом. Дай
Бог тебе покоя в сердце и некоей тяжести в кармане. А
вот насчет „Совписа“ — это все пустые разговоры: туда
меня не пускают. И хрен с ними!

Обнимаю.

Твой К. Воробьев».

Воробьев — Астафьеву:

«Милый мой человечек, здравствуй!

Принимался несколько раз писать тебе, но выходило
так непотребно мрачно, тоскливо и горько, что... надо
было рвать письма: я не люблю нытиков и неудачников.

Как-то мне написал открытку Уваров. По-моему, из
„Знамени“. Подвигнутый тобой на милосердие, он
вызывался помочь мне, имея в виду, очевидно,
протолкнуть что-нибудь в журнал. Я поблагодарил его.
Но ведь... „Знамя“ меня не возьмет, что ж тут пытаться.
А дня три тому назад звонил из „Н. современника“ кто-
то из твоих друзей. Но ты, наверное, не знаешь, что
Б. Зубавин терпеть не может того, что я пишу. У меня

есть его злобные рецензии (закрытые). А там ведь и Бровман!

Вот недавно „Новый мир“ вернул мне (хорошо вернул) рассказ. В нем 40 страниц. Отдал его в местный наш тут альманах. Он выходит один раз в год, тираж — 2 тысячи экз. Оседает тут, в Литве. Вот и все. Но все же продолжаю писать. И все трудней и трудней.

Ну-с. Есть у меня и просветы на горизонте: ребята из Пскова обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше?

Душевное спасибо тебе за память и доброту.

Крепко обнимаю, твой К. Воробьев.

21.09.68».

Астафьев — Воробьеву. Письмо отправлено из Перми 30 сентября 1968 г.:

«Дорогой Костинтин!

Очень я рад твоему письму. Сам собирался тебе писать, да все недосуг, ездил в Киев на встречу ветеранов нашей дивизии; в Курск заезжал, а потом к себе в деревню забрался, и дела скопившиеся разгребал, да на рыбалку бегал.

Шибко хорошо, родной, что ты во Псков перебираешься, пора уж тебе в России быть и русским воздухом дышать, а то так и засохнуть можно на чужбине.

А в „Современнике“ перемены! И большие. Оттого тебя и беспокоили — это я там слово встроил. Дело в том, что вместо Зубавина там теперь Серега Викулов, мой сокурсник, и вся редколлегия новая — и я, и Женя Носов в числе оной. Бровман борется, чтобы остаться, но половина новых членов [редколлегии] заявила, что если Бровман будет — они не будут. На Серегу жмут из Союза — не знаю, кто кого поборет.

Журнал ориентирован на периферийных писателей — от столицы уж, видно, ничего путного не ждут. Сергей испрашивал, кого я знаю и кому писать. Я и сказал про тебя, и ты шли не медля чего-нибудь хорошее, чтобы журнал поддержать и сделаться его постоянным автором. А когда будешь в Москве, непременно зайти к Викулову, познакомиться. Он — мужик вологодский, и наш брат — ему родной брат.

Скажу я тебе, Костя, что горько за тебя переживаю. Такой у тебя талантище, что всем нам в углу бы сидеть и не мыркать, а вот тебя зажимают, а меня хвалят, что уж и неловко мне, право. И когда это на святой Руси кончится?!

Ну, да ладно об этом. Поговорить бы надо. Не будешь ли в ноябре в столице-то? Я буду весь ноябрь жить в Переделкино — редактировать книгу буду, так ты, если нагрянешь, через издательство „Советская Россия“ узнаешь, как меня сыскать.

Скоро тебе книжку пришлю — „Последний поклон“ — самую мою любимую и единственную, которой мне можно не стыдиться. После нее вот ничего написать ладом не могу. Издержался, видимо.

Ну, Костя, обнимаю тебя. Радуюсь, что ты не скис и не обозлился. Живучи Русичи! На том и стоим!

Всегда с тобой — Виктор.

28 сентября [1968 г.]».

Астафьев — Воробьеву из Вологды, 25 апреля 1969 г.:

«Дорогой Костя!

Не знаю, переехал ли ты во Псков? А я вот взял и переехал в Вологду, поближе к России и к русским, бо Урал — это не пойми поймешь что такое, и азиатчина есть, и от Европы немножко, в основном — парша европейская, а также много сажи, дыма, радиации и повсеместного и повсеминутного хамства и варварства.

Все это мне за 24 года так надоело, что я не выдержал, да и голова моя контуженная стала так болеть, что я уж пробовал среди улицы падать, чем доставлял большое удовольствие многочисленным „доброжелателям“. Они, показывая пальцем, выступали от имени народа и последних решений: „вот до чего доводят деньги и слава, пьянствует так, что земля наша советская не держит!..“

Словом, в феврале умотал я. Ребята вологодские встретили меня хорошо, дали точно такую квартиру, как в Перми, — малосортирную и малоудобную, но в тихом районе. А так как семья моя поредела, а и лучше, в смысле покоя, живется. Народишко здесь добродушный, приветливый и простой. Русский народишко-то, еще сохранившийся в этих болотах.

Писаки — тоже хорошие ребята.

Мне в Перми успели поручить подготовить сборник рассказов к 25-летию Победы. Ты вот что — подумай, выбери из своего опубликованного что-нибудь, о войне, чего считаешь посильнее, и пришли мне в 2-х экземплярах, а я вставлю в сборник, можа и пройдет. Только не тяни резину, и присылай скорее.

Пишу тебе на Вильнюс, если тебя там уже нет — перешлют письмо-то, надеюсь. И поздравляю с праздником весны. Желаю, чтобы она мирной была и доброй, да еще здоровья желаю.

Привет всем твоим от моих и от меня.

Обнимаю тебя — Виктор.

25 апреля».

Воробьев — Астафьеву:

«Милый Виктор!

В Псков еще не перебрался, дело затягивается до осени. Смутно представляю себе, что такое Вологда. Впрочем, дело ведь в нас самих, а место, как говорят,

красится человеком (хотя человек пошел, прямо скажем, весьма говенный).

Посылаю тебе несколько военных и полувоенных рассказов. Может, что-нибудь отберешь.

А на дворе, брат, весна. Кричат грачи, совокупляются воробьи и собаки, пробивается трава, — все как тыщу лет назад, и ничему нет дела ни до цензуры, ни вообще до всего того, что страшно осточертело, измучило... Спасибо за письмо. Не забывай. Крепко обнимаю тебя, твой К. Воробьев.

27. X.69».

Письмо Астафьева на открытке. Вологда, 20 декабря 1969 г.:

«Дорогой Костя!

Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе, всем твоим близким, здоровья и мирной жизни. Рассказ твой прошел в сборник и даже дал название сборнику — „Дорога в отчий дом“ и, ежели Лит не залитит, к весне сборник будет у тебя. Как живешь? Переехал или нет во Псков? Пиши хоть изредка, зараза, — ленивый ты, как все курские мужики.

Обнимаю, твой — Виктор».

Воробьев — Астафьеву:

«Дорогой Виктор!

Спасибо за открытку, за рассказ. Может, немного денег пришлют? Живу в Вильнюсе, в Пскове не дали квартиру. Живу хреново: меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать.

Юра Гончаров пытался помочь мне издаться в Воронеже, но из этого ничего не получилось. Говорят, что надо писать так, как, скажем, Кочетов. Или Бабаевский. Но это же надо уметь так писать!

Как твои дела? Все в порядке? Я что-то расхворался, расклеился.

Ну, до чего же х... жить!

В Чехословакии вышла книжка моих повестей на днях, но денег-то не получишь, вот дело-то какое.

Ну, будь жив и здоров. Желаю тебе и всем твоим домашним светлого и доброго нового года.

Обнимаю, твой К. Воробьев.

26.12.69».

Астафьев из Вологды, 19 апреля 1970 г.:

«Дорогой Костя!

С праздником тебя, с весной!

Будь здоров и пусть тебе полегче живется. Рассказ твой и многих других из сборника выбросили, зато название сборника осталось твое. Вот тебе и анекдот свежий, а ты горюешь. Я долго болел и лишь сейчас вот пришел в себя.

Твой В. Астафьев».

Воробьев — Астафьеву:

«Дорогой Виктор, привет тебе, привет!

Как поживаешь? Почто примолк? Не откажи, дружище, в совете-разъяснении такого анекдота: я попал в „Современник“ нечаянно, по просьбе В. Чалмаева дать журналу что-нибудь, поскольку оттуда был выведен Бровман и т. д. Я тогда дал „Генку“. В ископленном виде, но с моего согласия, он был тиснут. После я послал рассказ „Чертов палец“. Рукопись завернули с яростными следами пометок-негодований на полях, вытертых, впрочем, резинкой. На том мы и расстались. Но позже А. Богданов написал мне письмо, в котором советовал не обобщать, не прерывать и т. п. Я послал рассказ „Уха без соли“, а в будущем обещал дать повесть, которую кончаю. Кажется, „Уха“ тиснута в ноябрьском номере. Соли там не осталось, но опять-таки с моего согласия. И вот я получаю перевод на 127 рублей 40 копеек. Получив такую кислую дулю, я

подумал: не является ли это дипломатичным указанием мне на дверь? Дескать, вышла ошибка со мной.

Может, тебе как члену редколлегии, известно что-нибудь на этот счет? Я, конечно, повесть не пошлю, но хотелось бы знать истину. Ответь, пожалуйста, что значит этот веселый юмор с сорока копейками? Это, разумеется, останется строго между нами.

Обнимаю тебя, твой К. Воробьев.

16.11.70.

Р. С. Мне, конечно, следовало бы отослать эти несчастные 127 рублей назад, но это, наверное, будет выглядеть чересчур „капризно“ и мелочно. А очень хочется.

К. В».

Астафьев — Воробьеву из Вологды, письмо отправлено 23 ноября 1970 г.:

«Дорогой Костя!

Твой земляк и мой друг — Женя Носов называет наш журнал „Соврём“, но беда его не только в этом, а в дремучей провинциальности, которой не ищет ни его редактор, ни помощники, подобранные под стать себе редактором (Чалмаева уже ушли, и он помог себе в этом). Так вот и с авторами журнал наш обращается провинциально, оплачивая их по метражу — у меня метраж 8,5 страницы — мне заплатили 174 рубля, у тебя метраж — 4,5 страницы — тебе 127 рублей.

И никто тебя не хотел обидеть! Ни Боже мой! Это норма поведения, норма отношений с автором. Я, если буду здоров, поеду 1-го декабря на редколлегию и выдержки из твоего письма там зачитаю, но боюсь, что ни меня, ни тебя „не поймут-с“.

Много чего мы пытались сделать и повернуть в этом журнале, да косность и тупость сильнее нас. Наверное, скоро мы с Женькой уйдем из этого журнала. Ну его, к х...! Только кровь портить, да отношения с друзьями.

Сколько было дебатов и споров вокруг твоего рассказа о безномом блюстителе нравственности и художнике, встретившем его в подсолнухах. Рассказ оказался так же хорош, как тот колхоз, о котором грузины сказали, что „колхоз такой хороший, а мы — грузины — такие плохие, что не подходим друг другу“.

Вот и не подошли друг другу „Соврём“ и твой рассказ и еще много других вещей, побывавших в портфеле журнала.

Я живу ничего. Все лето проездил, а сейчас болею вместо того, чтобы работать. Занимаюсь всякой херней. Начал было роман — не идет, отдергивают и сил нету. Что-то барахлить начало и сердце — единственный мой здоровый струмент.

Но по мелочи я все же пишу кой чего, чтоб не терять форму. Курить вот бросил из-за хвори, и сразу пуза поползла, как на опаре. Хрущева Микиту, автора мемуаров, уж обогнал, пожалуй, по пузе.

В „Роман-газете“ вроде бы дают мою повесть „Последний Поклон“. Если Бог не выдаст, а свинья какая-нибудь не съест, в начале года выйдет.

Ну, бывай! Не поступай, как я, — мне однажды плохо рассчитали за рассказ в „Лит. России“, — так я с расстройства и остальное пропил.

Обнимаю тебя — Виктор».

Воробьев — Астафьеву:

«Вить, здравствуй!

Спасибо, дорогой дружище, за твое благородство, — мне передали, как ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо — троит и двоит, так что, к примеру, ежели стать возле метро с протянутой рукой,

что вполне для меня реально, то поданный пятак будет сходиться за три.

Из нейрохирургического заведения я выписался в августе и сейчас живу пока в Москве, так как периодически надо показываться врачам.

Хвороба стоила и стоит чертовски дорого. Будь добр, черкни мне пару строк вот о чем: ты не мог бы посодействовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве „Современник“? Я там никого не знаю, и я не тот автор, которого привечают. На мне лежит какое-то проклятье, а за что — никто не знает. Сам я тоже. Все изгадил, всех напугал... Бровман.

Я учусь ходить, читать и писать. Вот уже и устал. Силенок мало, да и голова побаливает...

Крепко тебя обнимаю,
твой К. Воробьев.
3.09.74».

Астафьев — Воробьеву:
«Дорогой Костя!

Ну, на Руси от веку так, уж если на кого повалится беда — отворяй ворота! Очень опечалило меня твое письмо. Писателю можно ломать ноги, руки, отрезать почки и даже яйца отрывать, но голову долбить?! Это уж ни к чему! Что я тебе могу сказать? — лишь старое, изведенное, от которого толку, конечно, нет, но всегда говорится — мужайся!

Я к этому письму приложу записку к Юрию Львовичу Прокушеву — директору издательства „Современник“. Он вроде хорошо ко мне относится, может, что и поможет, а решает в общем-то многое в этом издательстве именно он.

Я живу потихоньку. Мои беды и хвори поменьше — вот ныне, будучи в Сибири, снова заболел воспалением легких, восьмой раз за жизнь и третий — в последние

два года. Говорят: больше не надо! Ибо пневмония хроническая, и с нею шутки нехорошие.

Помаленьку пишу пустяки всякие, готовясь добить что-нибудь посерьезней. В Вологде мне хорошо дышится и живется, а это очень много в нынешние дни. В начале октября собираюсь быть в Москве, а завтра поеду в деревню, побродить и поработать, ибо из-за хвори нынче не видел почти леса.

Крепко обнимаю тебя — твой Виктор».

К посланию Астафьева приложен текст еще одного письма: «Директору издательства „Современник“

Прокушеву Юрию Львовичу.

Дорогой Юрий Львович!

Податель этой записки превосходный русский писатель, но судьба его всегда складывалась так, что на него валились и валятся не шишки, а целые камни, которые иного уж давно бы разжулькали в лепешку, а он вот держится стойким своим духом.

Впрочем, думаю, Вы захотите послушать русского талантливого человека и помочь ему. Понимаю, что с подобными просьбами Вам досаждают дни и ночи, но посчитайте мою просьбу случаем особым — помогите Константину Воробьеву. Заранее Вам благодарный —

Виктор Астафьев.

10 сентября 1974 г.».

Воробьев — Астафьеву:

«Дорогой Виктор!

Спасибо за письмо, за рекомендацию. А вот воспользоваться ею я, кажется, не смогу, так как пребываю преимущественно в лежачем положении. Да, Прокушев, оказывается, как передал мне Миша Колосов, не считает возможным издавать меня, поскольку, видите ли, я не являюсь русским писателем (имеется в виду место жительства).

Вот, брат, какие пироги.

Но переживем и это. Было ведь и хуже и подлей. И опасней.

Будь жив и здоров.

Обнимаю тебя, твой К. Воробьев.

19.09.74».

Новогоднее поздравление Астафьева на открытке. Отправлено из Вологды 21 декабря 1974 г.:

«Дорогой Костя!

Поздравляю тебя с Новым годом, желаю, чтоб в новом году подладилось твое здоровье, чтобы ничего у тебя больше не долбили и не обрезали — все уж и так обрезано, ничего лишнего не осталось! Рад был увидеть твою фотографию в „Лит. России“, пусть и усталую.

С удовольствием прочел отрывок. Дай Бог тебе наладиться и в работе. Меня заверили, что в „Современнике“ тебя издадут, хотя, откровенно говоря, я уже мало кому верю из тех, кто садится или сел в издательское или журнальное кресло. Все „братишки“ становятся хуже чужих, к людям подозрительны и бдительны. Со всеми бывшими „друзьями“, севшими на должности, я повздорил из-за этого.

Ну, да Бог с ними!

Мира всем нам!

Обнимаю и целую — Виктор».

Переписка двух писателей подошла к концу — 2 марта 1975 года Константина Воробьева не стало. Скончался он в Вильнюсе.

«Творческая судьба Константина Воробьева, — итожит одну из своих статей Астафьев, — наглядное подтверждение тому, как ему, да и всем нам, далась эта самая литература и то положение, которое мы по справедливости в ней занимаем».

«Всем нам» — это весьма немногочисленной группе писателей. Виктор Петрович не называет здесь имен, но несомненно, что среди них, по его мнению, самое почетное место занимает Василь Быков.

Астафьев и Быков — одногодки, почти ровесники. Оба — фронтовики, причем Быков тоже ушел на фронт добровольцем. Воевал он в «маломерной», по определению Астафьева, артиллерии, был тяжело ранен, а однажды едва избежал расстрела...

Известно, что Виктор Астафьев читал постоянно и много, и это при том, что чтение для него, потерявшего на войне глаз, было нелегкой работой. Поэтому он был прекрасно знаком с творчеством тех своих собратьев по перу, которых он выделял из ряда военных писателей, — Константина Воробьева, Евгения Носова, Юрия Бондарева. Произведения Василя Быкова для Виктора Петровича обладали, конечно, особой притягательностью. Он рассматривал их как своего рода мерило художественной правды. Чем больше Астафьев читал Быкова, вникая в сущность пережитого, условия и последствия войны, тем острее он воспринимал прошлое, окончательно освобождаясь от романтического ореола в осмыслении победы.

Творческие и общественные позиции Астафьева и Быкова с годами становились все более созвучными. «Выполняющий долг писателя и гражданина» — так Виктор Астафьев назвал в 1974 году свою первую статью о творчестве Василя Быкова. Приурочена она была к 50-летию белорусского прозаика. Тон ее был возвышенным, можно даже сказать, выпреним: «Настала пора держать отчет, становиться на боевую поверку двадцать четвертому году — великому и горькому; году бойцов, которые докажут потом в труде и на войне, что они помнят не только о своем человеческом назначении, но и о той ответственности, какую наложило на них время, их год!..

19 июня 1924 года в тихой лесистой трудовой Белоруссии родился будущий воин и писатель — Василь Быков...»

В той же статье Астафьев отмечает, что встречался с Василем Быковым пока только мимоходом, «в толчее писательских съездов и собраний, потом мы изредка писали друг другу...». Несмотря на это, продолжает Астафьев, «я давно знал и знаю этого человека с простоватым на первый взгляд лицом застенчивого сельского интеллигента, с умно и опять же застенчиво-скромно мерцающими под роговыми очками глазами, вешняя прозелень которых выдает истинного сына Белой Руси, — с рождения увиден и навечно отражен в них цвет спокойно зеленеющей родимой земли, которую белорусы умеют не только любить и оплакивать, но и умирать за нее, — не к месту, может, а все ж напомним, что в Отечественную войну погиб каждый четвертый белорус». Представление о личности Василя Быкова у Астафьева связано с его творческой сутью. «Писательский труд, как давно замечено, не что иное, как отражение души, свет ее...», «труд истинного писателя, произведения, им созданные, всегда похожи на него самого — оттого-то и происходит узнавание писателя... по книгам и мыслям его».

Вот, собственно, почему и на Урале, и на Севере, и по всей Советской стране люди «разумеют его... где-то по соседству живущим, и словно забывают напрочь, что под произведениями Василя Быкова стоит мелко набранное: „Перевод с белорусского“; и это не обезличка национального, не отрицание принадлежности к своему народу — это та самая творческая индивидуальность, та сила таланта, которая стирает всякую условность общения между людьми и делает единым читателя и писателя в любви и доверительности друг к другу, хотя самому писателю, работающему на родном языке, общение с широким

многонациональным советским читателем создает дополнительные очень большие сложности и трудности: ведь как бы хорошо ни переводили произведение, утраты, особенно языковые, при этом неизбежны».

Астафьев считает, что творчество белорусского прозаика явилось «болевым отражением потрясающего и героического времени — Отечественной войны. Сам участник войны, пехотинец, проливший кровь, пот и слезы в окопах и госпиталях, Василь Быков честным и ярким талантом своим был приговорен нести тяжкую и славную долю бойца и в литературе».

Характерным для середины семидесятых годов было то, что фронтовое поколение литераторов еще ощущало себя неким целым, не разобщенным содружеством людей. Основанием для этого, по Астафьеву, было то, что писатели-фронтовики не искали легкой доли ни в жизни, ни на войне, ни в работе. Они всегда верили в справедливость, в правду.

Эта солдатская правда не только объединяла их — она поначалу помогала им выстоять в начинавшихся литературных битвах с официозной критикой, засильем серости, идеологической зашоренностью.

Повести Василя Быкова оказались под огнем критики одними из первых, уже в конце 1950-х годов. Прозаика критиковали за сгущение красок, за «окопную правду», хотя само это понятие войдет в обиход несколько позже. Оно будет применяться к книгам представителей так называемой «лейтенантской прозы»: Виктору Некрасову, Константину Воробьеву, Григорию Бакланову, Юрию Бондареву и другим их коллегам по перу. Правда, на них критика будет нападать все же не так жестко и яростно, как на поздние произведения Василя Быкова и Виктора Астафьева.

Первый виток «критической молотилки» произведений Василя Быкова как-то удалось приостановить. По мнению Астафьева, свою роль в этом сыграли и общественное мнение (читательская привязанность), и влияние фронтового содружества, и сила характера самого Василя Владимировича. Быкова Астафьев сопоставляет с литературным героем, лейтенантом Ивановским из его же повести «Дожить до рассвета»: «Смертельно раненный, почти замерзший лейтенант Ивановский не дает себе умереть, держится уже какой-то запредельной силой за жизнь ради того, чтобы выполнить свой воинский и человеческий долг...» Вот если бы все наши граждане и воины выполняли долг перед Отечеством, как лейтенант Василя Быкова!

В своей статье Астафьев упоминает тех литераторов, кому «выпала честь родиться в 1924 году и рапортовать в полувековой юбилей, в 1974 году, о пройденном пути», — Юрия Бондарева, Николая Старшинова, Юлию Друнину, Григория Бакланова, Юрия Гончарова, Михаила Горбунова.

Спустя несколько лет, в 1979 году, Астафьев вновь обращается в печати к творчеству Быкова. На этот раз поводом для статьи становится выход в свет повести «Пойти и не вернуться». Он рассматривает ее в ряду других произведений, которые складываются в некую личную летопись войны. На ее страницах автор добивается «все большей объемности и углубленного психологизма». Добро у Быкова не смешивается со злом, меж ними даже не размываются границы, всегда видно, с кем сердце писателя.

Есть в этой повести, как будто привычно «быковской», одно необычное для писателя новшество: главным героем произведения становится женщина. Поначалу обязанности Зоськи Нарейко в партизанском отряде просты: она состоит при кухне. Но приходит и ее

час — ей с напарником надо отыскать пропавшую группу своих боевых товарищей.

Для Зоськи важно выиграть «свою войну». Увы, ей не суждено будет это сделать. Шкурник присосется к ней, за ее неширокой спиной попытается спрятаться от войны. Он выработал свою, ущербную мораль: главное — спасти себя. А у Зоськи, «напичканной пропагандой», сформулирован жизненный принцип с «небольшим» изменением: «Или мы их, или они нас».

Заметим, что изображение женщины в литературе вообще дело сложное, а в книге о войне, да на такой ужасной, — тем более. Но вот взялся мастер за дело, и все «женские слабости» — «грехопадение», смятенность и запутанность чувств, наивность, растерянность, неумелость — не мешают полюбить ее горькой и раскаянной любовью, страдать вместе с ней и за нее.

Автор повести, «честно и твердо выполняющий долг бойца и гражданина, новой повестью, — по мнению Астафьева, — сделал шаг вперед в своем сложном и напряженном творчестве...».

В этих рассуждениях и посылах еще чувствуется общая для советской литературы тех лет платформа. Но пройдет четверть века, и именно эти два писателя окажутся в центре новых идеологических и духовных конфликтов времени, причем Василь Быков — в родной Белоруссии, а Виктор Астафьев — в России. Ну а Советская Родина, за которую они оба сражались в годы Великой Отечественной войны, останется в прошлом, в их невозвратно ушедшей юности.

Конечно, многое в оценках двух писателей, их столь близких общественных позиций и творческих взглядов еще требует кропотливого изучения, анализа. Частично дают об этом представление публикуемые ниже письма,

главным образом (за исключением одного) Астафьева Быкову^[120].

Астафьев — Быкову из Перми:

«Дорогой Василь!

Из дальних странствий возвратясь...

В Латвии был, на декаде русской культуры, и еще раз убедился, что даже латыши, по сравнению с нами, русаками, живут богаче, честнее, чище и уважительней друг к другу, а у нас...

Вот только что завалили у меня сына и дочь на экзаменах в университет. Они, конечно, не вундеркинды, но... ребята честные, трудились много перед экзаменами, однако папа писатель, и все тут. Обывателю этого достаточно. А самый воинствующий, самый жирный обыватель у нас развелся среди интеллигенции.

Мои дети всю жизнь, с первого класса, страдают из-за меня. Я уж говорю им, чтоб не признавались. Говорят: папа мастер лесоразработок, мама — домохозяйка. Я и сам себя часто рекомендую мастером леса. Мне-то ничего, а ребятам плохо...

Теперь вот куда их девать? Работу найти трудно, учиться негде; хоть повесь их у Горсовета на столбе, так впору...

Очень рад твоему письму, Василь, очень! На декаде вместе со мною была Юлия Друнина, тоже наш брат — солдатка, так мы как-то вспоминали тебя. Право же, и слезы у меня в горле закипают, как я подумаю, что наша солдатская верность и преданность друг другу и есть еще то светлое окно, к которому стремишься из житейской бури, и теплеешь душой у своего, солдатского огонька. Дай нам Бог до конца наших недлинных дней быть в одном строю и сохранить

бесценное по нынешним дням чувство уважения и привязанности, которое помогает жить и работать.

Я все возился с „Кражей“, защищал ее при издании от подозрительных людей, и сейчас вроде бы ушла в набор повесть. Закончил книгу „Последний поклон“ — это о детстве, лучшая моя книга, после которой можно бы и удочки сматывать, но... жить-то надо! Книга будет издаваться в Перми в 1968-м. Почему в Перми? А здесь мне ее легче защищать. Пусть будет маленький тираж, зато я не дам тронуть в книге ни одной запятой, ибо дорога она мне, как никакая другая книга. Я пришлю тебе эту книгу непременно, если она выйдет.

Вот тебе свежая новость.

Проездом я звонил в „Новый мир“. В 7-й номер у меня должен был идти рассказ, и, кажется, приличный. Ответили: „Весь седьмой номер, кроме Вашего рассказа, зарублен цензурой. Сейчас мы 8-й номер делаем 7-м, чтобы не переверстывать книжку журнала. Восьмой начинаем формировать снова, значит, Ваш рассказ еще раз будут читать и уцелеет ли он — не знаем...“

Такие-то дела. Но уже появляется иммунитет. (Слово-то какое! Мать бы его за ногу!) И я, дорвавшись до стола, а живу я в деревне, маленькой и тихой, — пишу свои „затеей“. Я их постоянно пишу: короткие заметки, этюды, зарисовки, — что отложилось в памяти и не дает ей покоя. „Затеей“ эти не дают расквалифицироваться, помогают сохранять форму и вообще помогают отрабатывать стиль и звук, а главное — пишу я их „с натуры“ и плюю на всякие условности литературные и цензурные. „Надо жить и исполнять свои обязанности...“, как сказал товарищ Фадеев, так много сделавший для того, чтобы мы свои обязанности исполняли с горькими слезами и чтобы из нас кровь пили за каждую правдивую строку.

Вот и все, Василь. Спасибо тебе за письмо и картинку. Желаю тебе здоровья и работы, а остальное все не так уж и важно.

Привет твоим домашним.

Жму руку — твой Виктор

4 августа 1967 г.

Большой привет Алеше Карпюку!»

Следующее письмо от Астафьева получено Быковым 24 октября 1967 г.:

«Дорогой Василь!

Наконец-то собрался послать тебе обещанную книгу, в руки так и не сумел отдать, а потом книги кончились, и сейчас вот только запасливый редактор вручил мне, растяпистому автору, две пачки моих книг.

Словом, лучше поздно, чем никогда!

Жил я почти все лето в деревне, работал и читал.

Прочел твою „Атаку“ и что-то меня в ней глубоко не устроило. Написана она просто, доступно, уверенной рукой. Быт войны в ней суров и точен. Ротный сделан отлично, но вот в главном...

О чем повесть? О том, что еще одна атака и еще одна рота погибла... Но, во-первых, таких повестей уже тьма и, во-вторых, спустя так много лет после войны, просто бытопись войны уже не устраивает такого привередливого читателя, как я.

Столкновение между ротным и Гриневичем не получилось. Оно где-то за „кадром“. Сам „кадр“ или цензура слопала, или его „отредактировали“ в „Новом мире“, что там умеют делать довольно ловко и профессионально.

И остается... Столкновение из-за обмена Чумака? Но ты сам знаешь, что на передовой и не такие дела делались, все было шито-крыто. А если б Гриневич заявил о своем несогласии, сославшись на пункт такой-то приказа такого-то, то его возненавидели бы и,

глядишь, тихо пришили бы. А ты его пытаешься осимпатизировать, реабилитировать в глазах солдат смертью. Что-то не то и не так.

А коли не получилось этого узелка, не получилась доказательной и последняя атака, и гибель роты.

Я понимаю намек, обстоятельства сложились так, что ротному деваться некуда — иди и умирай; или героем будь; с героя спрос не столь строгий. Но отправная точка-то какова: „доложил, что высота взята, а сам...“ Но Василь! На фронте столько обманывали друг дружку, такой там был бардак и столько лжи, что этот „грех“ утонул бы в наступательной неразберихе; и ротный, тертый калач, вывернулся бы все равно...

А тут он ведет остатки роты на гибель и уже по тому делается не симпатичен и совсем не герой. Герой в нашем понятии тот был из командиров, кто берег солдат, не гнал их попусту из окопов и делал все возможное, чтобы отсидеться в земле.

Какая-то литературная заданность есть в поведении ротного и Гриневича, какое-то психологическое диктаторство со стороны автора, насилие над происходящими событиями. Логика правды в главном сбита, нарушена и все время ощущение такое, что чего-то не договорено, не доделано, не домыслено.

Думаю, что изрезали повесть твою. Пятый номер выходил с марта до августа, и что-то ж с ним делали! Рассказы в номере очень слабые и весь номер, кроме стихов Васи Казанцева, очень слабый. Совсем добивают, видно, „Новый мир“.

Ты, Василь, не обижайся, что я тебе написал о повести. Я знаю, как ты ее долго и трудно писал, как тебе было тяжело после литературной баталии снова войти в рабочее русло, но я тебе все это написал, как солдат солдату, а нам нечего прятать глаза друг от друга и бояться правды. Тем более что я совершенно не

настаиваю на своей правоте, как и всякий читатель, я могу глубоко ошибаться и заблуждаться.

Читал ли ты рассказы Н. Грибачева в „Знамени“? Вот удивительный писатель! То выдаст фельетончик на уровне многотиражки, то вот написал отличные рассказы. Но в этом же номере напечатан большой цикл стихов вашего лауреата Бровки.

Какое непроходимое говно! Какая банальщина и поэтическая беспомощность! Любого молодого автора со стихами такого уровня в газетку не пустили бы, а Бровку печатают! Номер им открывают!

Сам я с 4-го по 8-е буду в Киеве. Пригласили на встречу ветеранов нашей дивизии. Знаю, что меня ждет, что расстроюсь надолго, выбит буду из седла, а не ехать не могу. Война, прошлое — зовут! Затем заеду в Москву и после — домой.

Почти все лето бился над сценарием по повести „Звездопад“ для Свердловской студии. Сделал, но едва ли снимать будут, уж очень обнаженная и неприглядная получилась у меня война...

Жму руку — Виктор».

Отправлено из Вологды 26 марта 1978 г.:

«Дорогой Василь!

Ну, поздравляю! Доходили до меня разные слухи о переменах в твоей жизни, но слухов насчет нашего брата много всяких ходит, так я особого значения им не придавал.

Я тебя понимаю, что ты тоскуешь в большом городе Минске и, наверное, в Гродно или под Гродно тебе надо сохранить уголок, куда бы ты мог бежать из столиц-то.

Душа уже чаще и чаще просит покоя и уединения — катимся в старость, как ни сопротивляйся, ни удивляйся, а все дни идут в одну сторону — на закат.

Повесть твою посмотрю — непременно. Я ж люблю читать, да что ты пишешь о войне, хотя вообще-то о

войне, в исполнении наших писателей, читаю мало. Врут, падлы! Выдумали какую-то комиссарскую войну и утвердили какую-то угодную кому-то „правду“, которая страшнее всякой кривды.

Я закончил „Поклон“, подготовил 1-й том собрания своих сочинений (в 4-х томах издает „Молодая гвардия“), и в 1970 году выйдет 1-й том. Но главное, использовал передых, чтобы съездить ко фронтовым друзьям — четверо нас собралось из одного взвода; двое из 4-х живут и работают в Темиртау, так собирались там. Словно чистого кислорода наглотался, пообщавшись с фронтовыми друзьями. Какие люди-то, батюшки! Все они, рядовые бойцы, — жизнь какую порядочную прожили — ни одного пятнышка ни на душе, ни на теле...

Очень мне поможет эта поездка, когда я начну писать вплотную о войне, очень.

Сейчас я делаю „мелочи“, перечел все скопившиеся рукописи — 20 штук, всем ответил ответы, написал несколько статей, предисловий и десятка два „затесей“, сейчас помаленьку их ковыряю, дорабатываю. Думаю съездить на юг, полечить свою пневмонию, но с путевками очень трудно. Если не попаду на юг, рвану в Сибирь, в родные горы, там у нас сухо, а здесь просто задыхаюсь от сырости и рыхлею на ходу. Ну, еще раз с новосельем!

Обнимаю. Твой Виктор».

8 января 1986 г., Красноярск:

«Дорогой Василь!

Все дошло! И письма, и книга, и беседы за столом, видимо, и, в самом деле, хорошей семьи.

Но слово „утрировал“ ты поставил опрометчиво. И вот почему. Одному прославленному маршалу, обвешанному золотом и алмазами, „летописцы“ (хорошо оплачиваемые, со звездами большими на погонах)

принесли на сверку о нем написанный материал, и, по слогам его прочитав, он сказал: „Материал ничего, но вот иностранное слово ‘регалии’ мне не по сердцу“. А в Главпуре до сих пор чины тамошние слово „пацифист“ (они его произносят „пацыхвыст“) считают матерщинным.

Так вот, в связи с публикацией в „Правде“ на меня обрушился шквал благодарных писем, кроме генеральских. Эти лампасами от гнева трясут, бегают жаловаться, бранят меня письменно и устно на манер коновозников и барачных шлюх, не подбирая выражений, и все оттого, что какой-то солдатишка написал „неправильно“ и его напечатали; а они пишут „правильно“, хвалят себя на войне, герои сплошь, а их не печатают.

Да это ж бунт! Особенно тяжело им читать про начальника артиллерии фронта. Да как я смел?! Такой чин! Такой сан! Такой бог, и вот его поганцем выставляют.

Статья набрана еще в апреле, разумеется, сильно сокращена, и только из благоговения перед памятью погибших на войне и святого нашего горького праздника не поставил я фамилию поганца, преступника и мерзавца...

А я, брат, весь в бумагах и в трудах. Заканчиваю книгу рассказов и неожиданно написал маленький роман, всего на 6 листов. Боялся, что он не пройдет по Литу, но, малость ощупанный, прошел досылом в 1-й номер „Октября“ и будет после него шуму побольше, чем после статей, целый год копившихся и подряд напечатанных в конце года.

Хочу сдать книгу поскорее. Устал. Очень. Работать профессионально так и не научился, все с наскоку, все в лихорадке делаю. Три новых рассказа должны пойти в „Нашем современнике“, но когда выйдет книга — пришлю. А сейчас выезжаю в ФРГ; пригласили и я не

отказался. Надо повстречаться с теми, кто воевал и был у нас в плену. Да еще в Мюнхене, в пивнушке Гитлера надо побывать, чтобы все видеть „документально“. В дорогу и беру твою книгу, чтоб прочесть неторопливо.

Вернусь в феврале и, если буду здоров, съезжу еще на „Рубцовские чтения“ в Ленинград; а вообще на подъем становлюсь тяжел, даже на рыбалку собираюсь, как в военный поход, — долго и мучительно.

У нас два года подряд не было весны и лета, но осени и зимы — хорошие. Ныне зима со средними морозами и солнцем. Бодрая зима! Я пока держусь, чего и тебе желаю. Но легкие мои дырявые все же дают о себе знать. Осенью, в родном селе (оно близко, мне видно его из Академгородка), умирал последний мой дядя. Тяжело умирал, долго. Мотор крепкий, а легкие — раскисли. Из всей многочисленной родни осталась одна тетка — Августа, да и та почти уже слепая. Ее сын, и мой двоюродный брат, показал мне (он глухонемой, но толковый парень), что после ухода мамы на очереди — мы. Что ж, мы так мы! Увы, это неизбежно. Торопиться не будем, но готовить себя к „великому“ и бесконечному походу надо. Раньше молились, а нам хоть достойно дожить свой срок, поменьше кур-виться и врать. Все мечтаю о Белоруссии и жду вас в Сибири.

Обнимаю братски — Виктор».

«Дорогой Василь!

Далекий брат мой! Как ты там скрипишь? Вот и доскрипели до 50-летия Победы, до нашего горького праздника, хотя и праздником-то его назвать язык не поворачивается. День скорби и печали назвать бы его точнее, день нашей погубленной молодости, изувеченной жизни, день смерти многих и многих наших зеленых листочков-дружочков, отряхнутых с древа жизни авантюрными недоумками нашего проклятого времени.

Что-то не видать тебя и почти не слышать? Последний раз читал твой страшный рассказ в „Литературных новостях“ о том, как загнанный комиссарствующими собратями белорусский народ расстреливает сам себя, народ, посмевающийся послушаться начальников и поднявшийся против них. Доходят слухи, что и сейчас эти алые и красные не прочь спустить в яму остатки вашего чистого, но шибко замороченного народа, что травят тебя и Светлану Алексеевич (поклон ей от меня и от моей Марьи Семеновны)...

Посмотри в № 4 „Знамя“ мою новую повесть о судьбе нашего брата-инвалида и увидишь, что я еще могу отмахиваться и работать.

Я слышал и где-то даже читал, что первая книга моего горького романа „Прокляты и убиты“ тебе понравилась, а вторую — читать в журнале не спеши, она шибко иссокращена и текст напечатан несовершенный. Долго объяснять почему. Когда „Плацдарм“ выйдет отдельной книгой — пришлю (скоро).

Жизнь у нас, как и у вас, сложна, переменчива и тревожна — ничего почти из того, что нами ждалось, не свершилось. Не умеем мы, не научились жить самостоятельно, не говоря уж — свободно; и общество наше воистину похоже на разбежавшийся зверинец.

Но дожили еще до одной весны, у нас рано сделалось солнечно и светло, зацвели подснежники, зазеленела травка и снова вострепелось сердце, пусть и устало, с перебоями откликнулось токами на токи земли, на пенье скворцов отозвалось (соловьев у нас здесь нету), и снова хочется жить, инда и на ножки женские кривым глазом поведешь, как у загульного зверя в башке зашумит, пободать кого-то захочется, в даль зеленую побежать.

Вот и будем жить, сколь Господь отпустил!

Поклонись Саше Савицкому, Вите Козько, Гене и всем, всем знакомым ребятам, и постарайся быть поздоровее. Я ж тебя обнимаю и к сердцу прижимаю. Знай, что я всегда о тебе помню, люблю по-мужицки и по-братски — твой одноклассник и окопный сострадалец, и боец — преданно —

Виктор (В. Астафьев)

18 апреля 1995 года.

Красноярск».

20 декабря 1996 г.:

«Дорогой Василь!

Как я рад неожиданной весточке от тебя!

Рад, что ты жив, держишься и собою держишь небесные своды над своей Родиной, которую кто только не учил тебя „правильно“ любить...

Посылаю тебе книгу, которую ох как нелегко тебе будет читать. Я, наконец-то, забрался в окопы, в самое их бездонное и беспросветное дно опустился.

Ох, как тяжело туда возвращаться и все пропускать через старое уже сердце, усталое и больное. Хорошо, что были мы там, на этом самом крайнем краю жизни молодыми, многого не понимающими и страху по-настоящему не знающими. Сейчас уж кажется, что там был кто-то другой, отдаленно на тебя похожий — иначе с ума ведь можно сойти, перегружая и без того перегруженную память сверхтяжестями и сверхмуками.

В 8-м номере „Нового мира“ напечатана моя короткая повесть „Обертон“. Это снова о нашей погубленной молодости, о несбывшейся любви.

А третью книгу романа пока не рожаю, не начались схватки, только в башке прокручивается и прокручивается „материал“, может, осенью начну.

Пока же бьюсь над собранием сочинений, которое издают здесь, в Красноярске, в мощном издательстве „Офсет“. Пока мы с Марьей подготовили девять томов, а

всего должно быть 15! Каждый том я решил откомментировать сам, чтобы после меня не плели всякие домыслы. Вот закончу эту громоздкую работу и продолжу писать роман. Василь! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть он будет полегче уходящего. По возможности будь здоров. Поклон твоей супруге.

Обнимаю тебя — Бог с нами и Бог с вами! — как писал в заключение своих писем Карамзин.

Твой Виктор.

Прости, что на машинке, совсем мой почерк „загулял“».

г. Красноярск:

«Дорогой мой Василь!

В жизни своей я много получал горьких писем (я прошу Тойво увезти тебе два последних тома из собрания сочинений, и ты это увидишь). Тойво Рюннель наш российский финн, угодивший в Сибирь дитем не по своей воле и недавно переехавший в Финляндию. Он тебе все расскажет. Художник он замечательный, трогательный, говорун, стихи пишет и прозаик тоже путный, в чем ты, надеюсь, убедишься.

И письмо, и книги отправлять тебе бесполезно, и ты хорошо сделал, что отправил свое письмо с нарочным. Я получил его во дни проведения очередных „Провинциальных чтений“ и пересказал маленько пестрой аудитории, но к твоей беде и доле доброжелательно отнесшейся...

В Финляндии я бывал, почитай, лет двадцать назад. Назначено мне было 14 дней, а я устал от выступлений, бесед и возлияний, их сопровождающих, за 10 дней; ездил в города Пори, Рауму и Турку. Воспоминания у меня о стране и народе добрые, но жить-то там, на чужбине, каково?

Подумаю о тебе и сердце кровью обливается, зная, как ты любишь и страдаешь за свою родную Беларусь. Я

вот обжался, ко всему притерпелся на родине и радуюсь покою, который все же пусть и не вовсе покойный, но все же наступил.

В начале лета я тяжело заболел, сдавши в производство последние тома собрания сочинений и напечатав в „Новом мире“ свою повесть „Веселый солдат“. Кроме постоянных хворей, обнаружился у меня диабет, пить чего-либо спиртное и есть чего попало сделалось нельзя, и сразу в доме, в деревне, да и в городе тоже сделалось малолюдно. Трезвый я никому не интересен, да и мне в пьяных дураках интересу мало.

Ничего не пишу, очень много сплю. Устал я, душевно устал, надсадился с литературой, поэтому гоню со двора интервьюеров всяких и газетчиков, и всякий любопытствующий народ. Одиночества и тишины хочется, устал я от гнетущей памяти о войне, от ожидания чего-то вечного, еще более худого. Лениво почитываю газеты, смотрю журналы, и у „ящика“ много времени просиживаю. Наверное, глухой зимой поеду куда-либо лечиться — плохо ходят ноги, да и зиму нашу с незамерзающим Енисеем маленько сокращу. Длинна она у нас, ох, длинна! Весне и лету радуюсь, как младенец, а они так быстро пролетают. Но поеду в том случае, если моя солдатка, как ты хорошо ее зовешь, будет хоть в относительном порядке. 26-го октября будет 53 года, как мы вместе, и тут уж отношения переходят из супружеских в родственные и нет уж никого ближе на земле.

Недавно я отдал в Литературный музей единственную уцелевшую от мамы вещь — сотканное, вышитое на концах и с кружевами полотенце, и вспомнил, что маме было бы уже 97 лет, а погибла она (погубили ее) двадцати девяти лет, и первой дочке, не прожившей и года, названной в честь бабушки, моей мамы, было бы уже за пятьдесят. Давно мы с Марьей

живем, многих пережили, а горечь и жалость к умершим, особенно к маме и дочерям — вторая дочь, Ирина, умерла десять лет назад в возрасте тридцати девяти лет — не утихает, наоборот, с годами становится острее. Может, и оттого это, что перестал писать, башка ничем не забита, а сердцу вольно в себя пускать боль и жалость.

И еще я с годами ощутил греховность литературного труда, не блудословие ли это, не обман ли людей с помощью печатного слова?

Как ты ощущаешь себя в этом плане? Или это уже старческая блажь и чем-то, откуда-то принесенная мнительность? Может, подступает вплотную сознание бесполезности сделанного? Ведь вон сколько прекрасных книг, умных трудов существует на свете, а человечешко-то, гляжу я вокруг, не сделался лучше...

Василь, милый, крепись брат, что поделаешь, не первая тебе невзгода выпала, не первая и, увы, не последняя участь тебя постигла. Вспомни, что было с лучшими умами и гениями у нас, на Руси, горькой и окаянной. Придут времена, когда Родина воздаст тебе по заслугам...

Будем радоваться солнышку, все еще нас греющему, будем ждать весны, цветов. У меня в огороде вырос лес, самый настоящий, который я насадил по приезде в Сибирь, один кедр уже заплодоносил, и всплакнул я, увидев первые шишки — семена на мною посаженном дереве, и вообще на слезу я стал слаб, часто глядя на народ, на военные прошлые дела иль слушая песни и разговоры крестьян, вытираю слезы с глаз, и жалко всех, и себя тоже...

Родной мой! Обнимаю тебя, целую, радуюсь тому, что ты есть в жизни и судьбе моей. Пусть хвори меньше мучают тебя и тоска не залавливает.

Держись! Обнимаю и еще раз целую — твой брат — окопник — Виктор (В. Астафьев)

25 октября 1998 г.».

Быков — Астафьеву из Финляндии, 4 января 1999 г. Это письмо в ксерокопии при встрече в конце апреля 1999 года передал мне на память сам В. П. Астафьев:

«Дорогой Виктор!

Спасибо тебе огромное за твое доброе письмо и за книги, которые передал твой друг, замечательный человек и художник. Так случилось здесь, „на финских скалах“, что весь канун 1999 г. у меня прошел под твоим именем — только прочитал в „НМ“ „Веселого солдата“, как подоспели 2 тома писем. И их прочитал.

Все прочитанное окончательно меня убедило, что ты — великий писатель русской литературы и таким, м [ожет] б [ыть], первым войдешь в век XXI-й. Исполать тебе, дорогой! Дал бы только Бог тебе побольше лет в сносном здоровье. Писать уже можешь и не писать. Поживи для себя. Это особенно важно после такой огромной и каторжной работы, которую ты проделал. Все-таки 15 томов — плотной, честной, выстраданной прозы! Да еще в такое время... У меня все хуже, пишу мало и неохотно. Потому что — жизнь к старости мало в чем изменяется по сравнению с нашей юностью. Север для меня, сам понимаешь, не самое показанное место, здесь слякотно, холодно, световой день — 6 часов. Правда, здесь тепло и сносно с харчами. Не то, что в холодном, замордованном Минске. И все же душа не на месте, тянет родина...

Хотя, что плакаться... Все это давно объяснимо и понятно, — такова наша доля. И если кто из нее выбился хотя бы в конце жизни, то пусть считает такую жизнь удачей. Я же свою таковой посчитать не могу. Но что делать?..

Дорогой мой и любимый брат! Я утешаюсь тем, что знал тебя в этой жизни, читал, разделял многие твои

истины. Если подумать, то это уже немало. Тем более в наше проклятое время.

Будь здоров и счастлив!

Обнимаю — твой Василь...

4 января 99 г.».

«Дорогой Василь!

Ждали мы, ждали передачу о тебе, но телевидение в очередной раз нас обмануло и вместо передачи показало дневник с Олимпиады и разную ерунду. Собирался написать еще весной, но 22-го апреля случился инсульт у меня и теперь заново приходится учиться жить, ходить и ручкой по бумаге водить. Вот и вожу.

Хочу лишь спросить, как ты? Что ты? Где живешь? Чем дышишь? Пишется ли?

Я живу пока в половину. Все лето не был в деревне, ничего не написал. Жить помогают добрые люди... Писать кончаю. Устал.

Бесконечно люблю тебя и всегда о тебе помню. Храни тебя Бог от всех напастей...

Всегда твой — В. Астафьев

14 августа 2001 г., Красноярск».

В заключение приведу текст дарственной надписи Астафьева на титуле сборника «Жизнь прожить»:

«Моему милому брательнику — Василию Быкову с поклоном из Сибири.

Не хворай, дорогой мой, не сдавай своего окопа, его никто занять не сможет — твоя ячейка навеки».

Глава пятнадцатая МАРИЯ

...И нет уж никого ближе на земле.

Виктор Астафьев. Из писем

Виктор Петрович Астафьев скончался на рассвете 29 ноября 2001 года. Он очень не любил ноябрь и декабрь как самые темные месяцы года. В последнее время с долей суеверия говорил о том, что вот надо бы перевалить их и тогда вместе с солнцем можно будет прожить еще один годовой срок.

Похоронили Виктора Петровича на деревенском кладбище в окрестностях Овсянки рядом с его дочерью Ириной, которая умерла в 1987 году. Ей тогда не было и сорока.

Покинув этот мир, люди продолжают жить в своих близких...

Не случайно мы вынесли в эпиграф последней главы слова Виктора Астафьева — ведь относятся они к его жене, Марии Семеновне Корякиной. С октября 1945 года и до последнего вздоха писателя была она его верной подругой, надежной опорой и терпеливой помощницей. Мне иногда кажется, что только благодаря Провидению в далеком сорок пятом Виктор Петрович обрел такую спутницу жизни. И кто знает, не будь ее рядом, раскрылся бы в полной мере его талант?

Понимал и ценил Виктор Петрович роль Марии Семеновны в своей жизни.

В заветной книге М. С. Корякиной — «Знаки жизни», которую мы широко цитируем, говорится о том, что любовь и внимание мужа — самое дорогое в ее жизни, а самые высокие награды — его книги, первые

экземпляры которых, всего около сорока, он неизменно вручал ей с посвящениями.

«Самый дорогой мой подарок первому моему помощнику и терпеливому слушателю, постоянному вдохновителю — Марье моей». Это — надпись на книге «Звездопад», вышедшей в Москве в 1962 году.

«Последний поклон», вышедший в 1968 году в Пермском издательстве, сопровождают такие слова: «Помощнику моему, другу верному и нежному — Мане — мою самую любимую книгу, с любовью и пожеланием здоровья и покоя...»

Прочитаем еще некоторые из этих памятных свидетельств глубокой любви и уважения, которые Виктор Петрович и Мария Семеновна сумели пронести через всю свою супружескую жизнь:

«Мане! С любовью эту долгожданную книгу и дорогую нам обоим (выстраданную)».

«Дорогой Мане — с неизменной любовью и уважением, с надеждой подарить в скором времени не только „Избранное“, а все пять томов сразу! Будь здорова, спокойна — вдогон „Царь-рыбе“».

«Маня! Эту новую книгу дарю тебе, как всегда, с любовью и благодарностью, ведь тут столько твоего труда! Не хворай и будет все хорошо. С благодарностью — Виктор»

«Очень мне дорогую книгу — дорогой Мане. Мой все еще падающий лист, надеюсь, что он еще озарит не один день своим несгораемым светом. Как всегда, благодарю за помощь и радость совместной работы» (надпись сделана на книге «Падение листа»).

«Дорогой Мане — Марии Семеновне, супруге моей, — первый автограф на первом томе первого собрания сочинений, до которого я и не мечтал дожить, но с ее помощью вот дожил... Кланяюсь. Люблю. Благодарю! 1979 год».

«Дорогой жене — Марии Семеновне — на добрую память мою книгу, в которой много и ее бессонных ночей, труда и боли. Наверное, лучше мне уж ничего не писать, ибо жизнь не повторяется, а в этой книге вся моя лучшая часть жизни».

«Дорогая Маня! С любовью и благодарностью ставлю эти свои каракули на этом томе, до которого Бог дал нам дожить, и повторяю за великим поэтом: „Прости, в чем был и не был виноват“. Храни тебя Господь! 1991 год».

Эти надписи на книгах — словно вехи их совместного творческого труда и семейной жизни. Мария Семеновна подчеркивает: «Очень дорожу этими книгами. Пока жива, берегу память о них и обо всех счастливых и трагических мгновениях, которыми была наполнена наша с ним жизнь...»

Без преувеличения будет сказано: Мария Семеновна продолжает тот удивительный ряд сильных духом русских женщин, которыми мы по праву гордимся. Правда, когда мы об этом говорим, в памяти нашей всплывают в основном имена из далекого прошлого. Неужели и впрямь большое видится только на расстоянии? Многие зная, например, о самоотверженности, жизненном подвиге Анны Григорьевны Достоевской, которая, скрепив семейные узы, высвободила великого писателя из тисков многих преследовавших его проблем, сможем ли мы припомнить что-либо подобное из современной нашей жизни? Нам только остается предположить, что подобные женщины еще есть, но они, как правило, остаются для нас безымянными.

Казалось, ни образованием, ни жизненным опытом Мария Семеновна не была подготовлена к уготованной ей судьбе. Очевидно, в формировании ее характера сыграл свою позитивную роль патриархальный уклад

русской семьи, в которой она выросла. Семья была большой и, при всех неизбежных жизненных неурядицах, в общем-то дружной. Была она в ней пятым ребенком, а после нее у родителей появилось еще четверо детей. Так что забот по дому у средней дочери хватало. Однако когда ей захотелось учиться, никто не возражал. Выбор, правда, был небольшой. После семилетки она поступила в находившийся в соседнем городке Лысьве механико-металлургический техникум, училась в нем на факультете химиков-аналитиков. После третьего курса учебу пришлось на время прервать — нужно было идти работать, чтобы помогать семье материально. Но натура-то у Марии крепкой оказалась: техникум она, хотя и позже, но все же окончила — заочно.

Ну а что было дальше, читателю уже известно. Началась война, девушка добровольно пошла на курсы медсестер, после чего был фронт. Судьба Марию пощадила: войну она заканчивала в Винницкой области, где и познакомилась с Виктором Астафьевым. И полюбила его, как оказалось — навсегда.

Начало своей совместной жизни Виктор Петрович и Мария Семеновна описывают по-разному. Мария — обычно серьезно, с видимым вдохновением; Виктор — с добродушной насмешкой. Вот, например, как он вспоминает их первую встречу: «Как я увидал ее... бежит маленькая, в больших сапогах — они чуть ли не задом-наперед на ней, так и сказал ребятам: вон та — моя!»

Трижды раненный солдат остался после войны без профессии. По своей специальности, которую он приобрел в ФЗО, работать он уже не мог — из-за полученных тяжелых увечий. Похоже, поначалу молодоженам их будущее представлялось вполне заурядным. Ну, куда можно было Виктору податься с шестью классами образования? Но вот не испугался он

попробовать свои силы на писательской стезе. Самый первый рассказ мужа Мария Семеновна собственноручно перепечатала на машинке. Долго хранились в семье те рукописные странички с нечитаемым астафьевским почерком, которые ей пришлось «расшифровывать». Теперь рукопись находится в фонде В. П. Астафьева Пермского государственного архива.

С тех пор и повелось: перепечатка рукописей, собирание архива, обработка входящей и исходящей корреспонденции — все это забота *МарСем*, как она сама себя называла в своих письмах близким и друзьям. Во всех этих добровольно взятых на себя обязанностях она не видит ничего из ряда вон выходящего, считает их совершенно обыденными.

«Сам подумай, — рассказывает она мне, — коли Витя взялся писать, так и мне надо в этом участвовать, помогать ему. И прежде всего нужно было хорошенько пишущую машинку освоить. Ведь никому эти рукописи и не отдашь. Да ведь он, как сам знаешь, любит утром с чистой перепечатки перечитать накануне им написанное, а потом в дальнейшую путь-дорогу сочинительскую пускается».

Все это она очень просто рассказывает, по всему видно, что о своих домашних заботах распространяться не любит, не понимает, как можно вести себя в семье по-иному.

На свою, прямо скажем, многотрудную жизнь, в которой немало драматических страниц, Мария Семеновна жаловаться не привыкла. Вот родила она Виктору троих детей. Первая дочка, Лидочка, умерла младенцем — от плохого питания у Марии молока не было, кормить дитя нечем было. И Ирина, вторая дочь, скончалась преждевременно, после нее остались на руках бабушки и дедушки двое внуков — Витя и Полина. Третий ребенок в семье — сын Андрей. У него сейчас

своя семья, которая живет в Вологде. Их сын Евгений — внук Астафьевых-старших — увлечен наукой...

Но что поразительно, Мария Семеновна, так же как и ее супруг, оказалась одарена писательским талантом. В уральской Выковке написала она свой первый рассказ. А теперь у нее шестнадцать собственных книг, у которых тоже есть свой читатель. Назовем некоторые из них: «Шум далеких поездов», «Отец», «Я не смогла сказать: „Прощай!“», «Свекор», «Знаки жизни». Следует обязательно упомянуть книгу под названием «Земная память и печаль». Это — родословие семьи Корякиных. Рукопись этой книги Мария Семеновна прислала мне в подарок.

Свои литературные успехи Мария Семеновна оценивает скромно, считает, что без ее книг литература вполне обойдется. А взялась она за перо, по ее признанию, чтобы хоть отчасти соответствовать своему Виктору.

Ну что тут скажешь. Потрясающая женщина!

Некоторые характерные детали в отношениях супругов удалось приоткрыть журналистке Людмиле Винской. Пытаясь в них разобраться, она спросила как-то Марию Семеновну, существует ли ключик от секрета семейного счастья.

«Все вы золотой ключик ищите, — покачала головой Мария Семеновна, лучисто улыбаясь (ни у кого не доводилось видеть такой улыбки, когда вдруг все лицо озаряется), — а он ведь может быть и ржавым местами, и совсем не из золота, но хранить такой ключ да чистить не все хотят. Чистое золото подавай. Вот без ключей и остаются».

Известно, что во время работы над рукописью Виктор Петрович мог быть сердитым и придирчивым к окружающим, несдержанным. Случалось, что с помощью крепкого словца разряжал эмоции на жене...

— Ну а на кого мне сердиться, сама посуди, — шутливо растолковывает журналистке Астафьев. — Жена с внучкой рядышком, вот им и перепадает...

Был такой случай: что-то выговаривал писатель своей жене, да так увлекся, что и не заметил, как она из его кабинета ушла потихонечку своими делами заниматься. Огляделся, пошел искать собеседницу, а она посуду моет...

— Маня, что же ты ушла? Я ведь там ругаюсь, а ты вот где, на кухне. — И тут же сам рассмеялся над комичностью ситуации.

— А я подумала: пойду — не буду тебе мешать, поругайся...

И еще одно обстоятельство, которое имело в семье не второстепенное значение: была Мария Семеновна еще и вышивальщицей, и научила ее этому тетя — Тася Логинова. В молодости супруга Астафьева даже подрабатывала вышивкой. Было это как раз в ту пору, когда Виктор приноровился, и тоже на продажу, писать на клеенке лебедей. Одну такую картину сороковых годов сумел отыскать известный чусовской энтузиаст музейного дела Леонард Постников. Он, кстати сказать, создал в Чусовом и первый музей В. П. Астафьева, а ту картину, с лебедем, подарил Виктору Петровичу на один из его юбилеев. Теперь она хранится в Красноярском литературном музее.

Что интересно, сохранился снимок Виктора Астафьева, сделанный в 1947 году, на котором тот запечатлен в расшитой косоворотке. Так вот, живописные узоры и виноградные веточки, которые украшают рубаху, — дело рук молодой жены.

Мария Семеновна вспоминает забавный случай из их совместного прикладного творчества. Взялись они как-то на пару вышивать ковер. Виктор решил помочь хозяйке и взялся выдергивать канву, по которой она

вышивала узоры. Но работа оказалась не такой уж простой — нитки плохо поддавались и рвались.

— Помощник мой плевался от досады, ругался, не выбирая выражений, откидывал «произведение искусства». Но все же выдержал характер, доделал работенку.

А ковер, кстати, получился на загляденье и во время переездов постоянно кочевал вслед за Астафьевыми, украшая то одно, то другое их жилище. Сейчас этот ковер — тоже музейная реликвия.

Моя последняя встреча с Марией Семеновной продолжалась более пяти часов. Вспоминали о многом. А память у нее крепкая, несмотря на возраст. Шутка ли — человеку почти девяносто! Когда в беседе возникали паузы, заполняла она их... чтением своих любимых стихов — о самых высоких чувствах, которыми природа одарила человека.

Признается, что очень устала от молчания, от одиночества и, особенно, от работы с архивом — слишком она задевает живое, напоминает дорогое и ушедшее навсегда...

«Глубоко печалюсь: выходят прекрасно изданные книги, а Виктор их уже никогда не увидит. А с другой стороны, думаю: хорошо, что он не видит того, что сегодня творится...»

Минувшее тревожит душу. Часто вспоминает она случай, который описала в «Знаках жизни»:

«Брезжат где-то, как бы на горизонте, мои земные сроки и я пожелаю, если смогу, с нежностью и благодарностью с теми и с тем, кого и что любила, — наглядеться напоследок или сказать, чего не сказала, хотя горячо того хотела в добрые времена, как, к примеру, поступил мой муж, сообщив мне в письме из далекой дали о том, чего хотел бы мне сказать в наш торжественный день — сорок пять лет совместной жизни (а прожили они вместе 56 лет! — Ю. Р.) по

телефону, но связь до Красноярска дошла, а до квартиры „не допустили“, мол, не отвечают, а по времени-то — 11 часов вечера, когда внучка уж спит, внук сидит за книжкой, а я доглаживаю белье — как же мы могли бы не ответить?! Ну да что теперь — не соединили так не соединили. А написал он вот что:

„А тебе, Маня, в сегодняшний наш торжественный день хочу повторить то, что собирался сказать по телефону, — я тебя люблю больше всех людей на свете! Желаю, чтобы ты была всегда с нами и терпела нас, сколько возможно. Ложусь спать, думая о тебе и ребятишках. Целую всех вас. Ваш — твой муж, и ребятам дед — дедушка и муж!..“».

В «Знаках жизни» Марии Семеновны есть и такой эпизод. Как-то утром одного из дней, когда они уже жили в Сибири, она нашла рукописный текст, оставленный ей мужем как плод глубоких раздумий бессонной ночи.

Хранит она эти строки, считая их напутствием и ей, и всем, кто читает и вспоминает Виктора Петровича Астафьева с любовью, тревогой и благодарностью:

«Я как-то утром или ночью, может быть, осенью (весной не хочется) останавлиюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришел. Куда пойду уж безвозвратно, простившись с вами, люди, навсегда.

Но не с природой, всех нас породнившей. И пусть меня поднимут на увал. На тот увал, что ждет меня давно, за милою моей деревней. За бабушкиным огородом.

Пусть по распадку, где ходил я с ней по землянику, поднимут меня те, кого любил я и кому дорог. И пусть не плачут обо мне. Пусть словом или песнею помянут — и я ее услышу. Ведь говорят, что после смерти люди еще два дня слышат, но уж ответить не могут. Услышу из земли, сам став землею. Но перед тем, как стать землею, последней каплей крови с родиной поделюсь,

последний вздох пошлю в природу. И если осенью увидите на дереве листок вы самый яркий, так, значит, капелька моя в листе том растворилась, и ожила природа красотой, которой отдал я всего себя и за которую немало слез я пролил, немало мук принял, и кровь не раз пролил.

Прощаюсь с вами, мои слезы, мои муки, кровь моя. Прощаюсь, веря, что рожденный в муках и живший муками, не мучаю я вас своим прощаньем. Прощайте, люди! Я домой вернулся, я к матери моей вернулся, к бабушке, ко всей родне. Не будьте одиноки без меня. Жизнь коротка. Смерть лишь бесконечна. И в этой бесконечности печальной мы встретимся и никогда уж не простимся. И горести, и мук не испытаем, и муки позабудем, и путь наш будет беспределен.

Прощайте, люди! Умолкаю, слившийся с природой. Я слышу новое зачатие жизни, дыханье жаркое, шепот влюбленных... И не хочу печалить их собою, дарю им яркий листик древа моего. И мысль последнюю, и вздох, и тайную надежду, что зачатая ими жизнь найдет мир краше, современной. И вспомнит, может быть, да и помянет добрым словом, как Кобзаря, лежащего на берегу Днепра, меня над озаренным Енисеем, и в зеркале его мой лик струею светлой отразится. И песнь, мной не допетая, там зазвучит.

Прощаюсь я с собой без сожаленья и улетаю ввысь, чтоб в землю лечь на высоте. Иду! Иду! Вы слышите, меня природа кличет! И голос матери звучит в ней, удаляясь.

И звуки умолкают в темной дали. Покой и мрак, который долго снился, не так уж страшен. Страшнее жизнь бывает...

Приветствую тебя, мое успокоенье!...»

Прекрасное завещание. Наполнено оно светлой грустью и надеждой. И умиротворением перед вечностью...

ИЛЮСТРАЦИИ



Вид на село Овсянка. Снимок 1980-х гг.



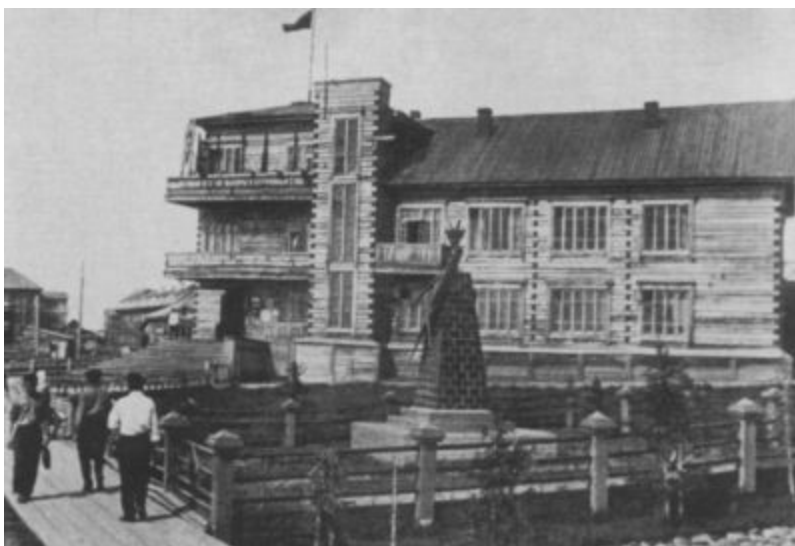
***Тетушка Апраксинья Ильинична возле дома
бабушки В. Астафьева***



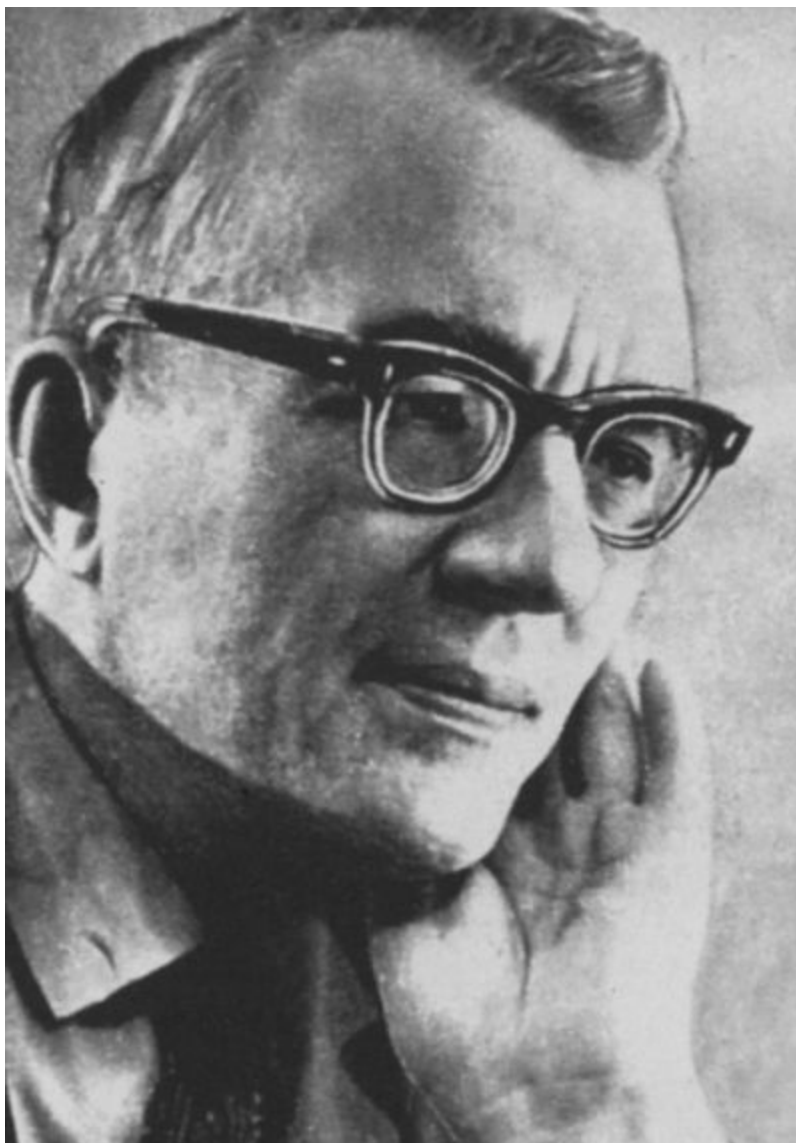
***Витя с родителями — отцом Петром Павловичем и
мамой Лидией Ильиничной. 1931 г.***



***В Игарке среди одноклассников. С книгой —
В. Астафьев, рядом — учительница литературы
Л. Якубович.***



Одна из улиц Игарки. 1930-е гг.



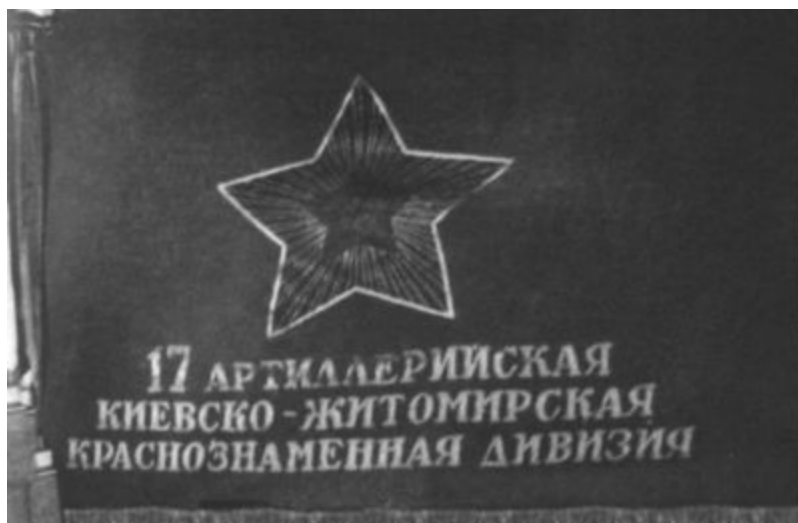
Учитель и поэт И. Д. Рождественский



***Детдомовцы. Слева направо: В. Астафьев,
В. Достовалов, Н. Березин. Игарка, 1941 г.***



С фронтовым другом П. Г. Николаенко. 1943 г.



Знамя части, в составе которой воевал В. Астафьев



И. Н. Гергель, которого В. Астафьев вынес с поля боя



В. Астафьев в госпитале. 1944 г.



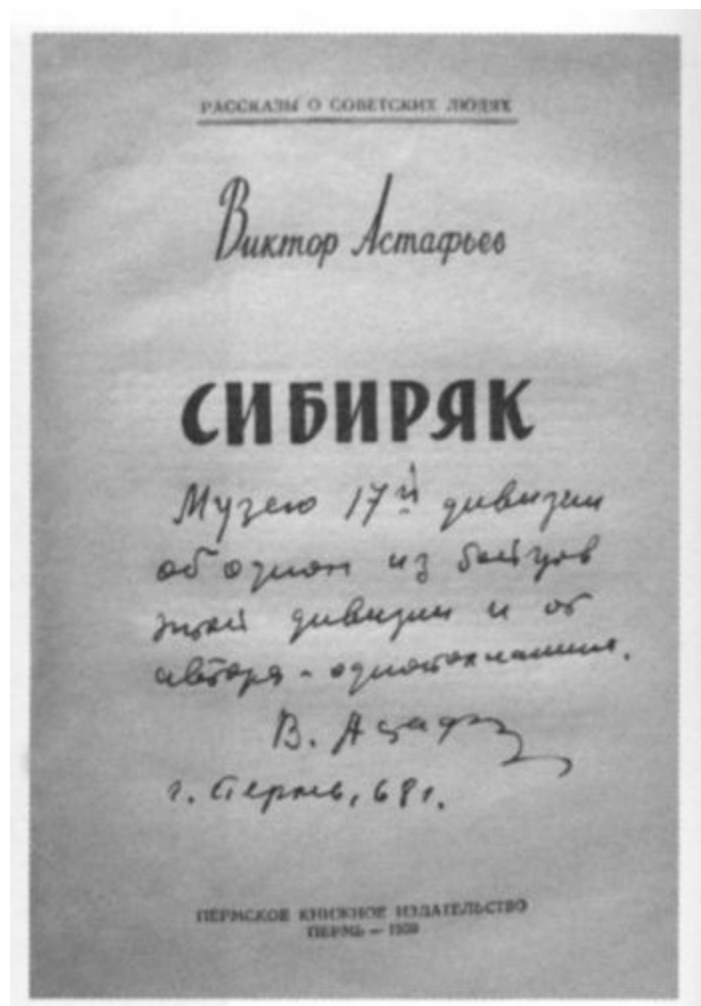
С женой Марией Семеновной. 1946 г.



Домик Астафьевых в Чусовом.



В. Астафьев. 1947 г.



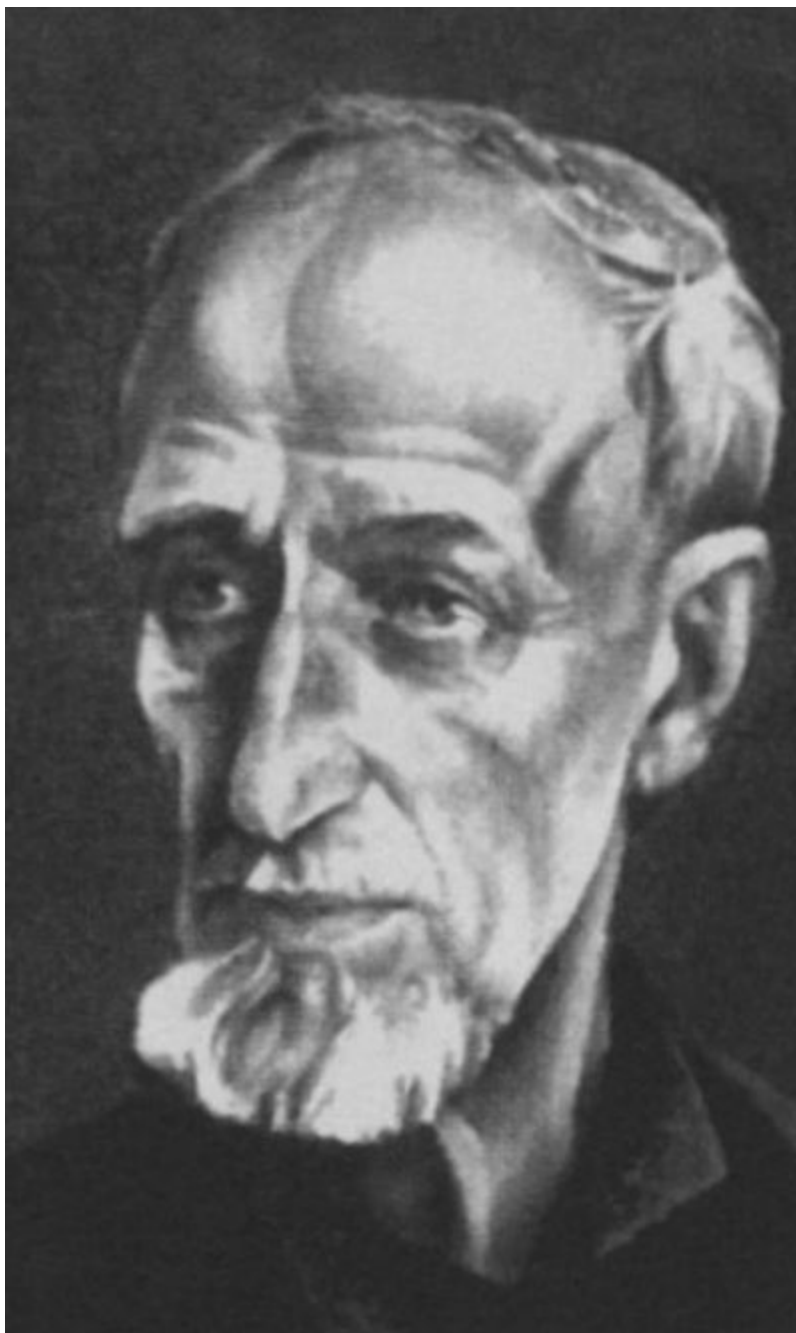
«Сибиряк» — одна из первых книг В. Астафьева



***Супруги Астафьевы с детьми Ириной и Андреем.
Чусовой, 1955 г.***



Писатель и редактор В. А. Черненко



Редактор Б. Н. Назаровский



В. Астафьев с друзьями отмечает выход в свет книги «До будущей весны». 1953 г.



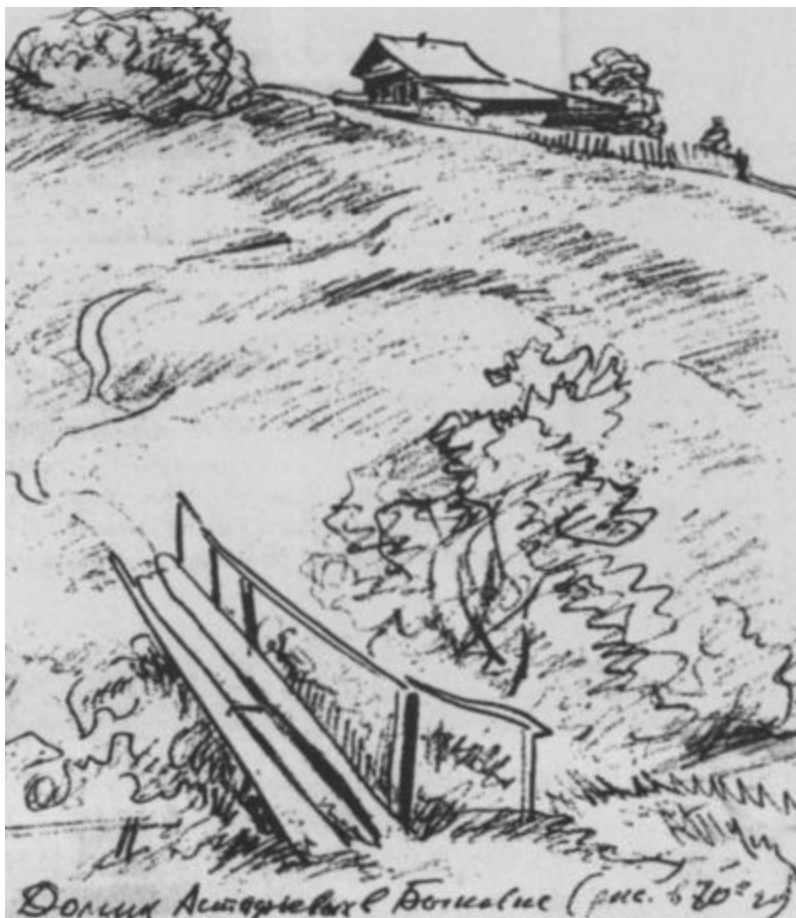
Молодой чувовской писатель



***К. В. Рождественская, в 1950-е годы —
ответственный секретарь Пермской областной
писательской организации***



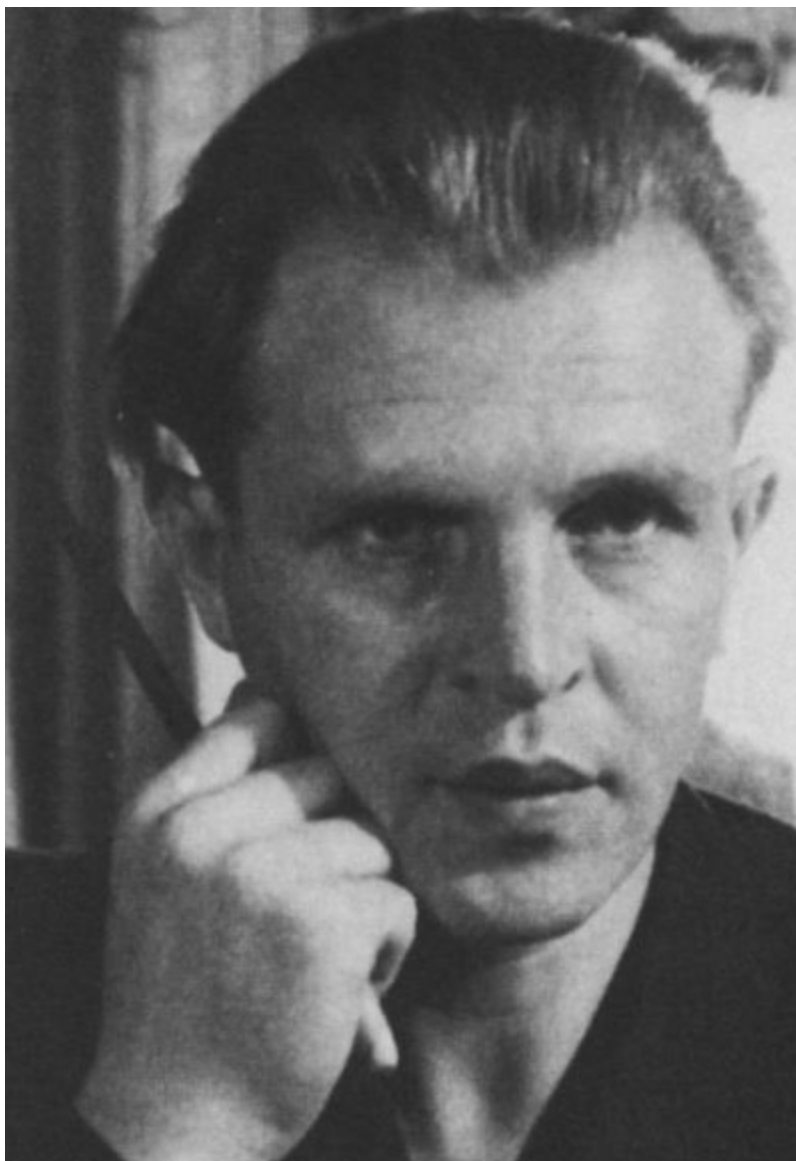
М. С. Астафьева за перепечаткой очередной рукописи мужа



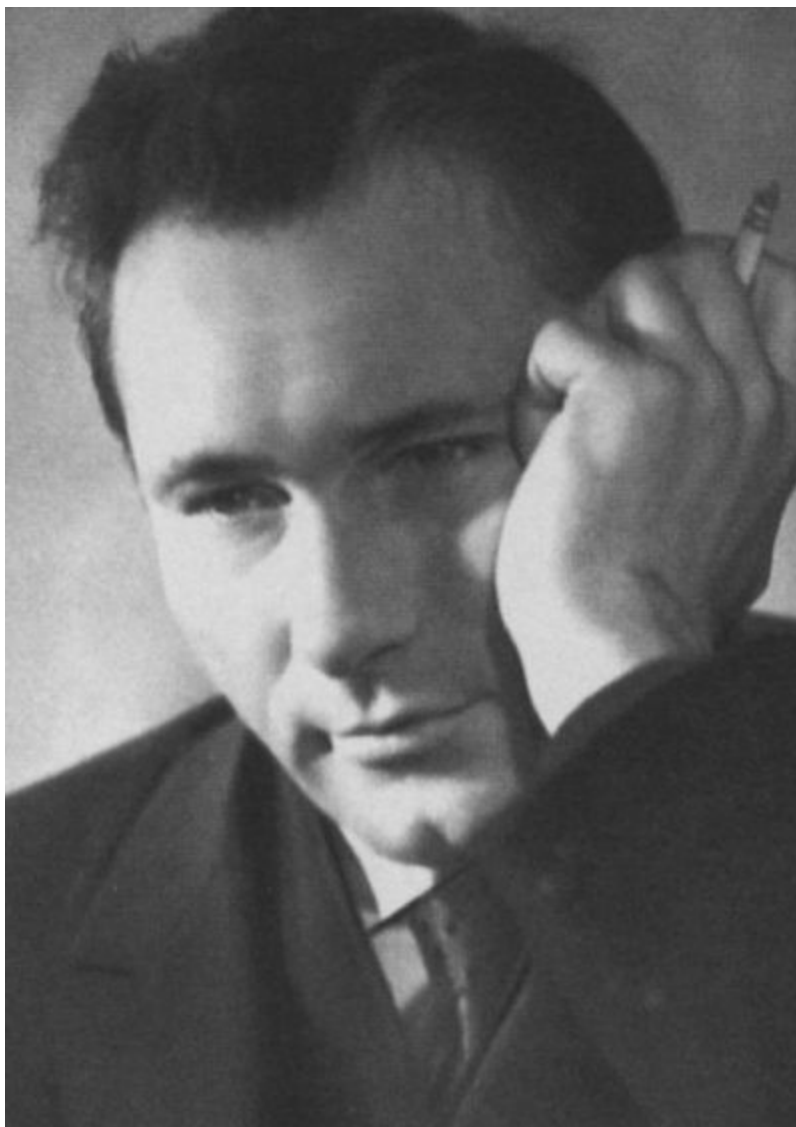
Быковка. Рисунок 1970-х гг.



На рыбалке



Художник Е. Ф. Капустин



Писатель и актер В. М. Шукшин



Критик А. Н. Макаров



Писатель Е. И. Носов



***С писателем В. И. Беловым и поэтом
В. В. Коротаевым. Вологда***



***В. Астафьев принимает гостей в Сибле (слева —
С. В. Викулов, Ю. В. Бондарев; крайний справа —
С. С. Орлов)***



Писатель В. В. Быков



Писатель К. Д. Воробьев



***С поэтами С. Чухиным, А. Романовым, Н. Рубцовым.
Вологда.***



В. П. Астафьев в рабочем кабинете. Красноярск



Поэт А. Т. Твардовский



С писателем С. П. Залыгиным



***С писателями В. Н. Крупиним и В. Г. Распутиным.
1984 г.***



***Со скульптором В. М. Клыковым и писателем
В. И. Беловым. Новгород, 1988 г.***



***В. П. Астафьев читает жене новый рассказ.
Овсянка, 1984 г.***



В Курске в гостях у Е. И. Носова



***В гостях у композитора Георгия Свиридова —
В. Н. Крупин, В. Г. Распутин, В. Н. Ганичев,
В. П. Астафьев, Ю. И. Селивёрстов***



Библиотека в Овсянке



***В Санкт-Петербурге. С. Ким, В. Курбатов,
В. Астафьев, Н. Сакова***



С актером Кириллом Лавровым



Ученый-биолог Ф. Р. Штильмарк



Супруги Астафьевы и А. Заболоцкий (слева) в гостях у скульптора Михаила Аникушина



С режиссерами Михаилом Литвяковым и Олегом Табаковым



***С артистами балета Владимиром Васильевым и
Екатериной Максимовой***



***С певцом Дмитрием Хворостовским возле дома в
Овсянке***



***Литературные встречи в русской провинции.
Овсянка, 1996 г.***



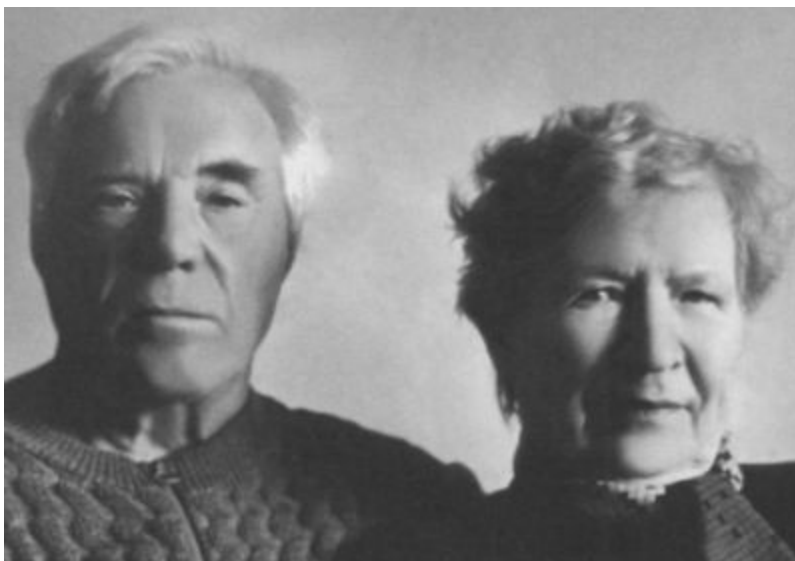
В. П. Астафьев в день 75-летия



В кругу семьи



***С директором Красноярского краевого музея
В. Ярошевской***



***Виктор Петрович и Мария Семеновна. 56 лет
вместе***



Встреча с друзьями фронтовой молодости



У могилы ветерана



С дирижером Евгением Колобовым



У домика в Чусовом. В. Курбатов, Г. Сапронов,
Л. Аннинский, А. Гремицкая, Е. Колобов



**У могилы В. Астафьева. Г. Сапронов, М. Литвяков,
В. Курбатов, М. Кураев, А. Бондаренко. 2004 г.**



Дань памяти. В. В. Путин возлагает цветы к могиле писателя. Февраль 2004 г.



М. С. Астафьева с сыном Андреем



***Н. Д. Солженицына объявляет о присуждении
литературной премии В. П. Астафьеву. Апрель
2009 г.***



У памятника В. П. Астафьеву в Красноярске его сын Андрей и И. Н. Гергель — ветеран дивизии, в которой воевал писатель

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. П. АСТАФЬЕВА^[121]

1924, 1 мая — в деревне Овсянка Красноярского края в семье Петра Павловича и Лидии Ильиничны Астафьевых родился сын Виктор.

1931 — раскулачены сельские мельники Яков Максимович и Павел Яковлевич Астафьевы — прадед и дед Виктора; арест деда и отца. Июль — в Енисее утонула мать Виктора. Семилетнего мальчика берут на воспитание бабушка и дедушка по материнской линии, Екатерина Петровна и Илья Евграфович Потылицыны.

1932, сентябрь — поступает в первый класс овсянской школы 1-й ступени.

1934 — возвращение отца после отбытия срока наказания в Овсянку, его женитьба на Т. И. Черкасовой. Переезд Виктора вместе с новой семьей на лесоучасток Сосновка.

1935, лето — вместе с отцом и мачехой переезжает в Игарку.

Сентябрь — поступает учиться в школу № 12.

1936, осень — из-за семейных проблем Виктор оказывается на улице, беспризорничает.

1937, март — попадает в игарский детский дом.

Сентябрь — снова поступает в пятый класс.

1938, зима — сломал ногу, катаясь на лыжах. Отец забирает мальчика в станок Карасино, где велась заготовка дров.

1939 — Виктор возвращается в детский дом и вновь приступает к учебе в пятом классе. Пишет сочинение под названием «Жив!»; описанный в нем случай станет позднее основой рассказа «Васюткино озеро».

1941, май — закончил шестой класс и покинул детский дом по возрасту.

Начинает трудовую жизнь, работает на кирпичном заводе коновозчиком.

22 июня — война застала его в станке Курейка, где он выполнял разные обязанности при сельсовете — писмоводителя, конюха, водовоза.

Август — отправился из Игарки в Красноярск.

Сентябрь — поступил в ФЗО № 1 на станции Енисей.

1942, июнь — закончил ФЗО по специальности «составитель поездов»; направлен работать на станцию Базаиха под Красноярском. Октябрь — добровольцем ушел в армию. Служба в запасном 21-м стрелковом полку (в районе Бердска), затем в 22-м автополку (Новосибирск).

1943, апрель — часть, в которой служит Астафьев, находится под Калугой на переформировании. Солдат 92-й гаубичной бригады.

Май — август — участвует в боях на Брянском, Воронежском, Степном фронтах. Был шофером, артразведчиком, затем — связистом 3-го дивизиона 92-й Проскураковской гаубичной артбригады 17-й Киевско-Житомирской артдивизии прорыва.

Сентябрь — октябрь — участвовал в форсировании Днепра, был ранен.

25 ноября — награжден медалью «За отвагу».

1944, январь — февраль — участвовал в Корсунь-Шевченковской операции по разгрому окруженной вражеской группировки.

Март — апрель — участвовал в наступлении под Каменец-Подольском.

21 апреля — награжден орденом Красной Звезды.

17 сентября — под польским городом Дукла получил тяжелое ранение.

1945, май — октябрь — служил в нестроевой части, обслуживавшей почтово-сортировочный пункт 1-го

Украинского фронта (город Станиславчик Винницкой области). Познакомился с М. С. Корякиной, сержантом почтового отделения.

26 октября — Виктор Астафьев и Мария Корякина вступили в брак, демобилизовались и отправились в уральский город Чусовой, на родину жены.

Ноябрь — супруги приехали в Чусовой и стали жить в доме Корякиных. Виктор начал работать дежурным по вокзалу станции Чусовская.

1946, март — молодая семья переехала жить в старый флигель, который принадлежал родителям жены.

1947, 11 марта — в семье Астафьевых родилась дочь Лида.

2 сентября — девочка скончалась.

1948, 19 мая — родилась дочь Ирина.

1949 — Астафьев работает плотником в вагоноремонтном цехе, затем — в горячем литейном цехе. Поступает в школу рабочей молодежи.

1950, 25 февраля — в Овсянке скончалась Екатерина Петровна Потылицына, бабушка писателя.

13 марта — родился сын Андрей.

Лето — Астафьевы переехали в построенный своими руками дом на улице Партизанской.

Сентябрь — Виктор — разнорабочий, затем — вахтер в колбасном цехе.

Декабрь — участвует в занятиях литературного кружка при редакции газеты «Чусовской рабочий», пишет свой первый рассказ «Гражданский человек».

1951, февраль — март — рассказ «Гражданский человек» публикуется на страницах газеты «Чусовской рабочий».

2 апреля — Виктор принят на работу в редакцию газеты «Чусовской рабочий» в качестве литсотрудника.

1952, ноябрь — заключает договор с книжным издательством города Молотов (Пермь), пишет рассказы

«Земляника», «До будущей весны», «Жил на свете Толька», «Васюткино озеро», «Гирманча находит друзей», «Теплый дождь».

1953, апрель — в областной газете «Звезда» напечатан рассказ «Гражданский человек». В альманахе «Прикамье» выходят рассказы «Гражданский человек» и «Тимкоуль», а в сборнике «Нашим ребятам» — рассказ «Мишуки». Увидела свет книга «До будущей весны».

1954 — первая публикация в Москве: в журнале «Смена» появляется рассказ «Заноза».

1955, март — уходит из газеты и начинает работу над романом «Тают снега». В Перми выходят в свет два сборника детских рассказов «Огоньки» и «Васюткино озеро».

1957, апрель — корреспондент Пермского радио.

1958 — в Перми увидел свет роман «Тают снега», в Москве издан сборник «Теплый дождь».

1 октября — принят в Союз писателей РСФСР.

1959 — в журнале «Урал» печатается повесть «Перевал».

Осень — приступает к занятиям на Высших литературных курсах в Москве, сближается с С. Викуловым и другими вологодскими писателями, с прозаиком Е. Носовым.

Сентябрь — в московском журнале «Знамя» выходит рассказ «Солдат и мать», в альманахе «Прикамье» — повесть «Стародуб».

1960 — в журнале «Молодая гвардия» помещена повесть «Звездопад». В Перми выходят книги «Зорькина песня» и «Стародуб».

1961 — в журнале «Молодая гвардия» печатается рассказ «Поросли окопы травой», в «Нашем современнике» — рассказ «Еловая ветка». В издательстве «Советская Россия» выходит сборник «Солдат и мать».

1962 — семья Астафьевых переезжает в Пермь.

Сентябрь — начало переписки и дружбы с критиком А. Н. Макаровым. В Москве выходят книги «Звездопад» и «Васюткино озеро».

1963 — в Праге на чешском языке выходит первое зарубежное издание произведений Астафьева — «Стародуб».

В периодике появляются рассказы из цикла «Страницы детства» («Гуси в полынье», «По сено», «Далекая и близкая сказка», «Конь с розовой гривой»), положившие начало созданию книги «Последний поклон».

1964 — в журнале «Молодая гвардия» публикуется рассказ «Белорудка».

1965 — в Москве вышли книги «Поросли окопы травой» и «Стрижонок Скрип».

1966 — руководит одной из мастерских семинара молодых писателей в Кемерове.

1967, февраль — в журнале «Молодая гвардия» печатается повесть «Где-то гремит война».

1968, декабрь — на страницах пермской газеты «Звезда» впервые появляются «затеси». В Перми издан «Последний поклон». Издательство «Молодая гвардия» выпускает сборник повестей «Кража. Где-то гремит война», а «Советский писатель» — «Синие сумерки».

1969, февраль — Астафьевы переезжают в Вологду.

В Москве выходит книга «Повести».

1970, январь — в журнале «Наш современник» опубликован цикл рассказов «Затеси».

1971 — в «Роман-газете» увидела свет первая книга «Последнего поклона».

2 июля — награжден орденом Трудового Красного Знамени. Август — в «Нашем современнике» выходит повесть «Пастух и пастушка».

1972 — впервые отдельной книгой изданы «Затеей». В издательстве «Молодая гвардия» выходит

сборник «Повести о моем современнике». Декабрь — в журнале «Наш современник» публикуется «Ода русскому огороду».

1973 — в Перми издана повесть «Пастух и пастушка».

1974, 25 апреля — награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени.

Май — знакомство и начало дружбы с В. Я. Курбатовым.

1975, 23 декабря — за книгу повестей «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» удостоен Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

В Свердловском театре оперы и балета поставлена опера К. Молчанова «Верность» по повести «Пастух и пастушка».

1976 — в журнале «Наш современник» опубликовано повествование в рассказах «Царь-рыба».

Премьера пьесы «Черемуха» в Московском театре им. М. Н. Ермоловой.

1977 — «Царь-рыбу» печатает «Роман-газета». В издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Мальчик в белой рубахе».

1978 — в Красноярске выходит первое книжное издание «Царь-рыбы».

19 октября — за повествование в рассказах «Царь-рыба» присуждена Государственная премия СССР.

На экраны вышел художественный фильм «Сюда не залетали чайки» (режиссер Б. Мансуров) по повести «Перевал».

1979 — в издательстве «Молодая гвардия» начинает выходить собрание сочинений в четырех томах, которое завершено в 1981 году.

В «Роман-газете» опубликована вторая книга повести «Последний поклон».

Астафьев покупает дом в родном селе Овсянка.

3 сентября — в Вологде скончался Петр Павлович Астафьев.

23 октября — в концертной студии Останкино состоялась встреча с писателем.

1980 — Виктор Астафьев переехал в Красноярск.

Декабрь — поездка в Японию. В Москве вышел публицистический сборник «Посох памяти».

1981, 7 августа — награжден орденом Дружбы народов.

1982, март — в Дивногорске состоялся премьерный показ художественного фильма «Звездопад» (режиссер И. Таланкин), снятого по произведениям Астафьева.

В Красноярске увидел свет самый полный сборник «Затесей».

1983 — на экранах страны идет документальная лента «Виктор Астафьев» (режиссер М. Литвяков).

1984, январь — в Овсянке состоялся премьерный показ художественного фильма «Ненаглядный мой» (режиссер А. Войтецкий) по рассказу «Тревожный сон».

29 апреля — в связи с 60-летием со дня рождения отмечен третьим орденом Трудового Красного Знамени.

В Малом концертном зале Красноярской филармонии состоялось первое исполнение симфонии композитора О. Меремкулова «По прочтении Виктора Астафьева», на котором присутствовал писатель.

На экраны страны вышел художественный фильм «Дважды рожденный» (режиссер А. Сиренко), снятый по сценарию В. Астафьева и Е. Федоровского.

1985 — по мотивам произведения повести «Пастух и пастушка» композитором А. Нестеровым написана опера «Современная пастораль».

В издательстве «Молодая гвардия» увидел свет публицистический сборник «Всему свой час».

1986, январь — в журнале «Октябрь» вышел роман «Печальный детектив». Май — в журнале «Наш современник» вышли рассказы «Ловля пескарей в

Грузии», «Светопреставление», «Слепой рыбак», «Тельняшка с Тихого океана».

Июнь — делегат VIII съезда Союза писателей СССР.

1987 — в «Роман-газете» напечатан роман «Печальный детектив».

19 августа — в Вологде скоропостижно скончалась дочь Ирина.

В Московском театре им. Моссовета состоялась премьера спектакля по роману «Печальный детектив» (режиссер Г. Тростянецкий).

Вышел на экраны трехсерийный телефильм «Где-то гремит война».

1988, январь — в журнале «Москва» опубликована повесть «Зрячий посох».

Октябрь — поездка во Францию по приглашению издателя романа «Печальный детектив».

Ноябрь — поездка в Болгарию, подготовка двухсерийного киносценария по повести «Кража».

Поездка в Грецию, на остров Патмос.

В издательстве «Современник» выходит книга «Зрячий посох».

1989, январь — выступление на встрече в ЦК КПСС с деятелями науки и культуры.

26 марта — избран народным депутатом СССР.

Май — делегат съезда народных депутатов СССР.

21 августа — указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Сентябрь — в «Новом мире» опубликован рассказ «Людочка». Октябрь — поездка в США.

1990 — в Иркутске вышел сборник повестей («Пастух и пастушка», «Звездопад», «Кража»). Гонорар

перечислен автором на счет Иркутского отделения Советского детского фонда им. В. И. Ленина.

1991, август — участие в Международном симпозиуме по современной литературе в Эдинбурге (Шотландия).

11 декабря — за повесть «Зрячий посох» удостоен Государственной премии СССР.

1992, октябрь — декабрь — в журнале «Новый мир» опубликована первая книга романа «Прокляты и убиты».

1993, сентябрь — участие в круизе «Культурная миссия России» по странам Средиземноморья.

Начало сотрудничества с издателем Г. Сапроновым: в Иркутске вышел двухтомник «Проза войны», в первый том которого вошла первая книга романа «Прокляты и убиты».

В издательстве «Вече» вышла вторая книга романа «Прокляты и убиты».

1996, 18 мая — президент России Б. Ельцин встретился с писателем в Овсянке.

27 мая — за роман «Прокляты и убиты» присуждена Государственная премия Российской Федерации.

15—17 августа — в Овсянке прошли первые «Литературные встречи в русской провинции».

Август — в журнале «Новый мир» вышла повесть «Обертон», в издательстве «Книжная палата» — книга «Так хочется жить».

1997 — в Красноярске в издательстве «Офсет» начинает выходить собрание сочинений в пятнадцати томах, которое завершено в 1998 году. 21-28 мая — участвует в Рубакинских чтениях в Санкт-Петербурге. Май — за выдающийся вклад в развитие русской литературы присуждена Международная Пушкинская премия немецкого фонда Альфреда Топфера.

1—4 октября — встреча в Красноярске с участниками Международного съезда русистов.

1998, май — в журнале «Новый мир» вышла повесть «Веселый солдат».

15 сентября — открытие в Овсянке церкви Святителя Иннокентия Иркутского, построенной по инициативе писателя.

15—18 сентября — в Овсянке и Дивногорске прошли вторые «Литературные встречи в русской провинции».

26 октября — открытие в Красноярске литературного лица, созданного по инициативе Астафьева.

В издательстве «Вагриус» выходит сборник повестей «Обертон».

1999, 10 апреля — в Красноярском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Царь-рыба» (совместная постановка с ГАБТ; композитор В. Пороцкий, балетмейстер С. Бобров), на которой присутствовал Астафьев.

24—27 апреля — участвует в Астафьевских чтениях в Москве, организованных Российской государственной библиотекой.

28 апреля — награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

2 мая — в Красноярске в Малом зале краевой филармонии состоялся концерт «Музыкальное приношение Виктору Астафьеву», инициатором которого выступил художественный руководитель театра «Новая опера» Е. Колобов.

Август — поездка на торжества, посвященные 70-летию морского порта Игарка.

Август — сентябрь — участие в съемках документального фильма «Всему свой час» (режиссер М. Литвяков).

В издательстве «Платина» (Красноярск) выходит сборник «Благоговение».

2000, 5 мая — участвует в презентации сборника произведений писателей-фронтовиков «Вернитесь

живыми», состоявшейся в Красноярском литературном музее.

Июнь — декабрь — пишет рассказы «Тень рыбы», «Пролетный гусь», «Пионер — всем пример», «Жестокие романсы», «Венку судят», «Трофейная пушка», «Ягоды для папы», «Связистка».

26—29 сентября — третьи «Литературные встречи в русской провинции».

2001, январь — в журнале «Новый мир» публикуется рассказ «Пролетный гусь», в журнале «Москва» — рассказы «Пионер — всем пример» и «Венку судят».

В Иркутске в издательстве «Вектор» вышла книга «Пролетный гусь» — последнее прижизненное издание писателя.

29 ноября — В. П. Астафьев скончался.

Похоронен в Овсянке.

БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения В. Астафьева

(прижизненные издания в хронологической последовательности)

Гражданский человек; Тимкоуль: Рассказы // Прикамье: Альманах. № 17; Молотов: Кн. изд-во, 1953.

Мишуки: Рассказ // Нашим ребятам. Сборник рассказов и стихов. Молотов: Кн. изд-во, 1953.

До будущей весны: Рассказы. Молотов: Кн. изд-во, 1953.

Огоньки: Рассказы для детей. Молотов: Кн. изд-во, 1955.

Дядя Кузя, куры, лиса и кот. Пермь: Кн. изд-во, 1957.

Тают снега: Роман. Пермь: Кн. изд-во, 1958.

Сибиряк: Рассказы о советских людях. Пермь: Кн. изд-во, 1959.

Зорькина песня: Рассказы. Пермь: Кн. изд-во, 1960.

Рассказ о любви. Пермь: Кн. изд-во, 1961.

Солдат и мать: Повесть и рассказы. М.: Советская Россия, 1961.

Звездопад: Повести и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1962.

Конь с розовой гривой: Рассказы. М.: Правда, 1964.

Кража; Где-то гремит война: Повести. М.: Молодая гвардия, 1968.

Последний поклон: Повесть / Ил. В. и А. Мотовиловых. Пермь: Кн. изд-во, 1968.

Синие сумерки: Рассказы / Ил. Е. Ф. Капустина. М.: Советский писатель, 1968.

Стародуб; Перевал; Кража; Где-то гремит война; Звездопад: Повести / Ил. Е. А. Капустина. М.: Советская Россия, 1969.

Затеси: Рассказы // Наш современник. 1970. № 1.

Кража: Повесть / Ил. А. и В. Мотовиловых. Пермь: Кн. изд-во, 1970.

Пастух и пастушка: Современная пастораль / Ил. Б. Косульникова // Наш современник. 1971. № 8.

Последний поклон: Повесть / Ил. В. и А. Мотовиловых. М.: Художественная литература, 1971.

Ода русскому огороду: Рассказ // Наш современник. 1972. № 12.

Затеси: Книга коротких рассказов. М.: Советский писатель, 1972.

Повести о моем современнике / Послесл. А. Ланщикова. М.: Молодая гвардия, 1972.

Царь-рыба: Повествование в рассказах // Наш современник. 1976. № 4-6.

Мальчик в белой рубаше: Повести. М.: Молодая гвардия, 1977.

Четыре коротких рассказа // Новый мир. 1978. № 10.

Собрание сочинений: В 4 т. / Вступ. ст. В. Курбатова. М.: Молодая гвардия, 1979-1981.

Царь-рыба: Повествование в рассказах. М.: Советский писатель, 1980.

Посох памяти: Сборник. М.: Современник, 1980.

Рассказы / Худож. Ю. Алексеева. М.: Советская Россия, 1984.

Всему свой час: Сборник. М.: Молодая гвардия, 1985.

Печальный детектив: Роман: В 2 кн. М.: Правда, 1986.

Последний поклон: Повесть. М.: Молодая гвардия, 1989.

Проза войны: В 2 т. Иркутск: Литера, 1993.

Прокляты и убиты: Роман. М.: Вече, 1994.

Собрание сочинений: В 15 т. Красноярск: Офсет, 1997-1998.

Пролетный гусь: Рассказы. Затеси. Воспоминания. Иркутск: Издатель Сапронов, 2001.

Эпистолярное наследие

Астафьев В. П., Макаров А. И. Твердь и посох: Переписка 1962–1967 гг. Иркутск: Издатель Сапронов, 2005.

Астафьев В. П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник. 1952–2001 / Сост., предисл. Г. Сапронова. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009.

Крест бесконечный: Астафьев В. П. — Курбатов В. Я.: Письма из глубины России. Иркутск: Издатель Сапронов, 2002.

Книги и статьи о жизни и творчестве В. П. Астафьева

Аннинский Л. За что прокляты?: о новом романе В. Астафьева // Новый мир. 1992. № 10–12.

Виговский В. Свет над Овсянкой. Документальный очерк // Газета «Огни Енисея». 1977. № 133–147.

Курбатов В. Миг и вечность. Размышления о творчестве В. Астафьева. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1983.

Курбатов В. Нечаянный портрет. Время в зеркале одного дневника. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009.

Ланщиков А. Виктор Астафьев. М.: Просвещение, 1992.

Макаров А. Во глубине России... Критико-биографический очерк. Пермь, 1969.

Федоров И. Г. Из истории Овсянки // Научный ежегодник КГПУ. Вып. 2. Т. 2. 2001.

Яновский Н. Виктор Астафьев. Очерк творчества. М., 1982.

Материалы и документы

И открой в себе память... Вып. 2. Воспоминания о В. П. Астафьеве жителей Овсянки и Дивногорска: материалы к биографии писателя / Красноярский государственный университет, Библиотека-музей В. П. Астафьева. Красноярск, 2006.

Астафьевские чтения (17–18 мая 2002 года). Пермь: Мемориал. Центр истории политических репрессий

«Пермь-36», 2003.

Астафьевские чтения (17–18 мая 2003 года). Пермь: Мемориал. Центр истории политических репрессий «Пермь-36», 2004.

Астафьевские чтения. Вып. 3 (19–21 мая 2005 года). Пермь: Курсив, 2005.

Личный фонд Виктора Петровича Астафьева. Фонд № р-1659. Опись фонда № 1 документов постоянного хранения за 1928–2002 гг. Пермь: Государственный архив Пермской области, 2005.

Вологодские затеи Виктора Астафьева. Материалы к творческой биографии писателя. Вологда: Книжное наследие, 2007.

Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и творчество: библиографический указатель / Сост. и ред. Т. Я. Бриксман. М.: Пашков дом, 1999.

Дар слова: Виктор Петрович Астафьев. К 85-летию со дня рождения. Библиографический указатель. Статьи. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009.

notes

Примечания

Речь идет о рассказе «Тимкоуль». (Комментарии к переписке В. П. Астафьева с В. А. Черненко подготовлены Н. Л. Норхиной.)

Сборник «До будущей весны» (1953).

З

«До будущей весны».

Здесь и далее — название рассказов.

Н. Н. Арбенева — переводчик, редактор Пермского книжного издательства.

В. В. Воловинский — литературный критик.

Л. И. Давыдычев (1927–1988) — прозаик.

8

Подразумевает свою жену.

Рассказ «Тот самый Королёв».

В. М. Попов (1920–1974) — редактор газеты Чусовского металлургического завода «Металлург».

К. В. Рождественская (1901-1963) — прозаик, ответственный секретарь Пермской областной писательской организации (1949-1955).

Н. Н. Вагнер (1920–1997) — прозаик, редактор
Пермского книжного издательства.

Рабочий поселок в Пермской области.

Речь идет о литературной странице в газете «Чусовской рабочий».

В. А. Белугин — прозаик. В 1960-е годы в Москве и Перми были изданы его книги «Борьба продолжается» (М., 1960), «Вынужденная посадка» (Пермь, 1963), «Свободы час» (Пермь, 1963).

Л. С. Римская — директор Пермского книжного издательства.

К. В. Рождественская.

Книга «До будущей весны».

Рассказ «Личность несознательная».

Сотрудники газеты «Звезда».

К. В. Боголюбов — прозаик, литературовед, ответственный секретарь Свердловского отделения СП СССР (1954–1960).

И. Т. Реутов (1898–1960) — прозаик, автор романов «На уральской реке», «Уральский вклад».

Речь идет о рукописи книги «Васюткино озеро».

В. Г. Александров — редактор Пермского книжного издательства.

Очевидно, имеется в виду Андрей Павлович Ромашов (1926–1995) — прозаик.

Герой повести «Васюткино озеро».

Книга «До будущей весны».

«Чусовской рабочий».

А. С. Новосельский — поэт, автор книг «Странный орешек» (Пермь, 1958), «Контора пишет пером» (Свердловск, 1962), «Левый поворот» (Свердловск, 1966).

А. Никольский — член литературного кружка при «Чусовском рабочем».

Б. Н. Назаровский (1904–1972) — литературовед, редактор Пермского книжного издательства.

И все же очерк Астафьева, о котором идет речь — «Идет весна», опубликован в сборнике «Корни уходят в небо. Очерки колхозной жизни» (1955).

Письмо адресовано В. Черненко и В. Александрову.

Река в Пермской области.

Река в Пермской области.

Л. С. Римская.

Альманах «Прикамье», издавался с 1940 по 1960 год.

Упомянут роман Реутова «На уральской реке» (Альманах «Прикамье». 1954. № 18).

Вероятно, речь идет о П. С. Латышеве, бригадире колхоза «XV лет Октября», герое очерка «Идет весна».

Речь идет о книге «Огоньки», которую планировали к изданию.

Дети Астафьева.

Роман В. Черненко.

К. В. Рождественская.

К. В. Рождественская и В. А. Черненко были делегатами II съезда писателей СССР.

Неустановленное лицо.

В. Г. Александров.

«Огоньки».

«Огоньки».

Черненко был редактором-составителем сборника «Шутки в сторону» (1955). В нем опубликован рассказ Астафьева «Разные понятия».

Н. Н. Арбенева.

В это время Астафьев работал над романом «Тают снега».

Няня детей Астафьевых.

Ресторан в Перми.

Река в Пермской области.

Имеется в виду рецензия в газете на роман «Дорога к звездам» пермского прозаика Б. З. Фрадкина.

Н. И. Молчанов — поэт и прозаик.

Имеется в виду Всесоюзное совещание молодых писателей.

Речь идет о романе «Тают снега».

О каком произведении идет речь, установить не удалось. Очевидно оно так и не увидело свет.

Вероятно, имеется в виду «Васюткино озеро».

Сергей Антонов — прозаик, в ту пору — сотрудник «Нового мира».

В. Г. Александров.

Очерк «Любовь к жизни» опубликован в журнале «Смена» (№ 15,1956).

О ком речь, не установлено.

А. П. Ромашов.

Не удалось установить, о каком рассказе идет речь.

«Тают снега».

А. П. Ромашов.

С. Балахонов — член литературного кружка при газете «Чусовской рабочий».

Б. В. Ширшов (1923–1975) — поэт.

А. П. Макаров (1902–1965) — прозаик.

Б. В. Ширшов.

Речь идет о сборнике «Летний дождь».

«Тают снега».

«Тают снега».

«Теплый дождь» выйдет в Детгизе в 1958 году.

К. В. Латохин — директор Пермского книжного издательства.

Рукопись романа «Тают снега».

Речь идет о межобластном совещании уральских писателей 1956 года.

Упомянут роман И. И. Андриевского (1906–1975)
«Навстречу жизни» (Молотов, 1955).

О. К. Селянкин — прозаик, редактировал книгу «Васюткино озеро».

О ком речь, не установлено.

Наши кедровые леса // Наш современник. 1975. № 6.

О переиздании «Наследника из Калькутты».

Далее неразборчиво, фрагмент касается сокращения киносценария по недавно вышедшей в свет «Царь-рыбе».

Гибель на рыбалке.

Это — о причинах гибели Гоши Герцева, поскользнувшегося на камнях.

Имеется в виду фотоальбом «Тайга» (М.: Физкультура и спорт. Фото Р. В. Дормидонтова, текст Ф. Штильмарка с цитатами из романа «Царь-рыба»).

Елена Александровна Крутовская — зоолог заповедника «Столбы», автор ряда книг о животных.

Здесь подразумевается конфликт двух сотрудниц заповедника.

Редактор Детгиза.

Сообщение о смерти писателя Р. А. Штильмарка
(скончался 30 сентября 1985 года).

Профсоюз московских литераторов.

Роман «Наследник из Калькутты».

Статья «Маленький детектив о большом романе» в журнале «В мире книг».

В. М. Довбня, адресат Виктора Петровича из города
Усмани.

«Улыбка волчицы» для альманаха «Охотничьи просторы», опубликован в № 48 за 1991 год.

На открытке — заповедник «Столбы», где побывал Ф. Р. Штильмарк с В. П. Астафьевым.

Роман Р. А. Штильмарка «Наследник из Калькутты» был опубликован в Красноярске в 1989 году.

100

«Столбы».

Роман-хроника «Горсть света».

Имеется в виду третья часть романа-хроники «Горсть света» — «Заклятие огнем и мраком», посвященная Великой Отечественной войне.

Со съезда писателей.

Отрывок из романа-хроники «Горсть света» вскоре был опубликован в журнале «Москва».

Первый секретарь Эвенкийского окружкома партии.

Издание не состоялось. Подготовленные Астафьевым рукописи томов собрания сочинений пропали.

«Прокляты и убиты».

Речь идет о сценарии на тему таежной охоты.

Писатель и таежный охотник.

Речь идет об очерке В. Астафьева «Разговор со старым ружьем»; Королев — главный редактор альманаха.

Б. П. Завацкий — научный сотрудник Саяно-Шушенского заповедника.

«Охотничьим просторам» исполнилось 50 лет; поздравление Астафьева было опубликовано в юбилейном номере.

Рассказ В. П. Астафьева «Улыбка волчицы» был опубликован в альманахе «Охотничьи просторы» в 1991-м, отрывки из «Новых затесей» — в 1994-м и «Разговор со старым ружьем» — в 1996 году.

Астафьев вскоре познакомился с М. В. Булгаковым, случайно встретившись с ним в метро.

Сборник «Заповедники Сибири».

«Горсть света».

Слова В. П. Астафьева перед смертью: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание».

В. П. Астафьев в это время находился в Москве.

Имеется в виду цензура — управление по охране государственных тайн в печати.

Большинство сохранившихся писем Быкова Астафьеву было опубликовано в книге: Астафьев В. П. Собрание сочинений: В 15 т. Красноярск, 1998. Т. 15. Письма.

Автором использованы материалы исследователей творчества В. Астафьева — Т. Брискмана и Н. Саковой.